ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[7] 2005

РОМАНЫ МАРТЕНА ПАЖА «КАК Я СТАЛ ИДИОТОМ» И ХОРХЕ ВОЛЬПИ «В ПОИСКАХ КЛИНГЗОРА»/ СТИХИ РЕЙМОНДА КАРВЕРА И ХОРХЕ ГИЛЬЕНА / ЭЛЬФРИДА ЕЛИНЕК В РУБРИКЕ «НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ» / СКАЗКИ И ИСТОРИИ ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА / ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР И Д. А. ПРИГОВ В РУБРИКЕ «ПОЛЕМИКА» / ЭССЕ ТАТЬЯНЫ ВЕНЕДИКТОВОЙ «КУЛЬТУРА СПОРА» УСТАЛА ОТ СЕБЯ?»

Основан в 1891 году

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
чеченский
литературно-художественный журнал

ГОЧ
["Переводчик"]

Основан в январе 2004 года

Переводы иностранных авторов на чеченский язык
Создание теории перевода на чеченском языке

Адрес редакции:
364051, Чеченская Республика,
ул. Красных фронтовиков, 7 / Р. Люксембург 5, кв. 24

[7]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Мартен Паж *Как я стал идиотом.* Роман. Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой

66 Реймонд Карвер *Стихи.* Перевод с английского Максима Калинина

72 Хорхе Вольпи *В поисках Клингзора.* Роман. Перевод с испанского Николая Жарова

Из классики XX века

179 Хорхе Гильен *Стихи.* Перевод с испанского Натальи Ванханен. Вступление Натальи Ванханен и Татьяны Пигарёвой

К 200-летию со дня рождения Х. К. Андерсена

189 Ханс Кристиан Андерсен *Сказки и истории.* Переводы с датского Н. Федоровой, Н. Киямовой, А. Афиногеновой. Вступление А. В. Сергеева и А. Н. Чеканского

Нобелевская премия

219 Эльфрида Елинек *В стороне.* Стокгольмская речь. Перевод с немецкого Александра Белобратова

228 Эльфрида Елинек *Досужими путями мышления.* Эссе. Перевод с немецкого Е. Белорусец

232 Эльфрида Елинек: *"Я ловлю язык на слове..."* С Эльфридой Елинек беседует Александр Белобратов

Полемика

239 Вальдемар Вебер *Что западный читатель ждет от русской литературы*

249 Д. А. Пригов *Чего ждет г-н Вебер от немецкого читателя, который якобы чего-то ждет от русской литературы*

Статьи, эссе

253 Татьяна Венедиктова *"Культура спора" устала от себя?*

Анкета "ИЛ"

261 *В поисках утраченной поэзии.* На вопросы анкеты отвечают Катя Капович и Филипп Николаев

Среди книг

266 Николай Мельников *"Мусорный феномен" Дональда Бартелми.* Е. Соколова *Три шага в разные стороны*

Письма из-за рубежа

273 Ольга Тилькес *Подарок*

БиблиофИЛ

279 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

282

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

И. о. главного
редактора

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

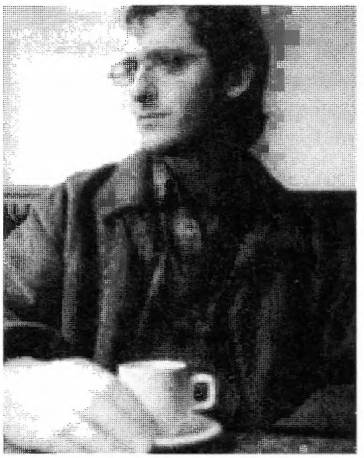
Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Мартен Паж



Как я стал идиотом

Роман

Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой

"Как я стал идиотом" — дебютный роман. Мартен Паж опубликовал его в двадцать пять лет, написав до этого семь романов "в стол". Напечатавшее Пажа парижское издательство "Ле Дилеттант" (что, как легко догадаться, означает "дилетант") известно во французском литературном мире чутьем на молодые дарования. Молодые дарования, если они таковыми являются, потом, как правило, уходят в другие издательские дома, с более громкой славой и более весомыми гонорарами. Однако "Дилетанта" это не огорчает — у него свои задачи и своя слава. Здесь начинали печататься Венсан Равалек, Анна Гавальда, Серж Жонкур и другие. Издательство их "открыло", как и Мартена Пажа, который выпустил с тех пор еще два романа, один из них — "Стрекоза ее восьми лет" — вышел в прошлом году по-русски.

В своей первой книге Мартен Паж ухитрился выставить дураками чуть ли не всех на свете: автомобилистов и университетских преподавателей, любителей видеоигр и модной одежды, этнической музыки и телевидения. После этого трудно было ожидать успеха: читатель не любит, когда над ним смеются. Однако успех пришел, причем для такого писателя, как Паж, особенно ценный — успех у сверстников, у "своего" поколения, стильный успех. Роман буквально растащили на цитаты, а на одном из Интернет-сайтов фразочки Пажа можно найти рядом с афоризмами Стендаля, Ницше и Набокова.

Критики сразу назвали Пажа последователем вольтеровской традиции, отослав читателей для сравнения к "Кандиду" или "Микромегасу". Однако тексты Пажа далеки от рационализма и уж никак не сводятся к социальной сатире или кри-

© Le Dilettante, 2001
© Ирина Кузнецова. Перевод, 2005
Книжное издание романа готовится к печати в издательстве "Иностранка".

тике современного мира, которая для него, как он выразился в одном из интервью, "всего лишь предлог для того, чтобы писать". "Нет, для меня это не просто упражнение в стиле, я не такой циник, — говорит о себе Мартен Паж, — но я понял, что сегодня критиковать общество совсем не то же самое, что во времена Флобера. Теперь это уже не опасно и стало просто своего рода литературным кодом, который не нужно воспринимать буквально".

А на вопрос журналиста "Что тебе самому особенно дорого в твоих книгах?" Паж упомянул не темы и не персонажей, а всего лишь несколько фраз, в том числе из романа "Отличный день отличный": "Есть люди, которым дождь никогда не попадает за шиворот, они мне глубоко непонятны".

Как не завидовать их невежеству!
Оскар Уайльд *Преступление лорда Артура Сэвила*[1]

Ob-la-di ob-la-da life goes on bra-la-la...
The Beatles *White Album*[2]

АНТУАНУ всегда казалось, что он живет по-собачьи — год за семь. Еще в детстве, в семь лет, он чувствовал себя потрепанным жизнью, словно ему было уже под пятьдесят, в одиннадцать утратил последние иллюзии, как семидесятисемилетний старец. Сейчас, в неполные двадцать пять, мечтая обрести наконец покой, Антуан решил упрятать свой мозг в саван глупости. Ему не раз приходилось убеждаться в том, что слово "интеллект" сплошь и рядом означает способность красиво формулировать и убедительно преподносить полную ахинею, а ум человеческий настолько сбился с курса, что порой лучше быть дебилом, нежели записным интеллектуалом. Ум делает своего обладателя несчастным, одиноким и нищим, тогда как имитация ума приносит бессмертие, растиражированное на газетной бумаге, и восхищение публики, которая верит всему, что читает.

Чайник издал одышливый свист. Антуан налил булькающий кипяток в синюю чашку с изображением луны между двух красных роз. Листики чая закружились в бурном водовороте и расправились, придав воде свой цвет и аромат, а пар продолжал подниматься, ввинчиваясь в плоть воздуха. Антуан сел за письменный стол напротив единственного в своей захламленной квартирке окна.

Всю ночь он писал. Подступаясь к теме и так и сяк, испортив немало страниц в большой ученической тетради, он сумел к утру выразить свою позицию в подобающем манифесте. Много недель бился он в поисках иного выхода, пытался нащупать какие-то лазейки и окольные пути. Однако пришлось признать неумолимую истину: во всех его бедах повинен ум. И вот в ту июльскую ночь Антуан, отбросив сомнения и колебания, принял окончательное решение и на всякий случай письменно изложил свои аргументы в пользу отречения от ума. Теоретически записи предназначались для близких, на случай, если он не сумеет вый-

1. О. Уайльд. Избранное / Перев. Д. Аграчева. — М., 1986. *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. Об-ла-ди, об-ла-да, жизнь прекрасна, бра-ля-ля. "Битлз". "Белый альбом" (*англ.*) // Песни "Битлз" / Перев. Н. Голя. — М., 1992.

ти из эксперимента невредимым. Но в первую очередь они были нужны ему самому, чтобы увериться в правильности такого пути: его доводы, развернутые на многих страницах, выглядели как цепь рациональных логических доказательств.

В окно постучала клювом малиновка. Антуан поднял глаза от тетради и в ответ постучал по стеклу ручкой. Он отхлебнул чаю, потянулся на стуле и, запустив руку в не слишком чистые волосы, подумал, что пора разжиться шампунем в ближайшем магазине "Шампьон". Антуан не чувствовал в себе подлинного воровского призвания, для этого ему недоставало бесшабашности, посему он крал лишь то, в чем остро нуждался, например, чуть-чуть шампуня, незаметно выдавливая его в коробочку из-под леденцов. Аналогичным образом поступал он с зубной пастой, мылом, пеной для бритья, отщипывал несколько виноградин или прихватывал горсть черешни; так, обложив скромным налогом торговые центры и супермаркеты, он поддерживал свое существование. На все книги, какие хотелось купить, денег тоже не хватало, поэтому, понаблюдав за работой охранников и контрольных устройств во "Фнаке"[1], он наловчился воровать книги не целиком, а страницу за страницей, воссоздавая их затем в изначальном виде у себя дома, как в подпольном издательстве. Поскольку каждая страница была добыта преступным путем, она приобретала куда большую ценность, чем ее сестры, сброшюрованные фабричным способом и затерянные среди себе подобных; вырванная, похищенная, затем старательно подклеенная, страница становилась священной. Библиотека Антуана насчитывала около двадцати книг в таком уникальном издании.

Уже светало, когда, измученный бессонной ночью, он подошел к заключительной части своей прокламации. На миг застыл в раздумье, покусывая ручку, затем снова склонился над тетрадкой, чуть высунув язык:

"Мало что так бесит меня, как расхожие сюжеты, где герой в конце возвращается к исходному положению, да еще оказывается в выигрыше. Он рискует жизнью, попадает во всевозможные переделки, но в финале приземляется на все четыре лапы. Я не желаю играть в эти игры и делать вид, будто мне неизвестно, чем все кончится. Я отлично знаю, что путешествие в глупость непременно превратится в гимн уму. Это будет моя маленькая личная "Одиссея": после бесчисленных испытаний и опасных приключений я вернусь на Итаку. Я уже чувствую запах узо и долмы. Было бы лицемерием не сказать того, что с самого начала известно всем: герой останется жив и выйдет из всех передряг окрепшим и возмужавшим. Развязка, искусно подстроенная, но кажущаяся естественной, преподнесет урок типа: "Ум хорошо, а счастье лучше". Что бы мы ни говорили, что бы ни делали, мораль всегда где-то пасется на лугах нашей биографии.

Сегодня четверг, девятнадцатое июля, солнце наконец решилось покинуть свое укрытие. Мне бы очень хотелось, когда эта авантюра закончится, сказать, как Джокер из "Цельнометаллической оболочки"[2]: "У нас дерьмовый мир, но я жив и не боюсь ничего".

Антуан отложил ручку и закрыл тетрадь. Глотнул чаю, но оказалось, что чай остыл. Он потянулся и снова разогрел чайник на походной газовой

1. Сеть книжных магазинов во Франции.
2. "Цельнометаллическая оболочка" – фильм С. Кубрика (1987).

плитке, стоявшей прямо на полу. Малиновка опять постучала в стекло. Антуан открыл окно и насыпал на подоконник горсть семечек.

***

Семья Антуана — точнее, одна ее ветвь — происходила из Бирмы. Дед с бабкой по отцовской линии в тридцатые годы приехали во Францию, двигаясь по стопам великой Шан, восемь веков назад прославившей их род открытием Европы. Шан была авантюристкой с креном в ботанику, изучала чужеземную флору, способы приготовления лекарств, ремёсла, пыталась чертить карты тех краев, где побывала. Пространствовав по миру, она всякий раз возвращалась в родной Паган и рассказывала о своих открытиях любимым родственникам, а также ученым людям. Анората, первый великий повелитель Бирмы, прознал про ее страсть к путешествиям и дал ей средства, чтобы снарядить экспедицию в большой незнакомый мир. Долгие месяцы Шан со своими спутниками носилась по морям и заблудилась столь основательно, что добралась до Нового Света — Европы. Переплыв Средиземное море, они высадились на юге Франции, затем по суше достигли Парижа. Они дарили туземцам стеклянные побрякушки, наряды из второсортного шелка и заключали торговые сделки с вождями белых племен. Шан вернулась на родину с триумфом, была щедро награждена за грандиозное географическое открытие и окончила дни в почете и богатстве. Среди смут и кровопролитий XX века дед и бабка Антуана решили отправиться по маршруту своей знаменитой прародительницы в надежде, что судьба будет к ним столь же благосклонна. В результате их занесло в Бретань, где они и осели в начале тридцатых, а в сорок первом создали знаменитый отряд Сопротивления "Франтирёры и партизаны Бирмы". Они постепенно прижились, научились говорить по-бретонски и — с куда большим трудом — любить устрицы.

Мать Антуана, инспектор Министерства окружающей среды, была бретонкой; отец, бирманец, ходил в море на траулере и делил жизнь между страстью к кулинарии и рыбацким промыслом. В восемнадцать лет Антуан покинул своих любящих, беспокойных родителей и уехал в Париж с намерением выйти в люди. В детстве он мечтал быть Багзом Банни, в более зрелом возрасте — Васко да Гамой. Консультант по профориентации предложила ему, однако, выбрать профессию, фигурирующую в списках Министерства образования. Университетский путь Антуана соответствовал разветвленному лабиринту его увлечений, причем увлечения он постоянно открывал для себя все новые и новые. Он никогда не мог понять произвольного разделения факультетов: посещал лекции, которые было интересно слушать, — безразлично, по каким предметам, — и совершенно игнорировал те, где преподаватели оказывались не на высоте. В итоге он наполучал кучу несочетаемых дипломов[1], благодаря беспорядочному набору обязательных дисциплин и спецкурсов, по которым сдавал экзамены.

Друзей у него было мало, ибо он страдал той формой асоциальности, которая возникает от чрезмерной терпимости. Широта его собственных вкусов и пристрастий закрывала для него доступ в группы, сплотив-

1. Во французских университетах дипломы выдаются по завершении отдельных курсов, а также циклов обучения (по 2 или 3 года каждый). Наличие у человека даже нескольких промежуточных дипломов не означает законченного высшего образования.

шиеся на основе отторжения чего-либо. Он остерегался единодушия, замешенного на ненависти, и именно его любознательность и открытость, для которой не существовало ни границ, ни кланов, делали его чужим в родной стране. В мире, где общественное мнение втиснуто в рамки анкет, предлагающих выбор между "да", "нет" и "затрудняюсь ответить", Антуан не желал ставить галочку ни в одной из граф. Высказаться "за" или "против" было в его понимании недопустимым упрощением сложнейших проблем. К тому же он отличался застенчивостью, за которую держался, как за последний якорь детства. Человеческая натура, считал он, настолько удивительна и богата, что надо обладать поистине непомерным самомнением, чтобы не робеть хоть чуть-чуть перед другими людьми, перед тем неизведанным и непознаваемым, что таится в каждом. Был момент, когда он чуть не отринул свою драгоценную застенчивость и не пошел на контакт с теми, кто презирает вас, если вы не умеете их подмять, но совладал с собой и застенчивость уберег — как оазис своеобразия личности. Он набил немало шишек, но его это не закалило: он ухитрился сохранить обостренную чувствительность, которая, как шелк фениксовых перьев, возрождалась всякий раз еще более чистой, после того как ее старательно убивали. Вдобавок, хотя он — с полным на то основанием — верил в себя, он все-таки старался не слишком себе доверять и не слишком быстро с самим собой соглашаться, зная, как слова, изобретаемые нашим умом, порой услужливо вводят нас в заблуждение.

Прежде чем прийти к решению стать дураком, дабы облегчить таким образом свою участь, Антуан перепробовал немало других способов интеграции.

И первая его попытка, пусть неуклюжая, была полна искренних надежд.

Антуан никогда в жизни не брал в рот спиртного. Даже если ему случалось порезаться, поцарапать руку или ногу, он, как истинный трезвенник, отказывался продезинфицировать ранку спиртом, предпочитая бетадин или меркурохром.

Дома не пили ни вина, ни аперитивов. До какого-то времени Антуан с подростковым максимализмом презирал всех, кто нуждался в продуктах брожения или перегонки, чтобы восполнить недостаток воображения или справиться с депрессией.

Однако теперь, видя, сколь туманны и далеки от реальности мысли пьяных, сколь бессвязны их речи и как мало это их беспокоит, более того, как они довольны собой и уверены, будто изрекают великие истины, Антуан решил примкнуть к этому многообещающему моральному движению. Пьянство представлялось ему идеальным способом подавить все поползновения к рефлексии. Стоит только надраться, и думать не захочется, да он просто и не сможет думать: он станет разговорчивым, превратится в красноречивого оратора, мастера витиеватой лирической невнятицы. Ум станет излишним, потеряет ценность и смысл: плывя по воле волн, он может пойти ко дну или достаться на обед акулам — Антуану будет решительно все равно. Беспричинный смех, дурацкие восклицания, любовь ко всем на свете — полная расторможенность. И он, Антуан, будет вместе со всеми танцевать, непринужденно кружиться! Разумеется, он не забывал и об оборотной стороне медали: похмелье, рвота, цирроз печени в перспективе. Плюс зависимость.

Он очень рассчитывал стать алкоголиком. Это настоящее дело жизни! Голова целиком поглощена мыслями о выпивке, а в минуты отчаяния на горизонте всегда есть цель – вылечиться. Он начнет посещать собрания Ассоциации анонимных алкоголиков, рассказывать, как дошел до жизни такой, встретит понимание и поддержку, все будут восхищаться его мужеством и решимостью завязать. Он станет Алкоголиком, то есть человеком, чья болезнь имеет общественное признание. Алкоголиков все жалеют, их лечат, уважают, они окружены человеческой заботой, вниманием врачей. В то время как пожалеть людей умных никому в голову не приходит. Сказать, например: "Он наблюдает за поведением людей и от этого глубоко страдает!" Или: "У меня племянница очень умная. Но она хорошая девушка и делает все, чтобы изжить этот порок навсегда". "Был момент, когда я испугалась, что ты станешь умным". Вот истинно доброжелательное и сочувственное отношение, которого заслуживал бы Антуан, будь мир устроен справедливо. Но, увы, ум – это несчастье в квадрате: он причиняет страдания, но никто не рассматривает его как недуг.

В положении Антуана стать алкоголиком значило бы подняться по общественной лестнице. Он приобрел бы болезнь всем понятную, уважаемую, имеющую очевидную для всех причину и апробированные методы лечения; лечения от ума не существует. И если мысль ведет к изоляции от общества вследствие неизбежного дистанцирования наблюдателя от своего объекта, то пьянство, напротив, сближает нас с миром, помогает найти в нем место. И вообще, мечта полностью интегрироваться в общество – если это не происходит само собой – может возникнуть только у пьяного. Во хмелю он утратит скептическое отношение к людским игрищам и сможет спокойно к ним присоединиться.

Не имея ни малейшего практического опыта по этой части, Антуан не знал, как вступить на избранный путь. Следует ли сразу брать быка за рога и ежедневно надираться до полного свинства или начать с малого и погружаться в омут постепенно?

Натура взяла свое. Ноги, движимые живейшей любознательностью, сами понесли Антуана в муниципальную библиотеку, в двух шагах от его дома в Монтрёе: он хотел стать алкоголиком не абы как, а культурно, подойти к делу грамотно и прежде всего досконально узнать свойства яда, который его спасет. Он долго рылся на полках и отобрал около десятка книг – под благосклонным взглядом библиотекаря, воображавшего себя интеллигентным человеком только потому, что плохо одет. Библиотекарь знал Антуана в лицо, ибо его уже четыре раза объявляли читателем года. Несмотря на все протесты заинтересованного лица, которому претил культурный эксгибиционизм, библиотекарь ежегодно вывешивал в зале увеличенную копию его читательского билета с жирной подписью "Читатель года". Бред какой-то.

На выдаче Антуан предъявил "Всемирную энциклопедию крепких напитков", "Исторический справочник спиртных напитков", иллюстрированные издания "Крепкие напитки & вина", "Знаменитые алкогольные напитки", "Азбука алкоголя" и т. д. Библиотекарь все записал и воскликнул:

– Ну и ну! Мои поздравления! Вы побили прошлогодний рекорд. Пишете научную работу по спиртным напиткам?

– Нет, я... как бы вам сказать... собрался спиться. Но перед этим решил ознакомиться с предметом.

Библиотекарь несколько дней ломал голову над тем, что бы это значило, а потом погиб при невыясненных обстоятельствах, раздавленный группой немецких туристов под Эйфелевой башней.

Три дня Антуан с увлечением читал, делал выписки, конспектировал и наконец, сочтя, что более или менее овладел темой, стал перебирать в уме знакомых, соображая, есть ли среди них алкоголики со стажем, которые провели бы с ним несколько практических занятий. Тут требовался человек ученый, серьезный, какой-нибудь профессор винно-водочных наук, Платон ликеров, Эйнштейн кальвадоса, Ньютон водки, Мастер Йода[1] виски. Среди близких и дальних родственников, соседей и сослуживцев он в процессе поисков выявил католиков, трудоголиков, одного барона, даму, сдвинутую на кроссвордах, пукальщика-виртуоза, наркомана, сидящего на героине, членов разных политических партий и людей, страдающих прочими отклонениями. Но алкоголиков — ноль.

Метрах в пятидесяти от его дома имелся бар под названием "Капитан на суше". Туда-то он и решил отправиться на разведку.

Он захватил книги и тетрадь — записывать результаты своих опытов и всякие интересные новые сведения, которые надеялся добыть. Когда он вошел, над дверью звякнул колокольчик, но никто даже не взглянул в его сторону. Он осмотрел посетителей, прикидывая, кто из них мог бы стать его учителем. Было полдевятого утра, но народ уже бодро выпивал. В зальчике сидели одни мужчины, несколько молодых, но в основном старше сорока, в трудноопределимом возрасте забулдыг. Их жизнь явно не располагала к сильным и здоровым страстям, отчего приходилось тратить скромную зарплату на концентрированный напиток счастья.

Бар был как две капли воды похож на тысячи таких же баров: цинковая стойка, ряды бутылок, выстроившихся на полках, словно солдаты секретных подразделений, несколько столиков, старый музыкальный автомат. А главное — характерная, навсегда въедающаяся в память смесь запахов дыма, кофе, спиртного и моющих средств, которая делает земляками всех пьяниц мира.

Перед сидевшим за стойкой мужчиной в кепарике а-ля Гаврош стояло одиннадцать стаканов с разного цвета напитками. Антуан сразу смекнул, что это специалист. Он робко положил книжки на стойку. Мужчина не удостоил его взглядом и опустошил первый стакан. Сверившись с иллюстрациями в энциклопедии, Антуан определил названия напитков и перечислил их по очереди, указывая на каждый стакан пальцем:

— Портвейн, джин, красное вино, кальвадос, виски, коньяк, пиво светлое, "Гиннес", "кровавая Мэри", а это, конечно, шампанское. Красное — вероятно, бордо, а вы только что выпили пастис.

Человек в кепарике подозрительно поглядел на Антуана. Но, увидев перед собой безобидного всклокоченного мальчишку, улыбнулся.

— Неплохо, — кивнул он. — Разбираешься, орел. — И залпом проглотил виски.

— Спасибо, месье.

— Узнаёшь горючее в лицо? Оригинальное искусство, хотя не понимаю, на кой черт оно нужно. На бутылках все написано.

1. Мастер Йода — один из героев киноэпопеи Д. Лукаса "Звездные войны".

— Да нет, — сказал Антуан, поводя головой и незаметно отворачиваясь, чтобы не нюхать перегар. — Я читаю книги про напитки, чтобы узнать разницу в приготовлении, что из чего делается... Хочу все это освоить.

— Зачем? — с улыбкой бросил мужчина, опустошив стакан с джином.

— Собираюсь стать алкоголиком.

Мужчина закрыл глаза и стиснул в руке стакан; пальцы хрустнули, стекло заскрипело. Стал слышен уличный гул, шум машин, обрывки разговоров на тротуаре. Мужчина глубоко вдохнул и осторожно выдохнул. Потом снова открыл глаза и протянул Антуану руку. Он опять улыбался.

— Меня зовут Леонар.

— Очень приятно. А меня — Антуан.

Они обменялись рукопожатием. Леонар смотрел на Антуана с веселым любопытством. Рукопожатие затягивалось. Антуан осторожно отнял руку.

— Хочешь стать алкоголиком... — пробормотал Леонар. — Лет двадцать назад я бы решил, что ты мне мерещишься, но чем больше я пью, тем чаще мои глюки оказываются реальностью. Значит, надумал стать алкашом и для этого набрал в библиотеке книжек. Нормально.

— Книжки — это чтобы... Я не хочу спиваться как попало. Меня это действительно интересует: разные виды напитков, водка, ликеры, вина — это же целый мир! Алкоголь связан с историей человечества и насчитывает больше приверженцев, чем христианство, буддизм и ислам вместе взятые. Сейчас я читаю потрясающее эссе Рэймона Дюме[1] на эту тему...

— Будешь столько читать, никогда не сопьешься, — флегматично заметил Леонар. — Это дело требует самоотдачи, ему надо посвящать много часов в день. Это вид спорта, я бы сказал, олимпийский. Не думаю, парень, что у тебя получится.

— Послушайте, не хочу показаться нескромным, но... короче, я свободно говорю по-арамейски, научился чинить двигатели военных самолетов времен Первой мировой войны, собирать мед, менять памперсы соседской собаке, а в пятнадцать лет выдержал целый месяц в гостях у дяди Жозефа и тети Миранды. Так что с вашей помощью, полагаю, я сумею стать и алкоголиком. Я волевой человек.

— С моей помощью? — вежливо удивился Леонар. Он устремил взгляд в бокал с шампанским, где весело бежали к поверхности пузырьки, и засмеялся.

— Да-да. Я изучил теорию, но у меня нет никакой практики. А вы явно профессионал.

Антуан указал на строй стаканов на стойке. Леонар отхлебнул коньяку и несколько секунд держал его во рту. Щеки его порозовели. Хозяин бара протер стойку тряпкой и убрал пустую посуду. Леонар сдвинул брови.

— А кто тебе сказал, что у тебя есть способности? Думаешь, алкашом так просто стать? Захотел и начал бухать? Да я знаю людей, которые всю жизнь не просыхают, а алкоголиками не делаются. А ты... возомнил, будто у тебя талант? Приходишь и заявляешь этак запросто: хочу, видите ли, алкоголиком стать, как будто это твое гражданское право! Вот что я тебе скажу, парень: выпивка сама выбирает, это она решает, кому быть пьяницей, а кому не быть.

1. Рэймон Дюме (1916–1999) — французский романист и эссеист, автор книг о путешествиях, винах, гастрономии и т. п.

Антуан сокрушенно пожал плечами: он, разумеется, никогда не имел наглости полагать, будто это легко, потому и пришел искать наставника. Леонар отбрил его, в точности как старый морской волк, которому неопытный зеленый юнец заявляет, что собирается выйти в море. Болтаясь все детство в бретонских портах, Антуан хорошо знал эти интонации и понимал: истинные мастера гордятся своим искусством и относятся к нему ревниво.

— Мне жаль, что у вас сложилось такое впечатление, месье Леонар. Я сознаю, что неопытен и совершенно не знаю, есть ли у меня способности. Я только прошу вас мной руководить. Вы могли бы взять надо мной шефство...

— Что ж, готов попытаться, сынок, — ответил польщенный Леонар. — Но гарантировать ничего не могу. Если у тебя нет жилки... Не каждому это дано, тут происходит естественный отбор. Печально, но такова жизнь. Поэтому не злись на меня, если останешься за бортом. Значит, это не твой корабль, придется искать другие.

— Понимаю.

Леонар колебался между "кровавой Мэри" и стаканом "Гиннеса". Выбрал пиво. На его седой бороде остались клочки пены, и он вытер их рукавом темно-синей куртки.

— Ладно. Но сначала задам тебе несколько вопросов. Что-то вроде вступительного экзамена.

— Отборочный тест?

— Тут, понимаешь, требуются кое-какие условия, это тебе не шутки шутить...

— Хорошо хоть права́ получать не нужно, — усмехнулся Антуан, пожимая плечами.

— А следовало бы! Некоторых, например, сразу развозит, они избивают жену и детей, черт-те как водят машину и участвуют в выборах... Государству следовало бы позаботиться о подготовке алкоголиков в масштабе страны, проводить соответствующий инструктаж, чтоб каждый знал свою норму, индивидуальные отклонения в восприятии времени и пространства, а также собственной персоны... Это как в море: прежде чем нырять, желательно удостовериться, что умеешь плавать.

— В данном случае, — заметил Антуан, — скорее надо удостовериться, что я сумею пойти ко дну.

— Именно. Вот я и хочу узнать, есть ли у тебя плавники, чтобы уйти на глубину. Ну, посмотрим... Первый вопрос: почему ты решил вступить на этот путь? Для меня принципиально важно знать, что тобой движет.

Антуан потер лоб и задумался. Он оглядел других посетителей и нашел, что они великолепно вписываются в обстановку бара. Особого сходства между ними не имелось, но отчетливо просматривалось какое-то родство, словно все они были сотканы из одной и той же унылой субстанции.

— Человек спивается из-за уродства и удручающей пустоты той жизни, которую нам навязывают.

— Это что, цитата?

— Да, из Малькольма Лаури.

— Слушай, парень, ты когда покупаешь хлеб, декламируешь булочнику Шекспира? "Круассаны или булочки с шоколадом — вот в чем вопрос!" Я предпочел бы, чтоб ты говорил от себя, а не ссылался на авторитеты, провались они пропадом. Если хочешь знать мое мнение, то сыпать цитатами

слишком легко, потому что на свете столько великих писателей и они столько всего умного сказали, что самому вроде как и напрягаться не стоит.

— Ладно, тогда так: я нищий, у меня нет будущего... Но главное, я слишком много думаю и ничего не могу с собой поделать, все время все анализирую, пытаюсь понять, на чем держится и как работает весь этот бардак, меня убивает, что мы со всех сторон повязаны и за каждую свободную мысль, за каждый свободный поступок получаем по голове, причем очень больно.

— Э, парень, да ты поэт! Хочешь сказать, что у тебя депресуха...

— Это мое обычное состояние, я из депрессии не вылезаю уже двадцать пять лет.

Леонар дружески хлопнул Антуана по плечу. Вошел новый клиент и сел за столик, где играли в карты. Он заказал кофе и стакан кальвадоса. Хозяин включил радио, чтобы послушать девятичасовые новости.

— Знаешь, а ведь выпивка тебе не поможет! Не надейся. Она снимет боль от твоих нынешних шишек и синяков, но наставит тебе новых, может, еще и похуже. Ты не сможешь обходиться без нее, и даже если поначалу она будет вызывать у тебя эйфорию, то это быстро пройдет, останется зависимость и похмелье. Будешь жить как в тумане, ничего не соображая, потом пойдут глюки, агрессия, белая горячка, станешь бросаться на людей. Дальше — распад личности...

— Вот этого-то я и хочу! — воскликнул Антуан, стукнув кулаком по стойке. — Я больше не могу быть собой, у меня не осталось ни сил, ни желания иметь то, что называется индивидуальностью. Индивидуальность — роскошь, которая слишком дорого мне обходится. Я хочу быть привидением, заурядным призраком. Хватит с меня свободы мышления, знаний, этой моей чертовой совести!

Опустошив стакан портвейна, Леонар скривился. Он сидел задумчиво, с поднятым стаканом, и смотрел на себя в зеркало, наполовину скрытое бутылками. По мере того как стаканы перед ним пустели, он все больше наваливался на стойку, глаза заметно сузились, зато руки уже почти не тряслись, а движения становились все более непринужденными, широкими и плавными. В качестве последнего экзаменационного вопроса Леонар попросил Антуана угадать, зачем он выстроил перед собой одиннадцать стаканов с разными напитками.

— Чтобы ни одному из них не было обидно? — тотчас ответил Антуан.

— Чтобы ни одному не было обидно... — пробормотал Леонар, усмехаясь и легонько постукивая стаканом по стойке. — А поточнее?

— Мне кажется, вы таким образом воздаете должное в равной мере всем видам выпивки. У вас нет специального пристрастия к пиву или к шотландскому виски, никакого сектантства: вы любите спиртное во всех его ипостасях. Вы влюблены в Алкоголь с большой буквы.

— Я никогда это так для себя не формулировал, но... да, пожалуй. Антуан, Антуан... Кажется, у тебя есть-таки дар, природа в своем безграничном милосердии, похоже, наделила тебя нужным талантом. Но предупреждаю как честный человек: неприятностей ты не оберешься. Будешь регулярно блевать, маяться животом, во рту будет горечь. Наживешь мигрени всех видов, ломоту в затылке, в костях, в мышцах, частые поносы, гастриты, язву, проблемы со зрением, бессонницу, приливы крови к голове, приступы страха. За каплю утешения и тепла выпивка наградит тебя кучей болячек, и надо, чтобы ты отдавал себе в этом отчет.

Вошли еще двое. Они пожали руку хозяину, поздоровались с Леонаром. Потом сели за столик в глубине зала, закурили трубки и, попивая пиво, углубились в чтение "Монда", обмениваясь страницами. Антуан посмотрел на Леонара своими чистыми глазами: он был по-прежнему спокоен и непоколебимо тверд в своем решении. Он запустил руку в волосы и взлохматил их.

— Это именно то, к чему я стремлюсь. Мне нужны другие муки, реальные, пусть я буду расхлебывать последствия собственных действий. Пусть причиной моих страданий будет пьянство, а не истина. Мне милее болезнь, заключенная в бутылке, нежели некий нематериальный и всесильный недуг, для которого не существует медицинского названия. Я буду знать, что и отчего у меня болит. Выпивка будет занимать мои мысли, наполнит каждое мгновение жизни, как рюмку...

— Ладно, идет, — сказал Леонар, погладив бороду. — Согласен преподать тебе высокую науку пьянства. Но я строг и заставлю тебя попотеть. Тебя ждет долгое ученичество, почти аскеза.

— Спасибо, огромное спасибо, — воскликнул Антуан, пожимая сухую шершавую руку благородного хроника.

Леонар щелкнул пальцами, подзывая бармена, который читал "Паризьен" возле кассы, на другом конце стойки:

— Роже, бочковое для мальчика.

Хозяин поставил перед Антуаном кружку.

— Спасибо. Начнем с малого. Это пятиградусное пиво, оно проскочит легко, надо для начала приучить молодую печень. Алкоголиками не становятся, киряя раз в неделю по субботам, тут нужно упорство и постоянство. Пить регулярно, не обязательно что-то крепкое, но с надлежащей серьезностью и прилежанием. Большинство людей спиваются бессистемно, хлещут виски, водку в огромных количествах, так что им делается худо, потом оклемываются и снова пьют. Я считаю, Антуан, что это кретинизм. Кретинизм и любительщина! Есть куда более совершенные способы приобрести зависимость — с помощью искусного сочетания применяемых доз и градуса.

Антуан смотрел на огромную кружку пива, увенчанного белой шапкой пены: сквозь него все казалось золотистым. Леонар снял кепку и напялил на Антуана.

— Пей давай, не бойся, это не водка.

— Залпом? — робко спросил Антуан. — Или маленькими глоточками?

— Это уж тебе решать. Если вкус понравится и ты не хочешь забалдеть слишком быстро, пей по чуть-чуть, наслаждайся. А если покажется, что гадость, давай залпом.

Понюхав золотистую жидкость и испачкав нос в пене, Антуан немного отхлебнул. От первого глотка его скривило, но он продолжал пить.

Через пять минут к бару подкатила "скорая". Двое санитаров вбежали внутрь и вынесли на носилках бесчувственного Антуана в состоянии алкогольной комы. Его кружка на стойке была пуста лишь наполовину.

***

Короче, спиться не получилось. Идиосинкразия к чудодейственному лекарству от жизни вынуждала искать другое, и Антуан решил покончить с собой. Пьянство воплощало для него последнюю надежду быть членом общества, самоубийство — последний способ быть причастным ми-

ру. Великие люди, которыми он восхищался, нашли в себе мужество сами назначить час своей смерти: его любимая Вирджиния Вулф, обожаемый Сенека, Хемингуэй, Ги Дебор[1], Катон Утический, Сильвия Плат, Демосфен, Клеопатра, Лафарг...

Что еще делать, когда жизнь превратилась в сплошную пытку? Ему больше не доставляло удовольствия смотреть, как занимается день, тоска и досада наполняли каждый миг его существования, отравляя даже то немногое, что еще оставалось в нем приятного. Не ощущая себя вполне живым, он не боялся смерти. Его даже радовала перспектива обрести в собственной гибели единственное действительно неопровержимое доказательство, что он побывал на этом свете. Чудовищное качество пищи, которой его кормили с тех пор, как он попал в больницу, окончательно убедило его положить конец земным страданиям.

Антуана доставили в реанимацию больницы "Питье-Сальпетриер", несмотря на наличие в его бумажнике ламинированной карточки, где было черным по белому написано, что он жертвует свои органы на медицинские нужды в случае мозговой смерти и при любом раскладе предпочитает сдохнуть под забором, нежели лечиться в "Питье-Сальпетриер". Дело в том, что именно в этой больнице был особенно велик риск столкнуться нос к носу с дядей Жозефом и тетей Мирандой. У Антуана был мягкий, уживчивый нрав, но их он не переносил совершенно, впрочем, их не переносил никто. Не то чтобы встреча с ними грозила какой-то реальной опасностью, нет, но они имели свойство без конца жаловаться, кричать и устраивать невесть что из-за любого пустяка. Пообщавшись с ними, несколько милейших буддистов вступили в военизированную милицию. Каждая поездка дяди Жозефа и тети Миранды за границу приводила к дипломатическим инцидентам. Им был запрещен въезд в Израиль, Швейцарию, Нидерланды, Японию и Соединенные Штаты. ИРА, ЭТА и "Хезболлах" выпустили специальные коммюнике, оповестив мировую общественность о том, что в случае появления на контролируемой ими территории этих двоих они будут немедленно казнены. Официальные власти соответствующих государств не сделали никаких заявлений, из коих следовало бы, что они собираются этому воспрепятствовать. Быть может, когда-нибудь военные найдут способ использовать разрушительный потенциал этой парочки, если ядерное оружие окажется недостаточно эффективным. Дядя Жозеф и тетя Миранда уже много лет подряд жили в больнице, меняя только отделение и этаж — по мере появления новых болезней, порождаемых их злобной ипохондрией. Они кочевали из урологии в аллергологию, из ангиологии в гастроэнтерологию с заездами в отоларингологию, стоматологию, дерматологию, эндокринологию... Так они путешествовали по корпусам и палатам, как по неизвестным странам, упорно избегая двух областей медицины, от которых действительно могла бы быть польза и им, и человечеству, — психиатрии и патанатомии.

Тщетно молил Антуан медсестер вычеркнуть его имя из больничных списков, чтобы избежать неотвратимого явления тети и дяди. Решение покончить с собой пришло, когда он, уже слегка оправившись и сидя на койке, пытался есть из баночки яблочное пюре с комками.

1. Ги Эрнест Дебор (1931—1994) — французский литератор и философ леворадикального направления.

Друзья Антуана — Ганджа, Шарлотта, Асли и Родольф — пришли его навестить. Ганджа, бывший соученик по биофаку, сама доброта и тишайший человек в мире, уже много лет неутомимо лечил Антуана от хандры, готовя ему отвары из каких-то загадочных трав, скрашивавшие их вечера. Они играли в шахматы несколько раз в неделю на верхотуре в обсерватории Сорбонны или просто шлялись по улицам и болтали. Антуан понятия не имел, чем Ганджа занимается, а тот старательно обходил эту тему, но денег у него было полно и часто именно он платил за совместные трапезы. Шарлотта, бывшая соседка Антуана, работала переводчицей в каком-то издательстве. Она страстно мечтала родить ребенка, но, будучи лесбиянкой, ни за что не хотела зачать его естественным способом. Поэтому подруга-врач периодически устраивала ей искусственное осеменение. Чтобы повысить шансы забеременеть, после каждой такой процедуры Антуан водил ее на Тронную ярмарку или в луна-парк и часами катал на аттракционах. Это был не вполне научный метод, но Шарлотта считала, что тряска и сила вращения помогут строптивым сперматозоидам попасть куда надо. Родольф, коллега по факультету и вечный противник в спорах, был на два года старше Антуана и вел спецкурс по философии под интригующим названием "Кант, или Абсолют мысли". Законченный продукт университетской системы, он мог рассчитывать года через два на штатную должность, через семь стать профессором и умереть всеми забытым лет через шестьдесят, оставив научные труды, которые окажут влияние на многие поколения мышей. Объединяло и сближало Антуана и Родольфа то, что они никогда и ни в чем не были друг с другом согласны. Их последний спор касался мышления. Родольф, верный раб науки, утверждал, что чистый акт мышления совершается просто по его, Родольфа, воле, всемогущей и абсолютно свободной. Антуан хихикал и напоминал о случайностях, о самых разных обстоятельствах, влияющих на всякого человека. Но Родольф явно полагал, что философ не мокнет под дождем, поливающим простых смертных. Словом, Антуан воплощал сомнение, а Родольф — уверенность, причем каждый перегибал палку на свой лад. И, наконец, лучшим другом Антуана был Асли, но о нем речь пойдет позже.

Придя к Антуану в больницу, Ганджа принес отвар, Шарлотта — цветы, Асли — полутораметровую карликовую пальму в кадке, а Родольф посетовал, что Антуан не подключен к аппарату искусственного дыхания, который бы он с удовольствием отключил.

Трогательное участие друзей не поколебало намерения Антуана: он решил — впервые в жизни — поступить как эгоист и не влачить земное существование только ради того, чтобы не огорчать близких людей.

Антуан лежал в палате не один, с ним соседствовало некое человеческое существо — точнее выразиться он бы не мог. Он не знал, женщина это или мужчина, не имел даже представления о его возрасте, по той простой причине, что существо было с ног до головы замотано бинтами, как египетская мумия. Но под этим белым саваном теплилась жизнь, ибо однажды существо вдруг произнесло женским голосом, тембр которого исключал любые ассоциации с Долиной царей:

— Не сомневайтесь, я выкарабкаюсь. Я и на этот раз выкарабкаюсь.

— Что, простите? — спросил Антуан, приподнимаясь на кровати.

— Вы тут с чем лежите?

— Алкогольная кома.

— О, я испробовала и это, — весело ответила женщина без должного сочувствия. — Было неплохо. Что вы пили? Водку? Виски?

— Пиво.

— Сколько литров?

— Полкружки.

— Полкружки? Рекорд! Вам это легко далось.

— Я вовсе не ставил перед собой такой цели, я хотел честно спиться, но вышел облом. Теперь думаю попробовать самоубийство. Тут у меня есть все шансы.

— Не заблуждайтесь: нет ничего труднее, чем покончить с собой. В тысячу раз легче сдать экзамен на бакалавра, пройти конкурс на должность инспектора полиции или на агреже[1] по филологии. Результативность самоубийств равна примерно восьми процентам.

Антуан сел и спустил ноги на пол. Бледное солнце заползало под планки жалюзи и чертило полоски света на стенах, выкрашенных в тоскливый цвет болезни. Друзья заходили к Антуану несколько часов назад, но никто не навещал его соседку.

— Вы пробовали покончить с собой? — спросил Антуан.

— Как видите, — саркастическим тоном ответила она. — И неудачно.

— Первая попытка?

— Я давно бросила считать попытки, это вгоняет меня в уныние. Я уже все перепробовала. Но каждый раз что-то или кто-то не давал мне спокойно умереть. Когда я топилась, меня героически спас какой-то самоотверженный придурок. И умер сам через несколько дней от пневмонии. Кошмар, правда? Я решила повеситься и повесилась, но оборвалась веревка. Тогда я выстрелила себе в висок, но пуля прошла насквозь, не затронув мозг и не повредив ничего жизненно важного. Потом я проглотила две упаковки снотворного, но там оказалась ошибка в дозировке и я просто проспала три дня. Три месяца назад я наняла киллера, чтобы он меня прикончил, но этот идиот все перепутал и убил мою соседку. Ужасная невезуха! Раньше я хотела покончить с собой от отчаяния, а теперь — из принципа.

В просвете между бинтами виднелись только ее глаза, блестевшие как изумруды на белой подушечке футляра. Антуан поискал в них выражение печали, но нашел лишь досаду.

— Хотите знать, из-за чего я в таком виде? — спросила она. — Не стесняйтесь, нормально, что человеку интересно, почему я так упакована. Я бросилась с Эйфелевой башни, с третьего уровня. Это ведь был верняк, правда? Так нет же, именно в тот момент группа немецких туристов в шортах столпилась внизу, чтобы сфотографироваться на память.

— Вы упали прямо на них?

— Да, и всех передавила. Они самортизировали мое падение. Меня даже подбросило вверх, причем несколько раз. В итоге у меня переломаны почти все кости, но болван врач говорит, что через полгода я буду на ногах!

Тишина, словно бабочка, раскрыла свои большие хрупкие крылья. Солнце исчезло, сменившись дождем и серятиной. Стоявший за окном июль явно исполнял партию марта.

1. Агреже — во Франции звание преподавателя высокой квалификации, которое присваивается по результатам общенационального конкурса.

— Наверно, вам лучше завязать с самоубийствами, а то это может плохо кончиться. Попробуйте... не знаю... пообщаться с людьми, послушать альбом группы "Clash"[1], влюбиться...

— Да что вы понимаете! — возмутилась она. — Как раз от любви я и кончала с собой, а если я опять полюблю кого-то безответно, мне захочется сдохнуть дважды. А потом, самоубийство — мое призвание, моя страсть с детства. Что ж получится, если я умру в девяносто лет естественной смертью?

— Даже не знаю, трудно сказать.

— Но этого не случится, я не допущу такого унижения. Я ем что попало, жареное, копченое, жру мясо тоннами, много пью, курю по две пачки в день... Как по-вашему, это можно считать формой самоубийства?

— Конечно, — с готовностью поддержал Антуан. — Главное — намерение. Но не думаю, что, если вы умрете от рака легких, это будет приравнено к самоубийству в статистических сводках, они мотивацию не учитывают.

— Не волнуйтесь, больше у меня промашки не будет.

Соседка поведала Антуану, что в мэрии XVIII округа на доске объявлений, где вывешены списки разных кружков и лекций, она обнаружила между школами йоги и керамики курсы самоубийц. Антуан, не имевший в этой области никакого опыта и не желавший потерять на неудачные попытки бесценные годы, которые мог бы провести на том свете, ловил каждое слово. Она собиралась, как только поправится, пойти на эти курсы и прилежно учиться, чтобы взяться за дело по науке. Она продиктовала Антуану номер телефона.

Тут дверь распахнулась, и в палату ворвались, визжа и бурно жестикулируя, два сумчатых черта[2] — дядя Жозеф и тетя Миранда, — которые тут же набросились на несчастного Антуана. Они все-таки сначала спросили, как он себя чувствует и как поживают родители, но очень скоро перешли к тому, что заботило их по-настоящему, а именно к собственным несчастьям. Дядя Жозеф рассказал Антуану, равно как и его соседке — похоже, в этот момент она больше, чем когда-либо, сожалела о существовании в мире немецких туристов, — что он недавно перенес операцию на селезенке и что хирург — это ясно как дважды два — вместо его селезенки вшил ему чужую. Дядя потребовал, чтобы Антуан пощупал ему живот.

— Нашел селезенку? — проговорил он сквозь стиснутые зубы. — Вот здесь, чувствуешь? Это не моя, меня не проведешь, не моя, и все тут!

— Но зачем врачу подменять селезенку, дядя Жозеф?

— Зачем? — вскричал дядя. — Зачем! Объясни ему, Миранда, я не могу! Объясни ему!

— Зачем?! — завизжала тетя Миранда. — Торговля органами!

— Тише! — взмолился дядя Жозеф. — Тише, а то услышат, и бог знает что они тогда с нами сделают. Люди, которые крадут селезенки, способны на все!

— Мы считаем, что здесь действует тайная организация, — зашептала тетя Миранда, хватая Антуана за плечо. — У нас уже собрана масса ко-

1. Группа "Clash" (образована в 1976 г. в Великобритании) — одна из наиболее политически ангажированных панк-групп.
2. Сумчатый черт (другое название — тасманийский дьявол) — хищник из отряда сумчатых; обязан своим названием злобной морде, отвратительным крикам и кровожадности.

свенных улик и доказательств, подтверждающих, что в этой больнице спекуляция органами поставлена на поток.

— Каких доказательств?

— Селезенка! — воскликнул дядя Жозеф. — Моя селезенка! Это разве не доказательство? Они забрали мою великолепную селезенку и толкнули за безумные бабки, а мне вшили старую, дряблую, никудышную...

— Есть еще куча признаков, — сообщила тетя Миранда. — Мы же видим, как переглядываются медсестры и врачи, и эти взгляды выдают их с головой. Они тут все заодно!

Дядя Жозеф и тетя Миранда, оказывается, ходили теперь по палатам и щупали всем животы. Наконец они распрощались и отправились дальше заниматься сыском.

Радуясь, что в палате снова стало тихо, Антуан повернулся к соседке-самоубийце. Но глаза ее были закрыты. Тут вошел врач и индифферентным тоном автомеханика со станции техобслуживания сообщил Антуану, что он выписан.

Прошло несколько дней, прежде чем Антуан решился взглянуть на листок с телефоном школы самоубийц. Над Парижем сияло солнце. Машины извергали выхлопные газы, которые витали в воздухе, словно пыльца новой эры, оседая в легких парижан и осеменяя флору грядущей больной цивилизации. Агония растительности — деревьев, кустов, травы, — безмолвная и незримая для людских глаз, воспринимающих лишь то, что движется, привычно вписывалась в систему городской жизни. Автомобили творили нового человека, у которого не будет ног, чтобы прогуливаться по асфальтированным дорогам своей мечты, а будут одни колеса.

У Антуана не было телефона, поэтому он отправился в автомат на углу. Автомат находился рядом с булочной; запах булочек вытеснял менее приятные запахи улицы. Антуану пришлось подождать, пока кабина освободится.

— Общество СДВИЛС, "Самоубийство для всех и любыми способами", добрый день! — приветствовал его в трубке певучий женский голос.

— Добрый день, э, мне дала ваш телефон знакомая, меня интересуют ваши курсы.

Какой-то клошар приник к вентиляционной решетке булочной. Он достал завернутый в носок черствый кусок хлеба, развернул и стал с наслаждением есть, вдыхая сладкие ароматы венской сдобы, скрашивавшие вкус твердокаменной горбушки.

— В таком случае, месье, советую просто к нам зайти. На этой неделе занятий не будет по случаю великолепного самоубийства профессора Эдмона, который виртуозно повесился, но уже с понедельника мадам Астанавис возобновит занятия. Сейчас скажу расписание. У вас есть чем писать?

— Минутку, минутку... Да, слушаю вас.

— С понедельника по пятницу с 18 до 20 часов. Площадь Клиши, 7. Позвоните в домофон. Мы на первом этаже, там есть указатели.

В следующий понедельник Антуан явился на площадь Клиши по указанному адресу. Среди висевших на двери табличек, где значились врачебные кабинеты, студия актерского мастерства, отделение Ассоциации анонимных алкоголиков, отряд скаутов и штаб некоей политической

партии, он отыскал медную дощечку, где было выгравировано: "Общество СДВИЛС. Основано в 1742 г.". Антуан нажал на кнопку, повелев тяжелой двери открыться. Повинуясь указателям, он проследовал по коридору и вошел через двустворчатую дверь в продолговатую комнату с большими окнами.

Там уже собралось человек тридцать. Некоторые сидели и читали или просто ждали, остальные же оживленно беседовали, разбившись на небольшие группы. Квартет играл Шуберта. Главной тут, похоже, была высокая дама в черном смокинге. Она приняла Антуана весьма любезно и назвалась профессором Астанавис. Здесь были и мужчины, и женщины, молодые и старые, всех слоев общества и всех мастей. Они держались спокойно: рылись в сумках, спорили, обменивались какими-то бумагами. Наконец все стали рассаживаться. У большинства были с собой блокноты или тетради. Они ждали начала лекции, приготовив ручку, перешептываясь и приглушенно смеясь.

В помещении было десять рядов по пятнадцать стульев в каждом; в глубине, на эстраде, стоял пюпитр, за которым расположилась профессор Астанавис. Слушатели уже сидели на местах. Все четыре стены были увешаны портретами и фотографиями знаменитых самоубийц: Жерар де Нерваль, Мэрилин Монро, Жиль Делез, Стефан Цвейг, Мисима, Анри Роорда[1], Иэн Кертис[2], Ромен Гари, Хемингуэй и Далида.

В аудитории слышались смех и разговоры, как перед началом любой лекции или урока. Антуан сел в середине, между элегантным мужчиной с неприступным лицом и двумя смешливыми девушками. Профессор Астанавис кашлянула. Воцарилась тишина.

— Дамы и господа, прежде всего позвольте вам сообщить, хотя многие уже наверняка знают, об удачном самоубийстве профессора Эдмона. Он сделал это!

Мадам Астанавис взяла пульт и направила на стену с белой деревянной панелью. На стене возникло изображение мужчины, висящего в петле в гостиничном номере. У него к тому же были вскрыты вены, и кровь оставила два больших черных пятна на бежевом паласе. Когда труп фотографировали, он, вероятно, покачивался, поэтому лицо было слегка смазано. Публика вокруг Антуана захлопала, послышались восхищенные оценки столь виртуозного комбинированного самоубийства.

— Он сделал это! И, как видите, чтобы было наверняка, чтобы обезопасить себя на случай, если веревка не выдержит, вскрыл вены. Я считаю, это заслуживает дополнительных аплодисментов.

Ученики вновь захлопали, повскакали с мест, начали кричать и свистеть. Антуан остался сидеть, с удивлением наблюдая за столь бурным ликованием по поводу смерти человека.

— У нас сегодня появился новый собрат, — сказала профессорша, указывая на Антуана. — Я попрошу вас представиться.

Все повернулись к Антуану. Робея оттого, что придется говорить перед большим скоплением людей, он встал и сразу увидел доброжелательные взгляды и почувствовал молчаливую поддержку аудитории.

— Меня зовут Антуан, мне... двадцать пять лет.

1. Анри Роорда (1870—1925) — швейцарский писатель и публицист, автор ряда работ по проблемам школьного образования, а также книги "Мое самоубийство".
2. Иэн Кертис (1956—1980) — вокалист английской рок-группы "Joy Division".

— Здравствуй, Антуан! — хором приветствовали его собравшиеся.

— Антуан, — спросила профессорша, — ты можешь сказать нам, что тебя сюда привело?

— Моя жизнь катастрофически не удалась, — объяснил Антуан, нервно сжимая и разжимая кулаки. — Но это еще не самое ужасное. Самое ужасное — что я это сознаю...

— И ты решил свести счеты с жизнью, чтобы слиться с покоем небытия, — тихо сказала профессорша, чуть наклонившись вперед.

— В общем, я для жизни, видимо, не гожусь и надеюсь, что смогу состояться в смерти. Наверно, для этого у меня больше данных.

— Я уверена, Антуан, — одобрительно сказала мадам Астанавис, — что из тебя получится поистине великий покойник. Именно для этого я здесь: чтобы научить тебя, чтобы научить *вас*, как покончить с этой жизнью, которая дает нам так мало и отнимает у нас так много. Моя теория... Моя теория заключается в том, что лучше умереть до того, как жизнь отнимет все. Надо сохранить боеприпасы, порох, силы для смерти, а не приходить к ней совершенно беспомощным и опустошенным, как эти несчастные озлобленные старики. Мне все равно, верующие вы, атеисты, агностики или диабетики — меня это не касается. У меня есть некоторые мысли, ими я готова с вами поделиться, но не собираюсь уговаривать вас умереть или объяснять, что́ есть смерть и что есть жизнь. Вы сделали выбор, у каждого свои мотивы, свои резоны. Объединяет нас с вами то, что мы не удовлетворены жизнью и хотим с ней покончить, вот и все. Я научу вас эффективным приемам самоубийства, расскажу, как покончить с собой наверняка, красивым, оригинальным способом. В мой курс входят методы, а причины не мое дело. Тут не церковь и не секта. Вы можете в любой момент расплакаться, возмутиться и бросить эти занятия. Имеете полное право. Можете даже влюбиться в соседа по парте и вновь почувствовать вкус к жизни... Почему бы и нет? Вы будете счастливы какое-то время, пусть даже мы снова встретимся здесь через полгода. Если, конечно, я, на свою беду, еще буду жива.

Несколько человек засмеялись. В ней не было ничего от политического трибуна или религиозного проповедника, и говорила она спокойно, с уверенностью учителя литературы, который объясняет ученикам урок. Держа руки в карманах смокинга, она была столь блистательна в своей строгой простоте, что не нуждалась ни в каких дополнительных эффектах, сценических или риторических.

— Самоубийство порицается. Против него выступают государство, церковь, общество и даже сама природа, ибо эта дама не терпит вольностей по отношению к себе, она жаждет держать нас в своей власти до конца, хочет сама принимать за нас решения. Кто решает, когда человек умрет? Мы отказались от своей высшей свободы, передоверив решение болезням, авариям, преступникам. Люди называют это судьбой или волей случая. Ложь! Это не воля случая, а скрытая воля общества, которое травит нас выхлопными газами, морит в войнах и катастрофах... Общество решает, когда нам умереть, ибо от него зависит качество нашей пищи, состояние окружающей среды, условия, в которых мы работаем и существуем. Когда мы рождаемся, нас не спрашивают, хотим мы этого или нет, мы не выбираем язык, страну, эпоху, свои пристрастия и вкусы, не выбираем себе жизнь. Наша свобода только в смерти: быть свободным значит умереть.

Лекторша отпила воды из стакана. Она замерла, опершись обеими руками на пюпитр. Внимательно осмотрев присутствующих, она кивнула им, словно ее связывала с ними задушевная близость.

— Но все это слова. Они вторичны, к этим мыслям приходишь потом и начинаешь видеть благородство, красоту, законность, оправдание, превосходство... не знаю, да мало ли что... иллюзию некоего абсолюта под названием "смерть" или "свобода", между которыми хочется поставить знак равенства. А правда... моя правда — скажем прямо, я говорю о себе — заключается в том, что я больна. Рак устроил себе в моем теле курорт, нашел райский уголок и проводит там каникулы, купаясь в моей крови, как в океане, и загорая под солнцем моего сердца... Он не нуждается в зонтике, тепловые удары ему не страшны. Он использует свой отпуск, чтобы сжить меня со свету. Я страшно мучаюсь... Вы понимаете, о чем я говорю. Чтобы не корчиться от боли, я вынуждена колоться морфием, накачиваться анальгетиками... — Она вынула из внутреннего кармана коробку с лекарством и показала. — За это я расплачиваюсь дорогой ценой — ценой ясности рассудка. Пока что я в здравом уме, но, скорее всего, ненадолго, поэтому предпочитаю уничтожить себя, еще будучи "собой", не дожидаясь, когда меня, лежащую в бессознательном состоянии на больничной койке, отключат от аппаратов врачи. Это совсем крохотная свобода, ничтожная, жалкая. Но раз вы все здесь, значит, у вас тоже рак — не важно, в организме или в душе, опухоль чувств, любовная лейкемия или социально-коммерческие метастазы. И они вас терзают. Именно это определяет наш выбор, а идея высшей свободы приходит потом. Будем честны: если б мы были здоровы, любимы, как мы того заслуживаем, и уважаемы, и занимали достойное место под солнцем, я уверена, зал этот был бы пуст.

Мадам Астанавис закончила вступительную часть. Все захлопали, обе соседки Антуана от волнения вскочили с мест. Профессор вынула красный цветок из бутоньерки и поставила в стакан с водой.

Следующие полтора часа она читала лекцию. Учила эффективным способам самоубийства. Объясняла, как сделать надежную и элегантную петлю, какие выбирать препараты, в каких дозах и сочетаниях их принимать, чтобы умереть с приятностью. Дала рецепты смертельных коктейлей с красивыми цветовыми оттенками, уверяя, что они восхитительны на вкус. Подробно описала разные виды огнестрельного оружия и их воздействие на черепные кости и разные участки мозга — в зависимости от калибра и расстояния; посоветовала, прежде чем пускать себе пулю в лоб, сделать рентген черепа и точно выяснить, куда приставить дуло, чтоб стрелять наверняка. Продемонстрировала слайды со схемами кровеносных сосудов и объяснила, какие вены на запястье надо перерезать, как именно и с помощью каких инструментов. Она отсоветовала использовать такие ненадежные средства, как газ. Подробно рассказала про самоубийства Мисимы, Катона, Эмпедокла, Цвейга... Все эти ситуационные самоубийства[1], явившие миру свой героический смысл. Закончила она хвалебным словом профессору Эдмону и напомнила, что предпочтительно применять два средства в комплексе: яд и петлю, бритву и револьвер...

1. Отсылка к понятию ситуации у Ж.-П. Сартра, которое предполагает необходимость выбора, причем, как правило, это выбор между жизнью и смертью.

После лекции снова заиграл квартет. Антуан сразу покинул зал, никто даже не успел с ним заговорить... Выходя, он увидел лавку Общества, небольшую, прелестно оформленную под кукольный домик, где вниманию покупателей предлагались брошюры, книги, красивые шелковые веревки, оружие, яды, сушеные бледные поганки, а также все необходимое, чтобы красиво обставить смерть: вина, деликатесы, музыка. Он дошел по авеню Клиши до метро "Ла Фурш"; перед глазами у него все плыло, словно он был пьян. Теперь, когда он постиг искусство самоубийства, утратил невинность дилетанта и приобрел профессиональные познания, он раздумал себя убивать.

Жить Антуан не хотел решительно, но и умирать он тоже не хотел.

***

— Месье, вы никогда не обращали внимания, что размеры, окружность и вес багета соотносятся между собой по принципу золотого сечения? Это же наверняка не случайно!

Булочник кивнул и протянул ему батон из муки грубого помола.

Антуан жил в Монтрёе, предместье Парижа. Асли говорил — в предлесье Парижа. Асли был его лучшим другом. Антуан почти никогда не называл его полным именем, а звал сокращенно — Ас. Асли смеялся, потому что по-самоански — а Асли был самоанец — это звучит примерно как "горная вода".

Ростом Ас был, наверно, выше двух метров, но двигался с пластичностью кита в океане. Он обладал удивительными свойствами, приобретенными благодаря истории, приключившейся с ним в младенчестве.

"Nestlé" обычно тестирует на потребительской выборке новые товары перед их выводом на рынок. Родители Асли жили в чудовищной бедности и записали его на эти тесты, получив в оплату купоны на продукты. Фирма тогда готовилась выпустить новый вид детского питания с увеличенным содержанием витаминов и фосфора. В микроскопических дозах фосфор необходим для здоровья, но на заводе случилась промашка — перепутали случайно миллиграммы с килограммами. Не все дети, на которых проводился эксперимент, умерли, некоторые заполучили рак и прочие интересные болезни. Асли повезло: он отделался мозговыми нарушениями и отклонениями от норм психического развития. Он не был умственно отсталым, но его рассудок избирал какие-то собственные пути, следуя только ему одному ведомой логике. Кроме того, от избытка фосфора в организме Асли светился в темноте. Это было чудо как красиво. Когда они ночью гуляли по городу, Ас рядом с Антуаном казался гигантским светлячком, что было особенно кстати в темных переулках.

Все детство Ас провел на излечении в специализированном интернате. Многие годы он оставался немым, и никакие традиционные методы реабилитации не срабатывали. Наконец одна женщина-логопед, большая любительница поэзии, неожиданно обнаружила, что единственная возможность для него вновь обрести способность к общению — это говорить стихами. Его затрудненная речь нуждалась в опоре, и рифмы служили костылями для слов. Постепенно он вернулся к относительно нормальной жизни и в шестнадцать лет выписался из больницы. С той поры, несмотря на свое добродушие, делавшее его похожим скорее на большого плюшевого медведя, нежели на бдительного стра-

жа, он в самых разных местах работал охранником: предполагалось, что его внушительный рост должен отпугивать грабителей. Кроме того, при гипотетическом столкновении со злоумышленниками весьма полезны были и другие его особенности: поскольку Ас светился в темноте, его принимали за привидение или за нечистую силу. Если же вор при виде его сразу не обращался в бегство или не падал в обморок, то его приводила в ужас манера Аса изъясняться стихами. Последние два с половиной года Ас охранял Национальный музей естественной истории на территории Ботанического сада.

Там Антуан с ним и познакомился. Ас любил после дежурства прогуливаться по Большой галерее эволюции. Это очень странное место, заполненное десятками тысяч чучел самых разных животных, — войдя сюда, словно попадаешь в застывший на веки вечные Ноев ковчег. Здесь царит таинственная атмосфера: яркий свет, направленный на чучела, контрастирует с приглушенным освещением залов, полумрак окутывает любознательных посетителей, которые тихо переговариваются или даже шепчутся, как будто боясь разбудить слонов, хищников и птиц. Однажды утром Антуан, впервые придя в Галерею, бродил там как зачарованный и с детским восторгом рассматривал зверей, запечатленных в удивительных позах, читал таблички с названиями и информацией о том, кто где обитает и чем питается. Его ненасытный ум жадно поглощал новые сведения, щедро рассыпанные здесь для всех желающих. Внимание его в какой-то момент привлекла странно освещенная непонятная фигура. Сначала он подумал, что это чучело неандертальца или редкий экземпляр безволосого снежного человека, на которого надели костюм и ботинки. Антуан поискал глазами табличку с названием или справку о том, к какому историческому периоду относится этот экспонат. Он устремил взор к подножию чучела, но там ничего такого не оказалось. Антуан поднял голову: экспонат улыбался и протягивал ему огромную ручищу. С этого момента и началась их дружба.

Они были неразлучны. Ас говорил немного, что вполне устраивало Антуана, склонного к бурному извержению слов и мыслей. Ас временами прерывал его разглагольствования александрийским стихом, вмещавшим в свои двенадцать стоп куда больше смысла, нежели красноречие Антуана. Антуану нравился лаконизм и поэтичность высказываний Аса, который, со своей стороны, любил словесные дебри и витиеватые построения Антуана.

Шарлотта, Ганджа, Родольф, Ас и Антуан собирались по вечерам в маленьком исландском баре под названием "Гудмундсдоттир" на улице Рамбюто. Там они играли в шахматы, болтали и спорили, поглощая напитки и кушанья с непроизносимыми названиями и загадочными ингредиентами. Они не понимали, едят они рыбу или мясо, не знали, что за диковинные овощи им подают, но им нравилась необычность этих блюд и их удивительный вкус. Этот бар-ресторан был местом встречи живших в Париже исландцев, поэтому и язык, звучавший вокруг, был непривычен для слуха. Антуан заметил, что здесь, по крайней мере, у него есть законное основание не понимать, что говорят люди. В этом экзотическом заведении он проводил с друзьями несколько вечеров в неделю: иногда они играли в "ассоциации", иногда развлекались придумыванием новых стран или тем, что называлось у них "распополамить мир". Игра заключалась в том, чтобы, не повторяясь, предложить как

можно больше признаков, по которым можно делить людей на две категории, ибо люди, как ни крути, всегда делятся на тех, кто любит ездить на велосипеде, и тех, кто предпочитает мчаться в автомобиле; на тех, кто носит рубашку поверх брюк, и тех, кто заправляет ее; тех, кто считает Шекспира величайшим писателем всех времен и народов, и тех, кто считает, что величайший писатель всех времен и народов — Андре Жид; тех, кто любит "Симпсонов" и кто любит "Южный парк"; кто любит "Нутеллу" и кто любит брюссельскую капусту. Так, на основе серьезнейшего антропологического подхода, они составляли списки фундаментальных принципов классификации человечества.

На одной из таких конспиративных сходок, через неделю после того как он выписался из больницы, в четверг, двадцатого июля, Антуан сообщил друзьям о своем намерении стать идиотом.

***

Ресторанчик постепенно заполнялся народом. Из стенных часов выскочил крохотный викинг и десять раз ударил топориком по щиту. Среди громких разговоров на исландском языке и звуков исландской народной музыки столик Антуана и его друзей был изолированным островком, отрезанным от окружающего мира. Пар из кухни, запахи стряпни и пива, смешиваясь, висели в воздухе ароматным туманом. Преображенные в светильники чудовища и боги исландской мифологии лучились над головами посетителей. Официанты сбивались с ног, лавируя между тесно стоявшими столиками, где люди сидели чуть ли не вплотную друг к другу. Антуан достал из сумки большую тетрадь, в которой изложил свое кредо. Он попросил друзей не перебивать его и напряженным от волнения голосом начал читать:

"Есть невезучие люди, терпящие фиаско даже при самом благоприятном раскладе. Надень на них кашемировый костюм — они все равно будут выглядеть бомжами; имея миллионы, они умудряются залезть в долги и при двухметровом росте бездарно играют в баскетбол. И я теперь знаю, что принадлежу именно к этой породе лузеров, которые катастрофически не умеют использовать свои преимущества, более того, эти преимущества оказываются для них камнем на шее.

Устами младенцев глаголет истина. В детстве нет ничего обиднее, чем когда одноклассники кричат тебе: 'Смотрите, какой умный нашелся!' С годами это превращается почти в похвалу. Но это заблуждение: ум на самом деле — большой недостаток. Подобно тому как живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, я считаю, что быть умным хуже, чем быть дураком, потому что дурак не сознаёт, что он глуп, тогда как умный человек, даже с самой заниженной самооценкой, не может не сознавать, что обременен умом.

В Книге Екклесиаста сказано: кто умножает познания, умножает скорбь[1], но мне не повезло, я не посещал, как другие дети, уроков катехизиса, и никто не предостерег меня от опасностей, коими чревато учение. Верующим хорошо, их смолоду предупреждают о том, сколь рискованно развивать свой ум, и они потом всю жизнь держатся от наук подальше. Блаженны нищие духом[2].

1. Книга Екклесиаста. 1:18.
2. Евангелие от Матфея. 5:3.

Те, кто полагает, будто ум возвышает нас, явно не обладают им в достаточной степени, ибо не понимают, что ум — это проклятие. Все мое окружение, однокашники, учителя считали меня умным. Я никогда толком не понимал, почему они вынесли мне такой вердикт. Я часто страдал от этого расизма со знаком плюс, страдал от людей, не отличающих подлинный ум от его видимости, от тех, кто обрекал меня на основании своего якобы благоприятного, но предвзятого мнения играть роль какого-то всезнайки. Как очень красивый молодой человек или девушка вызывают восторги окружающих, раня тем самым остальных, не столь щедро наделенных внешней привлекательностью, так и я всюду слыл ученым умником, что невероятно меня доставало. Как ненавидел я ситуации, когда против воли способствовал унижению одноклассников, считавшихся менее блестящими!

Я никогда не увлекался спортом; последними соревнованиями, в которых мне доводилось напрягать мышцы, была игра в шарики на перемене в младших классах. Я был хилый, со слабой дыхалкой, не мог прилично ударить по мячу, в общем, шевелить умел только мозгами. Для спорта я абсолютно не годился, и мне ничего не оставалось, как пускать в ход серое вещество, чтобы придумывать новые игры в мяч. Работать головой за неимением лучшего.

Ум — ошибка эволюции. В доисторические времена дети — во всяком случае, так я себе это представляю — гонялись по лесу за ящерицами или собирали съедобные коренья и постепенно, учась у взрослых, становились полноценными членами племени: охотниками, рыболовами, собирательницами... Но если вглядеться попристальнее в эту оптимистическую картину, наверняка обнаружится, что некоторые дети не участвовали в общих работах и играх: они сидели в безопасном месте, у огня, в теплой пещере. Они не могли защититься от саблезубого тигра, не умели охотиться; будь они предоставлены самим себе, они не прожили бы и суток. Они томились целыми днями без всякого дела, но не от лени, нет, они рады были бы носиться вместе со сверстниками, но не могли. Создавая их, природа дала сбой. В племени непременно была какая-нибудь слепая девочка, хромой мальчик и еще один — рассеянный и неуклюжий... Поэтому они весь день торчали на месте стоянки, и поскольку видеоигры еще не изобрели, им только и оставалось, что размышлять, давая полную волю воображению. Всю жизнь они только и делали, что думали, пытались понять окружающий мир, сочиняли разные истории и небылицы. Так и родилась цивилизация — оттого что физически неполноценным детям было нечем заняться. Если бы природа не допускала время от времени брак в своей работе, если бы с ее конвейера всегда сходили безупречные особи, человечество остановилось бы на стадии питекантропов и жило бы себе счастливо без всякого прозака, презервативов и DVD dolby digital.

Любопытство, стремление понять, как устроен мир, удовольствие от искусства должны, по идее, быть свойственны всем. Но будь это так, при нынешней организации труда жизнь остановилась бы, потому что все это отнимает время и вдобавок развивает критическое мышление. Люди просто бросили бы работать. Поэтому все любят разное, одних интересует одно, других другое, иначе общество не могло бы существовать, да и не было бы никакого общества вовсе. Те, кого интересует слишком многое — даже то, что, в принципе, их не интересует, а они пы-

таются понять почему, — расплачиваются за это одиночеством. Чтобы избежать полного остракизма, надо, чтобы ваш ум мог выполнять некую полезную функцию, имел бы, например, научный или общественный уклон или какой-нибудь узкопрофессиональный, в общем, мог бы хоть на что-то сгодиться. Мой ум, если считать, что он у меня есть, не годится ни на что, в том смысле, что его нельзя использовать в университете, на производстве, в редакции газеты или адвокатском бюро.

Надо мной тяготеет проклятие ума: я беден, холост, морально подавлен. Долгие месяцы я размышлял над своим дефектом, который я бы назвал дефектом многодумия, и установил бесспорную связь между моими несчастьями и недержанием мысли. Рассуждения, попытки понять, разобраться никогда не приносили мне ничего хорошего, но всегда лишь оборачивались против меня. Думать — занятие неестественное, оно причиняет боль, ранит, царапает, как будто дает жесткую осязаемую структуру растворенному в воздухе битому стеклу и колючей проволоке. Я не в силах остановить работу своего мозга, затормозить ее. Я словно допотопный паровоз, обреченный вечно нестись по рельсам, ибо его неиссякаемое горючее, его уголь, — это наш мир. Все, что я вижу, слышу, ощущаю, автоматически подается в топку моего разума, заставляя его работать на полную мощность. Стремление все осмыслить равносильно общественному самоубийству, ты уже не можешь, как вольная птица, наслаждаться жизнью, не чувствуя себя одновременно стервятником, раздирающим на части предмет изучения. Мы почти всегда убиваем то, что изучаем, потому что в жизни, как в медицине, подлинное знание невозможно без вскрытия — надо увидеть своими глазами вены и артерии, строение скелета, нервную систему, понять внутреннюю работу организма. И вот наступает страшная ночь, когда ученик лекаря оказывается в сыром мрачном склепе со скальпелем в руке: весь забрызганный кровью, борясь с тошнотой, он стоит перед растерзанным трупом. Можно, конечно, потом поиграть в профессора Франкенштейна и попытаться залатать тело, чтобы снова получилось живое существо, но тут, как известно, есть риск создать смертоносного монстра. Я слишком много времени провел в анатомическом театре и уже чувствую, как зреет во мне цинизм, появляется желчность, накапливается убийственная тоска; человек очень быстро приобретает способность к страданию. Невозможно жить, непрерывно все осмысляя, все пропуская через сознание. Достаточно взглянуть на мир природы: долгий безмятежный век дается вовсе не тем, кто обладает развитым мозгом. Черепахи живут несколько столетий, вода бессмертна, Милтон Фридмен[1] жив до сих пор. В природе сознание — исключение, можно даже утверждать, что оно есть нечто случайное, этакая акциденция, ибо не гарантирует своему носителю ни силового превосходства, ни высокой продолжительности жизни. С точки зрения эволюции оно не является обязательным условием наилучшей адаптации. Настоящими хозяевами нашей планеты — по древности происхождения, по численности, по занимаемым площадям — являются насекомые. Внутренняя организация жизни в му-

1. Милтон Фридмен (р. 1912) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 г., теоретик Чикагской школы, выступающей, в частности, за невмешательство государства в экономику; циклические колебания производства и безработица рассматриваются ею как естественные проявления саморегулирования рынка.

равейнике, к примеру, куда эффективнее, чем в нашем обществе, однако ни один муравей не заведует кафедрой в Сорбонне.

Каждый любит поговорить о 'женщинах', 'мужчинах', 'полицейских', 'убийцах'. Мы делаем обобщения, руководствуясь собственным опытом и бессознательными предпочтениями, в соответствии с нашим субъективным взглядом на мир и весьма слабыми возможностями нейронов. Способность человека формировать понятия позволяет ему быстро думать, выносить суждения и позиционировать себя в мире. Эти понятия не имеют самостоятельной ценности, являясь лишь сигнальными флажками, которыми размахивает каждый из нас. И каждый отстаивает превосходство своего пола или профессии, закономерность собственных преимуществ и просто везения.

Общие понятия подкупают своей простотой, ими легко оперировать, они доступны и потому очень удобны в споре. Если перевести это на язык математики, то дискуссии с использованием такого рода понятий аналогичны простым арифметическим действиям, вроде сложения и вычитания, которые, в силу своей очевидности, не вызывают вопросов. Тогда как серьезный анализ похож скорее на операции с интегралами, на решение неравенств с несколькими неизвестными, на действия с комплексными числами.

Человек умный всегда чувствует во время спора, что он упрощает, ему постоянно хочется сделать уточнения, поставить к некоторым словам звездочки и дать сноску или написать в конце комментарий, чтобы выразить свою мысль во всей сложности. Но в случайной беседе посреди улицы, в застольном разговоре или на газетных страницах сделать это невозможно: тут и речи не может быть о честной и строгой аргументации, об объективности, беспристрастности. Честность и точность — помехи для риторики, они не годятся для дебатов. Некоторые блестящие умы, видя неизбежную тщету всякого рода дискуссий, избрали для себя путь шутки и легкого юмора, прибегая к парадоксам, дабы передать сложность явлений. Почему бы и нет? В конце концов, это способ выжить.

Люди склонны все упрощать (тут им помогает язык и структура мышления), благодаря чему мы имеем достоверные знания о мире, а иметь достоверные знания сладостно, это сладостнее радостей секса, богатства и власти вместе взятых. Между тем цена достоверных знаний — отречение от подлинной работы мысли, и человек охотно ее платит, тем более что эти издержки неощутимы для банка его сознания. Посему я, право же, предпочитаю тех, кто не рядится в тогу разума и открыто провозглашает основой своих убеждений миф. Например, людей набожных, признающих при этом, что их мировоззрение зиждется просто на вере, а не на единственно правильной научной теории.

Есть такая китайская поговорка, суть которой сводится примерно к тому, что рыба не может знать, когда она писает. Это вполне применимо к интеллектуалам, считающим себя умными потому, что они занимаются умственным трудом. Каменщик работает руками, но у него тоже есть разум, который говорит ему: 'Э, стена-то вышла кривая, к тому же ты положил мало цемента'. Происходит постоянное взаимодействие между его головой и руками. Интеллектуал работает только головой, которая ни с чем не взаимодействует, руки не говорят ему: 'Эй, чувак, опомнись! Земля-то круглая!' У интеллектуала не происходит такого внутреннего диалога, поэтому он воображает, будто способен судить

обо всем на свете. Он как пианист, который, исходя из того, что виртуозно владеет руками, решил бы, что может с равным успехом быть и боксером, и нейрохирургом, и художником, и карточным шулером.

У интеллектуалов нет монополии на ум. Обычно, когда кто-то говорит: 'Не хочу заниматься демагогией, но...', он как раз демагогией и занимается. Вот и я не знаю, как сформулировать то, что намерен сказать, чтобы это не прозвучало снисходительно по отношению к людям из народа. Конечно, я ломлюсь в открытую дверь, но я убежден, что ум присущ всем представителям общества, без социальных разграничений: процент умных людей одинаков среди учителей истории и бретонских рыбаков, среди писателей и машинисток... Мне это хорошо известно, потому что я много общался с высоколобыми, с разными мыслителями и профессорами, короче, с интеллектуалами, глупыми как пробки, и с обычными людьми, весьма умными, хотя у них нет об этом справки с печатью. Вот единственное, что я могу сказать. Это, разумеется, спорно, поскольку получить научно подтвержденные данные тут невозможно. Ум и честность мысли не зависят от дипломов; тестов IQ на здравый смысл не существует. Я часто вспоминаю слова Майкла Херра, сценариста 'Цельнометаллической оболочки', приведенные в великолепной книжке Мишеля Симана[1] о Кубрике: 'Глупость — это не нехватка ума, а нехватка смелости'.

Очевидно, пожалуй, одно: чтение великих авторов, усилия мысли, изучение трудов гениальных ученых не обязательно делают человека умным, но риск чрезвычайно велик. Разумеется, есть люди, читавшие Платона и Фрейда, умеющие порассуждать о кварках и отличить сокола от пустельги, но при этом они замечательно сохранились, оставшись полными кретинами. И тем не менее, часто получая подпитку извне, регулярно погружаясь в благоприятную среду, ум приобретает силы для развития в точности так же, как любая болезнь. Ибо ум есть болезнь".

Антуан дочитал до конца. Он захлопнул тетрадь и оглядел друзей, словно ученый, который только что представил потрясенным коллегам разгадку величайшей тайны науки.

***

Ганджа разразился хохотом и не мог остановиться весь вечер; человек, сидевший за соседним столиком, протянул ему пачку сигарет: видимо, блеющие звуки, которые издавал Ганджа, означали на исландском языке что-то вроде: "Не найдется ли у вас закурить?" И каждый раз, когда на него снова нападал смех, любезный исландец угощал его сигаретой. Родольф обратил внимание докладчика на то, что ему не потребуется чрезмерных усилий, чтобы стать идиотом. Шарлотта сочувственно взяла Антуана за руку. Ас был просто ошарашен и смотрел на него вытаращив глаза.

Ища у друзей понимания, Антуан стал оправдываться, объяснять, что он не в силах заставить себя не думать и не пытаться все понять, поэтому чувствует себя очень несчастным. Если бы хоть эти штудии дарили ему радость золотоискателя... Но золото, которое он находил, цветом и тяжестью смахивало на свинец. Мозг не давал ему ни минуты

1. Мишель Симан — французский журналист и кинокритик.

передышки, мешал уснуть бесконечными вопросами, будил среди ночи сомнениями или горькими мыслями. Он поведал друзьям, что ему уже давно ничего не снится, даже кошмары, настолько он и во сне поглощен индукцией и дедукцией. От непрерывной работы голова пухла, и Антуану жилось совсем худо. Вот ему и захотелось на время стать безголовым, легкомысленным и, главное, восхитительно невежественным во всем, что касается истин, причин и подлинной сути... Он изнемог от постоянного невольного наблюдения за себе подобными, из-за чего у него со страшной силой развивается цинизм. Ему хочется жить, не постигать законы жизни, а просто жить.

Он напомнил о своем неудачном дебюте в качестве алкоголика и в порыве откровенности рассказал о провалившемся проекте самоубийства. Отныне глупость была его последним шансом. Он пока не знал, как станет действовать, но намеревался собрать волю в кулак и твердо идти к цели. Понизить градус своего интеллектуального хмеля, избавиться от максимализма и от нелепого предрассудка, будто надо во всем докапываться до истины. Антуан не собирался стать полным кретином, он лишь хотел слега разбавить свой разум, развести его здоровой примесью жизни, расслабиться и прекратить анализировать и разбирать по косточкам все подряд. Его ум всегда был быстрым зорким орлом, с цепкими когтями и острым клювом. Пусть научится теперь быть журавлем, величественно парить, отдаваться воле ветров, ценить жар солнца и красоту земли.

Антуан затеял такую мутацию небескорыстно: им давно владело желание найти для себя некую форму общественной жизни, но натура не позволяла. Он знал, сколь мала доля подлинно свободной воли в людских воззрениях, и всегда силился постичь, что движет каждым человеком. Его беда отчасти заключалась в том, что он жил под гнетом трагического постулата, сформулированного Жаном Ренуаром: "Несчастье этого мира в том, что все по-своему правы". Словно священному закону, следовал Антуан правилу Спинозы: не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими, но не клясть их, а понимать, — и старался не осуждать даже тех, кто открыто стремился подмять его или превратить в козла отпущения. Антуан принадлежал к категории людей, готовых сделать зубной протез акуле да еще попытаться его вставить. Однако если он и расположен был к пониманию, то отнюдь не с позиций христианского всепрощения. Под глянцем свободы и псевдовозможности произвольного выбора он ясно видел, быть может даже в несколько гипертрофированном варианте, пресловутую необходимость, описанную Спинозой, и работу неумолимой машины, питающейся человеческими душами. В то же время, желая быть объективным и по отношению к себе, он пришел к выводу, что, силясь все понять и постичь, разучился жить, разучился любить, и его интеллектуальный экстремизм можно, в принципе, расценить как боязнь окунуться в жизнь и занять в ней свое место.

— Однако, — добавил он, — истина подобна двуликому Янусу. Как и луна, она имеет две стороны, и я до сих пор жил на темной. Хочу теперь погулять по ее светлой стороне. Не умничать, погрузиться в повседневный быт, верить в политику, стильно одеваться, следить за спортивными событиями, мечтать о последней модели автомобиля, смотреть новости по телевизору, не бояться ненавидеть или презирать какие-то вещи... До сих пор я лишал себя этого, интересуясь всем и не любя ни-

чего. Я не говорю, что это было плохо или хорошо, но хочу причаститься, да-да, причаститься тому единому великому духу, что именуется общественным мнением. Я хочу быть со всеми, не понимать их, а быть как они, среди них, делить с ними их жизнь...

– Ты намекаешь, – медленно произнес Ганджа, жуя какие-то целебные семена, – ты намекаешь, что прокололся, став таким умным, что это мимо кассы, а немножко поглупеть будет как раз очень умно...

– Нам всем, – сказала Шарлотта, – ты нравишься такой, как есть, ты, конечно, немножко сложный, но... но ты просто супер! Будь я натуралкой...

– А я, – ответил Антуан, – если б поменял пол, немедленно попросил бы твоей руки. Слушайте, некоторая асоциальность мне как казалась, так и кажется совершенно нормальной вещью, иметь проблемы с обществом – это даже хорошо. Я вовсе не хочу полностью интегрироваться, но не хочу и быть отщепенцем.

– Надо тебе найти какой-то баланс, – изрек Ганджа.

– Да, – подхватила Шарлотта, – или дисбаланс, но сбалансированный.

Официант принес им миски с густым зеленоватым супом и стаканы с мутноватой жидкостью, на поверхности которой плавали ягоды. Пятеро друзей настороженно склонились над едой. Официант исторг из гортани лавину согласных, означавшую, видимо, "Приятного аппетита!" Ас продекламировал хайку, где спрашивал Антуана, нет ли опасности, что он совсем одуреет и станет в один прекрасный день телеведущим. Антуан ответил, что это приключение, а великие приключения всегда опасны: Магеллан, Кук, Джордано Бруно тому примеры. До сих пор он прятался в убежище, которое было своего рода "глазом циклона" – как известно, это самое спокойное место, когда вокруг бушует буря. Но теперь он решил покинуть свое проклятое логово, прорваться через завесу разрушительных вихрей и выбраться в большую жизнь.

Напуганные друзья бросились его подбадривать и утешать, заставили пообещать, что он не станет делать глупостей, и уговорили посоветоваться с его давним другом и врачом Эдгаром.

***

Приемная доктора Эдгара Вапорского располагалась на четвертом этаже красивого дома в XX округе Парижа, на улице Пиренеев, совсем рядом с площадью Гамбетта́. Антуан ходил к нему с двух лет и никогда ни у кого больше не лечился.

Вообще-то, Эдгар был педиатром, но никто не знал Антуана лучше, чем он. Двадцатитрехлетнее знакомство сближает: они звали друг друга по имени и периодически ходили вместе в кино – оба обожали "Ле Бради", старый кинотеатр на Страсбургском бульваре.

После того как Антуану исполнилось двадцать, ему стало неловко сидеть без ребенка в приемной у педиатра. Родители украдкой косились на него, выглядывая из-за развернутых газет, карапузы таращились открыто. Он подсаживался поближе к матерям-одиночкам, но тщетно: его мгновенно разоблачали. Поэтому теперь, отправляясь к Эдгару, он брал напрокат сына соседки или любого ребенка, который слонялся без дела. На сей раз он приволок с собой Корали, дочку консьержа из его дома, которая вовсе не горела желанием служить ему отмазкой.

Эдгар в хирургической маске выглянул в приемную и пригласил Антуана с Корали войти. Кабинет выглядел внутри как все врачебные кабинеты: по бежевым стенам были развешаны дипломы, на полках стояли толстенные книги в роскошных переплетах из бычьей кожи — надо думать, эти быки при жизни паслись на золотых лугах. Все здесь подчеркивало компетентность владельца, как будто мало медной таблички на двери; цветовая гамма, мебель, весь антураж дышали солидностью. Входящего мгновенно подавляла торжественность атмосферы, он невольно проникался почтением, осознавая, что вступает в царство всесильной медицины и ему ничего не остается, как склониться перед ее властью. Поход к врачу сплошь и рядом означает капитуляцию и отказ от суверенитета личности: человек больше себе не хозяин, он вручает свое тело со всеми его неполадками могущественным волшебникам, сведущим в науке врачевания. Сходство между традиционным набором предметов в медицинском кабинете и таинственными атрибутами в шатре ясновидящей или африканского колдуна поразительно. При определенном язвительно-скептическом настрое ничего не стоит доказать полную аналогию этих двух типов сценографии, да взять хотя бы запах лекарств в одном случае и ароматических трав в другом — они играют равнозначную роль и оказывают совершенно одинаковое воздействие на психику пациента. Но кабинет Эдгара не вполне укладывался в стандартные рамки, здесь висели детские рисунки и просто листки со всякими каракулями, на полу и на столе валялись игрушки и разноцветный пластилин. Красный Пауэр рейнджер, стоявший на пачке рецептов, нарушал своим присутствием символику врачебного могущества и сводил наваждение на нет.

Окно было распахнуто, а в комнате витал легкий запах слезоточивого газа. Оттого Эдгар и вышел к ним в маске. Теперь он снял ее, газ уже почти выветрился. Антуан заметил, что в кабинете странно пахнет, а Корали сморщилась и заткнула нос.

— Неуправляемый десятилетний паршивец порывался утащить у меня рецепты.

— Ты что, пустил в ход баллончик со слезоточивым газом? — возмутился Антуан.

— У него были нунчаку! — воскликнул Эдгар, воздевая руки к небу. — Нунчаку, ты только подумай, Антуан.

— Господи, и часто тебе такие детки попадаются?

— Слава богу, нет. Привет, Корали, — сказал Эдгар, усаживаясь за стол. — Кто болен: ты или Антуан?

— Он, — ответила Корали презрительно. — В его-то возрасте мне все еще приходится водить его к доктору!

— Я же тебе плачу, — возразил Антуан. — И довольно неплохо.

— Да, две булочки с шоколадом и журнал "Премьера"... Мне следовало бы поднять расценки. Инфляция не может не затрагивать человеческих отношений.

— Боже мой, Корали, неужели мама позволяет тебе читать финансовые страницы в газетах? Просто невероятно!

— Привыкай, Антуан, это новое поколение! Так что тебя беспокоит?

Перерыв всю сумку, где лежал ворох книг, газет и каких-то бумажек, Антуан извлек оттуда откксерокопированную схему человеческого мозга в разрезе и положил на стол. Затем взял у Эдгара ручку "Mont Blanc" и стал показывать:

— Высшая нервная деятельность осуществляется корой, так?

— Да... Что ты опять выдумал? К чему ты клонишь? Решил стать нейрохирургом?

— Лобные доли, они вот здесь, — Антуан обвел интересующий его участок, — аккумулируют информацию о внешнем мире...

— Ну хорошо, Антуан. Я врач, и ничего нового для меня тут нет. Все это давно известно.

— Ладно, — сказал Антуан, не отрываясь от схемы, — я подумал, что ты мог бы удалить мне часть коры, например, какую-нибудь лобную долю, чтобы...

Эдгар ошарашенно уставился на Антуана, а тот как ни в чем не бывало заштриховывал на схеме области собственного мозга, подлежавшие удалению. Эдгар нахмурился. Корали сидела в глубине кабинета на диване и читала журнал про кино.

— О чем ты, черт побери? — резко спросил Эдгар, вставая со стула. — Я тебя не понял. У тебя крыша поехала, ты совсем одурел, или что?

— Я и рад бы совсем одуреть, — ответил Антуан очень серьезно, — это и есть моя цель. Я потому и прошу тебя...

— Ты хочешь, чтобы я сделал тебе лоботомию? — в ужасе перебил его Эдгар.

— Ну, наверно, хватило бы и частичной лоботомии, чтобы я все-таки не разучился зажигать спички и открывать холодильник, не будем повторять "Кукушку"... Впрочем, ты врач, сообрази сам, как лучше.

— Лучше всего отправить тебя в дурдом. Что с тобой?

— Нет-нет, все совсем не так, как ты думаешь... Я совершенно нормален и прошу об этом в здравом уме. Я тебе дам расписку. Ведь я не с бухты-барахты к тебе пришел. Это абсолютно осознанное решение. Я пробовал другие варианты, сразу говорю. Сначала пытался спиться, потом покончить с собой, но ничего не получилось.

— Ты хотел покончить с собой?

— Кошмар, полное фиаско. Не будем об этом.

Эдгар обошел стол и сел рядом с Антуаном. Он положил ему руку на плечо, полный сочувствия к самому старому, самому любимому своему пациенту, другу, можно сказать.

— У тебя депрессия? Что-то не ладится? — спросил он встревоженно.

— Да ничего не ладится, Эдгар! Но ты не волнуйся, я борюсь, стараюсь найти выход. Мне кажется, самое лучшее — это стать дураком.

— Что?

— У меня к тебе просьба. Опиши меня. Если бы ты стал кому-то рассказывать обо мне, что бы ты сказал?

— Не знаю... Что ты блестящий мальчик, умный, образованный, любопытный в обоих значениях этого слова, симпатичный, остроумный, немного разбросанный и нерешительный, беспокойный...

По мере того как педиатр перечислял качества своего друга, Антуан мрачнел, словно речь шла о тяжких болезнях.

— Это все страшно приятно слышать, во всяком случае должно быть приятно, но моя жизнь — чистый ад. Я знаю кучу идиотов, совершенно безмозглых, набитых предрассудками, непрошибаемых, упертых кретинов, которые счастливы! А у меня скоро будет язва и уже есть несколько седых волос... Я не хочу больше так жить, не могу. Я долго и дотошно изучал свой случай и пришел к выводу, что мое неумение приспособиться

к жизни происходит от ума, строптивого и вредоносного. Он не дает мне покоя, я не в состоянии с ним справиться, из-за него я как дом с привидениями — мрачный, опасный, пугающий, одержимый распоясавшимся духом. В меня словно вселился бес, и этот бес — я сам.

— Даже если у тебя типичный случай горя от ума, я все равно не могу сделать то, о чем ты просишь. Как врач не могу — это противоречит всем законам медицинской этики. А как друг — не хочу.

— Я больше не в силах думать, Эд, ты должен мне помочь. Мой мозг бежит марафон каждый день, каждую ночь, он безостановочно вертится как белка в колесе.

— Очень тебе сочувствую, но не могу. И вообще, я не понимаю, ты замечательный, оригинальный, ты сам не знаешь, как тебе повезло. Тебе нужно научиться жить, оставаясь собой. На какое-то время, пока ты не придешь в себя, не преодолеешь свое теперешнее состояние, мы найдем способ сделать так, чтоб тебе жилось полегче.

— Чтоб мне жилось полегче, я должен стать идиотом.

— Это идиотизм.

— Значит, я на правильном пути. Неужели никак нельзя изъять у меня часть нейронов? Существует же банк органов, банк крови, банк спермы, значит, должен существовать и банк нейронов, так? Те, у кого их слишком много, могли бы поделиться с теми, кому не хватает. К тому же это была бы гуманитарная акция.

— Увы, такого не существует.

— Ну что же мне делать, Эд? Что со мной будет? Почему я не такой, как все? Я хочу жить обычной жизнью, хочу пошлого мещанского счастья, хочу быть обывателем. Муравьем в муравейнике.

Продолжая говорить, Антуан что-то рисовал на листочке со схемой; вокруг мозга он изобразил множество муравьев и отдельно одного большого, якобы похожего на него самого.

— Помнишь книжку, которую ты мне подарил на день рождения, когда мне исполнилось десять?

— "Господин Тарарах"?

— Да, "Господин Тарарах". Ему все время не везет. Когда он выходит из дому, обязательно идет дождь, он стукается головой обо все, что только можно, забывает пирог в духовке, теряет вещи, вечно опаздывает на автобус... Почему? Да потому что это господин Тарарах! Эдгар, у меня такое чувство, что я потихоньку становлюсь господином Тарарахом... Господин Тарарах — это я!

По щекам Антуана потекли слезы. Эдгар обнял его и похлопал по плечу, что имело следствием неостановимый приступ кашля. Эдгар достал из шкафчика микстуру, дал Антуану две ложки, потом сунул ему "Твикс". Антуан жадно набросился на хрустящие шоколадные палочки, перестал всхлипывать и потихоньку успокоился.

— А ты не пробовал сходить к психоаналитику?

— Пробовал, — ответил Антуан, беспомощно разводя руками.

— Ну и?

— Он считает, что все нормально, что у меня нет никакой патологии... Знаешь, что он сказал? "Радуйтесь жизни, молодой человек, оттягивайтесь по полной. Не мудрите". Интересно, в какой школе психоанализа он обучался? В школе имени великого учителя жизни Тома Джонса?

— Ладно. Раз такое дело, давай поприним аем бодрозак. Я вообще против такого рода препаратов, но твое состояние, суицидальные мысли вынуждают меня попробовать. Но это ничего не решает, это не лечение.

— Эд, я хочу всего-навсего поменьше думать.

— Бодрозак оказывает успокаивающее и антидепрессивное действие. Это как раз то, что тебе сейчас нужно. Он не совсем безвреден, поэтому ты будешь приходить ко мне каждый месяц, чтобы я посмотрел тебя и решил, продлевать лечение или нет.

— Не совсем безопасен? Что это значит?

— Бывают небольшие побочные действия, как у всех препаратов: сухость во рту, головокружения, быстрая утомляемость... И главное, очень приятная зависимость. Ты обязательно должен прочесть инструкцию по применению и соблюдать дозировку.

— И это поможет мне меньше думать? — спросил Антуан с надеждой.

— Могу гарантировать: ты будешь почти как зомби. Жизнь покажется тебе намного проще. На самом деле она, разумеется, останется такой же, как была, просто ты не будешь этого замечать. Но имей в виду, что это только на время.

— Отлично, — обрадовался Антуан. — В сущности, ты совершенно прав, лучше без необратимых мер. Я погорячился. Знаешь, мне кажется, это будет как спасательный круг, он поможет мне продержаться, а потом уж я выплыву сам.

Они поболтали еще немного об общих друзьях, о том, как поживают родственники, о кино. Антуан обожал задавать Эдгару вопросы по медицинской части: почему от газированной воды рыгают, почему ногти растут, почему человек чихает, почему икает, почему, когда скрипят мелом по доске или ножом по тарелке, бегут мурашки по коже. Когда все назначения были получены и бланк рецепта заполнен, Эдгар и Антуан сердечно пожали друг другу руки. Антуан, как обычно, сделал попытку заплатить за консультацию, Эдгар, как обычно, отказался. Засим Антуан с Корали покинули кабинет.

***

Антуан жил в старом доме на девятом этаже. В коллеже и в лицее он регулярно подвергался узаконенному унижению: вместе с двумя-тремя товарищами по несчастью, столь же мало пригодными для установления спортивных рекордов, его либо вовсе не принимали в футбольную или волейбольную команду, либо он был там худшим из худших. Ему приходилось сносить ругань и издевки одноклассников, которые на физкультуре каждую минуту хвалились друг перед другом своими бицепсами. В результате Антуан так и не смог заставить себя полюбить спорт. Однако ему не нравилось, что этот печальный опыт обрек его на неподвижный образ жизни, и он решил поселиться повыше, чтобы под давлением необходимости заставить сокращаться свои гипотетические мышцы. На практике это оказалось весьма утомительно. Сосед с восьмого этажа, милейший парень по имени Влад, был чемпионом по кетчу. Поскольку ему все равно приходилось поддерживать форму и заниматься силовой гимнастикой, он предложил Антуану носить его наверх. Антуан старался подгадать, чтобы оказаться в подъезде одновременно с Владом, и тот тащил его на плечах до своей квартиры на восьмом этаже. По уверениям

Влада, Антуан весил не больше махрового полотенца. Посему совесть Антуана была спокойна, лишь бы Влад по ошибке не воспользовался им в этом качестве после душа... Рост у Влада был метр восемьдесят, а вес, наверно, килограммов сто двадцать; однажды он просто забыл, что у него на плечах сидит Антуан, пришел домой и начал готовить ужин.

Квартирка у Антуана была не слишком шикарная, а проще сказать, захудалая: батареи, сантехника, электричество — все работало кое-как. Однако она все равно была ему не по карману. Раньше Антуану удавалось ее оплачивать благодаря студенческому жилищному пособию и работе над переводом "В поисках утраченного времени" на арамейский язык. Но с тех пор как проект был закрыт по причине совершенно неожиданного банкротства издателя, финансы Антуана оказались на нуле. Созерцая агонию своего кошелька, он думал, что хорошо бы создать муниципальный финансовый госпиталь, где истощенным банковским счетам делали бы вливания. Он поделился этой мыслью со своим банкиром, но тот, похоже, рассматривал банк скорее как частную клинику.

Ища критерии классификации человечества, Антуан установил единую шкалу, определяющую уровень богатства, избрав в качестве показателя носки. Первая категория — самые бедные, у которых носков нет вообще; вторая — среднебедные, у которых носки есть, но дырявые; третья — самые богатые, у которых носки без дырок. Антуан принадлежал ко второй категории. Его доход составляли главным образом временные ставки и почасовки в университете "Париж-V", что давало ему от тысячи до двух тысяч франков в месяц, когда как. Плюс пособие для лиц, не имеющих средств к существованию, которое он получал незаконно, благодаря путанице с именами: в университете он числился как Антуан Аракан, а в документах социального страхования был записан под своим бирманским именем, которым в повседневной жизни никто никогда его не называл, — Солу. Еще он иногда подрабатывал по-черному. Недавно, например, озвучивал в документальном фильме семейство жирафов, потому что подлинные записи их криков потерялись. Иногда он получал от родителей из Бретани немного денег и посылки с продуктами. Эта смесь азиатской и французской кухни была странной и восхитительной. Каждый месяц ему доставляли тяжеленный ящик-холодильник, где были вьетнамские роллы с рыбой и мелкими ракушками, китайские жареные блинчики с солеросом, пельмени с гребешками, гречневые блины с острым рыбным соусом "нуок мам", ватрушка с жареным рисом... Друг Ганджа тоже немного помогал ему и помогал бы больше, если бы Антуан соглашался брать у него деньги.

Антуан не дотягивал даже до минимальной зарплаты. Однако продолжал преспокойно жить в своей квартире. Любопытно, не правда ли? Ведь он был не в состоянии ее оплачивать. Так как же? Да так: у домовладельца, месье Браллера, была болезнь Альцгеймера.

Антуан не знал, точно ли это болезнь Альцгеймера. Но, так или иначе, месье Браллер не помнил абсолютно ничего. В начале сентября Антуану предстояло везти его на очередное обследование для уточнения диагноза. У старика не было родственников, поэтому заботился о нем Антуан. Амнезию хозяина он обнаружил случайно. Не имея денег заплатить в срок за квартиру, он старался прошмыгнуть мимо месье Браллера незаметно и вообще пореже попадаться ему на глаза. Но однажды хозяин все-таки поймал его. Антуан уже ждал, что тот велит ему немед-

ленно съезжать. Но месье Браллер, вцепившись в его руку, уставился на него бессмысленными глазами и неуверенно спросил:

— Вы тут живете?

— Да, месье. На девятом этаже. Я хочу принести извинения, этот месяц был для меня непростым... я забыл...

— Вы что-то забыли? — участливо переспросил тот с простодушным любопытством.

Обычно месье Браллер требовал, чтобы за квартиру ему платили первого числа каждого месяца: ровно в семь утра надлежало просунуть конверт под его дверь. Достаточно было Антуану опоздать на несколько часов, и хозяин уже яростно стучался к нему, грозя вызвать судебного исполнителя.

— Э-э... да нет, — ответил Антуан, покрываясь потом. — Я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте...

— Здравствуйте, — пробормотал хозяин. — Вы живете здесь?

— Да, месье. На девятом этаже.

Это было делом совести: жить припеваючи в своей квартире, предоставив болезни развиваться естественным путем, или, на свою голову, заняться лечением старика, еще недавно такого злобного, сварливого и черствого. Врожденная доброта победила. Антуан с грустью думал, что ему следует развивать в себе эгоизм, чтобы выжить в этом мире.

Он повел домовладельца к врачу. Врач сразу диагноза не поставил: ему требовалась куча исследований и времени, чтобы точно определить, как именно называется болезнь месье Браллера.

— У него есть шансы выздороветь?

— Трудно сказать, — ответил врач. — Память отказывает. Вы должны присматривать за ним. Он в состоянии соображать, но не может вспомнить, что было минуту назад.

Антуан нянчился с ним, как с любимым дядюшкой. Отводил на нужный этаж, когда тому случалось заблудиться на лестнице; написал на карточке адрес и засунул ему в бумажник, чтобы бедняга не потерялся в городе. Ходил для него за покупками, собирал деньги с остальных жильцов и клал в банк на счет старика. У месье Браллера еще случались иногда периоды просветления, когда он вдруг кое о чем вспоминал, в частности о том, что Антуан не платит за квартиру, но они длились недолго. Антуан прочел в "Монде" статью о новых достижениях в области лечения старческих болезней мозга: деменций, Паркинсона, Альцгеймера... Он радовался за месье Браллера и одновременно трясся от страха, что прогресс науки со дня на день повлечет за собой его, Антуана, выселение. Ученые никогда не думают о последствиях своих открытий. Если домовладельца удастся вылечить, Антуан не сможет рассчитывать на его благодарность: в своих расчетных книгах старый скряга обнаружит недостачу, но не будет помнить о бескорыстной помощи Антуана.

Назавтра после посещения Эдгара Антуан начал принимать лекарство от ума. В инструкции по применению препарата говорилось, что на ежедневный прием полагается одна таблетка. Антуан решил удвоить дозу. Он жаждал быстрого и ощутимого эффекта, а не постепенного облегчения. Бодрозак должен был подействовать через несколько дней, за которые Антуану следовало подготовиться к новой жизни и устроить ее со всей тупостью, на какую хватит воображения.

Для начала он отправил в университет "Париж-V" имени Рене Декарта письмо с заявлением об уходе. Уже два года он читал там недельный спецкурс "Апоколокинтоз божественного Клавдия" (то бишь "Превращение божественного Клавдия в тыкву") по сатирическому памфлету Сенеки. Кроме того, заменял, когда нужно, больных преподавателей по самым разным предметам: общая биология, чешуекрылые бабочки, арамейская риторика, история кино. Его знаний хватало, чтобы без подготовки читать лекции на многие темы, но знания эти были слишком разрозненны, чтобы получить степень магистра по какой-нибудь университетской науке и надежду на должность.

Затем Антуан избавился от всего, что могло спровоцировать процесс думания. Сложил в коробки все диски и книги — романы, монографии, словари и энциклопедии, тонны учебников, научных журналов, исторических, литературных... Снял со стен своей единственной комнаты киноафиши, портреты любимых героев, репродукции Рембрандта, Шиле, Эдварда Хоппера и Миядзаки. Ас, Шарлотта, Влад и Ганджа помогли ему перевезти коробки к Родольфу, который потирал руки, заполучив — на время, как сказал Антуан — такие сокровища.

Надо было переходить к третьему этапу. Оглядев пустую квартиру, Антуан удивился, как на таком крошечном пространстве столько всего помещалось. Теперь предстояло заполнить его безопасными вещами, которые не будоражили бы его мозг. Сходив на экскурсию к соседям, у которых, как ему представлялось, был наиболее стойкий иммунитет против вируса мысли, он выяснил, из чего должна состоять обстановка, подходящая для его новой жизни. Муж и жена, профессор по имени Ален и журналистка Изабель, подавали ему поучительный пример жизни, полностью посвященной самоотверженному отречению от ума. Он давно за ними наблюдал и в глубине души восхищался ими, настолько гармонично они вписывались в современную жизнь, наделенные от рождения ценнейшим даром разностороннего кретинизма, ничем не омраченного, счастливого, невинного и идеального в своей законченности, глупостью, приятной во всех отношениях для них и для окружающих, ни в малейшей степени не злонамеренной и ни для кого не опасной. Ален и Изабель с невероятной серьезностью, нелепой до очарования, надавали ему кучу советов относительно обстановки квартиры. Он нашел на свалке старый телевизор и поставил посреди комнаты как символ веры. Приклеил скотчем на стены постеры из мультфильма "Король Лев", изображения спортивных автомобилей и мясистых женщин, портреты актрис и актеров, принявших вдумчивый вид мировых гениев, и фотографии таких бессмертных мыслителей, как Ален Минк и Ален Фенкелькро[1]. Поначалу Антуана это раздражало, ему было не по себе в таком стерилизованном интерьере. Но он утешался тем, что, когда бодрозак подействует, ему все покажется прекрасным. Ален и Изабель присоветовали ему для успокоения нервов несколько дисков современной музыки на основе электронных ритмов, словно извлеченных из полузадушенного фортепиано, и пару-тройку фольклорных альбомов.

Наконец Антуан счел, что квартира стала совершенно безопасной для его слабеющего разума. При этом он отлично знал, что, хотя внеш-

1. Ален Минк (р. 1949) — французский экономист и публицист; Ален Фенкелькрот (р. 1949) — французский философ.

ний мир постепенно движется к тому же, все равно невозможно обезвредить на сто процентов все культурные и интеллектуальные мины, заложенные в обществе.

Антуан пригласил Шарлотту, Ганжу, Аса и Родольфа в свое преображенное жилище на исландский полдник. Стол был уставлен нордическими лакомствами: чай с маслом, мармелад из пингвина, пончики на тюленьем жиру с засахаренной травой... Антуан подтвердил свое намерение поглупеть — хотя бы на время, чтобы чуть-чуть ослабить чрезмерную концентрацию мыслей. Друзья смирились и скрепя сердце кивали. Антуан просил их не провоцировать его умными разговорами, а просто болтать с ним о том о сем — о погоде, о разных пустяках, которые его до сих пор совершенно не интересовали.

— Так значит, — сказал Ганджа, — наши шахматные турниры теперь в прошлом?

— Пока да. Давайте лучше поиграем в другую игру, тоже очень интересную, которой меня научили соседи. Называется "Монополия". Задача игроков — добывать деньги, перекрывать кислород конкурентам, короче, действовать как настоящие тупые фирмачи. Очень классная игра, правда! Для меня ее ценность в том, что она в игровой форме учит либеральной морали, и, наверно, я даже сумею эту мораль принять. Я встану на сторону тех, кого сегодня осуждаю, и буду просто играть, не задумываясь о социальных последствиях завышения квартплат и о том, что целые семьи окажутся на улице. Я буду хапугой и эгоистом, который думает только о деньгах и не терзается никакими экзистенциальными вопросами, кроме разве что одного — как бы заработать побольше.

— Так ты действительно превратишься в придурка, — заметила Шарлотта.

— Превратиться в придурка значит спастись. Я нуждаюсь в радикальном лечении: для моего ума это вроде химиотерапии. Я иду на это сознательно. Но если через полгода вы увидите, что я чересчур процветаю в качестве... подонка, то остановите меня. Я вовсе не собираюсь навеки стать алчным кретином, моя задача просто запустить некоторое количество этих молекул в свой организм, чтобы прочистить перегретые мозги. Но раньше чем через полгода не вмешивайтесь.

В великолепном сонете Ас сообщил Антуану, что тот рискует потерять себя и по-настоящему заразиться вирусами, которые собирается себе впрыснуть.

— Да, риск есть. Тем более что быть дураком куда приятнее, чем жить под бременем ума. Дураки определенно счастливее. Я не намерен усваивать полностью мироощущение дураков, но лишь извлечь из него кое-какие полезные компоненты, которые растворены в нем наподобие микроэлементов: жизнерадостность, пофигизм, способность ничего не принимать близко к сердцу, легкость бытия, мысли. Благодать!

— Ясно, — перебил его Родольф. — Я называю это теорией акулы. Как кураре или бледная поганка, акула смертельно опасна, однако в ее тканях есть вещества, которые помогают от рака, спасают людям жизнь. Короче, став идиотом, ты хоть раз в жизни сделаешь что-то умное. Вы считаете, что я сволочь?

— Но это же принцип прививки, — воскликнула Шарлотта. — Может, тебе удастся приобрести иммунитет.

— Если не умру, — вздохнул Антуан, пригладив волосы на затылке и беспокойно улыбаясь.

— Или не останешься полным тормозом, что еще хуже, — сказала Шарлотта.

Антуану в его безнадежной наивности глупость рисовалась как некий бескрайний космос, где не нужно даже преодолевать сопротивление воздуха и где он будет бездумно лететь меж звезд и планет по собственной орбите.

***

Антуану предстояло решить нелегкий вопрос: а как, собственно, надлежит вести себя в новой жизни? Как отыскать ту чудесную жилу, где среди пустой породы таятся алмазы глупости? Указать пальцем на нескольких дураков, на общее повсеместное скудоумие нетрудно, однако это будет не что иное, как навешивание ярлыков, и ничего не даст по существу. Сказать, что футболу, телеиграм и вообще системе массмедиа глупость присуща изначально, органически, было бы проще всего. Но Антуан понимал, что глупость коренится скорее в подходе к вещам, нежели в вещах как таковых. С другой стороны, поскольку не понимать этого глупо, он счел, что пойдет для начала именно таким путем.

Бодрозак начал действовать. Антуан стал спокойнее, сомнения и тревога покинули его. Алхимические процессы, происходившие у него в мозгу, преображали свинец реальности в светоносную пыль, золотистую и разноцветную.

Раньше ему мешали жить все мировые проблемы разом, все существующие нравственные принципы, которые опутывали его по рукам и ногам. Например, покупая одежду, он тщательно выяснял ее происхождение, чтобы не дай бог не участвовать в эксплуатации азиатских детей на фабриках компании "Nike" и других международных гигантов. Поскольку реклама есть покушение на свободу выбора, узурпация прав потребителя, вторжение в сферу его воображаемого и подсознательного, Антуан завел тетрадь, куда записывал названия всех торговых марок, участвующих в этой психологической войне, и не покупал их никогда. Кроме того, он вел список предприятий, которые занимаются сомнительным, с моральной точки зрения, бизнесом, заражают среду, инвестируют в экономику недемократических стран или проводят массовые увольнения при растущих прибылях. Не покупал он также продуктов со всякой химией, консервантами, красящими веществами, антиоксидантами и, когда финансы позволяли, предпочитал платить дороже за биологически чистую еду. Не то чтобы он был убежденным экологистом, пацифистом, интернационалистом, а просто делал то, что требовала совесть; его поведение диктовалось скорее нравственными идеями, нежели политическими взглядами. В общем, Антуан сильно смахивал на святого эпохи общества потребления. Он и сам видел, насколько его бескомпромиссность близка христианскому мученичеству, и это его сильно смущало, поскольку он был атеистом. Но, как этакий Христос-безбожник, вести себя иначе не мог. Анализируя ситуацию, Антуан решил, что, возможно, такой мучительный — чтобы избежать слова "мученический" — ригоризм есть его личный способ переживать комплекс вины западного-мужчины-эксплуататора-третьего-мира. Как клирик, положивший себе суровый закон воздержания, он неукоснительно следо-

вал им самим установленным железным правилам: не желая, например, попадаться на крючок новых технологий, вынуждающих человека периодически обновлять всю свою аппаратуру в погоне за модой, он отказался от лазерных дисков и довольствовался, вполне разумно, великолепными пластинками на 33 оборота и стареньким проигрывателем.

Позиция покупателя-гуманиста, к несчастью, обходилась недешево. Антуан за все платил намного дороже. Следствием его высоконравственных убеждений и обостренного чувства потребительской ответственности была скудость гардероба и перманентное недоедание. Но он не жаловался.

Бодрозак озарил все вокруг своим химическим излучением, и Антуан заново открывал для себя мир. Он видел его теперь совершенно иным. Прежде пейзажи, воздух, улицы, все окружающее было омрачено существованием в мире войн, безработицы, болезней и вообще несчастных людей, каковых на свете большинство. Он не мог наслаждаться солнцем, не думая о жителях Африки, на которых это сверкающее божество обрушивает засуху и голод. Не мог радоваться дождю, помня, сколько жертв и разрушений приносят Азии муссоны. Поток машин вызывал в его сознании образы сотен искалеченных и погибших в автомобильных авариях. Газетные заголовки с их мрачным перечнем катастроф, убийств и несправедливостей определяли для него цвет неба, погоду, состав воздуха, которым он дышал.

С тех пор как он начал принимать маленькие красные таблетки, между зримым миром и притаившимися в нем страданиями непостижимым образом выросла спасительная стена.

Не то чтобы ему стало наплевать на участь вымирающих видов флоры и фауны или его больше не волновали теракты, нищета, общественное неравенство, жертвой коего был и он сам, — но он стал реалистом. Он продолжал считать, что бедность — явление весьма прискорбное, а насилие во всех его видах — это настоящий кошмар, но... что ж он тут может поделать? Он ведь не в состоянии ничего изменить в одиночку. Искреннее сочувствие пришло на смену мучительному сопереживанию.

Антуан с наслаждением гулял по улицам, наконец он оценил, как приятно просто ходить и смотреть по сторонам, испытывая острое удовольствие от того, что дышишь и что у тебя бьется сердце. Он вдыхал утренний воздух в монтрёйском парке, широко закрыв глаза на мировую действительность, любовался малиновками, не думая о том, что продолжительность их жизни стремительно падает из-за отравления окружающей среды. Глядел на девушек в летних платьях, не задаваясь вопросом, а есть ли у них в сумках книги, короче, воспринимал мир таким, каким видел, не ковыряясь в нем скальпелем и пользуясь бесплатными радостями жизни.

Чтобы выглядеть раскованным и общительным, Антуан приглашал в гости соседей — пообедать или посмотреть соревнования, не важно какие, и во время просмотра бурно восхищался бизнесменами в спортивных шортах. Он, человек вечно сомневавшийся, заставлял себя теперь быть необъективным в суждениях и презирать вкусы других. Он был на пути к тому, чтобы потихоньку вписаться в норму, и решил устроить себе тест на интеграцию — сходить в "Макдоналдс". Раньше ему бы и в голову не пришло переступить порог этого логова капитализма, где ничего не подозревающих людей обкармливают жи-

рами и сахаром и которое является символом униформизации жизни. Но он изменился.

"Макдоналдс" он выбрал самый ближайший, в двух шагах от дома. В предыдущую эру своего существования — между прошлой и нынешней пролегла бездна в четыре месяца — Антуан часто думал о том, что, не будь он противником насилия, он с удовольствием подложил бы туда бомбу. Но, возражал он себе всякий раз, там работают студенты и эксплуатируемые служащие, будет несправедливо, если они пострадают или потеряют работу.

Здание "Макдоналдса" было высоким, просторным, ярко размалеванным, плакаты на стенах призывали принимать жизнь легко и по умеренным ценам. Все венчала желтая буква "М". Антуана приветствовал у входа симпатичный пластмассовый клоун с поднятой рукой и непосредственной улыбкой. Антуан вошел и кивком поздоровался с двумя секьюрити, которые, судя по всему, оберегали клиентуру от налетчиков, промышляющих крупными кражами картошки-фри. Он двинулся дальше.

— Здравствуйте, — сказал он молодой женщине за прилавком.

— Что будете брать?

Антуан пришел в восторг от экономии общения: механическую вежливость проявлять больше не нужно. Что ж, он не станет. Это честнее, порядочнее в каком-то смысле. Антуан взглянул на меню.

— "Бест Мак Де Люкс", — прочел он на светящемся табло, обрадовавшись возможности получить за тридцать два франка еду, в названии которой фигурирует слово "люкс".

— Напиток?

— Да, разумеется. Прекрасно.

— Какой вам напиток? — спросила женщина с легким раздражением.

— Кока-колу, да, пожалуй, попробуем кока-колу.

Следуя нравам и обычаям новой реальности, он воздержался от выражений благодарности. Сел за бежевый столик и, прихлебывая газированную коричневую жидкость, принялся за картошку. Он долго, с любопытством изучал первый ломтик, потом окунул его в смесь кетчупа, горчицы и майонеза и прожевал. Еще недавно Антуан не смог бы, жуя ломтик картошки, не вспомнить о кровавой истории появления картофеля в Европе, обо всех человеческих жертвах, которые во имя его принесли ацтеки. Тот факт, что на совести этого клубня столько трупов, наверняка помешал бы ему наслаждаться едой. По неопытности он решительно впился зубами в свой сандвич, и половина жидкой начинки вытекла на поднос. Антуан вынужден был признать, что ему нравится. Конечно, такая еда не слишком полезна для здоровья, да и упаковки, скорее всего, не экологичные, зато все удобно, дешево, очень питательно и, самое удивительное, вкусно. Этот вкус подействовал на Антуана умиротворяюще, ему показалось, что он вдруг обрел семью без границ, примкнул к миллионам людей, которые в эту самую минуту едят точно такой же сандвич. Платя в кассу, перенося поднос на столик, отхлебывая кока-колу, откусывая сандвич и жуя картошку, он, как в грандиозном всемирном балете, выполнял те же движения, что и другие участники ритуального танца в точно таких же храмах. Это было приятно, вселяло уверенность и ощущение какой-то новой внутренней силы, оттого что он такой, как все, что он вместе со всеми.

Антуан никогда не занимался своей внешностью. Он носил прочные хорошие вещи, которые уже успели поистрепаться, но у него не было ни средств, ни желания покупать новые; его культовым магазином была лавка поношенных вещей "Геррисольд" на бульваре Рошешуар. Что касается прически, то тут вопрос решался с помощью машинки для стрижки, которую пускал в ход Ганджа раз в два месяца.

Теперь Антуан пошел в парикмахерскую и нормально подстригся. В магазине одежды он собезьянничал выбор какого-то парня, который держался так, словно у него безошибочный нюх на моду, и ни на миг не задумался о том, не используется ли на швейных фабриках этих марок детский труд. Он купил кроссовки "Nike", джинсы "Levi's", спортивный свитер "Adidas". В общем, обзавелся одеждой свободного стиля. Затем нанес визит в "Галери Лафайет" — еще совсем недавно немыслимый криминал. Сейчас он не дрогнув переступил порог этого буржуазного отстойника, благоухающего мускусом социального превосходства. Здесь, по совету сладкоречивого продавца, он купил полотняные брюки, рубашку и пиджак, элегантный и дорогой, "но вместе с тем очень, о-очень coo-ol, можете мне поверить..."

Чтобы достойно завершить день, он решил побаловать себя видеоиграми в специальном зале. О, ни в коем случае не хитроумными бродилками, где нужно что-то отыскивать, отгадывать загадки, ломать голову, нет, он просто мочил инопланетных чудовищ. Отличная разрядка, помогает сбросить напряжение в конце дня, отныне вполне типичного, как он надеялся. Ему понравилось истреблять пришельцев, он быстро вошел во вкус: борьба так захватила его, словно будущее человечества действительно зависело от его реакции и ловкости рук. Наконец-то он почувствовал себя героем.

Позвонила Шарлотта. Она снова сделала себе искусственное осеменение и попросила сводить ее на аттракционы. Они поболтали обо всем и ни о чем — о том, что лето в этом году припозднилось, о том, что правительство не справляется, о жизни и о том, как она хороша. В какой-то момент Шарлотта попыталась напомнить ему, что он подрядился участвовать в переводе полного собрания Кристофера Марло. После двух кругов на "больших русских горках" Антуана посреди его солнечного счастья вдруг повело и вырвало прямо в небо. Две красные таблетки, еще не переваренные, отправились наружу вместе с кетчупом и картошкой. Он сполоснул рот и проглотил две новые таблетки. С Шарлоттой они распрощались, ни о чем не договорившись.

Разглядывая в киосках обложки женских журналов или псевдоинформационных журналов для мужчин, рекламу мужских духов и косметики, фотографии суперменов, Антуан понял, что не соответствует образу идеального мужчины. В одном из номеров "Elle" он прочел анкету, где женщины отвечали на вопрос, какие черты в представителях противоположного пола вызывают у них сексуальные фантазмы, и не без разочарования констатировал, что не обладает ни одной такой чертой. Еще недавно он только посмеялся бы, заметив, что фантазмы — они и есть фантазмы, а у него найдутся достоинства поинтереснее. Но, пребывая под властью красных таблеток, он почувствовал себя ущербным, оттого что по сумме очков не проходит в секс-символы. Чтобы соответствовать глянцевым грезам, Антуан записался в фитнес-клуб, весь сверкающий и суперсовременный, где под потолком вились экзотические

растения. Он задался целью в кратчайшие сроки достичь мировых стандартов мужской красоты, иначе, полагал он, секс для него закрыт.

Теперь он по часу в день поднимал тяжести ногами, руками, плечами, неутомимо проделывал серии однообразных упражнений. Изматывая себя нагрузками, Антуан впадал в отупение; боль, пот, ритмичный стук и скрип тренажеров превращали его в механизм, в один из множества живых моторчиков сверкающей фабрики, где в корпуса металлических машин вмонтированы люди-двигатели.

Серьезность остальных клиентов клуба убеждала Антуана в важности их общего труда. Неотвязная гипнотическая музыка задавала темп каторжникам, надрывавшимся на галере мускулатуры. Никто не смотрел друг другу в глаза, в воздухе витало что-то вроде стыда — за то, что великолепная фигура не досталась от рождения и приходится создавать ее самим в поте лица.

Тело Антуана приобрело твердость и гладкость заводского изделия, размытые очертания его прежнего тела сменились четкими линиями. На животе проступил рельефный рисунок, квадратные бугры. Антуан набирал силу и, хотя он не знал, куда ее применить, радовался, видя, как его дряблые телеса превращаются в сталь. Он любовался своими нарождающимися мышцами, словно стигматами нормальности, зримыми символами соответствия узаконенному идеалу. Он сильный и, значит, что-то из себя представляет; теперь-то он понимал, что, будучи хилым и слабым, не представлял из себя ничего. Его фигура, как в конструкторе "Лего", стыковалась с общественным признанием один в один. Физическая метаморфоза лишь дополняла психологическую: он стал гибким и скользким, как акула в океане, ничто больше не могло его царапнуть, зацепить. Его тело и разум больше не томились, словно он теперь принадлежал к другому биологическому виду — чудесному виду рыб, которым не грозит утонуть. Он даже не заметил, как драгоценная застенчивость упорхнула из его души, словно бабочка.

Антуан больше не был ни на кого не похожим, он узнавал себя в других, как в ходячем зеркале, и это облегчало ему жизнь.

***

Безмятежно счастливому Антуану казалось, будто весь он наполнен мягкими, невесомыми гусиными перышками и они кружатся в его жилах, проникают во внутренние органы. Его сердце и мозг были забиты нежным разноцветным суфле. Во вторник, первого августа, он получил письмо из банка, где сообщалось, что у него кончился кредит. Тут он впервые с начала лечения почувствовал беспокойство. В своей чрезмерной беспечности он не озаботился найти источник доходов и сладострастно покупал вещи, которые еще несколько недель назад счел бы ненужными и бессмысленно дорогими. Необходимо было достать денег: жизнь — хищник, питающийся чеками и кредитными картами.

Со своими свидетельствами о степени лиценциата по биологии, магистра в области арамейского языка, а также истории кино с узкой специализацией по Сэму Пекинпа и Фрэнку Капре и прочими полудипломами он не мог рассчитывать найти работу по специальности. Шок от столкновения с реальностью свел на нет действие бодрозака, и Антуан в мучительно здравом уме отправился в районное бюро по трудоустройству. Простояв три часа вместе с другими безработными в помещении с

кондиционером, распространявшим феромоны[1] стресса, он услышал, как некто в одной из кабинок выкрикнул его фамилию, исковеркав ее без малейшего смущения. Антуан сел напротив одетого в офисный костюм чиновника, который отрешенно печатал что-то на компьютере. Прошло минут пять, прежде чем он заметил Антуана. Наконец он соизволил с ним заговорить. Антуан продемонстрировал свои экстравагантные дипломы.

— Забудьте, — сказал чиновник. — Вы сумасшедший, да? Зачем вы изучали эти... эти штуки...

— Мне было интересно. А еще я почти закончил дипломную работу по...

— Это профессиональное самоубийство, вы выучились на безработного!

— Ладно, — сказал Антуан вставая, — до свидания и спасибо за помощь и поддержку.

— Подождите, не сдавайтесь так быстро. У вас есть водительские права?

— Нет.

— Нет прав? Фантастика!

— Знаете, исследования показали, — язвительно объяснил Антуан, — что запасы нефти на планете кончатся через сорок лет. Я решил не выбрасывать деньги на ветер.

— Советую не привередничать! Вы кандидат не первого разбора. Но подождите, подождите.

Чиновник, не отрываясь ни на миг от экрана, стал предлагать Антуану разнообразные курсы переподготовки, где обучали вещам глубоко неинтересным и за которые платили гроши. Антуан вдруг понял, что находится в положении нищего, просящего милостыню, у него нет выбора, он должен брать то, что бросят в шапку: медяки, билеты на метро, талоны на обед, пуговицы от брюк, изжеванную жвачку... Чиновник усердствовал, стараясь подобрать ему хоть что-то, иначе говоря, какую-нибудь дрянь, и унижал его с казенным доброжелательством. Антуан встал и ушел, но тот даже не заметил.

Тут Антуан вспомнил о своем суперуспешном лицейском приятеле по имени Рафаэль. Порывшись в коробке, где валялись вперемешку все его записи, он нашел номер телефона. Разумеется, Рафаэль уже не жил с родителями. Однако эти милейшие люди — а может, маразматики, Антуан не разобрался — дали ему новый телефон сына.

Антуан надеялся, что Рафи́ — таково было его нелепое прозвище — не забыл за эти годы о нем и о той роли, которую он сыграл в выборе его, Рафи, профессии.

Абсолютно уверенный в себе, Рафи легко общался с кем угодно, он держался непосредственно и открыто, не сомневаясь в любви окружающих. Его обтекаемый ум не имел печального счастья цепляться за шероховатости реальности и получать ссадины, он легко скользил в мировом пространстве. Рафи считал Антуана прикольным, любил его

1. Феромоны — биологически активные вещества, выделяемые животными в окружающую среду и влияющие на поведение, физиологическое и эмоциональное состояние особей того же вида.

остроты — главным образом потому, что не улавливал в них ехидства, — и вообще, его занимал этот странноватый парень, который не смотрел на него снизу вверх. Антуан был для Рафи загадкой, непостижимым, экзотическим существом. Что же до Антуана, то сидеть в столовке напротив Рафи означало для него приятную возможность расслабиться, ибо необязательно слушать собеседника, когда заранее знаешь, что он ничего интересного не скажет. Рафи принадлежал к породе трогательных эгоцентриков, которые без стеснения вещают от первого лица: он рассказывал всегда о себе любимом, о других применительно к себе, о том, кто что о нем говорит, думает и т. д.

В тот раз Рафи сидел и мял кусок хлеба, ломал, крошил — знак несвойственной ему нервозности. Он наклонился к Антуану и зашептал ему на ухо, словно они были американскими шпионами в столовой КГБ:

— Слушай, у меня проблема. Может, поможешь?

— Готов развернуть широкомасштабную операцию гуманитарной помощи, — немедленно откликнулся Антуан, сомневавшийся в глубине души, что эти семьдесят килограммов совершенства могут иметь в жизни серьезные проблемы.

— Проблема экзистенциальная, ты в таких делах разбираешься.

— Конечно. Черный пояс по онтологии.

— Ну так вот, мне надо решать, где учиться. Выбор есть, меня берут в лучшие подготовительные классы для Вышек[1]... Институт политических наук, Высшая коммерческая школа, Политех, Госшкола управления, светит офигенная карьера. Могу идти потом в любую крупную финансовую группу, получить там большой пост и в конце концов ее возглавить или занять государственную должность...

— Наверно, имеет смысл стать президентом, — заметил Антуан.

— Наверно. Передо мной открыто все, но хочется-то мне совсем другого. Мне хочется рискнуть и заняться тем, что меня действительно увлекает. Чтоб не пришлось в конце жизни сказать себе: да, мне удалось все, за что я брался, я богат, любим и все такое, но я не реализовал свою страсть. С родителями я об этом не говорю, не хочу их волновать, но мне охота послать все к черту и последовать велению сердца. Мне хочется приключений, хочется свернуть с торной дороги, я чувствую, что во мне есть что-то уникальное, единственное в своем роде. У меня есть тайная мечта, Антуан, страсть, совершенно безумная...

— Это ж здорово, Рафаэль! — воскликнул Антуан, изумленный тем, что Рафи способен на страсть, столь очевидно неразумную. — Здорово! Честно говоря, ты меня удивил, я считал тебя более приземленным, более практичным.

— Во мне есть и поэт, Антуан, я чувствую, что у меня артистическая душа. Так ты считаешь, мне стоит броситься в это очертя голову и — была не была?

— Да, конечно, давай. Вперед! Тебе, конечно, понадобится мужество и терпение в осуществлении твоей мечты, но все равно, надо следовать своему призванию.

1. Имеются в виду так называемые Высшие школы, диплом которых ценится во Франции очень высоко. В отличие от университетов проводят строгий конкурсный отбор будущих студентов. Подготовка к вступительным экзаменам длится 2–3 года в специализированных классах при лицеях после сдачи экзамена на степень бакалавра.

Рафи был на седьмом небе. Он взволнованно пожал другу обе руки, глаза его сияли. В порыве благодарности он налил Антуану стакан воды.

— Да, кстати, Рафаэль, ты мне не сказал, чем ты так увлечен, в чем твоя безумная мечта?

— Я хочу создать трейдерскую контору.

— Что, прости?

— Акции, облигации, фондовые сертификаты... Я сделаю это, Антуан! Благодаря тебе у меня будет денег до жопы!

В итоге родители Рафаэля восприняли это вполне спокойно и даже подарили ему миллион на раскрутку. А на совести Антуана оказалось дурацкое преступление: он породил еще одного капиталиста. Тогда он лишь пожал плечами в ответ на заверения Рафи, что тот всегда готов прийти ему на помощь, если понадобится, но сейчас, когда его банковский счет кричал SOS, Антуан не усматривал никаких моральных преград, чтобы заработать денег любым способом. Когда обнаруживаешь, что ты чуть ли не единственный, кто эти моральные преграды имеет, возникает порой искушение послать их к черту — не по убеждению и не ради удовольствия, а просто потому, что обидно быть ангелом в аду, в то время как дьявол везде себя чувствует дома. Антуан избрал весьма распространенный тип поведения, когда человек слагает свои идеалы перед идолом интеграции; впрочем, когда продаешь душу, можно все и оправдано все.

Он не смог поговорить с Рафи: секретарша преградила ему путь и потребовала оставить контактный телефон. Через час в автомате возле булочной раздался звонок. Это был Рафи, взволнованный и счастливый, оттого что может поговорить с другом, поддержавшим его в момент судьбоносного выбора.

— Антуан! Если б ты знал, как я рад тебя слышать! Ты, я... хорошие были времена, правда? Что поделываешь? Надо, чтоб ты обязательно пришел к нам в гости с женой, расскажешь о своей работе, классно посидим!

— Я холостой и безработный.

В трубке возникла секундная пауза. Рафаэлю никогда не приходило в голову, что его успех не сделал счастливым всех людей на земле.

— Не имеет значения, все равно ты мой гуру, Антуан, я найду для тебя и жену, и работу. Это минимум того, что я тебе должен. Надо увидеться!

Они договорились о встрече на Сен-Жермен-де-Пре, в Рафаэлевой фирме. Он принял Антуана в кабинете, стены которого были увешаны огромными киноплакатами. Дело решилось мгновенно: Рафи жаждал взять Антуана к себе в контору.

— Я ничего не понимаю в биржевых делах...

— Это и хорошо! На новенького даже лучше получается, глаз еще не замылился. Я в тебя верю.

— А что я должен делать?

— Ничего хитрого: просто покупать и продавать акции и валюту по всему миру. В удачный момент. Чуять, какие акции вырастут, какие упадут, держать ухо востро, дать волю интуиции. С этим у тебя нормально, тут мне не о чем беспокоиться: всем, что ты видишь, я обязан тебе.

Рафи, лопаясь от гордости, показал Антуану роскошные помещения своей фирмы, представил его коллегам и кофейному автомату. Атмосфера была деловая и азартная, но отношения явно непринужденные,

служебная иерархия сглажена, как в обществе всеобщего равенства. Президент Клинтон желает, чтобы послушная пресса называла его Билл, а не полным именем — Уильям; это более симпатично, создает образ друга, человека близкого, которого легче простить, а главное, нейтрализует негативные ассоциации, связанные с самой должностью. В соответствии с той же стратегией Рафаэль именовался Рафи. Контактный, открытый, приветливый, он умел доброжелательно надавить на подчиненных и, чисто по-дружески, потребовать повысить результативность или поработать сверхурочно.

Антуану выделили огороженный загончик в огромном зале, где сидели семьдесят трейдеров. Загончик был оснащен двумя компьютерами, серым железным столиком с огромным количеством ящиков и кофейной чашкой. На стенах зала высвечивались курсы и котировки крупнейших мировых бирж. Неделю Антуан наблюдал за действиями коллег, ему давали советы; он накупил книг, чтобы сориентироваться в терминологии: SICAV, Nasdaq, Stoxx 50, FTSE 100, DAX 30... Обескураживающе простой по сравнению с арамейским, этот новый язык был им освоен быстро и в совершенстве.

Жизнь его изменилась еще больше. К твердой зарплате, которой и так хватало ему выше крыши, добавлялись проценты с удачных сделок. Он сменил свою крохотную даровую квартирку на лофт в районе Бастилии, на улице Рокетт[1]. Поскольку месье Браллер за это время не излечился, Антуан попросил Влада, соседа-кетчиста, за ним приглядывать.

С Родольфом он больше не виделся. Тот пытался втянуть его в философские прения, поспорить на всякие каверзные темы, к которым Антуан совершенно потерял интерес; их отношения, державшиеся на непрерывной пикировке, без этого цемента распались. Антуан по-прежнему водил Шарлотту на аттракционы, но катались они молча. Ганджа, обычно такой невозмутимый, вдруг разозлился и заявил, что готов встретиться с Антуаном только тогда, когда тот бросит свою идиотскую затею косить под идиота. Ас посвятил ему четверостишие, где говорилось, что они перестали дышать одним воздухом и превратились друг для друга в иностранцев, хотя географически страна у них общая. Однажды они расстались после вечера, проведенного в полном молчании в их бывшей штаб-квартире, баре "Гудмундсдоттир". Антуан смотрел, как его друзья удалялись в темноту, освещенные излучением Аса. Он не чувствовал грусти: им больше нечего было сказать друг другу. Антуан был полностью поглощен новым ремеслом, стремлением стремиться вверх и желанием желать фирменные вещи. У него появились новые друзья, у которых обо всем имелось твердое мнение, с ними он ходил на концерты и вечеринки. В общем, жил нормальной жизнью молодежи, имеющей средства жить. Антуан приобрел друзей массового потребления, в стандартной упаковке, приятелей серийного производства, которые без колебаний не приходят на помощь в трудную минуту.

Казалось, он полностью влился в касту молодых патрициев и образцово озвучивал персонажа в костюме от Hugo Boss. При более пристальном взгляде в нем все же была заметна некоторая сдержанность.

1. Улица Рокетт считается одной из самых модных в Париже.

Тем не менее он ни на миг не позволял себе подвергнуть сомнению жизненные установки своего нынешнего окружения и не высказывал мнений, которые можно было бы, даже с большой натяжкой, расценить как оригинальные. Он целиком вверился этому новому миру, который подхватил его и понес по течению, что определенно доставляло ему удовольствие — удовольствие, прежде неведомое, от безопасной свободы и от движения в потоке, не выходящем из берегов.

Деньги, успех, интеграция в престижную среду с прочным общественным фундаментом экономят нам душевные силы. Не нужно взвешивать свои желания, вырабатывать собственную мораль, размышлять о своих поступках, друзьях, о своей жизни, не нужно понимать, добиваться: среда все преподносит на блюдечке. От брака с обществом Антуан получил недурное приданое. Как выяснилось, это сберегает энергию и вообще куда менее муторно, чем пытаться все искать или даже изобретать самому. Зачем, какой смысл, вас снабдят великолепными чувствами в сборе и соорудят мировоззрение "под ключ".

Удивительно, до чего жизнь людей похожа на их автомобили. У одних жизнь без дополнительных функций, которая только едет, да и то не очень быстро, временами буксует и часто нуждается в починке; это жизнь плохонькая, маломощная, без всякой защиты на случай аварии. Зато у других жизнь имеет массу наворотов: она укомплектована деньгами, любовью, красотой, друзьями, успехом точно так же, как их машины оснащены подушками безопасности, противоблокировочной системой, кожаными сиденьями, гидроусилителем руля, кондиционером и двигателем с шестнадцатью клапанами.

К середине августа окончательно стало ясно, что пересадка Антуана на новую профессиональную почву прошла благополучно, он оказался трейдером не хуже других, работал вполне прилично. Следил за торгами, действовал отчасти по интуиции, отчасти по логике, но пока еще не провернул суперсокрушительной сделки, которая позволила бы ему войти в круг миллионеров компании. Он и думать забыл о том, какие последствия могут иметь его спекуляции и жонглирование цифрами в реальном мире, уже почти изгладившемся из его ватного сознания.

И все-таки в одном Антуан от коллег отличался: он не переносил кофе. В первые дни работы на фирме он попробовал выпить чашечку и две ночи не мог сомкнуть глаз. С тех пор он пил кофе без кофеина, зато целыми днями. Чашка кофе — атрибут статуса, каждый настоящий трейдер обязательно держит в руке или под рукой недопитую чашку кофе. Как офицер без оружия, писатель без ручки, теннисист без ракетки, трейдер не может работать без кофе; это его орудие труда, отбойный молоток, "смит-вессон".

А потом вдруг, разом, без всяких усилий, Антуан разбогател. Он стучал, как обычно, на обоих компьютерах в своем маленьком боксе среди безумия обычного рабочего дня: повышения, понижения, крики, телефонные звонки, самоубийства, щелканье клавиатур, рыдания, мерное жужжание десяти кофеварок, выстроившихся вдоль стены... Антуан спокойно тюкал по клавишам, зажав плечом телефонную трубку, продавал иены, наудачу забрасывал удочку в рыночный хаос, как вдруг, потянувшись за кофе с целью увлажнить пересохшую слизистую рта, опрокинул чашку на клавиатуру основного компьютера. Что-то заискрилось,

задымилось, затикало, запшикало, монитор потух, снова зажегся, и все восстановилось в прежнем виде. За исключением того, что цифры на экране были уже другие: оказалось, за эту секунду совершилась череда сделок на сумму в несколько сотен миллионов. Сбой в компьютере вызвал цепную реакцию гениальных финансовых операций.

— Я знал, что не прогадаю, когда брал тебя, — сказал Рафи. — Как ты сообразил такое провернуть?

— Интуиция, — ответил Антуан, скромно потупившись.

— Да, это или дано, или не дано... Но все-таки ты, наверно, здорово проработал этот сегмент, потрясающе просек, что там происходит, и не сдрейфил! Да, друзья мои, вот это самообладание!

Зал зааплодировал Антуану, коллеги хлопали его по плечу, в воздух полетели серпантин и конфетти, выстреливали пробки от шампанского, и Рафи протянул Антуану чек. Антуан взглянул на него и, сам того не ожидая, испытал большое душевное потрясение. Такое же сильное, как если бы у него родились дети. И его можно понять, детей родилось сразу шестеро: на чеке после первой цифры стояло шесть нулей.

В этот миг Антуан не вспомнил о том, что когда-то понял: легче всего подкупить самого себя. Красные таблетки избавили его от мысли, что он теперь продается и покупается с помощью богатства, не сотканного из материи снов.

***

Чтобы ощутить реальность своих миллионов, Антуан взял премию мелкими купюрами и вышел из банка с двумя чемоданами денег. Придя домой, он вывалил их в гостиной на большой стол оливкового дерева, потом аккуратно сложил стопками. Бесчисленные бумажные прямоугольнички, молекулы его успеха! Он даже слегка захмелел от их вида, голова вдруг пошла кругом — вот он, предмет вожделений рода человеческого! Антуан невольно улыбнулся. Итак, он богат, иначе говоря, осуществил часть своего плана: воплотил мечту, разделяемую миллиардами людей.

Но это чувство, которое он назвал про себя счастьем, быстро прошло. Что делать с такой кучей бабок? Если он хочет быть нормальным миллионером, то не может оставить их лежать просто так. Богатство не самоцель, надо, чтобы восхищение и зависть друзей, знакомых, прохожих на улице стали зеркалом вашего успеха. Антуан понял: разбогатеть — еще полдела, надо теперь научиться хотеть того, чего хотят богатые. Это представлялось ему самой трудной задачей. Чтобы получить миллион, ему не пришлось делать ничего, разве что опрокинуть кофе на клавиатуру компьютера, а чтобы его использовать, требовалось поломать голову.

Полистав журналы, он составил список вещей, которые должен хотеть. И еще список вещей, которые хотеть не должен: он остерегался впасть в грех нуворишества, свойственный презренной категории толстосумов, выпячивающих на всеобщее обозрение лишь наименее важную сторону богатства — деньги.

Превратившись сам для себя в Деда Мороза, Антуан отправился за покупками на санях, с посохом и большим мешком. Для украшения своего лофта и репутации он решил закупить что-нибудь из современной живописи. В стильной парижской галерее выбор его пал на работы некоего художника, похоже, гениального, если судить по количеству ну-

лей на ценниках. Владелец галереи представил его как нового Ван Гога. "К тому же и оттитом страдает", – сообщил торговец для вящей убедительности. Антуан изобразил на лице восхищение, бросил в ответ "О!", словно милостыню в шляпу нищего умом галерейщика, и открыл чемоданчик. Затем занялся поисками машины. Водить он не умел, учиться не собирался, но это обстоятельство никак не отражалось на его решимости соблюсти ритуал. Машины покупают практически все, но для большинства выбор ограничен кошельком. У Антуана таких ограничений не было, поэтому он оказался в растерянности перед целым морем марок, моделей и типов двигателя. Он сделал наблюдение, что каждому виду и даже подвиду богачей соответствует своя марка: молодые миллионеры из конторы Рафи покупали спортивные автомобили, а тридцатилетние – "BMW" или "мерседесы". Антуан, дабы показать, что он: а) молодой, б) успешный, в) трейдер-миллионер, купил красный "порше". Машину подогнали к его подъезду, и она осталась там стоять как символ его триумфа.

В магазинах, где выставлен заслон презрения по отношению к недостаточно платежеспособным покупателям, Антуана принимали как принца, едва завидев его пластиковую корону – золотую кредитку. Он накупил дорогих костюмов, от которых будут помирать со смеху грядущие поколения, но которые сейчас демонстрировали его крутизну простым смертным, лишенным возможности так естественно и откровенно выставлять напоказ свой дурной вкус.

Линька, как объясняет толковый словарь "Малый Робер", – это "частичная или полная смена наружного покрова (панциря, рогов, кожи, перьев, шерсти и т. п.) у некоторых животных и птиц в определенные периоды". Антуан линял. Он сменил свою старую одежду на шикарную, душился немыслимо дорогими мужскими духами, умащивал свою кожу, натирал ее маслами и молочком, ходил в институт красоты на чистку, массаж и сеансы искусственного загара и следил за прической, посещая еженедельно модную парикмахерскую. Разновидностью линьки можно считать и перемену тембра голоса у мужчин в переходном возрасте. Антуану казалось, что он вдруг, за несколько недель, стал взрослым. Прежде голос его не оказывал такого действия ни в магазине, ни в учреждениях, ни даже в обычном разговоре: иногда его попросту не слышали, хотя он говорил громко и отчетливо. А теперь, хотя сам он не заметил ни малейшей перемены в своем голосе, Антуана мгновенно слышали, внимательно выслушивали и выполняли желаемое.

Короче, в связи со всей этой линькой вполне можно сказать, что Антуан превратился в нечто вроде змеи. У него осталось мало общего с человеком, каким он когда-то был, словно он стал существом другой породы.

Его расходы резко выросли. Помимо крупных приобретений типа картин, машины, одежды, он покупал во имя престижа суперсовременные кухонные приспособления, аппаратуру hi-fi, видео, компьютеры завтрашнего и даже послезавтрашнего дня. На самом деле он вовсе не пользовался всеми этими навороченными устройствами, стоившими безумных денег. Равно как и не ел деликатесы, которые тоннами загружал в свой гигантский американский холодильник. Сознание Антуана находилось пока еще на стадии приобретения, а не потребления. Вкусы у него были по-прежнему простые. Его лофт походил на музей достижений науки и техники, на кладбище новейшей аппаратуры.

Чтобы банк продолжал поддерживать его покупательскую активность, Антуан снова опрокинул чашку обескофеиненного кофе на клавиатуру. И опять это был джекпот: золотой телец — домашнее животное, он, как добрый верный пес, запомнил дорогу на банковский счет Антуана.

Это было в конце рабочего дня. Когда остальные уже собрались уходить, Рафи вызвал Антуана к себе. В кабинете он обнаружил двух молодых женщин в весьма сексуальных вечерних платьях.

— Антуан! — воскликнул Рафи. — Ты просто супер! Вот, держи свою премию.

— Спасибо, — сказал тот, запихивая миллионы во внутренний карман пиджака. — Ну, пока!

— Как это — пока? Мы сегодня гуляем. Надо отметить твой гениальный ход. Знакомься, это Санди.

— Очень приятно, — сказала с улыбкой одна из девушек и протянула тонкую руку.

— А это Северина, — продолжал Рафи. — Она сегодня будет твоей дамой, тебе вообще сегодня везет.

Антуан посмотрел на Северину, на ее роскошную фигуру, зазывное выражение хорошенького личика, плотоядный взгляд, который она устремила на него, и сказал себе, что есть проблема. Он чувствовал где-то в подпочве сознания опасный зуд, там как будто резались зубы его настоящей личности, и следовало срочно проглотить пару таблеток бодрозака, но он забыл их дома. Он сказал Рафи, что хочет поговорить с ним две минуты с глазу на глаз.Тот попросил девушек подождать в машине. Они вышли, вызывающе вертя попками.

— Никогда не думал, что ты так поступишь со мной, — сказал Антуан с укором.

— Как поступлю? О чем ты?

— Ты угощаешь меня проституткой... Мне казалось, ты лучше знаешь меня, Рафаэль. Я даже как-то разочарован.

— В смысле, шлюхой? — Рафи расхохотался. — Ты считаешь, что Северина — профессионалка?

— По-моему, это очевидно.

— Ты недооцениваешь свой мужской шарм, Антуан. Нет, Северина не шлюха.

— Тогда почему она так жаждет провести со мной вечер? А главное, почему смотрит на меня с таким голодным видом? Как будто перед ней Брэд Питт.

— Я рассказывал ей о тебе, говорил, что ты настоящий финансовый гений и все такое. И вообще, можешь мне поверить, тебе есть чем покорить женское сердце.

— Ладно, допустим. Но что это еще за Санди? У тебя же потрясная жена...

— Нет, только не это, ты же не будешь читать мне мораль!

— Не буду... Хотя нет, буду, потому что ты...

— Ты собираешься настучать? Стучать нехорошо. Стукачи попадают в ад. Ты чересчур закрепощен, Антуан. Расслабься.

— Твоей жене будет больно, ты не имеешь права так себя вести!

— Моя жена ничего не узнает, поэтому ей не будет больно и, следовательно, ничего плохого тут нет.

— Но зачем? У тебя же есть любовь...

— В жизни существует не только любовь. Есть еще постель. Черт, Антуан, на дворе 2000 год, сексуальная революция произошла полвека назад, проснись! Мы вправе распоряжаться своим телом, девушки тоже.

Рафи вещал с апломбом новоявленных аристократов, путающих привилегии с правами и самооправдание с правдой. Антуан плюхнулся в кресло перед столом. Постучал ластиком по органайзеру, уставившись в пустоту. Так он просидел с минуту. Рафи тем временем укладывал бумаги в портфель. Антуан в упор посмотрел на него.

— Кстати, о сексуальной свободе...

— Хочешь пройти обучение? Северина проведет с тобой семинар... ты понимаешь, что я имею в виду.

— Одна из моих коллег считает так же, как и ты, она всей душой с тобой.

— А как же, ведь жизнь изменилась, надо быть раскованным. Она пользуется радостями секса и правильно делает.

— Думаю, ты ее знаешь, ее зовут Мелани.

— Мелани? — повторил Рафи, слегка изменившись в лице. — Мелани де Наздак?

Оттолкнувшись от стола, Антуан крутанул вертящееся кресло на колесиках. Он смотрел на Рафи, следил за его реакцией, чуть улыбаясь одними губами, с грустью в глазах. Он встал и взял Рафи за плечо.

— Да. Она согласна, и, более того, мечтает переспать с кем попало, до того она свободна. Классно, да? Только беда в том, что с ней никто спать не хочет. Поэтому... я вдруг подумал... раз ты такой свободный человек, то, наверно, ты мог бы сделать ей приятное...

— Но Мелани... она же попросту... ну, пойми ты... в ней нет...

— Она, между прочим, поживей и поостроумней, чем все твои Санди, и не выпендривается. Ты это хочешь сказать?

— Но она же страшней атомной войны! Извини, но это факт, она плоская, как скелет. Просто антивиагра какая-то.

— Ну и...?

— И что? Что ты хочешь, чтоб я сказал? Так устроено природой: далеко не все могут пробежать стометровку. В мире нет равенства, что поделаешь. Ну не годится у нее фигура для секса, хоть тресни. Но есть другие виды спорта. Есть, например, любовь, пусть сосредоточится на этом, потому что только при наличии любви можно переварить такую внешность. Любовь слепа. Знаешь, как говорят про некоторых баб: она свой парень, не более того.

— Как у тебя все просто! Но... Рафаэль, ты не понимаешь... Ей хочется трахаться, хочется кайфа. Как тебе, как Санди.

— Могу попытаться найти ей мужика из общества слепых. Слушай, знаешь что, завтра я предложу ей насиликонить грудь за счет фирмы. Выйдет для всех дешевле.

— Ты полон милосердия! Раз уж на то пошло, можно пришить ей член к руке...

— Опомнись, Антуан, душевные качества для секса не релевантны! От них не встанет. Наверно, это плохо, но это так. И я тут бессилен.

— Как сказал Керк Дуглас, умная женщина всегда сексуальна.

— Чего ты добиваешься? По-твоему, я должен ее трахнуть, просто чтобы быть последовательным?

— Ну да, именно.

Мелани принадлежала к породе людей, которые тянутся к тому, что их отторгает, как неимущие льнут порой к богачам; Рафи не хотел ее, потому что она некрасива, она же хотела его, потому что он красив. Через неделю она пришла на работу с глубоким вырезом, в котором колыхалась роскошная пышная грудь. Для многих этого оказалось достаточно, чтобы заинтересоваться ею. Она перестала быть тенью: со своей новой грудью Мелани вписалась наконец в формат мужского взгляда.

Рафи упивался собственным великодушием, однако беспокоился за Антуана по причине, как он выразился, его "сентиментального робеспьеризма" и непрерывно доставал его на правах друга, пока не уговорил в конце концов обратиться к его приятельнице, которая работала в службе знакомств. Рафи гарантировал серьезность, уверял, что это ни к чему Антуана не обязывает, умолял хотя бы просто встретиться с ней. Антуан сдался, чтобы Рафи отвязался от него со своей воспитательной работой и догмами свободной морали. Еще несколько недель назад у него было представление о любви как о форме искусства или, по крайней мере, художественного промысла, теперь он осваивался в совершенно новом мире, бесспорно более реальном, где любовь — форма потребления и еще одна сфера сегрегации.

Поднявшись на пятидесятый этаж офисного билдинга, где располагались представительства хай-тек компаний, Антуан вошел в переполненное страждущими матримониальное агентство. Перегородок нет; сотрудники снуют туда-сюда, телефоны звонят беспрерывно; стук пальцев по клавиатурам компьютеров сливался в своего рода музыку, которую можно было бы исполнять в Центре изучения Камеруна. Антуана провели в тихий кабинет в английском стиле, куда не проникала суета. Он постоял там некоторое время в одиночестве. Кабинет был светлый, в идеальном порядке. Несколько книг на полках, растения вдоль стен, неброские предметы искусства, небесно-голубой "макинтош", большое окно. Наконец дверь распахнулась и стремительно вошла женщина лет сорока, предложила ему сесть и скользнула на свое место за столом. На ней был элегантный костюм, довольно свободный, чтобы не стеснять движения, а может, и для того, чтобы скрыть несколько лишних килограммов.

— Вы ведь от Рафи, да? Ладно, что-нибудь подберем. Но капризничать не советую: вы не секс-символ. Есть у вас конкретные пожелания?

— В каком смысле?

— Блондинка, брюнетка, рыжая, рост, профессия. Существует масса показателей. Не обещаю раздобыть точную копию вашей мечты, но приблизиться к идеалу можно.

Женщина включила компьютер, открыла нужную папку, напечатала несколько слов. Она казалась совершенно измотанной, какой-то потухшей и вместе с тем раздраженной и взвинченной. Она смотрела на Антуана, ожидая перечня запросов.

— Мне не хочется уточнять. В общем... наверно, зря я пришел. Извините.

— Вас это коробит? Но ведь именно так все в жизни и происходит, только вместо бессознательной фильтровки мы проводим научную. Результат тот же. У нас не случайно самый высокий процент удачных бра-

ков среди таких агентств, потому что у нас подход деловой, а не эмоциональный. Деловой подход к эмоциям, если угодно. Ладно, продолжим. Итак, конкретику не закладываем.

Пальцы ее неистово колотили по клавиатуре. Зазвонил телефон, но она не ответила. Звонки смолкли. Она повернулась к Антуану и осмотрела его опытным взглядом, словно что-то прикидывала.

— Все-таки хотелось бы примерно моего возраста...

— Отлично. Послушайте, мой мальчик, сделайте все же над собой усилие. Мы составим на вас досье, и на основе этих данных наши клиентки смогут, теоретически, вами заинтересоваться. Так что постарайтесь представить себя в выгодном свете.

— То есть я должен рассказать о своих интересах, увлечениях?

— Разумеется, но это мы поставим в конец. А сначала общественное лицо.

— Лучше обойтись без этого, мне не хочется, чтобы...

— Вы смеетесь надо мной? Я не могу терять время на людей, которые требуют, чтоб их любили за ум и душу. Будь вы красавцем, нашлась бы масса девушек, которые полюбили бы вас за тонкий юмор и отзывчивость. А так... Знаете, молодой человек, мы тут не затем, чтобы рассуждать о том, что хорошо и что плохо. Просто так устроен мир, хотите вы того или нет, это так, и всё, поэтому постарайтесь получше использовать свои преимущества. Высказывания Макиавелли о политике, возможно, звучат цинично, но от этого не перестают быть верными. А мы — Макиавелли любви. Я не хочу сказать, что любят за богатство, цвет волос, объем груди, но статистика показывает, что это имеет решающее значение. Профессия, мускулатура, рост, возраст, деньги, вес, модель автомобиля, одежда, цвет глаз, национальность, марка кукурузных хлопьев, которые вы едите на завтрак... Вы даже представить себе не можете, насколько такие вещи эмоционально значимы. Вам, например, известно, что у блондинок на двадцать четыре процента больше сексуальных контактов, чем у брюнеток? В любви и сексе есть непреложные законы. Что вы о них знаете? Эти законы никого не интересуют, потому что каждый убежден в том, что он единственный и неповторимый. А я располагаю тоннами данных, которые свидетельствуют об обратном.

— Напрасно вы так обобщаете, — сказал Антуан ободряющим тоном. — Душа, согласен, не для всех важна, но все-таки... Я знаю людей, для которых она имеет значение. Мне кажется, вы немного утрируете.

— Вам кажется? Что ж, возможно. Моя жизнь не сложилась, поэтому имею право утрировать и смотреть на любовь пессимистично. Но по-моему, я объективна, хотя, конечно, в этом деле правда звучит цинично. И, говоря откровенно, меня саму убивает моя объективность и сознание того, что все это происходит помимо нас, а от нас ничего не зависит. И я предпочла бы перестать быть объективной, разозлиться и возненавидеть наконец своего мужа, который бросил меня ради двадцатилетней девки.

Она шваркнула мышку на стол, нажала на какую-то клавишу и встала. Она улыбалась злой и несчастливой улыбкой. Подошла к полкам, переставила какие-то книги, задела статуэтку сумчатого медведя, которая упала и разбилась. Она села на корточки и стала подбирать обломки.

— Очень сожалею... — пробормотал Антуан, бросившись ей помогать.

— Почему это вы сожалеете? — рассердилась женщина. — Запрещаю вам сожалеть! Кто вы такой, чтобы судить моего мужа?

— Да нет, я просто... Ведь он оставил вас ради совсем молодой девушки...

— Ну и что? Зря вы принимаете мою сторону. Я бы, например, никогда не влюбилась в такого, как вы.

— Потому что я недостаточно смазлив?

— Нет. Потому что вы ниже меня ростом.

— Только поэтому?

— Это важно, во всяком случае для меня. И не спрашивайте почему. Хотя я готова признать, что это мотивы того же порядка, что и у моего говнюка-мужа, которому больше нравится стильная девчонка, чем я. В любви нет невинных, есть только жертвы.

— Но это получается как бы любовь по расчету, если руководствоваться такими... критериями.

— Вы очень ошибаетесь. Никакого расчета тут нет, все люди в любви искренни. Мой муж действительно по уши втрескался в эту свистуху. Не то что он сказал себе: "Ну, моей жене сорок лет, у нее обвисла грудь, она растолстела, и кожа уже не та, поменяю-ка я ее на что-нибудь получше". В сущности, так оно и есть, но сам он ничего подобного не думал. А произошло все из-за этого. Только постфактум человек может начать анализировать, искать причины. Я, вероятно, обожала бы вас, мы стали бы лучшими друзьями, но я никогда не влюбилась бы в вас по-настоящему. Когда я слышу от людей, что они не знают, почему любят, мне смешно. Они просто не хотят знать, но помимо притяжения душ есть причины психологические, социальные, генетические... Любовь, влечение воспринимаются как нечто бессознательное, и в то же время это самые рациональные вещи на свете. Легче всего сказать, что любишь человека просто так, без всяких причин, тогда можно не признаваться себе, что причины не самые праведные, потому что кому она нужна, правда? Когда я спросила мужа, почему он бросает меня и уходит к этой чертовой дуре, молодой, сексуальной, стройной блондинке с роскошной грудью, он ответил: "Не знаю, милая, человек ведь не знает, почему он влюбляется, так случилось, вот и все". И хуже всего, что он не врет, он действительно верит в эту чепуху. Этот гад абсолютно искренен. Знаете, что говорила мадам де Сталь: когда речь идет о чувствах, не нужно лгать, чтобы говорить неправду. Так что да, я утрирую... но у меня есть основания утрировать, потому что я... старая, я вышла в тираж.

Она продолжала плача что-то говорить, корила себя за то, что жалуется, проклинала мужа и его новую невесту. Она даже не заметила, как Антуан тихонько вышел, глубоко подавленный.

Однажды в минуту плодотворного отчаяния он сказал себе, что верить в истины, заставляющие нас опускать голову, значит идти на поводу у реальности, которая их порождает: кто ищет поводы быть несчастным, их непременно найдет, потому что человек всегда находит, что ищет. И он тогда решил для себя, что всякая истина, причиняющая страдание, воплощает некую моральную систему, и сама реальность тоже есть своего рода моральная система, в противовес которой он может создать свою собственную. Но, выходя из брачной конторы, он, несмотря на все свое смятение, об этом не вспомнил. Точнее, у него не возникло потребности вспомнить: он проглотил две таблетки бодрозака, и

призрак разочарованной женщины с ее жестокими истинами испарился сам собой. Антуан позвонил Рафи, рассказал про свой визит и посоветовал поддержать приятельницу.

Какая-то тень витала над ним во время разговора, готовая омрачить его безоблачное состояние, но она растаяла, едва он вернулся к прежнему ритму жизни, где дни стремительно воспроизводятся, в точности повторяя друг друга.

Для людей, находящихся в гармонии с обществом, существует только одно время года — вечное лето, и разум их быстро успевает задубеть от солнца, которое не заходит, даже когда они спят: им снятся сны, в которых не бывает темно. Двадцать пять лет в жизни Антуана стояла дождливая осень; теперь, будь то зима, осень или весна, в голове его безраздельно царило лето.

***

Начинался сентябрь. Солнце было еще горячим и ласкало лица людей, над которыми сновали ладони ветра. Как-то вечером Антуан сидел перед телевизором, переключая каналы, и смотрел разные забавные передачи. Собственно, ему было все равно, что смотреть: он просто нуждался в успокоительном и расслабляющем действии телевидения, этого искусственного солнца, которое своим излучением заполняло и грело пещеру его сознания. Он сидел с пультом в руке и нажимал на кнопки. Пульт был снабжен чехлом из мягкой пушистой ткани и моторчиком, издававшим приятное мурлыканье, когда Антуан касался его. Этакий пульт-котенок. Антуан искал передачи, чьи темы оправдывали бы его телезависимость. Несмотря на четыре таблетки бодрозака, он чувствовал себя неважно. Несколько часов назад, вернувшись с работы, он нашел под дверью пакет. Это была небольшая бандероль, пришедшая по почте; никаких подозрений она у Антуана не вызвала, он принес ее на кухню и начал распаковывать. Но стоило разорвать скотч и бумагу, как его взрывной волной отбросило в сторону, так что он стукнулся о холодильник. Какое-то время он не мог двинуться с места и не отрываясь смотрел на бандероль, содержавшую карманное издание писем Флобера. Сердцебиение потихоньку прошло. Он разрыдался и долго не в силах был успокоиться, словно слезы могли смыть видение или потушить пожар, который лежавшая на столе книга вызвала в его сознании. Он не прикоснулся к ней, не рискнул. Переписка Флобера была любимейшим чтением Антуана до перерождения. Он обожал ее, часто узнавал себя в метаниях Флобера, в его разочарованиях, в том, как трудно было ему просто жить и переносить свою эпоху. Увидев вновь эту книгу, он словно надкусил отравленное яблоко, и яд мгновенно проник в мозг, который он считал надежно защищенным. Он догадывался, кто совершил теракт: конечно его прежние друзья в надежде ценой легкой контузии спасти его и вернуть в свой круг. Он напряг волю, чтобы выстоять против этой бомбы, грозившей нарушить мирное течение его жизни. Боясь отравы, он оставил книгу на кухонном столе и переключился на телевизор, сжав в руке мурлыкающий пульт.

Квартира окрасилась в цвета ночи. Луна вызывающе блистала медным загаром на черном песчаном пляже космоса. Антуан пытался загипнотизировать себя, упорно глядя в циклопов глаз телевидения, как вдруг в экран вонзился гарпун. Сноп искр, немного черного дыма, поплывший голос ведущего — и всё. Антуан резко обернулся, уронил пульт. Свет ниг-

де в квартире не горел, и он не мог разглядеть нападавшего, увидел только мужской силуэт в темноте. Слава богу, не инопланетянин, подумал Антуан, успокоившись. Он с удивлением осознал, что ему не страшно – скорее всего, благодаря мощной дозе бодрозака. Он попытался задрожать, но вышло неубедительно. Судя по фигуре, это был обыкновенный человек нормального роста, явно без перепончатых крыльев.

На улице зажглись фонари. Теперь Антуан лучше видел незваного гостя.

– Дани Брийан... – прошептал он. – Вы Дани Брийан. Дани Брийан взламывает мою квартиру... Вы собираетесь меня убить? Вы маньяк?

Антуан знал этого певца, который словно застрял в пятидесятых, ему нравились некоторые его песни. Все прояснилось: Дани Брийан со своей прической под Элвиса Пресли, стиляжьими костюмчиками ретро и песнями середины века просто натуральный псих. Дани Брийан смеялся. Он был одет в простой черный костюм, расстегнутую на груди белую рубашку и черные лакированные туфли. Так вполне мог быть одет и Джерри Ли Льюис[1].

– Мимо, мимо, мимо! Все мимо, Тони. Я не Дани Брийан, не взломщик и тем более не серийный убийца. Разве серийные убийцы носят такие классные костюмы?

– Не знаю, но нормальный человек тоже не станет так одеваться. Вы Дани Брийан. Вы говорите как он, у вас такая же улыбка, такая же прическа с бриолином. Я вас узнал.

– Ошибаешься, Тони: я не Дани Брийан, я его призрак.

– Разве Дани Брийан умер?

– Нет.

– Тогда как вы можете быть его призраком?

– Я недоношенный призрак. Такое бывает. Я появляюсь, когда живой Дани Брийан спит.

– Бросьте!

– Я вовсе не шучу, Тони. Потрогай меня.

Дани Брийан – или его призрак – подошел к Антуану подчеркнуто развязной походкой, щелкая пальцами и хитровато улыбаясь.

– Понял! – воскликнул Антуан пятясь. – Вы извращенец.

– Я призрак! – засмеялся Дани. – Потрогай меня, и ты почувствуешь, как твоя рука пройдет насквозь.

Рука Антуана действительно прошла сквозь тело Дани. Антуана это страшно развеселило.

– Ну все, хватит. Убери лапы! Я не игрушка, Тони.

– Перестаньте называть меня Тони.

– Нет проблем, Тонио.

– Ладно, пусть будет Тони, это чуть менее кошмарно.

– Слушаюсь, Тони! А теперь можно заглянуть в твой холодильник?

Не дожидаясь ответа, Дани двинулся на кухню. Он распахнул дверцу холодильника, и все осветилось. Антуан потащился за ним. Дани какое-то время стоял перед открытым холодильником разинув рот, созерцая изобилие продуктов, потом упал на колени и в благоговейном экстазе воздел руки к небу. Поднявшись, он схватил в охапку "Нутеллу", паштет, колбасу,

1. Джерри Ли Льюис (р. 1935) – американский вокалист, пианист, композитор, записавший первый сингл в 1956 г. и ставший в 70-х культовой фигурой в мире рока.

сыры, блины и еще много чего. Сгрузив добытые сокровища на кухонный стол, он сел на стул с высокой спинкой и принялся их пожирать.

— Разве призраки едят? — спросил Антуан, устроившись на табурете напротив.

— Как видишь, — отозвался Дани, набивая рот блинами с паштетом и с "Нутеллой". — К тому же у нас есть одно преимущество — мы не толстеем. Можно целый день лопать гамбургеры, пить кока-колу в любых количествах и не прибавить ни грамма. Быть призраком суперприкольно, старичок. Кстати, не передашь мне колу?

— Слушайте, Дани, вы очень милы и обаятельны, у вас отличные песни, но мне завтра с утра на работу, поэтому не могли бы вы пойти попугать кого-нибудь еще?

— Не мог бы, — ответил Дани, который выхлебал полбутылки колы и теперь беспрерывно рыгал. — Я получил задание, поэтому я здесь.

— Задание опустошить мой холодильник?

— Нет, но это делает мою миссию еще более приятной.

— Сделайте одолжение, перестаньте на минутку жевать и объясните все толком, не плюясь крошками во все стороны. У меня нет прислуги, я убираю сам.

— Спокойно, Тони. Меня назначили твоим ангелом-хранителем.

— Чтоб хранить меня от излишков холестерина? Кто вас назначил?

— Не помню, я был сильно нетрезв. В общем, я здесь, чтобы вытащить тебя из всего этого дерьма, — Дани широким жестом обвел квартиру.

Он опять рыгнул и покопался в горе продуктов. Призрак Дани Брийана определенно был не так изысканно аристократичен, как оригинал.

— Так это ж чудесно, правда? — ехидно спросил Антуан.

— Пожалуй, — согласился Дани, набросившись на пакетик чипсов. — Короче, Тони, как ты живешь? Ты счастлив?

— Я бы не употребил такого слова, но я и не несчастен.

— Ни счастлив, ни несчастен? Это ж хуже некуда! Ты живешь дерьмово!

— Спасибо. Вы очень деликатны. Разве ангелы-хранители не проходят специальной подготовки по психологии?

— Да как-то нет, учимся прямо на производстве. Ты у меня первый, Тони, мой first one[1].

— Фантастика, просто фантастика!

Антуан принялся сгребать объедки и упаковки. Дани смахнул со стола крошки, поворошил сальную оберточную бумагу, куски пирога, ломтики семги и наконец нашел то, что искал, — карманное издание переписки Флобера. Он отряхнул его, стер с обложки жир, полистал книжку и, найдя нужную страницу, загнул уголок.

— Вот. У тебя есть микрофон, Тони?

— В гостиной, Дани, — пробормотал засыпавший на ходу Антуан. — Под музыкальным центром hi-fi.

Всосав через трубочку с Микки-Маусом банку черной икры, Дани двинулся в гостиную. Он вытащил микрофон из упаковки, установил его на штатив и включил. Раздался резкий щелчок.

1. Первый (*англ.*).

— Дай мне, пожалуйста, сборник моих хитов, Тони.

— У меня нет. У меня вообще нет ваших дисков.

— Ничего, — сказал Дани, доставая из кармана CD, — я на всякий случай запасся. Твоя система с караоке просто чудо.

Он вставил диск и нажал какие-то кнопки. В левой руке он держал открытую книгу Флобера. Он постучал по микрофону, нажал кнопку "play", и из колонок раздались первые звуки его знаменитой песни "Дай мне еще один шанс". Он подергал головой в ритме музыки и запел отрывок из письма от 18 мая 1857 года, адресованного мадемуазель Леруайе де Шантепи, время от времени добавляя от себя кое-какие выкрики:

> Люди поверхностные, ограниченные, с умом самоуверенным
> и ретивым,
> стремятся во всем к окончательным истинам.
> Они хотят узнать смысл жизни, вау! и измерить бесконечность, е!
> Они берут в руку, ля-ля, в свою маленькую жалкую руку, горсть песка
> И говорят океану:
> "Я сосчитаю песчинки на твоих берегах!" Е!
> Но песчинки утекают сквозь пальцы, да и считать надо долго,
> Поэтому они топают от нетерпения ногами и плачут, да, плачут.
> Знаете, что надо делать на берегу?
> Надо пасть на колени или гулять, е-е!
> Гуляйте.
> Гуляй, Тони! Да, гуляй! Ля-ля, гуляй, Тони-и!

Утопая в мягком диване, Антуан невольно проникся приятным ритмом песенки. От текста у него закружилась голова. Он стиснул в руках диванную подушку. На последних словах Дани подсел к нему. Взял его за плечи и дружески потряс:

— Перестань усложнять, Тони. Чуть-чуть — это даже неплохо, но толстяк Гюстав верно говорит: гуляй на берегу! Хватит валять дурака, ты же не золотая молодежь, это не твое. Пошли все к чертям собачьим, вместе с этим болваном Рафи, разыщи своих друзей и сочини себе жизнь сам. Да, сочини себе жизнь, Тони.

— Звучит как песня, — тихо проговорил Антуан, силясь улыбнуться.

— Что поделаешь, издержки профессии, — согласился Дани.

Ночь потихоньку сходила с дистанции, уже зачирикали птицы, прыгая по ветвям телевизионных антенн и электрических столбов. Дани встал и отряхнул костюм.

— Мне пора. Пошел дальше помогать убогим. Но я буду присматривать за тобой, пока ты не выкарабкаешься. Ты ведь не конченый человек, Тони. Знаешь, что говорил Ницше? Ум — это бешеный конь, надо уметь его взнуздать, кормить отборным овсом, чистить и иногда пускать в ход хлыст. Чао, Тони.

Призрак Дани Брийана пересек гостиную и беззвучно исчез в темноте коридора, Антуан даже не слышал, чтобы хлопнула входная дверь. Он уснул на диване и проспал несколько часов, показавшихся ему веками.

Всю неделю после явления призрака Антуан ни с кем не разговаривал и ходил погруженный в свои мысли. Он игнорировал Рафи, приятелей-трейдеров и традиционные совместные выходы в модные кабаки. В пят-

ницу вечером, после работы, он хотел взять такси, чтобы ехать домой. Перед ним со скрежетом затормозил черный фургон, на котором была изображена женщина, скачущая на драконе. Человек за рулем выхватил револьвер и направил на Антуана. Бандит был в маске Альберта Эйнштейна. Дверь фургона тяжело отъехала в сторону, выскочили еще двое Эйнштейнов, схватили Антуана за руки и втащили внутрь. Он даже не пытался отбиваться: он так устал, так вымотался, что у него не хватало сил противиться чужой воле. Эйнштейны засунули ему в рот кляп, надели на глаза повязку и связали по рукам и ногам. Антуан силился понять, куда его везут, отслеживал повороты, светофоры, но минут через пять сбился. После долгой тряски в фургоне, который ехал через пень-колоду — то резко тормозил, то его заносило, — они наконец остановились. Эйнштейны выволокли Антуана наружу. Вечерний сентябрьский воздух был теплым и нежным, словно шелковистым. Антуана втолкнули куда-то, судя по всему в подъезд. Кто-то схватил его поперек туловища и взвалил на плечо. В таком положении пленника пронесли несколько этажей — сколько именно, он сосчитать не смог, потому что закружилась голова. Щелкнул замок, хлопнула дверь. Антуана шмякнули на стул, к которому накрепко привязали. Потом похитители освободили ему руки и ноги и сняли с глаз повязку. Кляп, однако, так и не вынули. В первые секунды он с трудом привыкал к свету и не столько видел, сколько угадывал вокруг какие-то человеческие фигуры, окно. Потом зрение вернулось, и он разглядел четверых замаскированных Эйнштейнов, одетых во все черное. Они стояли перед ним полукругом, не говоря ни слова. Антуан попытался что-то произнести, но не позволил кляп. Он внимательно оглядел комнату в поисках хоть каких-то примет, чтобы понять, куда его привезли. Однако стены и окно были затянуты белыми простынями. За спинами похитителей горела галогенная лампа, делавшая их еще более огромными и грозными; их гигантские тени стелились по полу и падали на привязанного Антуана. Пластиковые морщины на масках выглядели в этом контрастном освещении еще более пугающими, седые гривы сверкали, словно лесистые горы, охваченные бесцветным пламенем.

Они подняли стул вместе с Антуаном и передвинули к окну, так что оно оказалось у него за спиной. Рядом поставили проектор для слайдов. И начался удивительный сеанс экзорсизма.

Один из Эйнштейнов извлек из полиэтиленового мешка с логотипом магазина "Шампьон" десяток куриных голов и лап. Он разложил их на полу вокруг стула, а на шею Антуану повесил на веревке окровавленную петушиную голову в перьях и с гребешком. Другой Эйнштейн взял полную бутылку крови и вымазал Антуану лицо. Все четверо встали у Антуана за спиной. Погас свет, и заработал проектор.

Пока он демонстрировал великие открытия и изобретения человечества, знаменитые картины и портреты гениальных ученых, Эйнштейны нараспев, словно заклинания, хором читали тексты, которые в народной медицине считаются целебными и применяются для лечения от умственной летаргии. У всех четверых было в руках по экземпляру "Размышлений о первой философии" Декарта в красной серийной обложке издательства "Пресс юниверситер франсез" — казалось, будто они держат молитвенник. Они прочли очень слаженно, громко и четко "Первое размышление", а на простыне тем временем сменяли друг друга лица художников и ученых, гуманитарных деятелей и членов семей-

ки Симпсонов. Затем Эйнштейны зачитали кое-что из "Мыслей" Паскаля, некоторые фрагменты из "Комментариев" любителя Грасиана и бургундского вина[1] и самые смешные места из книги "Трое в одной лодке" Джерома К. Джерома.

Изгнание нечистой силы длилось чуть больше часа. Наконец щелкание проектора прекратилось. Смолк торжественный речитатив похитителей. Они зажгли свет и сорвали простыни, покрывавшие мебель и стены. Антуан узнал свою монтрёйскую квартирку. Бандиты стащили маски, явив потные лица Аса, Шарлотты, Ганжи и Родольфа. Они были страшно довольны своим шоу. Бедному Антуану пришлось долго жестикулировать, чтоб они сообразили наконец его освободить.

— Вы охренели? — спросил он со всем спокойствием, на какое у него хватило самообладания, с отвращением срывая с шеи петушиную голову.

— Мы хотели снять с тебя порчу, — объяснил Ганджа. — Ты превратился в довольно гнойного придурка.

— Моя тетка немного знает магию вуду, — подхватила Шарлотта, — она научила нас, как освободить тебя от злых чар, которые ты сам на себя навел.

— Мы тебя спасли! — изрек Родольф со свойственным ему самодовольством. — Ты превратился в зомби, а мы тебя раззомбировали. Скажи спасибо.

Ас обнял Антуана и крепко прижал к своей широченной светящейся груди. Восьмисложным стихом он сообщил, что счастлив снова видеть его. Антуан раздумал сердиться: у друзей были самые благородные намерения. Пусть неуклюже и рискуя оставить его заикой, но они хотели его вылечить.

Антуан поведал им — не упоминая про ночной визит Дани Брийана, дабы они не усомнились в его вменяемости, — что уже неделю не пьет таблетки и готовится эффектно обставить свой уход из конторы: он запустил в компьютерную сеть компании вирус, который оттуда попадет в мировую паутину и в понедельник при начале торгов вызовет упоительнейший хаос в мировых финансах.

Остаток этой счастливой ночи они проспали на вышеупомянутых простынях в квартирке Антуана, как дети, устроившиеся на ночлег в дупле дуба посреди волшебного леса.

Потом они несколько дней не разлучались, болтали без умолку, развлекались, и Антуан вновь ощутил забытую радость общения с друзьями, когда каждый нуждается в каждом и всем нравится чувствовать зависимость друг от друга.

Однажды утром в дверь забарабанила полиция. Антуана арестовали. Рафи с кое-какими сбережениями успел сбежать в Швейцарию. Сочтя швейцарскую ссылку достаточно тяжким наказанием, Министерство юстиции не стало требовать его выдачи. Вскоре состоялся суд. Антуан заплатил штраф, на который полностью ушли все его деньги. Имущество — куча бессмысленно дорогих вещей, машина, картины — было конфисковано, но поскольку действия Антуана не повлекли за собой человеческих жертв или ущерба здоровью, то его приговорили к шести

1. Скорее всего, имеется в виду Ги Дебор и его работа "Комментарии к Обществу спектакля"; Бальтасар Грасиан-и-Моралес (1601–1658) — испанский писатель и философ-моралист.

месяцам тюрьмы условно. Антуан счел, что это приемлемая цена за избавление от Рафи и удовольствие нанести мировым биржам ущерб в несколько миллиардов.

***

Было тихое предосеннее утро, когда луна ухитряется удержаться на небе при свете наступившего дня. Солнце не показывалось, но сквозило в каждой черточке природы и города, сочилось из цветочных лепестков, проступало на старинных фасадах, на невыспавшихся лицах людей. Животворный холокост, совершаемый временем, оставляет в цвету для впечатлительных глаз лишь те единственно подлинные эдемские сады, чей дизайн выстраивается ощущением.

Этим воскресным утром Антуан проснулся около восьми. В наплывах реальности, еще между сном и явью, ему послышалось, будто кто-то поет.

Антуан потянулся и вылез из постели. Он включил чайник и принял душ. Заварив чай, он некоторое время смотрел на дымящуюся зеленую жидкость, стоя перед окном. Малиновка на ветке словно позировала фотографу, желая кое о чем напомнить Антуану; летнее солнце посылало в атмосферу непрерывные вспышки. Не притронувшись к чаю, Антуан поставил чашку на подоконник и быстро вышел.

Он дошел до монтрёйского парка, лавируя между прохожими и машинами. Он торопился и шагал быстро, с развязанными шнурками и всклокоченными мокрыми волосами. В этот час парк был еще почти пуст: прогуливались одинокие старики и старушки, мамаши пасли своих отпрысков, какая-то художница в широкополой шляпе устроилась с этюдником на газоне.

Антуан рассеянно брел сам не зная куда, словно заблудился в этом тихом плоском пространстве. Он сел на скамейку рядом со стариком, опиравшимся на трость с серебряным набалдашником. На старике была серая фетровая шляпа с черной шелковой лентой; он чуть повернул голову, покосился на Антуана и снова устремил взгляд в прежнем направлении, словно усталый часовой на посту. Антуан посмотрел в ту же сторону и сначала не увидел ничего. Он прищурился, вгляделся, и вдруг прямо перед ним возникла девушка. Она смерила глазами Антуана, склонила голову, наклонилась, чтобы рассмотреть получше, словно он был парковой скульптурой, потом протянула руку. У Антуана сработал рефлекс вежливости, и он ее пожал. Он хотел было что-то сказать, но девушка приложила палец к губам и знаком пригласила следовать за ней. Они отошли от скамейки, где остался сидеть старик.

— Я ищу друзей, — объявила она, глядя в упор на Антуана, потом обвела глазами парк.

— А они какие?

— Не исключено, что такие, как ты. Я увидела тебя на этой лавке, и ты меня заинтересовал, вот я и подумала, может, ты не откажешься войти в число моих друзей. Ты с виду очень качественный. Даже высококачественный.

— Высококачественный... Будто я продукт, ветчина какая-нибудь.

— Нет, не ветчина, я мясного не ем.

— А ты что, друзей ешь?

— Нет у меня больше друзей, врубись, пожалуйста. Я сказала сейчас нечто странное, предполагается, что ты спросишь почему.

— Мой агент забыл прислать мне сценарий. Ну... почему?

— Почему что? — спросила она, убедительно изобразив недоумение.

— Почему у тебя больше нет друзей?

— Они протухли. Я не знала, что у них ограниченный срок годности. Это нужно всегда проверять. Мои любимые друзья вдруг начали портиться, покрылись зелеными пятнами, довольно-таки противными с виду. То, что они говорят, стало попахивать...

— Это опасно, можно отравиться.

— Да, подхватить сальмонеллез...

— Ты выкинула их на помойку?

— Нет, этого не потребовалось, они сами кинулись в свою дебильную жизнь.

— Суровая ты девушка.

— Извини, ты путаешь текст. По роли надо сказать: "Ты классная девушка".

— В сценарий на завершающем этапе внесли поправки.

— Вечно я обо всем узнаю последней!

Девушка вдруг замерла и хлопнула себя по лбу. Она уставилась на Антуана, словно спохватившись.

— Мы же пропустили сцену знакомства! Пропустили сцену знакомства! Придется все переснимать. Иди обратно на скамейку...

— Слушай, — перебил ее Антуан, — можно же потом доснять. Ведь существует монтаж.

— Да, ты прав. Давай пройдем чуть-чуть молча, а потом познакомимся. Мотор!

Они прошлись по узким парковым аллеям, по лужайкам, поглядывая на деревья, на птиц. Теплый воздух был ослепительно светлым, почти искрился. Сентябрь стоял небывалый: он наивно игнорировал близость осени, держался гордо, не сгибаясь, расходуя последние силы лета так, словно они были неиссякаемы.

— О, — сказала внезапно девушка, — меня зовут Клеманс.

— Очень приятно, — весело ответил он. — Меня зовут Антуан.

— Рада с тобой познакомиться, — воскликнула девушка, пожимая ему руку, и, немного помолчав, добавила: — Теперь продолжим с того места, когда ты сказал, что я классная.

— Я сказал, что ты суровая.

— Ты очень несправедлив. Ты сам разве никого не судишь?

— Стараюсь, но не всегда получается.

— Моя теория такая, что можно и понимать людей, и судить, одно не исключает другого. Судить — это для нас способ самозащиты, потому что нас-то кто пытается понять? Кто понимает тех, кто старается понимать?

— Ласенер[1] говорил, что настоящие каторжники — это те, кто осужден судить.

— Ладно, хорошо, мы осуждены, — сказала Клеманс, разводя руками. — Меня вечно все осуждают, с детства выносят мне приговоры. Я красиво говорю?

1. Пьер-Франсуа Ласенер (1803—1836) — знаменитый преступник, выведенный под своим именем в фильме Марселя Карне "Дети райка", поэт, писатель, автор книги воспоминаний, написанных в парижской тюрьме Консьержери.

— Приведи пример.

— Да возьми что хочешь! Все общество — это приговор мне. Работа, учеба, современная музыка, деньги, политика, спорт, телевидение, топ-модели, машины. Вот хороший пример — машины. Я не могу кататься на велосипеде, ходить, где хочу, чувствовать себя свободно в городе: машины — приговор моей свободе. К тому же они воняют, могут задавить...

— Согласен. Машины — это просто бедствие.

Они купили сладкую вату. Пощипывая и обрывая закрученные розовые нити, они мгновенно умяли ее, измазав пальцы и рты.

— И еще одна штука. На мой взгляд, все человечество делится — ну, не считая всех этих классовых и прочих различий — на тех, кто ходил в детстве в гости к одноклассникам на вечеринки и кто не ходил. Это великое разделение людей начинается в коллеже и сохраняется потом на всю жизнь, только с возрастом оно по-другому проявляется.

— Меня никогда не приглашали на такие вечеринки.

— Меня тоже. Они боялись, потому что я всегда говорила что думала, а про них я не думала ничего хорошего. Да я их почти всех терпеть не могла! В общем, весело. Но теперь, поняв, какие мы классные, они начнут приглашать нас на свои взрослые тусовки как ни в чем не бывало, будто все забыто. Но мы ни за что к ним не пойдем.

— А если пойдем, то только затем, чтоб разжиться пирожными и оранжиной.

— И врезать этим придуркам бейсбольной битой по башке, — подхватила Клеманс, со смаком изображая, как она это сделает.

— И добить клюшкой для гольфа. Это стильно.

— Легко и непринужденно.

Шагая рядом и болтая, они вышли из парка. Клеманс на ходу подпрыгивала, собирала цветы, хлопала в ладоши, пугая птиц. Ей было примерно столько же лет, сколько Антуану; она то дурачилась, то говорила серьезно, непрерывно меняясь, как хамелеон. С простодушным видом она воскликнула:

— Почему, почему нам не дают никого критиковать в свое удовольствие, называть дебилов дебилами, и уверяют, будто мы при этом выглядим злобными завистниками? Все ведут себя так, словно люди равны, словно мы все одинаково богаты, образованны, сильны, молоды, красивы, здоровы и счастливы, словно на свете живут только мужчины, притом белые, с огромными автомобилями... Но ведь это же не так! Поэтому я имею полное право протестовать, быть недовольной, не улыбаться тупо двадцать четыре часа в сутки, не молчать, когда вижу свинство или несправедливость, и даже ругаться. Никто мне не запретит.

— Никто, хотя... это довольно утомительно. Может, найдем занятие получше?

— Да, ты прав, — согласилась Клеманс. — Глупо тратить энергию на вещи, которые того не стоят. Побережем силы на то, чтобы развлекаться.

— И гулять на берегу.

— Гулять на берегу... Это из какой-то песни, да?

Клеманс напела мотивчик. Они шли по тротуару среди толпы работяг и безработных, студентов, пенсионеров, детей. В магазинах, булочных, банках не прекращалось ни на миг снование переливчатых кровяных шариков, коими являются люди в кровеносной системе города.

Мимо, сигналя, пронеслась машина. Метров через десять она остановилась на красный свет. Клеманс взяла Антуана под руку.

— Закрой глаза, — попросила она. — Хочу сделать тебе сюрприз.

Антуан повиновался. Легкий теплый ветер лохматил им волосы. Клеманс направляла Антуана, держа за локоть; она вывела его на проезжую часть. Метрах в ста обозначилась черная машина, которая стремительно приближалась.

— Ну вот, можешь открыть глаза.

— Клеманс, на нас едет машина, — спокойно заметил Антуан.

— Ты обещал довериться мне.

— Ничего подобного я не обещал.

— Ах да, я забыла тебя попросить. Доверься мне, хорошо?

— Клеманс, машина...

— Поклянись, что доверяешь мне, и перестань нудить, как слабак. И главное, не дергайся. Ну, поклянись!

— Ладно, клянусь. Я не двинусь с места, я не... двинусь с места...

Машина была уже метрах в тридцати и истошно гудела. Антуан и Клеманс не шевелились, прохожие останавливались и смотрели на них. В последний момент Клеманс дернула Антуана за руку, и они упали на тротуар. Автомобиль пронесся мимо, свирепо рыча и скаля зубы.

— Я героиня, я спасла тебе жизнь, — объявила Клеманс. Она вскочила на ноги и помогла встать Антуану. — Значит, мы связаны навсегда. Теперь мы отвечаем друг за друга. Как китайцы.

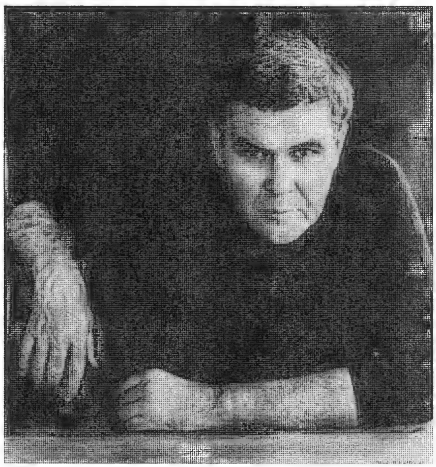
— По-моему, на сегодня эмоций достаточно.

— А у тебя есть какой-то лимит на эмоции?

— Да, именно, иначе у меня будет передозировка. И не говори, что передоз эмоций — это классно, мне с непривычки тяжело.

Проголодавшись от бурных переживаний, Антуан с Клеманс решили пообедать в "Гудмундсдоттире" вместе с Асом, Родольфом, Ганжой, Шарлоттой и ее подружкой. Но до обеда оставалось еще часа полтора, и Клеманс предложила поиграть в привидения. Она объяснила, в чем состоит игра: они должны вести себя как призраки, то есть разглядывать в упор людей, сидящих под зонтиками кафе, бродить по улицам и магазинам, подражая крикам совы, короче, вообразить себя невидимыми и пользоваться преимуществами этого положения. Устрашающе подняв руки и потрясая цепями, Клеманс с Антуаном отправились тревожить Париж.

Реймонд Карвер



Стихи

Перевод с английского Максима Калинина

От редакции

Реймонд Карвер (1938—1988) — американский поэт и новеллист, автор четырех сборников стихов и нескольких сборников рассказов, его творчество отмечено на родине писателя многими литературными премиями.

Реймонд Карвер родился в штате Орегон в семье лесоруба, он самостоятельно выбивался в люди, прошел суровую жизненную школу — работал рассыльным, ночным сторожем, оператором на бензоколонке, санитаром в больнице. Поступив в Калифорнийский университет, Карвер посещал и писательские курсы, которыми руководил Джон Гарднер. Известный романист поддержал в самом начале пути талантливого дебютанта, мечтавшего "создавать мир из слов".

Первый же сборник рассказов "Не будете ли вы так добры помолчать?" (1976) принес Карверу заслуженный успех. Рецензенты отмечали скупость и точность языковых средств, тонкий психологизм молодого автора, его умение задеть читателя за живое, "растревожить его". За первым сборником последовали другие. Карверу ставили в заслугу возрождение интереса к короткому рассказу в англоязычной литературе, даже называли самым значительным со времен Хемингуэя мастером этого жанра. Да и сам Карвер воспринимал Хемингуэя как своего учителя. А еще он не раз говорил о своем сродстве с Чеховым. С великим русским классиком сравнивали Карвера и американские критики, считая, что того и другого писателя роднит внимание к маленькому человеку, к драмам и "скучным историям" повседневной жизни, а также "любовь к недоговоренности".

© 1984, 1985, 1986 by Raymond Carver
© 1989 by the estate of Raymond Carver
© Максим Калинин. Перевод, 2005

Стихи Карвер начал писать гораздо раньше, чем рассказы. Но первое его стихотворение увидело свет только в 1984 году, а в 1985 году вышел первый сборник стихов — "Там, где вода встречается с водою", — сразу же удостоенный премии журнала "Поэтри".

"Его стихи, — писал критик журнала "Нью-Йорк таймс", — это очищенные, отфильтрованные, более концентрированные версии его рассказов, они позволяют нам, бросив всего лишь мимолетный взгляд, увидеть точный срез обыденной жизни в ее критический, переломный момент".

"Читаешь стихи Карвера и понимаешь, что этот человек пережил больше, чем многие из нас" — таково суждение обозревателя журнала "Поэтри".

Произведения Карвера переведены на двадцать языков.

Первое знакомство русского читателя с одним из самых тонких мастеров американской прозы состоялось в 1987 году, еще при жизни "американского Чехова", — в "Библиотеке журнала 'Иностранная литература'" вышел сборник его рассказов "Собор". Составитель и автор предисловия — Алексей Зверев.

В этом номере журнала мы впервые представляем русскому читателю Карвера-поэта.

Моя *ворона*

На дерево под моим окном села ворона.
Чья она? Теда Хьюза, Галвея,
Фроста, Пастернака, Лорки?
Одна из Гомеровых птиц плотоядных?
Нет. Просто — ворона,
Которая так и не пригодилась
Никому из поэтов.
Она посидела пару минут.
Поточила о ветку клюв и
Улетела из моей жизни.

Ш*рам*

Протёр спросонья глаза,
На пальцах — кровь. Длинный шрам
Пересекал мой лоб.
Но я давно уже сплю один!
Почему человек поднимает руку
На самого себя даже во сне?
Этот и похожие вопросы
Я пытался разрешить утром,
Изучая себя в зеркале.

Ч*ердак*

Её голова — чердак, где годами
Копилась всякая всячина.

Иногда её душа
Появляется в чердачном окне —

Грустное лицо того, кого заперли
И забыли...

Сеть

К вечеру ветер сменился. Лодки
Замерли на приколе.
Однорукий человек,
Сидя на перевёрнутой плоскодонке,
Выбирал поблёскивающую сеть.
Взглянул на меня. Что-то
Сунул в рот и задвигал челюстями.
Я молча прошёл мимо.
Погода менялась,
И на душе у меня
Скребли кошки. Я шагал
И шагал. А когда обернулся,
Уже не смог разглядеть
Того, что поймал однорукий.

Тихие ночи

Заснул на левом берегу,
Проснулся — на правом.

Лодка без вёсел.
Привязь плывёт за кормой.

Трубка

Прежде, чем написать новые стихи,
Я запасу побольше дровец,
Смолистых, как то полено,
Вместе с которым мой друг
Бросил в огонь перчатку.
Новые стихи я напишу ночью,
Когда небо усыпано звёздами,
А под молодой луной
Светится длинное тело реки.
В новых стихах будет просторная комната,
Окна, полные неба, софа,
Ваза со свежими фиалками.
В новых стихах будет яркая лампа
И камин, где весёлое пламя
Уплетает поленья.
В строчки посыплются искры.
Но только никаких сигарет —
Для новых стихов я припас трубку!

Окно

После вчерашней бури
Отключили свет. Я подошёл к окну.
В заиндевелых ветвях
Сквозило небо.
Бесконечный покой
Затопил округу.
Никогда ещё мне не было так хорошо.
Словно я в жизни никого не подвёл
И не сделал дурного. Мои
Мысли были чисты. К обеду
Свет появился.
Солнце, выглянув из-за туч,
Растопило иней.
И всё стало как прежде.

Ветер

Ричарду Форду

На воде ни рябинки. Даже странно:
Почему это птицы всполошились?
Что-то здесь не так...

На зорьке лучшее время, говоришь?
Ага, время сматывать удочки.
За час ни одной поклёвки.

Отплыли на милю ниже. Вдруг видим —
Ветер по воде движется. Сидим
И смотрим. Вроде ничего страшного —

Ветер как ветер. Не сильный вовсе.
Мы переглянулись: "Смотри-ка..."
А сами в борта вцепились.

Тут кто-то в лицо мне дохнул.
И волосы взъерошил,
Нежно, как девушка.

Повернул я голову, а ветер
Движется прямиком к Стрэйту
И волну перед собой гонит.

Закачалась наша посудина.
Вокруг волны хлюпают.
А птицы, те совсем одурели.

"Господи, — сказал ты, — отродясь такого не видел!"
"То-то, — говорю, —
Здесь тебе не Манхэттен!"

Против теченья

Безглазые рыбы.
Серебристые рыбы в косяке моих снов.
Мечущие икру
В извилины мозга.

Одна из них
Все время плывёт
Против теченья.
Разинет рот и закроет.
Разинет и закроет. И
Держится против теченья.

Горе

Я проснулся засветло и посмотрел
Из окна на реку. Маленькая лодка
Неслась по взбаламученной воде
Одна-одинёшенька. Я сразу
Вспомнил друга, который выкрикивал
Имя покойной жены с холмов
В Перудже. Её давно не было на свете,
А он продолжал ставить на стол
Второй прибор и держать приоткрытым
Окно, чтобы ей легче дышалось.
Мне было неловко за него.
Всё это — напоказ, думал я.
До сегодняшнего утра.

Страх

Боюсь полицейской машины, припаркованной у моего дома.
Боюсь не уснуть.
Боюсь не проснуться.
Боюсь, что прошлое вернётся.
Боюсь, что настоящее пройдёт без возврата.
Боюсь телефонного звонка посреди ночи.
Боюсь короткого замыкания.
Боюсь женщин, пудрящих пятна на коже.
Боюсь собаки, про которую говорят, что она не кусается.
Боюсь чувства тревоги.
Боюсь прийти на опознание тела друга.
Боюсь остаться без гроша.

Боюсь разбогатеть, хотя всё равно этому никто не поверит.
Боюсь психологических тестов.
Боюсь опоздать и боюсь прийти раньше всех.
Боюсь детских каракулей на почтовом конверте.
Боюсь пережить своих детей.
Боюсь стареть под одной крышей с матерью.
Боюсь попасть в неловкое положение.
Боюсь, что день закончится на минорной ноте.
Боюсь проснуться — а тебя рядом нет.
Боюсь не любить и боюсь любить не в полную силу.
Боюсь, что одна моя любовь погубит другую.
Боюсь умереть.
Боюсь зажиться на свете.
Боюсь умереть.

Вот я и сказал это.

Хорхе Вольпи

В *поисках Клингзора*

Роман

Перевод с испанского Николая Жарова

Посвящается
Адриану, Элою, Херардо,
Начо и Педро Анхелю –
новым заговорщикам

Наука есть игра, но игра не шуточная, игра в хорошо заточенные ножики... Если, к примеру, аккуратно разрезать какую-нибудь картинку на тысячу кусочков и перемешать, а потом попытаться сложить ее снова – это все равно что решить головоломку. В науке головоломку тебе задает не кто иной, как Господь. Он придумал и саму игру, и ее правила, которые к тому же ты можешь и не знать полностью. Тебе предоставляется угадать или определить на свой страх недостающую половину правил. Научный эксперимент – как острый клинок из закаленного металла. Либо ты с его помощью победишь духов тьмы и невежества, либо он тебя самого поразит и покроет позором. Результат зависит от того, насколько количество истинных правил игры, навечно установленных Господом, больше числа ложных, порожденных вследствие твоей неспособности познать истину; и если данное соотношение превысит некий предел, головоломка будет решена. Похоже, в этом и состоит весь азарт игры. Ведь в таком случае ты пытаешься прорвать воображаемую границу между собой и Господом, границу, которой, возможно, и не существует вовсе.

Эрвин Шрёдингер[1]

© Jorge Volpi, 1999-2000
© Николай Жаров. Перевод, 2005
Печатается в сокращении. Полностью роман будет опубликован в издательстве АСТ.
1. Эрвин Шрёдингер (1887–1961) – австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Вступление

— УБРАТЬ свет!

Эти слова, произнесенные скрипучим старческим голосом, заставляют мир на мгновение вернуться в холодную мглу давно минувшей эпохи. Пространство, окружающее владельца голоса, похоже на огромную каплю черной туши, и тьма здесь кажется еще непроглядней из-за царящей кругом тишины; в течение нескольких секунд никто ему не аплодирует, никто ему не лжет, никто на него не покушается. Даже механизмы часов послушно притихли.

— Начнем сначала! — приказывает он. — Хочу посмотреть еще раз!

Киномеханик принимается за работу: перематывает, скручивает, заряжает. Потом начинает вращать рукоятку, и нелепый на вид механизм приходит в движение.

Кванты света беспорядочно рассеиваются по всему помещению; озаряют поверхность стен и ковровых дорожек, выхватывают из мрака его уши и отвисшую нижнюю губу, высвечивают слипшуюся прядь волос и, обессиленные, едва достигают темных углов зала, будто отдаленных изгибов Вселенной.

А на экране яркий луч сочетается с тенью в кровавой церемонии. Как ребенок в очередной раз с восторгом слушает любимую сказку, так Гитлер вновь смакует этот спектакль. Для него эта еженощная одержимость, упоение возможностью снова и снова наказывать врагов — скорее курс терапии, чем нездоровое развлечение. Иногда он чувствует, что не сможет заснуть, если не примет несколько капель своего безобидного — зрелищного — лекарства.

— Браво! — кричит он, в то время как на экране перед его выпученными глазами мелькают сцены, показывающие следы пыток — изувеченные останки, едва напоминающие человеческие.

По окончании фильма киномеханик зажигает свет в зале. Он тешит себя надеждой, что просмотр улучшил настроение фюрера, угнетаемого глубокой депрессией. Тот молча сидит, уставившись на пустой экран, не обращая внимания на взрывы бомб, которые каждую минуту разрушают десятки зданий, расположенных в верхней части Берлина. Только в эти благословенные секунды способен он забыть о поражении.

— Еще раз!

Свет снова гаснет, и группенфюрер СС, в прошлом артиллерист, открывает огонь по цели. И конечно попадает точно в яблочко, а фюрер тем временем поудобнее разваливается в кресле.

20 июля 1944 года группа лучших офицеров вермахта, армии Третьего рейха, при поддержке нескольких десятков гражданских лиц, попыталась убить Гитлера, когда тот проводил рабочее совещание в своей резиденции в Растенбурге, в шестистах километрах от Берлина. Молодой полковник граф Клаус Шенк фон Штауффенберг пронес в помещение чемоданчик с двумя бомбами. Однако маленькая ошибка в расчетах провалила весь план. Фюрер отделался несколькими царапинами, и никто из высокопоставленных деятелей нацистской партии или военачальников серьезно не пострадал.

Главные руководители мятежа — Людвиг Бек, Фридрих Ольбрихт, Вернер фон Хэфтен, Альбрехт Риттер Мерц фон Кирнхайм и сам Штауффенберг — были казнены в ту же ночь в здании Генерального штаба

армии на Бендлерштрассе в Берлине. Немедленно прокатилась волна спешных арестов по приказу рейхсфюрера СС и новоиспеченного министра внутренних дел Генриха Гиммлера.

Вне себя от ярости, Гитлер принимает решение развернуть грандиозный судебный процесс наподобие тех, что организовал его враг Сталин в Москве в 1937 году, и заставить весь мир узнать о злодействе заговорщиков.

Слушание дел началось 7 августа в Большом зале Народного суда в Берлине. В тот день здесь были представлены восемь обвиняемых. Эрвин фон Вицлебен, Эрих Хёпнер, Хельмут Штифф, Пауль фон Хазе, Роберт Бернардис, Фридрих Карл Клаузинг, Пауль Йорк фон Вартенбург и Альбрехт фон Хаген были приговорены к смертной казни.

8 августа преступников перевезли в тюрьму в Плётцензее. Их привели в подвальные помещения, приказали переодеться в тюремную одежду, обуть старые деревянные башмаки, а потом заставили по очереди пройти по залитым фекальной жижей коридорам в камеру, закрытую длинным черным занавесом, где должна была состояться казнь.

Каждого из восьми осужденных сопровождал оператор с кинокамерой. Он запечатлел на пленку их обнаженные тела во время переодевания; жесты, выражающие страх, достоинство или непонимание происходящего; запечатлел их взгляды, преисполненные гордости или боли; шрамы от пыток, перенесенных за две предшествующие недели; запечатлел, как нетвердой поступью шли они по длинному коридору, заходили за тяжелый черный занавес, отделяющий их от смерти, и приближались к лобному месту.

Несколько человек разделяют с осужденным последние мгновения его жизни: генеральный прокурор, начальник тюрьмы, два-три офицера и, помимо кинооператора, с полдюжины газетчиков.

По сигналу начальника тюрьмы палач подходит к приговоренному, заставляет его подняться на небольшое возвышение, а затем надевает ему на шею петлю из шелкового шнура. На какое-то мгновение преступник становится похож на статую, символизирующую поражение. Секунда гробового молчания, время будто остановилось, напряжение нарастает... Никто не шелохнется, все замерли в ожидании следующего приказания начальника тюрьмы.

Едва заметный жест служит сигналом, и тело осужденного начинает соскальзывать в пустоту, так плавно, что движение больше похоже на балетное па. Камера на протяжении нескольких минут аккуратно фиксирует каждую стадию агонии: сначала выкатываются из орбит глаза с застывшим в них отчаянным ужасом, потом на шее вдоль петли выступают бурые гематомы, затем раздается хрипение, изо рта и носа "актера" вытекает пенистая смесь слюны и крови, и, наконец, тело сотрясается в таких сильных судорогах, что напоминает огромного осетра, бьющегося в руках удачливого рыбака. Затихнув, жертва продолжает эффектно раскачиваться, словно язык невидимого колокола.

Палач, улыбаясь, подходит к трупу и одним рывком стаскивает с него тюремные штаны. Камера с порнографическим вожделением взирает на безжизненный, съеженный пенис жертвы – метафору крайнего бессилия тех, кто пытается воспротивиться осуществлению великих замыслов фюрера.

Зрелище двух голых ног, длинных, кривых и неестественно белых, а также клочка темных волос на лобке вызывает неистовые аплодисмен-

ты Гитлера, однако завершается лишь первый эпизод. Какая радость, что предстоит увидеть еще семь казней! Фюрер бросает взгляд на часы и блаженствует.

Когда 3 февраля 1945 года меня доставили в Народный суд на Бельвюштрассе, председатель суда Фрайслер вынес уже десятки смертных приговоров. В тот день рассматривались дела пяти узников. Первым перед судьей предстал адвокат, лейтенант запаса Фабиен фон Шлабрендорф. В антинацистском Сопротивлении он осуществлял связь между многими руководителями. Его арестовали вскоре после 20 июля и с тех пор содержали в концентрационных лагерях Дахау и Флёссенбург. Как обычно, Фрайслер не давал ему и слова сказать, называл свиньей и предателем, кричал, что Германия сможет победить — шел уже 1945 год! — только избавившись от таких отбросов, как он.

Вдруг оглушительно заревела сирена воздушной тревоги. В зале зажегся красный фонарь. Не дав нам опомниться, бомба проломила крышу Народного суда. Зал накрыла пелена из дыма и пыли, будто внутри здания началась непроглядная метель. Штукатурка посыпалась со стен, как песок, но каких-либо серьезных разрушений заметно не было. Когда пелена рассеялась, мы увидели, что на помост, где сидели члены суда, свалилась тяжелая каменная глыба. Из-под нее торчал раскроенный пополам череп судьи Роланда Фрайслера. Кровь стекала на лист бумаги со смертным приговором Шлабрендорфу. Кроме судьи, никто в зале не пострадал.

После гибели Фрайслера заседание суда неоднократно откладывали. Бомбежки союзников продолжали разрушать город. С марта 1945 года меня переводили из одной тюрьмы в другую, пока, незадолго до капитуляции, нас не освободили американские солдаты. Я выжил, в отличие от большинства моих товарищей и друзей.

Невероятное везение спасло Гитлера вечером 20 июля 1944 года. Если бы только Штауффенбергу удалось взорвать вторую бомбу, если бы чемоданчик оказался рядом с фюрером, если бы произошла цепная реакция, если бы Штауффенберг с самого начала позаботился о том, чтобы сесть как можно ближе... Утром 3 февраля другая сверхъестественная счастливая случайность спасла меня. Если бы слушание моего дела назначили на другую дату, если бы бомбардировка не началась в то же самое время, если бы каменная глыба упала на несколько сантиметров дальше, если бы Фрайслер уклонился или спрятался... Я до сих пор не знаю, насколько оправданно и разумно искать связь между этими двумя событиями. Так почему же и теперь, спустя столько лет, я упрямо продолжаю мысленно сопоставлять изначально непредсказуемые повороты судьбы в обоих случаях, по сути не имеющих ничего общего? Почему все время воспринимаю их в неразрывном единстве, словно они — лишь разные последствия одного и того же волеизъявления? Почему не перестаю думать, что за этими фактами, взятыми в отдельности, ничего нет, как ничего нет за всеми нашими человеческими невзгодами? Почему остаюсь стойким приверженцем таких понятий, как удача, предначертание, судьба?

Может быть, все из-за того, что произошли другие, не менее ужасные, случайные совпадения. Они-то и заставили меня написать эти строки. Наша эпоха, в отличие от предыдущих, формировалась под огромным, как никогда раньше, влиянием тех непредсказуемых поворотов событий, тех общеизвестных кризисных ситуаций, в которых проявило себя неуп-

равляемое царство хаоса. Итак, я берусь поведать о целой эпохе. О *моей* эпохе. Рассказать, что знаю, о том, как злой рок правил миром, и особенно о том, как мы, ученые, оказались бессильны укротить его неистовость. Еще здесь повествуется о жизни некоторых людей; о моей собственной, конечно (а мне удалось продержаться целых восемьдесят лет), но прежде всего о жизни тех, кто, опять же по воле случая, находился рядом со мной. Может быть, мой замысел кажется слишком честолюбивым, вызывающим и даже безумным. Ну что ж! В современную эпоху, когда смерть нависла над миром, когда потеряна всякая надежда, а единственный оставшийся выход ведет к уничтожению, только такая грандиозная задача оправдывает мое существование в этом мире.

Профессор Густав Линкс,
преподаватель математики Лейпцигского университета

10 ноября 1989 года

Книга первая
О динамических законах повествования

Закон I
За каждым рассказом стоит рассказчик

Это утверждение, кажущееся поначалу не только "маслом масляным", но просто совершенно идиотским, на самом деле имеет глубокий смысл. За многие годы, беря в руки книгу и вчитываясь в роман или рассказ, где повествование ведется от первого лица, мы привыкли верить, что перед нами, как по волшебству, открывается сама жизнь, словно у автора и в мыслях нет тащить нас за руку за собой по лабиринту сюжета. Таким образом, книга становится для нас чем-то вроде окна в иной мир, и мы будто бы способны проникнуть туда. Нет ничего лживее этого заблуждения. Я всегда считал недостойным, если писатель стремится лицемерно спрятаться за собственными строчками, притвориться, что в его речь, в его слово не впиталось ни капли его личности, усыпить нашу бдительность мнимой беспристрастностью. Конечно, не мне одному стало очевидным это коварное мошенничество, но я хочу хотя бы заявить о несогласии с подобными возмутительными попытками некоторых авторов замести следы своих преступлений.

Следствие I

Учитывая приведенные выше соображения, должен пояснить, что я, автор этих строк, — человек из плоти и крови, то есть такой же, как вы. Но кто же *я*? Как вы, наверно, догадались, взглянув на обложку книги (если, конечно, издательство потрудилось опубликовать ее), меня зовут Густав Линкс. Что еще вы можете знать обо мне? То немногое, о чем я успел сообщить к настоящему моменту: участвовал в неудавшемся поку-

шении на Гитлера 20 июля 1944 года, был арестован и отдан под суд и в итоге непредвиденный *фатум*, поворот судьбы, спас меня от смерти.

Надеюсь, однако, вы не думаете, что я слишком высокого мнения о своей персоне и собираюсь постоянно докучать вам подробностями собственной биографии. Это никак не входит в мои намерения. По велению судьбы, Провидения, случая, по исторической предрешенности, по воле Божьей — называйте как хотите — мне пришлось участвовать в событиях, которые я попытался отразить в этой книге. Могу поклясться: я хочу одного — чтобы мне верили. Так зачем мне обманывать вас, делая вид, что я никогда не существовал и не был свидетелем фактов эпохального значения, о коих речь пойдет ниже.

Закон II
У *каждого рассказчика своя правда*

Не знаю, приходилось ли вам слышать когда-нибудь, что говорит Эрвин Шрёдингер, играющий в этом повествовании далеко не последнюю роль. Он был не только великим ученым-физиком, создателем волновой механики и вообще умнейшим человеком. Его можно сравнить с Дон Жуаном в обличье школьного учителя (теперь-то я дерзаю рассуждать о нем вот так, запросто, но раньше, когда мы только познакомились, я бы ни за что не позволил себе подобной вольности!). Он носил очаровательные круглые очки, и его всегда сопровождали красивые женщины. Но речь сейчас о другом. Именно друг Эрвин первым научно обосновал теорию истины, с которой я согласен всей душой. Хотя, до́лжно признать, похожая догадка осенила также софистов классической Греции и, в девятнадцатом веке, американского писателя Генри Джеймса. Не буду сейчас вдаваться в подробности, приведу только один из самых неожиданных выводов этой теории, а именно: *я есть то, что вижу*. Что это значит? Да ничего нового, всего лишь весьма избитое соображение: истина относительна. Любой, кто наблюдает какое-то явление — движение невидимого электрона или необъятную Вселенную, не важно, — образует с объектом наблюдения, по определению Шрёдингера, "волновой пакет". Наблюдатель и наблюдаемая материя взаимодействуют — волны, исходящие от обоих, накладываются друг на друга и непредсказуемо видоизменяются. Таким образом, мы приходим к ничуть не удивительному умозаключению о том, что каждая человеческая голова в действительности являет собой целый мир.

Следствие II

Вывод из приведенного выше утверждения очевиден, как дважды два — четыре: истина есть *моя* истина, и точка! "Волновые состояния" частиц материи, которые я формирую в ходе моих наблюдений, неповторимы и неизменны. Об этом говорит целый ряд теорий: принцип неопределенностей, принцип дополнительности, принцип запрета, — в содержание которых я не буду сейчас влезать. Так что никто не может сказать — моя истина лучше, чем твоя. Повторюсь: обращая на это внимание читателей, я лишь раскрываю свои карты. Рискую показаться человеком, навязывающим другим свою точку зрения, выдающим мнимое за дей-

ствительное, или даже обычным мошенником. Но не забывайте — я действую не по собственной воле, я лишь следую научно обоснованному закону, которому просто вынужден подчиниться! Следовательно, мне не за что просить у вас прощения.

Закон III

У любого рассказчика есть повод для рассказа

У аксиом — заведомо истинных теоретических положений — имеется особенность: они всегда выглядят настолько очевидными даже для несведущей публики, что многие начинают считать себя великими математиками. Блажен, кто верует! Короче говоря, если мы согласны с Законом I (каждый рассказ имеет автора) и с Законом II (автор является эксклюзивным носителем истины), то толкование следующего закона будет звучать еще банальнее: если ничто не возникает из ничего, значит, кому-то это надо. Конечно, в действительности многое происходит не так (например, мы, видимо, еще не скоро узнаем, зачем кому-то понадобилось сотворять этот мир), однако я не намерен нести ответственность за все непонятное, что существует помимо содержания данной книги. Помните, всегда есть причины, даже самые ничтожные, для создания литературных произведений, и они постижимы, в отличие от самой непостижимой тайны на свете — возникновения Вселенной.

Следствие III

Сказанное не означает, однако, что вам удастся легко разгадать причины, побудившие меня написать эти строки. Научное исследование, которым я занимался на протяжении долгих лет (и вам предстоит проделать то же самое теперь), не имеет ничего общего с выпечкой пирога по бабушкиному рецепту. А если бы имело — скольких пережитых неприятностей удалось бы избежать! Вспомните слова Шрёдингера: истинный акт познания возможен лишь в случае взаимодействия между наблюдателем и объектом наблюдения (в роли последнего, боюсь, на этот раз оказался я сам). Постарайтесь же вдуматься в суть явлений и событий, попытайтесь вскрыть их причины. Это и есть ключ к успеху в науке. Одновременно вы получите огромное удовольствие и пользу, какие неоднократно получал я от чтения многих других книг. Я мог бы облегчить ваш труд, заявив, что хочу предложить новое толкование фактов, довести свою точку зрения до человечества, просто — установить *мою* истину. Однако на нынешнем этапе жизни, под тяжестью более чем восьмидесяти лет, я сомневаюсь, что подобные доводы устроили бы меня самого. Я мог без колебаний подписаться под ними сорок, даже двадцать лет назад. Но теперь, когда незваная зловещая гостья грозит постучаться ко мне в любое мгновение, когда даже дышать мне и то трудно, а все, что вы естественным образом проделываете каждый день — питаетесь, моетесь, испражняетесь, — от меня требует нечеловеческих усилий, я не уверен, что мои былые убеждения остались неизменными. Отныне, если вы готовы принять вызов — нет, это звучит слишком напыщенно, лучше: согласны начать игру, — то именно от вас я узна́ю, прав был или нет.

Лейтенант Фрэнсис П. Бэкон, бывший агент БСИ, Бюро стратегических исследований, а ныне научный консультант командования оккупационных войск США в Германии, прибыл в Нюрнберг в восемь часов утра 15 октября 1946 года. На станции его никто не встречал. Когда лейтенант сошел с поезда, перрон уже почти опустел.

Подождав несколько минут, он, не скрывая раздражения, попытался как-то прояснить ситуацию у дежуривших на станции солдат военной полиции. Но результатов это никаких не дало. Полицейские молчали, словно вдруг потеряли дар речи. Не оставалось ничего другого, как отправиться к Дворцу юстиции пешком.

Злость переполняла его. В лицо порывами дул осенний ветер. На улицах тоже никого не было, словно жители все еще прятались от бомбежек. От обиды Бэкон даже не взглянул на развалины города — груды камней, громоздившиеся там, где раньше стояли церкви, дворцы, монументы. Эта разруха, считал он, была справедливым возмездием и не заслуживала сожаления.

Для Бэкона Нюрнберг был лишь одним из ненавистных нацистских гнезд, в которых в свое время маршировали, восхваляя Гитлера, тысячи оголтелых юнцов в коричневых рубашках, пронося огромные факелы и увенчанные орлами штандарты; а их почитаемая эмблема — свастика, похожая на раскорячившуюся личинку доисторического паука, — расползалась по длинным и узким красным полотнищам, свисавшим со стен государственных учреждений. По решению фюрера именно здесь в 1935 году были провозглашены антисемитские "расовые законы". Здесь же хранились символы арийского могущества, сокровища и святыни рейха, древние имперские реликвии, похищенные Гитлером из венского Хофбурга после захвата Австрии, включая знаменитое копье Лонгина[1]. Нюрнберг был оплотом Третьего рейха. Этот город понес заслуженную кару и не достоин, чтобы его оплакивать.

Бэкону совсем недавно исполнилось двадцать семь лет. Внешне он ничем не отличался от немногочисленных американских военнослужащих, патрулирующих улицы города: темно-каштановые, коротко стриженные волосы, светлые глаза, тонкий нос (всегда бывший предметом особой гордости его владельца). В своей лейтенантской форме держался он очень прямо, что, возможно, свидетельствовало о некоторой стеснительности, и очень гордился знаками различия, которые словно подтверждали его непреклонность и равнодушие к чужой боли. С плеча свисала туго набитая котомка военного образца. В ней находилось практически все, что у него было, а именно: несколько смен белья, какие-то фотокарточки, на которые он даже не взглянул со дня отъезда из Нью-Джерси, и пара экземпляров журнала "Annalen der Physik"[2], прихваченных в одной из попавшихся ему на пути библиотек.

Дворец юстиции оказался в числе немногих гражданских сооружений Нюрнберга, избежавших полного разрушения. Его совсем недавно полностью отремонтировали и реставрировали. Бэкон без труда узнал

1. По свидетельству евангелистов, чтобы не оставить сомнений в смерти Иисуса Христа, распятого на кресте, его тело пронзил копьем римский солдат по имени Лонгин.
2. "Анналы физики" *(нем.)*.

это здание среди других в центре города, точнее — комплекс из нескольких зданий с арками в фасаде первого этажа, огромными окнами и островерхими крышами. В прежние времена стены Дворца юстиции прятались за деревьями, росшими на разбитом перед ним широком газоне. Тюрьма занимала четыре прямоугольных здания, расположенных полукругом в виде лучей во внутренней части комплекса и закрытых от внешнего мира высокой каменной оградой, имеющей форму дуги. Нацистов поместили в корпусе "Ц", в нескольких шагах от небольшой круглой башни. Раньше ее использовали для занятий спортом, теперь же здесь стояла виселица.

В девять пятнадцать утра Бэкон наконец обратился в бюро пропусков военной тюрьмы Нюрнберга. Проверив его документы, охранники заявили, что им приказано никого не впускать до окончания экзекуций.

Вокруг толпились десятки журналистов. В башню были допущены лишь пара репортеров, по жребию, да штатный фотограф Международного военного трибунала. Остальным, как и Бэкону, оставалось только ждать официального сообщения о смерти осужденных.

По плану казни должны были состояться во второй половине дня. Бэкон решил сначала отправиться в гостиницу "Гранд-отель", где предполагал снять номер. Но и тут его поджидала неожиданность: не отыскалось ни одного свободного. Бэкон пытался спорить с портье, стал доказывать, что приехал с заданием особой важности, потребовал встречи с руководством гостиницы. К нему с надменным видом вышел капитан, который, очевидно, вполне освоился с ролью менеджера туристического бизнеса. Он объяснил, что прибытие лейтенанта Бэкона ожидалось не ранее следующего дня, когда многие постояльцы съезжали ("ведь сегодня конец представления, понимаете?"). Однако выход нашелся. На одни сутки ему разрешили разместиться в номере 14, "которым пользовался Гитлер"!

Поднявшись по лестнице, Бэкон оказался в огромных апартаментах. Какая ирония судьбы, что окружающие его сейчас стены в свое время служили пристанищем для Гитлера! Разве он мог когда-нибудь предположить, что такое с ним произойдет? Вот бы удивилась Элизабет, если б узнала! Впрочем, вряд ли она узнает, поскольку — хорошо ли, плохо ли — ей давно уже нет до Бэкона никакого дела. Лейтенант повалился на кровать с вызывающим раздражение чувством, будто оскверняет святыню. Со злости он даже подумал, а не помочиться ли на мебель, но отказался от этой идеи (незачем своими капризами доставлять неприятности персоналу гостиницы!). Он встал и направился в туалет. Там его взору предстала вместительная ванна, биде и прочие аксессуары. Несомненно, их поверхности касалась липкая кожа Гитлера. Бэкону представилось, как тот, голый и беззащитный, созерцает свой жалкий член, прежде чем залезть в воду. В этот унитаз стекали его испражнения...

Бэкон открыл кран и принялся ждать, когда пойдет горячая вода. К его разочарованию, вода оставалась чуть теплой и вдобавок текла тонкой струйкой. Фюреру это не понравилось бы, подумал он с усмешкой, приготовил полотенце, взял неначатый кусок душистого мыла и полез в ванну. Закончив мыться, он снова лег на кровать и, незаметно для себя, крепко заснул.

Когда он проснулся, часы показывали почти три. Бэкон вскочил, ругая себя за непростительную оплошность — вместо того чтобы выполнять поставленную задачу, разнежился в постели фюрера. Быстро одел-

ся, сбежал вниз по лестнице и что есть духу поспешил в специально открытый во Дворце юстиции зал для представителей прессы.

Очень скоро пришло известие: рейхсмаршал Герман Геринг, нацистский преступник самого высокого ранга из тех, кто предстал перед Международным военным трибуналом, приговоренный к смерти через повешение, найден мертвым в своей одиночной камере. Это произошло за несколько часов до того, как сержант американской армии Джон Вудс должен был привести приговор в исполнение. В камере обнаружили несколько бумажных листков, исписанных мелким, твердым почерком. Содержание первой записки разъясняло мотивы самоубийства:

В Контрольный совет союзников[1]

Я не возражал бы против своего расстрела. Однако я не стану потворствовать тому, чтобы рейхсмаршала Германии вздернули на виселицу! Не могу допустить этого ради чести Германии. Да и не желаю принимать смерть от рук моих врагов. Из этих соображений предпочитаю умереть как великий Ганнибал[2].

Другая записка адресовалась генералу Рикарду. В ней Геринг признавался, что всегда имел при себе капсулу с цианидом. Третье послание предназначалось его жене. В нем говорилось: "Серьезно все обдумав и вознеся молитвы Господу, я решил лишить себя жизни, чтобы не подвергаться той ужасной казни, какую замыслили мои враги. Тебя и нашу великую, вечную любовь храню в моем сердце до последнего его удара". Наконец, в короткой записке на имя пастора протестантской церкви Генри Гереке, приставленного к немецким пленникам, Геринг обращался к нему с покаянием и объяснял свой поступок политическими причинами.

На следующий день Гюнтер Задель, офицер службы контрразведки, сообщил Бэкону все, что ему было известно. По свидетельству тюремного надзирателя, накануне, 14 октября, в 21 час 35 минут врач Людвиг Пфлюкер дал заключенному таблетку успокоительного, и тот мирно уснул на своей койке. У двери камеры, как обычно, заступил на пост часовой. Ему поручалось не сводить глаз с узника до самого рассвета. Эта ночь должна была стать *последней.*

Но с Герингом начало происходить что-то непонятное. Один глаз закрылся, второй уставился в никуда, а розовая кожа на лице приобрела зеленоватый оттенок. Прибежал срочно вызванный священник Гереке, пощупал у него пульс и воскликнул: "Святый Боже, этот человек умирает!" К тому времени, как в камере собрались другие ответственные лица, все было кончено. В помещении пахло горьким миндалем.

Бэкон не мог поверить в то, что произошло. Подонок сумел-таки избежать наказания в самый последний момент! Огромное разочарование испытывали и многие другие военнослужащие и участники антигитлеровской коалиции.

— Как, черт возьми, ему удалось заполучить яд? — с недоумением произнес Бэкон при встрече с Заделем.

1. Контрольный совет — совместный орган СССР, США, Великобритании и Франции, учрежденный в 1945 г. для осуществления верховной власти в Германии на период ее оккупации войсками антигитлеровской коалиции.
2. Ганнибал (247—183 до н.э.) — карфагенский полководец и государственный деятель. Принял яд, чтобы избежать пленения римлянами.

— Все задают тот же самый вопрос, — ответил молодой офицер. — Уже проведено тщательное расследование, и решено пока никому не предъявлять обвинений. Скорее всего, капсула с ядом была спрятана в кладовой среди личных вещей рейхсмаршала, но *кто* мог решиться на то, чтобы принести ее в камеру?

— У кого вообще могло возникнуть желание помочь этой свинье? — Бэкон в раздражении хрустнул пальцами.

— Все не так просто, как кажется. Не берусь утверждать, однако многие полагают, что старик Герман был выдающейся личностью. Не только немцы, но в ходе дела и некоторые американцы прониклись к нему симпатией. Его беспредельный цинизм и остроумие притупляли чувство ненависти у окружающих...

Бэкон с недоумением выслушал это объяснение, тем более что оно прозвучало из уст молодого человека, наполовину еврея, который тринадцать лет назад бежал из Германии в США, где жил его отец. Задель все это время ничего не знал о судьбе матери, вынужденной развестись с мужем и остаться в Берлине. Не знал даже, жива ли она. Снова очутившись в Германии вместе с американскими войсками, Гюнтер разыскал мать, и теперь она была одним из свидетелей обвинения Международного военного трибунала.

— Больше других подозревают Текса Уилиса, начальника камеры хранения, — продолжал Задель. — Говорят, они с Герингом стали совсем друзьями, так что Уилис вполне мог согласиться помочь рейхсмаршалу. Правда, проверить это никак нельзя. Начальство считает, что произошел просто несчастный случай, и этого мнения должны придерживаться все остальные, а дело следует закрыть раз и навсегда.

— *Несчастный случай*, говоришь? — Бэкон распалялся все больше. — Сотни людей потратили месяцы на то, чтобы привести его на виселицу, и в последнее мгновение он ухитряется улизнуть! А самоубийство Гитлера в Берлине тоже было случайным?! Где же "неизбежная расплата", о которой мы столько трубили? Тебе не приходит в голову, что все наши усилия заканчиваются ничем: мы пытаемся искоренить зло, а оно остается безнаказанным!

— Судебные процессы сделали свое дело — открыли миру *правду*, лейтенант, правду о Третьем рейхе, чтобы никто никогда не забывал о творившихся зверствах и не испытывал жалости к нацистам. Кто теперь сможет отрицать существование газовых камер, гибель миллионов людей и другие ужасы?

— Неужели ты всерьез думаешь, что мы действительно когда-нибудь узнаем всю правду? На самом деле нам доступна лишь та правда, в которую мы способны поверить!

Утром следующего дня лейтенант Бэкон мог издали наблюдать, как одиннадцать мешков с безжизненными телами нацистских главарей погрузили на военные грузовики и увезли в сопровождении автомобилей с вооруженной охраной. Их сожгут в крематории кладбища Остфридрихсхоф в Мюнхене. На каждом мешке моталась бирка с вымышленным именем. Немцам — работникам крематория сказали, что привезут якобы погибших в боях американских солдат; нельзя было допустить, чтобы впоследствии появились "священные останки" и прочие реликвии. Ни у кого не должно возникнуть даже малейшего подозрения, что сожженные трупы и есть бывшие нацистские начальники, казненные по приговору

Международного военного трибунала в Нюрнберге: Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел гитлеровской Германии; Ханс Франк, генерал-губернатор оккупированных территорий Польши; Вильгельм Фрик, протектор Богемии и Моравии; Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства верховного командования вермахта (вооруженных сил фашистской Германии); Эрнст Кальтенбруннер, начальник главного имперского управления безопасности, ближайший помощник Гиммлера; Вильгельм Кейтель, начальник Генерального штаба вермахта; Альфред Розенберг, заместитель Гитлера по вопросам "духовной и идеологической" подготовки членов нацистской партии, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий; Фриц Заукель, директор программы принудительных работ для военнопленных и заключенных; Артур Зейсс-Инкварт, имперский уполномоченный по оккупированным Нидерландам; Юлиус Штрайхер, издатель и главный редактор газеты фашистских штурмовиков "Der Stürmer"; и, конечно, Герман Геринг, рейхсмаршал, главнокомандующий люфтваффе (военно-воздушными силами) и второй человек после Гитлера в нацистской иерархии.

Царившая в городе напряженность, казалось, сразу же спала. Работа Международного военного трибунала завершилась, хотя не все остались довольны ее итогами. Советские представители с самого начала выразили свое неудовлетворение по поводу процедуры судебного процесса и даже обвинили американцев и англичан в том, что при их попустительстве Герингу удалось совершить самоубийство. Еще предстояло заслушать много дел, не таких важных, конечно, и журналисты уже не столь упорно осаждали Центральный зал Дворца юстиции. Что касается лейтенанта Фрэнсиса П. Бэкона, он прибыл в Нюрнберг не затем, чтобы присутствовать на казнях, а с особым заданием.

Ближе к середине войны Бэкон, работавший тогда в Институте перспективных исследований в Принстоне, поступил на службу в Вооруженные силы США. В 1943 году его командировали в Великобританию для сотрудничества с английскими учеными, а в 1945-м он стал участвовать в программе Alsos под руководством физика, голландца по происхождению, Сэмюэла А. Гаудсмита[1], который отвечал не только за сбор всей информации о любых научных исследованиях в Германии, прежде всего в области атомной энергии, но и за поимку тех, кто ими занимался.

Отработав в этой программе положенный срок, Бэкон мог бы вернуться в Соединенные Штаты, однако предпочел продолжать сотрудничать с Контрольным советом союзников в качестве консультанта по вопросам, связанным с наукой. И вот, в начале октября 1946 года, через несколько дней после вынесения Международным военным трибуналом в Нюрнберге смертного приговора нацистским преступникам, Бэкона вызвали в отдел разведки штаба американских войск. Внимание военных привлекло одно обстоятельство.

30 июля 1946 года в Центральном зале Дворца юстиции в Нюрнберге начался процесс против семи немецких государственных и политических структур: руководства нацистской партии, кабинета правительства, охранных отрядов (СС), тайной полиции (гестапо), службы безопасности (СД), штурмовых отрядов (СА) и верховного командования вооруженных сил Третьего рейха. Одним из свидетелей на суде выступал некто по

1. Сэмюэл Абрахам Гаудсмит (1902–1979) — американский физик-теоретик. Родился в Гааге.

имени Вольфрам фон Зиверс, председатель Германского общества наследия старины. Вскоре выяснилось, что при фашистах он возглавлял один из отделов Ahnenerbe[1] – подразделения СС, проводившего секретные научные исследования. Фон Зиверс чрезвычайно нервничал на суде и в течение нескольких часов, сидя на скамье свидетелей, не переставал вытирать платком потные руки и лицо. Он запинался, заикался, то и дело повторялся, осложняя труд переводчиков-синхронистов, которые впервые в истории работали именно там, на допросах в Нюрнберге.

Отвечая на вопрос обвинителя, фон Зиверс сделал первое из своих имевших важные последствия заявлений: его лабораторию, по указанию Гиммлера, эсэсовцы должны были снабжать черепами "евреев-большевиков" для изучения. Обвинитель тут же задал очередной вопрос: известно ли фон Зиверсу, каким образом СС получали черепа? Тот ответил, что с этой целью специально убивали военнопленных с Восточного фронта. "А какова была задача исследований?" – продолжал обвинитель. Речь фон Зиверса опять стала невнятной, он с трудом подбирал слова. Тем не менее судьи стояли на своем, и свидетель пустился в долгие и несвязные рассуждения о френологии[2] и физическом развитии древних рас, о толтеках и Атлантиде, об арийском превосходстве, о сказочных странах Агарти и Шамбала[3]. Конкретно он сказал, что его "работа" заключалась в изучении причин биологической неполноценности семитов, природы их физиологической эволюции на протяжении всего времени существования, а также в поиске наилучшего способа устранения дефектов этой расы.

К концу выступления фон Зиверс сам стал похож на объект своих былых исследований; глаза его выпучились до предела, готовые вот-вот лопнуть, руки неудержимо дрожали. Обвинитель начал терять терпение. На данном этапе его интересовали не подробности омерзительных опытов профессора фон Зиверса (который потом тоже был осужден за преступления против человечества), а то, как использовать его показания для подтверждения зверств эсэсовцев и нацистского режима в целом.

– Откуда к вам поступали ресурсы для этой работы, профессор Зиверс?

– От СС, я вам уже сказал, – пролепетал тот.

– То, что СС занимались подобными исследованиями, было в порядке вещей?

– Да...

– И вы утверждаете, что СС вас финансировали?

– Да, напрямую!

– Что вы имеете в виду под словом "напрямую", профессор? – обвинитель почувствовал, что нащупал ниточку, способную направить допрос в нужную сторону.

Фон Зиверс прокашлялся.

– Видите ли, вся научная деятельность в Германии находилась под управлением и контролем Совета рейха по исследованиям...

1. Наследие предков (*нем.*).
2. Френология – устаревшая теория о связи между формой черепа и умственными способностями и моральными качествами человека.
3. Агарти – в мифологии монгольских буддистов таинственная подземная страна; Шамбала – азиатская страна, существовавшая до XV века и не оставившая, подобно Атлантиде, никаких следов своего существования.

Обвинитель попал точно в цель. Это он и хотел услышать. Совет рейха по научным исследованиям, как и многие другие учреждения, возглавлял рейхсмаршал Герман Геринг.

— Спасибо, профессор, — поблагодарил обвинитель. — Я закончил.

Тут фон Зиверс совсем некстати вставил еще одну фразу, которую позже, по протесту защиты, суд велел вычеркнуть из протокола. Однако в материалах, переданных Бэкону в разведотделе, фраза была сохранена и, более того, подчеркнута красными чернилами, поэтому лейтенант прочитал ее с величайшим вниманием:

"Деньги на исследования выделялись, только если проект визировал советник фюрера по науке. Кто был этот засекреченный ученый на самом деле, мы не знали. По слухам, в миру его признавало и почитало все научное сообщество. Но нам он был известен только под условным именем Клингзор".

Прошли дни, и 20 августа зал заседаний суда заполнился до предела — безошибочный признак того, что на сцене появится главный герой этого спектакля, рейхсмаршал Герман Геринг. В белом кителе (еще с давних, лучших времен белые мундиры стали его пристрастием), сияющий негодованием и здоровым румянцем, он был гвоздем программы. Говорил четко, внятно, без обиняков, будто диктовал мемуары. Во время допросов вел себя бесцеремонно: сказывалась многолетняя привычка отдавать приказы и никогда не слышать в ответ ни малейшего несогласия.

— Вы когда-нибудь отдавали приказы о проведении медицинских опытов на живых людях? — спросил защитник.

Геринг подчеркнуто глубоко вздохнул.

— Нет!

— Вы знаете доктора Рашера, обвиняемого в использовании заключенных концентрационного лагеря Дахау в качестве подопытных животных в научных исследованиях по заказу люфтваффе?

— Нет!

— Вы когда-нибудь приказывали проводить бесчеловечные эксперименты на военнопленных?

— Нет!

Со своего места поднялся заместитель Главного обвинителя Великобритании сэр Дэвид Максуэлл-Файф.

— Вы когда-то были прекрасным пилотом, — учтиво обратился он к Герингу. — У вас впечатляющий послужной список. Неужели вы не помните об экспериментах по испытанию на прочность летных костюмов для военно-воздушных сил?

— От меня зависело решение многих вопросов, — с не меньшей учтивостью в голосе ответил Геринг. — От моего имени отдавались десятки тысяч приказов, я просто физически не мог знать обо всех опытах, проводимых учеными рейха.

Максуэлл-Файф в качестве доказательства предъявил документы из переписки Генриха Гиммлера и фельдмаршала Эрхарда Мильха, помощника Геринга. В одном из писем Мильх благодарил Гиммлера за помощь в проведении экспериментов доктора Рашера во время полетов на больших высотах. В ходе опыта самолет с находящимся в нем без доступа кислорода заключенным еврейской национальности поднялся на высоту 29 тысяч футов. Несчастный задохнулся через тринадцать минут.

— Разве может быть, — продолжал Максуэлл-Файф, — что Мильх, докладывающий обо всем лично вам, знал об экспериментах, а вы — нет?

— Вопросы, входившие в мою компетенцию, классифицировались по трем категориям, — стал терпеливо объяснять Геринг, почти улыбаясь, — срочные, важные и рутинные. Опыты, проводимые медицинской инспекцией люфтваффе, относились к третьей категории и не требовали моего персонального внимания.

На суде больше ни разу не упоминался ученый, от одобрения которого зависели научные проекты Третьего рейха. Никто не вспомнил имени Клингзор. Не обмолвился о нем и Геринг; и даже фон Зиверс на последующих допросах отрицал, что назвал его. У Бэкона для выполнения задания не было ничего, кроме одного случайно оброненного слова.

Лейтенант с досадой захлопнул папку с документами.

Гипотезы: от квантовой физики до шпионажа

Гипотеза 1
О детстве и юношестве Бэкона

Газета "Нью-Йорк таймс" в номере от 10 ноября 1919 года поместила на первой полосе следующие кричащие заголовки:

В НЕБЕ ОБНАРУЖЕНЫ
ИЗОГНУТЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛУЧИ

Ученые несколько удивлены
результатами наблюдений
солнечного затмения

ТЕОРИЯ ЭЙНШТЕЙНА ТОРЖЕСТВУЕТ!

Звезды находятся не там, где нам представляется
или показывают расчеты,
но причин для беспокойства нет!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ДВЕНАДЦАТИ МУДРЕЦОВ

Эйнштейн на встрече с издателями:
"Больше никто в мире
не способен понять это!"

Альберту Эйнштейну уже исполнилось сорок, однако его имя впервые появилось в этой газете, выпускавшейся в огромном мегаполисе многотысячным тиражом. Почти пятнадцать лет прошло со дня публикации в 1905 году статьи ученого-физика о пространственно-временной относительности под заголовком "Об электродинамике тел в движении" со знаменитой формулой $E=mc^2$ [1]. Еще около четырех лет минуло со вре-

1. Формула показывает, что покоящееся тело обладает запасом энергии (т. н. принцип эквивалентности энергии и массы, открытый Эйнштейном).

мени окончательной редакции гениальным мыслителем общей теории относительности. И лишь теперь глобальная значимость его открытия стала понятной и доступной не только специалистам, но и всему человечеству. С этого момента Эйнштейн превратился в оракула, в символ новой эпохи; каждое его слово подхватывали средства массовой информации и разносили по всему свету. Первая мировая война завершилась лишь несколько месяцев назад подписанием Версальского договора, люди начинали жить по-другому. Человечеством овладело ощущение грядущих перемен. Эйнштейн явился словно пророк, несущий спасительное слово Божие и способный чудом решить земные проблемы. На рубеже 1916 и 1917 годов Эйнштейн пытался найти возможность экспериментально проверить общую теорию относительности, но ему пришлось дожидаться окончания боевых действий, чтобы договориться с кем-нибудь о помощи в проведении опыта.

Как только появилась возможность, он написал выдающемуся английскому астрофизику сэру Артуру Эддингтону[1]. Тот без колебаний согласился участвовать в экспериментальной проверке теории относительности. Один из способов проверки заключался в измерении отклонения луча света при приближении его к телу со значительной массой, например, в период солнечного затмения. Наблюдать полное солнечное затмение можно было, находясь в любой точке Земли вблизи экватора 29 мая 1919 года. В этот день, всего лишь через несколько месяцев после заключения перемирия[2], и решили провести измерение. Англичанин снарядил две экспедиции: одна, возглавляемая им самим, отправлялась на остров Принсипи у западного побережья Африки; другая — в Бразилию, в местечко под названием Собрал на севере страны. По его расчетам, оба места как нельзя лучше подходили для измерений отклонения солнечных лучей под влиянием расположенной на их пути Луны. Эйнштейн предположил, что это отклонение должно составить 1,745 секунды, то есть в два раза больше, чем показывали формулы классической физики.

29 мая, в час тридцать дня, ярко полыхающее светило оказалось поглощенным тенью своего спутника — Луны. Обманутые неожиданными сумерками, птицы суматошно бросились искать свои гнезда, а обезьяны и ящерицы принялись готовиться ко сну. Наступила недолгая колдовская ночь, наполненная испуганной тишиной. Спаренные фотокамеры с абсолютной синхронностью запечатлели природное явление.

Результаты измерений, с учетом незначительной поправки на погрешность, полностью подтвердили идеи Эйнштейна! Прошло еще несколько недель, и известие о великой победе ученого-физика полетело по всему миру. И только через пять месяцев после проведения эксперимента, 10 ноября 1919 года, об этом событии смогли узнать читатели газеты "Нью-Йорк таймс".

В тот же день, в семь часов тридцать минут утра, в маленькой больничке города Ньюарка штата Нью-Джерси, неподалеку от Принстона, родился новый обитатель этого мира, уже так не похожего на прежний после окончательного подтверждения открытия Эйнштейна. Вскоре

1. Артур Стэнли Эддингтон (1882–1944) — директор астрономической обсерватории в Кембридже. В 1921–1923 гг. — президент Королевского астрономического общества в Лондоне.
2. Перемирие с Антантой подписано Германией 11 ноября 1918 г.

мальчика окрестили и дали имя Фрэнсис Перси Бэкон. Его отца звали Чарльз Дрекстер Бэкон, он являлся владельцем сети магазинов Олбани, а мать, Рэчел Ричардс, была дочерью банкира Реймонда Ричардса из Нью-Канаана, штат Коннектикут.

Как-то июньским вечером мать решила научить сына складывать и вычитать числа. Она устроила его поудобнее у себя на коленях и тем же тихим, ровным голосом, каким рассказывала сказки, начала раскрывать перед ним таинства математики. Цифровой ряд простирался как крестный путь; каждое арифметическое действие казалось молитвой Господу. За окнами первая летняя гроза трепала верхушки деревьев. Вздрагивая при оглушительных раскатах грома, мальчик думал о том, что Бог вездесущ и милость его безгранична. В тот день маленький Фрэнк научился не бояться грозы и вдобавок понял, что цифры лучше людей, им можно верить, у них не меняется настроение (мальчика пугали непредсказуемые вспышки отцовского гнева и холодное высокомерие матери), они не обманывают и не предают и не бьют тебя только потому, что ты слабый.

Прошло еще несколько лет, прежде чем он открыл для себя, что сухие математические формулы скрывают безумства и страсти, а цифры — далеко не дружная маленькая семейка, как представлялось ему раньше.

Наблюдение за цифрами, общение с ними стало для мальчика главным занятием в жизни, его убежищем и утешением, да фактически и самой жизнью.

В первый, но далеко не в последний раз демоны алгебры похитили Фрэнка, когда ему исполнилось пять лет. Мать отыскала его в погребе, окоченевшего от ноябрьского заморозка, неотрывно глядящего на водопроводные трубы. С губ его стекала тягучая, с пеной, струйка слюны, а все мышцы казались туго натянутыми веревками. Домашний врач проконсультировался с невропатологом, но не мог рекомендовать родителям мальчика ничего, кроме как просто набраться терпения — "само пройдет". "Он будто впал в спячку", — заключил доктор, не в силах объяснить состояние ребенка, напоминавшее гипноз или аутизм. Через полтора дня Фрэнк ожил, принялся елозить и переворачиваться с боку на бок под одеялом, будто бабочка, выбирающаяся из кокона. Мать, не отходившая от постели сына с самого начала болезни, бросилась к нему, уверенная, что ее любовь к ребенку победила смерть. Однако мальчик, лишь только обрел способность говорить связно, тут же разочаровал ее. "Я просто решал одну проблему, — заявил он к всеобщему изумлению. А потом улыбнулся: — И решил!"

Кажется, это произошло в воскресенье, мальчику тогда было не больше шести лет. Отец вдруг без всяких предисловий поднялся с места, подошел к нему и протянул футляр, обтянутый пропылившейся черной кожей. Перед изумленным взглядом ребенка предстали извлеченные Чарльзом разнообразные фигурки: драконы, самураи, бонзы и пагоды, хотя отец называл их по-другому — кони, пешки, слоны и ладьи. Отец тут же расставил их на красивой доске с клетками из черного дерева и слоновой кости, которую разместил на столе в гостиной.

Фрэнка тогда очень удивило воодушевление, с которым отец объяснял, как ставить шах, правильно делать ход конем или умело сплести

эффектную дворцовую интригу, завершив ее рокировкой. А отцу эта безобидная игра дарила ощущение прежней силы, упоение битвой в давних нешуточных сражениях, от которых ныне остались только стычки с работниками его магазинов.

– Ну так что, сыграем партию? Правила ты теперь знаешь!

– Да, сэр, – сразу согласился Фрэнк.

Чарльз полностью отдался игре. Начиная с дебютной комбинации, он внимательно продумывал каждый ход, словно сверяясь с картой местности или поддерживая связь со своим штабом, который салютовал ему из воображаемого гарнизона. В тот вечер отец, не щадя сына, выиграл у него семь партий подряд, объявляя всякий раз унизительный *мат королю.* Его понятия о воспитании не позволили ему схитрить и дать сыну одержать хотя бы одну утешительную победу. В жизни – как на войне: чтобы не погибнуть, надо не только уметь хорошо прятаться, но и научиться каждый день выбираться из окопов и по минному полю идти в атаку на врага.

– Ошибочка вышла, – пробормотал Чарльз после своего первого поражения и, чтобы продемонстрировать высокий спортивный дух, раскурил гаванскую сигару. – Впрочем, ты тоже играл неплохо.

На следующий день он не стал дожидаться, когда сын попросит его сыграть в шахматы. Мальчик вернулся домой из школы (к тому времени ему уже исполнилось восемь лет) и увидел, как отец расставляет на доске фигуры. Каждую из них он предварительно протер тряпочкой, будто готовил нерадивых солдат к утреннему смотру.

– Ну что, начнем?

Фрэнк почувствовал, что отец настроен серьезно. Тогда он решительно отбросил в сторону школьный ранец и сел к доске, готовый не просто к игре, но к настоящему бою не на жизнь, а на смерть. После нескольких часов сражения счет был в пользу мальчика; он выиграл первую, третью, четвертую и пятую партии. Обескураженный отец победил только во второй и шестой, утешая себя тем, что ему хотя бы удалось выиграть в завершающей партии, после чего поспешил встать из-за стола, ссылаясь на поздний час и на то, что у него есть важные дела.

Чарльз стал все чаще проигрывать в шахматы и из-за этого относился к сыну еще суровее. Мрачное настроение почти не покидало его, а через несколько месяцев превратилось в хроническую депрессию. За год количество проигрышей намного превысило число удачных для него партий, тогда он прекратил играть с сыном в шахматы. Прошло еще несколько месяцев, и Чарльз умер от инфаркта. Фрэнк так и не узнал, ощущал ли когда-нибудь этот нелюдимый, скупой старик хотя бы малейшую гордость по поводу успехов сына.

Поначалу наличие знаменитого тезки[1] не казалось Фрэнсису большой неприятностью: ну мало ли на свете людей, имеющих одинаковые, весьма распространенные имена – Джоны, Мэри, Роберты. Например, второго мужа матери звали Товий Смит, и его ничуть не смущало, что такую же фамилию носят еще тысячи людей. Вот только никто его не спраши-

1. Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ, родоначальник английского материализма. Его учение оказало огромное влияние на развитие науки и философии. Избирался в парламент, занимал важные посты в правительстве Англии. Ушел с государственной службы в связи с тем, что был осужден по обвинению во взяточничестве.

вал с ехидством, как Фрэнсиса: "Вы, наверно, тоже станете гением, господин Бэкон?" Самое худшее, он действительно верил, что так и будет. Однако остальным казалось совершенно недопустимым, что из еще одного Фрэнсиса Бэкона может получиться блестящий ученый. И никто не упускал случая сравнить Фрэнсиса с "настоящим" Бэконом, словно он был неудачной или сомнительной копией утерянного оригинала.

Со временем обида на шуточки по поводу имени потихоньку начала улетучиваться из сердца Фрэнсиса. Зато его все больше интересовала личность английского ученого, ставшего их причиной. Нынешний Бэкон буквально преследовал прежнего с той же навязчивой неутомимостью, с какой подросток каждый день старается обнаружить в своем отражении в зеркале малейшие признаки взросления. Было как-то неловко вычитывать в книгах собственное имя и в то же время знать, что оно принадлежит другому, но Фрэнсис упорно продолжал вникать во все подробности его жизненного пути и не уставал восхищаться его научными открытиями. Знакомясь со своим тезкой, он пришел к убеждению, что его собственная судьба, пусть даже по случайному стечению обстоятельств, неразрывно связана с этим человеком в результате если не переселения душ (такое вряд ли возможно), то по меньшей мере какого-то зова, донесшегося до него через века.

Он пришел к выводу, что его долг — продолжить каким-то образом дело этого человека, имя которого стало бессмертным. Наподобие сэра Фрэнсиса, юный Фрэнк увлекся наукой по многим причинам — из любопытства, в стремлении постичь истину, реализовать свой природный талант; но в глубине души он признавал, что главной движущей силой, как и для его предшественника, стала обида и злость на весь мир. Только опираясь на точные, надежные и неизменные математические данные, мог он противостоять непредсказуемому и неуправляемому вселенскому хаосу.

Однажды он проснулся с ощущением полной раскрепощенности и жажды деятельности. Необъяснимое состояние души заставило его сделать решительный шаг: отдалиться от чисто математической науки, переполненной абстрактными понятиями и не имеющими прикладного значения формулами, и ступить на более осязаемую и связанную с реальной жизнью почву физики. Такое решение хоть и не слишком порадовало мать Фрэнка, желавшую видеть сына инженером, но все же приближало его к тому, что ей казалось более понятным. Отныне он перестанет все время играть в цифры, вызывая у нее опасения по поводу его психического здоровья, и займется углубленным познанием элементов Вселенной: материи, света, энергии. Но вопреки надеждам матери Фрэнк не стал заниматься каким-то практическим делом вроде электроники, а увлекся ультрасовременным, менее всего разработанным и самым непрактичным направлением в физике: изучением атомов и совсем недавно созданной квантовой теорией. И вновь, как в математике, все здесь было не от мира сего, даже названия изучаемых Фрэнком объектов и явлений: частицы, силы, магнитные поля — звучали так же экзотично, как и математические термины.

Преодолев трудности науки и устояв под нажимом со стороны матери и отчима, Фрэнк через несколько лет блестяще защитил дипломную работу на тему о положительно заряженных электронах и с отличием окончил Принстонский университет. Ему исполнился двадцать один

год, и его ожидало блестящее будущее; поскольку специалистов в этой области имелось раз, два и обчелся, учебные заведения сразу нескольких штатов пригласили его в аспирантуру для продолжения исследований. Бэкона особенно привлекало предложение Института перспективных исследований, находившегося там же, в Принстоне. Основан он был в 1930 году братьями Бамбергер, бывшими владельцами сети магазинов под тем же именем в Ньюарке. Уже очень скоро институт превратился в один из самых важных научно-исследовательских центров в мире. Достаточно сказать, что там работал Альберт Эйнштейн, решивший поселиться в США после победы нацистов на выборах в Германии, а также математики Курт Гёдель[1] и Джон фон Нейман[2].

Проходя осенью 1940 года по широким дорожкам Принстонского университета по направлению к зданию, где располагался кабинет заведующего факультетом, Бэкон не испытывал ни малейшего волнения, хотя знал, что декан вызвал его для важного сообщения.

Пожав Бэкону руку, декан пригласил его сесть, раскрыл обложку одного из многих скоросшивателей, разложенных перед ним, и, не поднимая глаз, стал выискивать нужные места в тексте.

— Та-ак, Фрэнсис Бэкон, ну конечно, кто же не знает этого имени? Очень хорошо... Summa cum laude[3]... "Прекрасная трудоспособность... Выдающиеся аналитические способности... Иногда проявляет нерешительность, зато отличный теоретик... В общем и целом, один из наиболее одаренных представителей нынешнего поколения..." Каково? Сплошные положительные отзывы о вас, юноша! Это удивительно, просто удивительно! Благодаря рекомендации профессора Освальда Веблена руководство Института перспективных исследований сочло целесообразным включить вас в штатное расписание. (Бэкон не удержался и улыбнулся.) Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вы остались у нас, но решающее слово за вами. Если предпочитаете перейти к нашим соседям, я не смею возражать. Хочу только предупредить, что там вас зачислят на должность *ассистента*, а не аспиранта... Знаете, что это означает? Может быть, хотите подумать еще или вы уже приняли окончательное решение?

— Я хочу принять предложение института, профессор.

— Так я и думал, — ответил тот.

Бэкон уже оценил все преимущества и недостатки такого шага. Хотя институт не позволял ему продолжить учебу в аспирантуре, зато у него появлялась возможность работать вместе с лучшими физиками и математиками мира. Для Бэкона это имело решающее значение.

— Ну что ж, очень хорошо, — добавил декан. — Значит, ничего не поделаешь. Сколько вам лет, юноша?

— Двадцать один.

— Вы еще очень молоды... Слишком молоды. У вас есть время для выбора, но не так много, чтобы терять его впустую. Возраст имеет первостепенное значение для ученых-физиков. Есть закон жизни, неспра-

1. Курт Гёдель (1906—1978) — австрийский логик и математик. В 1940 г. эмигрировал в США.
2. Джон (Янош) фон Нейман (1903—1957) — американский математик. Принимал участие в работах по созданию атомной бомбы. До переезда в США в 1930 г. несколько лет преподавал в Берлинском университете.
3. С величайшей похвалой *(лат.)* — формула присуждения диплома с отличием.

ведливый, как все остальные, но вы должны постоянно помнить о нем: когда вам стукнет тридцать, вы перестанете существовать для физики... *Перестанете существовать!* Знаю это по собственному опыту...

– Спасибо за совет.

Бэкон в этот момент уже размышлял о встрече, назначенной ему профессором фон Нейманом на три часа во вторник. Декан вывел его из задумчивости словами:

– А теперь отправляйтесь, и удачи!

Гипотеза 2
О фон Неймане и войне

– Меня зовут Бэкон, профессор. Фрэнсис Бэкон, – представился Фрэнк, явившись в институт в условленное время. Ради такого случая он облачился в свой лучший костюм мышиного цвета и повязал галстук с узором в виде маленьких жирафов.

– А, Бэкон! Дата рождения – 22 января 1561 года, место рождения – Йорк-Хаус, скончался в 1626 году! К несчастью, обладал маниакальными наклонностями. И великолепным интеллектом, без всякого сомнения! Я мог бы сейчас же, строчку за строчкой, процитировать его "Novum Organum"[1], но боюсь, вы заскучаете. К тому же у меня сегодня намечено мероприятие, на которое *весьма* нежелательно опаздывать!

В Принстонском университете, где Джон фон Нейман несколько месяцев преподавал математику на соответствующем факультете, молодой профессор приобрел славу умнейшего человека и никудышного учителя. Его венгерское имя Янош позже превратилось в немецкое Йоханнес, которое он сам потом поменял на английское Джон, чтобы избежать трудностей в общении с новыми согражданами. Из тех же соображений фон Нейман охотно откликался на "Джонни", что в сочетании с фамилией звучало как смесь шотландского виски и чешского пива. Родился фон Нейман в Будапеште в 1903 году, то есть ко времени повествования ему исполнилось только тридцать семь, однако бывший вундеркинд уже сделал стремительную карьеру, став одним из крупнейших математиков мира и, несколько месяцев назад, самым молодым сотрудником Института перспективных исследований. Бэкону не привелось присутствовать на уроках профессора, но рассказы о его причудах, ходившие среди студентов Принстонского университета, он слышал много раз. Фон Нейман обладал способностью производить в уме арифметические действия с невероятной быстротой, он также имел фотографическую память: ему было достаточно лишь взглянуть на страницу текста или мельком пролистать книжку, чтобы спустя некоторое время воспроизвести прочитанное дословно, без ошибок, от начала до конца. Он неоднократно проделывал это с первой частью "Повести о двух городах"[2].

Нетерпеливый по природе, фон Нейман все время срывался на уроках, ругал студентов за медлительность и непонимание, из-за чего каждому приходилось "разжевывать" все по многу раз, а больше всего за то, с каким удивленным и испуганным выражением на лицах они пытались

1. "Новый органон" (*лат.*) – заглавие одной из работ Ф. Бэкона.
2. Исторический роман Чарльза Диккенса о Великой французской революции.

решать его изящные уравнения. Никому не удавалось научиться чему-либо на его уроках по той простой причине, что сам учебный процесс на них протекал со скоростью, не позволяющей нормально воспринимать материал. Студенты только начинали переписывать в тетради длиннющую формулу, набросанную фон Нейманом мелом на доске, как коварный профессор уже стирал ее тряпкой и принимался выстраивать новую цепочку цифр и символов, словно перед аудиторией была не классная доска, а "бегущая строка" рекламы на Бродвее. За все время преподавания в университете лишь один аспирант смог защититься под его руководством, и фон Нейман даже не помышлял повторить этот неудачный эксперимент, помня о неприятной необходимости читать и перечитывать чужие убогие выкладки и разбираться в неуклюжих математических конструкциях. Поэтому, когда директор Института перспективных исследований Эйбрахам Флекснер пригласил его в свою команду, сказав, что, как и другим профессорам, ему не придется преподавать, фон Нейман с радостью согласился. Наконец-то он навсегда расстанется с этим сборищем бестолочей, которые даже не могут отличить Моцарта от Бетховена!

— А теперь я должен идти! Сегодня заседание ученого совета, вы знаете, что это такое? Будет чай, печенье и звездопад имен... Не таких ярких, как ваше, но достаточно знаменитых, чтобы поторопиться, понятно? — Он задержался на мгновенье — крупный, даже полноватый, с выступающей из-под овальной бородки мягкой, пухлой складкой. — Что же нам с вами делать, Бэкон? Жаль заставлять вас ждать, вы никак не входили в мои планы... Скажите же, что мне делать...

Бэкон открыл было рот, чтобы объясниться, но не произнес ни слова. Манера фон Неймана разговаривать напоминала бессвязные рассуждения Гусеницы из "Алисы в Стране чудес".

— Ну конечно, конечно. Отличная идея, Бэкон... Завтра я устраиваю небольшую вечеринку, понимаете? Я всегда стараюсь как-то развлечься, здесь иногда становится *так* тоскливо! Я и жене все время говорю — давай сделаем себе барную стойку, как в Будапеште, однако не обращайте внимания, Бэкон... Ну все, пойду. Завтра жду вас у себя дома в пять, до того, как соберутся все остальные... Устраиваем маленький прием, понимаете? Смерть скуке! Вы, наверно, слышали о наших вечеринках? А сейчас мне надо идти. К сожалению. Не забудьте: в пять...

— Профессор... — попытался вставить Бэкон.

— Я же говорю вам! Позже обсудим это дело без всякой спешки. С вашего разрешения...

После долгих пререканий с упрямой секретаршей, наотрез отказывавшейся дать ему домашний адрес фон Неймана, Бэкон все же добился своего и со свойственной ему пунктуальностью прибыл точно в назначенное время к дому номер 26 по Уэсткотт-роуд. Возле центрального входа стоял крытый грузовичок, с которого два работника методично сгружали и относили на кухню подносы с закусками. Бэкон позвонил в колокольчик и подождал с минуту. Никто к нему не вышел. Тогда он набрался храбрости и проскользнул в дверь вместе с прислугой. Минуло еще несколько минут, прежде чем горничная обратила внимание на посетителя и отправилась доложить. Вскоре появился полуодетый фон Нейман — в пиджаке, но с галстуком, свисающим с согнутой в локте руки.

— Бэкон!

— Да, профессор.

— Ну вот, опять вы! — Он удобно расположился в одном из кресел, жестом пригласил Бэкона сесть и стал застегивать манишку на груди. — Не то чтобы меня беспокоила чужая навязчивость, но все же надо соблюдать приличия, друг мой. У меня банкет на носу, вы хоть представляете, что это такое? Сейчас просто не до разговоров о физике, вы понимаете, надеюсь!

— Вы сами сказали мне прийти, профессор...

— Глупости, глупости, Бэкон. — Теперь толстые пальцы принялись за галстук. — Но раз уж вы явились сюда, было бы неправильно отправлять вас обратно ни с чем, как вы полагаете? Соблюдать приличия, друг мой, — вот чего не умеют американцы... Не хочу переходить на личности, уверяю вас, но вы начинаете действовать мне на нервы. — Фон Нейман стал разглядывать Бэкона, словно патологоанатом перед вскрытием. — Как известно, мне предстоит решить, принять вас в институт или нет. В моих руках — ваше будущее... Ужасная ответственность, друг мой, ужасная... Все хотят, чтобы именно я определил, кто вы — мудрец или глупец!

— Я передал для вас свои биографические данные, профессор.

— Вы по образованию физик, не так ли?

— Да, сэр.

— Видите ли, — задумчиво протянул фон Нейман, — то, что я написал маленькую книжку по квантовой теории, конечно, не дает мне основания экзаменовать всякого невежду, который пытается изучать этот вопрос. О, пожалуйста, не делайте такое лицо, друг мой, я ведь говорю не о вас, нет-нет... Да, боюсь, эти черти ничего мне не передавали. — Фон Нейман поднялся с кресла и склонился над столом с закусками, разыскивая глазами vol-au-vent[1] с шампиньонами, потом взял все блюдо и отнес к своему креслу; предложил Бэкону выбрать пирожок, но тот отказался. — Представляете — ни-че-го! А мне в ближайшие дни нужно будет сдать в приемную комиссию свое заключение по вашей кандидатуре. Что же мне делать?

— Не знаю, профессор...

— Нашел! — воскликнул тот, осененный неожиданной идеей. — Вы, конечно, догадываетесь, что мы вот-вот окажемся втянуты в войну?

Бэкон оказался не готов к такой стремительной перемене темы.

— Да, — пробормотал он ошеломленно.

— Не сомневайтесь, Бэкон, конфронтация с Адольфом и *джепами*[2] неизбежна.

— Многие выступают против войны...

— То есть вы хотите сказать, что боитесь? Что не хотите спасти мир от дьявола?

Бэкон никак не мог понять, куда клонит фон Нейман со своими разговорами; ему казалось, что тот просто потешается, поэтому решил не высказываться по существу.

— Скажите, Бэкон, что такое, по-вашему, война?

— Н-не знаю, боевые действия между двумя или более противниками.

— А еще? — Фон Нейман заметно терял терпение. — Почему ведутся боевые действия, для чего?

1. Волован, слоеный пирожок *(франц.)*.
2. Japs *(жарг.* от *англ.* the Japanese, японцы) — презрительное прозвище японцев.

— Для достижения противоположных целей! — выпалил Бэкон.

— Да нет же, господи, совсем наоборот!

— Общих целей?

— Ну конечно! У них одна и та же цель, одинаковый интерес, но он может быть реализован только за счет противника. Вот почему воюют.

Бэкон в замешательстве молчал. Фон Нейман тем временем пытался приглушить охватившее его возбуждение быстрым поеданием пирожков.

— Приведу вам простой и наглядный пример. Для начала рассмотрим общие интересы нацистов и англичан: отхватить себе кусок пирога покрупнее, европейского пирога! Завладев властью в Германии в 1933 году, Гитлер только тем и занимался, что отрезал себе все новые ломтики: сперва Австрию, затем Чехословакию, потом Польшу, Бельгию, Голландию, Францию, Норвегию... Теперь ему нужен *весь* пирог! Поначалу англичане попустительствовали этому грабежу — вспомнить хотя бы злополучную конференцию в Мюнхене[1], но потом им стало казаться, что Германия слишком жадничает. Следите за мыслью?

— Да, профессор. Война похожа на игру.

— В 1928 году я опубликовал статейку на эту тему, — сказал он многозначительно. — Вы ее не читали?

— "О теории настольных игр", — процитировал Бэкон. — Я слышал об этой статье, но, к сожалению, еще не читал...

— Что ж, поверю вам, — снисходительно произнес профессор. — Хорошо, предположим, что противоборство между Гитлером и Черчиллем есть игра. Добавим к этому одно условие, которое пока не прозвучало достаточно отчетливо, а именно: участники игры действуют по *рациональным* соображениям.

— Понимаю, — осмелился Бэкон. — Они сделают даже невозможное, чтобы добиться поставленной перед собой цели — победы.

— Очень хорошо, — фон Нейман впервые улыбнулся. — Теория, которую я в настоящее время разрабатываю вместе с моим другом экономистом Оскаром Моргенштерном[2], утверждает, что все рациональные игры должны иметь математическое *решение*.

— Другими словами, стратегию.

— Вы поняли, Бэкон! Самая эффективная стратегия в игре (или войне) — та, которая дает наилучший результат. Так вот, — прочищая горло, фон Нейман сделал глоток из стакана с виски, — как я понимаю, существуют два типа игр: "с нулевой суммой" и те, которые не являются таковыми. В игре с нулевой суммой результат является конечным, то есть один игрок выигрывает то, что проигрывает другой. Если идет борьба за один пирог, то каждый кусок, доставшийся мне, означает потерю для моего противника.

— А в играх, которые не относятся к тем, что с нулевой суммой, выигрыш каждого участника не обязательно означает потерю для его противника, — довольный своей сообразительностью, вставил Бэкон.

1. Речь идет о Мюнхенском соглашении 1938 г. — о расчленении Чехословакии, подписанном 29 сентября в Мюнхене главами правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии.

2. Оскар Моргенштерн (1902–1977) — американский экономист, математик, профессор Принстонского университета с 1938 г. Получил известность как создатель (совместно с Джоном фон Нейманом) теории игр.

— Именно! Таким образом, войну между нацистами и англичанами следует отнести...

— К играм с нулевой суммой!

— Согласен. Примем это за рабочую гипотезу. На каком этапе развития находится сейчас война? Гитлер владеет половиной Европы; англичане оказывают ему чисто символическое сопротивление. Русские выжидают — они связаны пактом о ненападении с немцами. Если все так, как я обрисовал, скажите мне, Бэкон, какова, по-вашему, будет дальнейшая стратегия фюрера? — возбужденно спросил фон Нейман; грудь его вздымалась и опускалась, как кузнечные мехи.

Вопрос был трудный и, как понимал Бэкон, представлял собой ловушку. Очевидно, что ответ должен не основываться на оценке политической ситуации, а следовать математической логике фон Неймана.

— Гитлер захочет еще один кусок пирога.

— Это я и хотел услышать! — воскликнул профессор. — То же самое мы постоянно твердим и президенту Рузвельту. А какой кусок, если быть точными?

Выбор был невелик, и Бэкон долго не колебался.

— Думаю, он начнет с России.

— Почему?

— Потому что это наиболее слабый потенциальный противник. К тому же Гитлер не может позволить Сталину выиграть время для дальнейшего укрепления армии.

— Отлично, Бэкон! А теперь перейдем к самому трудному. — Фон Нейман с видимым удовольствием забавлялся молодым собеседником, как кошка — мышкой. — Рассмотрим *нашу* позицию в этом вопросе, позицию Соединенных Штатов Америки. Поскольку мы пока напрямую не вовлечены в игру, то можем быть достаточно объективными. Попытаемся рационально обсудить наши возможные действия. Моя теория следующая, — фон Нейман взял с журнального столика, стоящего посреди гостиной, лист бумаги и начал тщательно вычерчивать схему. — То, что происходит между немцами и нами, не относится к играм с нулевой суммой. Успех участников оценивается по количеству очков, набранных в соревновании за то, чтобы откусить как можно больше от еще большего пирога: мирового. У каждой стороны имеется собственная стратегия. Соответственно, существуют четыре возможных хода: Соединенные Штаты могут вмешаться в войну или нет; страны Оси[1], со своей стороны, могут напасть на нас или нет. Так каковы же вытекающие отсюда четыре сценария игры?

На это Бэкон ответил вполне уверенно:

— *Во-первых,* мы наносим по ним удар; *во-вторых,* они нападают первыми, стараясь застать нас врасплох; *в-третьих,* и те и другие начинают военные действия одновременно; *в-четвертых,* ничего не происходит, и обе стороны остаются на тех же позициях, что и сейчас.

— Блестящий анализ, маршал Бэкон! А теперь рассмотрим последствия каждого варианта. Если мы первыми объявляем войну, то приобретаем в свою пользу определенный элемент неожиданности. Минусом является то, что американцы неизбежно понесут большие потери. Ес-

1. Т. н. "Ось Берлин—Рим—Токио"; 27 сентября 1940 г. Германия, Италия и Япония подписали "тройственный пакт" о совместной борьбе за передел мира.

ли, наоборот, они нападают первыми, внезапность — на их стороне, но им придется вести войну на два фронта (поскольку, в соответствии с нашей теорией, они вот-вот нанесут удар по красным). По третьему сценарию, и те и другие вступают в войну одновременно, то есть делают официальные заявления и соблюдают другие формальности; упускают, таким образом, возможность застать противника врасплох и несут одинаково большие людские потери. Наконец, если мы оставляем все как есть, то, скорее всего, Гитлер становится хозяином Европы, а мы — всей Америки. Впрочем, в долгосрочной перспективе это все равно приведет к конфронтации между нами...

— Мне нравится ваш анализ, профессор!

— Я рад, Бэкон. А теперь распределите очки по результатам, достигнутым игроками.

— С удовольствием, — оживился Бэкон и стал писать на листе бумаги.

1. *Соединенные Штаты и страны Оси начинают боевые действия одновременно* = США — 1; Ось — 1.

2. *Соединенные Штаты атакуют первыми и застают Ось врасплох* = США — 3; Ось — 0.

3. *Соединенные Штаты выжидают, а Ось неожиданно нападает* = США — 0; Ось — 3.

4. *Ситуация остается такой же, как до настоящего момента* = США — 2; Ось — 2.

Потом он начертил следующую табличку:

	Ось нападает	**Ось выжидает**
США нападают	1 — 1	3 — 0
США выжидают	0 — 3	2 — 2

— Итак, вопрос задачи, — фон Нейман возбуждался все больше, — что нам надлежит предпринять?

Бэкон любовался табличкой, словно живописным полотном эпохи Возрождения; ее простота казалась ему, как и профессору, выразительной и прекрасной. Она была настоящим произведением искусства.

— Хуже всего выжидать и подвергнуться неожиданному нападению противника. В этом случае счет ноль—три в пользу Адольфа. Самое неприятное то, что мы не знаем, чего ожидать от этого бандита. Поэтому единственное рациональное решение в данной ситуации — атаковать первыми. Если удастся застать нацистов врасплох, то нам достанется максимальный выигрыш — три очка.

Профессор выглядел даже удовлетвореннее своего ученика, который не только убедил его в том, что обладает недюжинными способностями, но также поддержал идеи ученого в вопросе формирования президентом Рузвельтом военной политики. Фон Нейман был одним из самых горячих сторонников запуска Соединенными Штатами программы широкомасштабных исследований в области деления атомных ядер с момента открытия этого явления в 1939 году. Создание атомной бомбы, если такое возможно, не только явилось бы решающим фактором в конфронтации с немцами и японцами, но позволило бы вообще навсег-

да покончить с угрозой войны. К несчастью, призывы и предупреждения ученого не производили большого впечатления на президента США.

— Боюсь, мне не остается ничего другого, как смириться с вашим каждодневным присутствием в коридорах Фулд-холла, сколь бы оно ни действовало мне на нервы, — произнес фон Нейман, тяжело поднимаясь с кресла. — Однако не воображайте, что вы перенеслись в рай, Бэкон! Обещаю, вы будете работать как лошадь и в конце концов возненавидите расчеты, которыми я вас завалю! Жду вас в своем кабинете в понедельник.

Он направился к лестнице. Прежде чем исчезнуть за дверью одной из комнат второго этажа, фон Нейман остановился и повернулся к Бэкону.

— Можете остаться на банкете, если вам больше нечем заняться.

Как и предвидел Джон фон Нейман, в конце 1941 года Соединенные Штаты были вынуждены вступить в войну. Президент Рузвельт до последнего мгновения придерживался политики нейтралитета, чем воспользовались японцы, выбравшие наилучшую стратегию — внезапное нападение. В три часа утра 7 декабря без всякого предупреждения тучи японских бомбардировщиков атаковали корабли военно-морского флота США, стоявшие на якоре в порту Пёрл-Харбор. Такое вероломство вызвало крайнее возмущение и ненависть к Японии во всех слоях американского общества.

Гипотеза 3
Об Эйнштейне и любви

К концу 1933 года, когда Эйнштейн насовсем обосновался в США, он уже приобрел известность этакого всемирного мыслителя, и общение с ним приводило в восторг даже тех, кто в физике не понимал ни единого слова. Создатель теории относительности с готовностью взялся за роль мудреца и живой легенды. Удовлетворяя несведущее любопытство своих почитателей, он отвечал на их бесхитростные вопросы загадками и неожиданными суждениями, похожими на короткие буддистские притчи. Длинная, спутанная, недавно поседевшая шевелюра и глаза, очерченные глубокими морщинами, как нельзя лучше подчеркивали образ человека не от мира сего, одиночки-отшельника. Именно такого недоставало современной эпохе. Корреспонденты журналов и газет (включая, кстати, и "Нью-Йорк таймс") частенько наведывались к нему в дом на улице Мерсер. Всезнающий, как Сократ и Конфуций вместе взятые, Эйнштейн принимал газетчиков с терпением учителя, для которого иметь дело с невежественными учениками — каждодневная обязанность. Очень скоро истории и анекдоты о его интервью и выступлениях перед прессой начали рассказывать и пересказывать по всей стране. Откровения ученого повторяли и цитировали, как истины дзэн[1], сказания суфистов[2] или афоризмы из Талмуда. Вот, к примеру, один из таких анекдотов.

Корреспондент задает Эйнштейну вопрос:

1. "Дзэн" — буддистское течение в Японии (или "чань" в Китае) — созерцатели, пытающиеся понять истину в размышлении путем "скачков" или "озарений".
2. Суфизм — мистическое течение в исламе.

— Можно ли изобразить в виде математической формулы то, как достичь успеха в жизни?

— Да, такая формула существует.

— И как же она выглядит? — спрашивает журналист.

— Если обозначить успех буквой A, то формулу можно представить следующим образом: $A = X + Y + Z$, где X — труд, а Y — удача, — разъясняет Эйнштейн.

— А что же тогда Z?

Эйнштейн улыбнулся и говорит:

— Умение держать рот на замке.

Его влияние на умы людей ничуть не уменьшалось из-за этих маленьких невинных шуток. Напротив, слово Эйнштейна становилось все весомее; одновременно усиливалась озлобленность его врагов. В то время середины быть не могло: либо им восторгались, либо, как нацисты, заплатили бы любую цену за смерть гениального ученого.

В 1931 году Эйнштейн приехал в Пасадену, чтобы прочитать лекцию в КАЛТЕК. Тогда-то Эйбрахам Флекснер впервые предложил ему стать сотрудником Института перспективных исследований, еще только открывавшегося в Принстоне. Потом разговор об этом возобновился на их встрече в Оксфорде в 1932 году.

— Профессор Эйнштейн, — начал Флекснер, когда оба прогуливались по дорожкам парка Крайст-черч-колледжа[1], — не подумайте, что я дерзну предложить вам должность в нашем институте, однако если бы вы все же решили рассмотреть такую возможность с практической точки зрения, мы были бы готовы принять все ваши условия.

С начала тридцатых годов партия Гитлера каждый раз получала все больше голосов на выборах в рейхстаг. Уже в 1932 году нацисты имели более двухсот депутатских кресел, и парламент оказался под контролем хитрого и коварного Германа Геринга. Знаменитому физику и его второй жене Эльзе стало ясно, что рано или поздно им придется покинуть Германию. Тут в третий раз возник Флекснер, теперь уже в доме супругов Эйнштейн в Капуте на окраине Берлина, и убедил их вместе пересечь Атлантику. Великому физику предстояло прочитать очередной цикл лекций в Соединенных Штатах; он обещал Флекснеру посетить его институт и тогда принять окончательное решение. В день отъезда, выходя на улицу из дома, Эйнштейн взглянул на постаревшее лицо жены и сказал ей ворчливо, скрывая собственное волнение: *"Dreh' dich um. Du siehst's nie wieder!"* ("Обернись! Больше ты его не увидишь!"). В январе 1933 года президент Германии назначил Гитлера канцлером рейха. Эйнштейн уже находился в Пасадене. В одном из интервью он подтвердил то, что предрек жене: "Я не вернусь домой..."

Альберт и Эльза были достаточно осторожны, чтобы никогда больше не возвращаться в Германию, но все же съездили в Европу, где у Эйнштейна еще оставались дела, связанные с научной работой и преподаванием. Тем временем Геринг в одном из своих пламенных выступлений в рейхстаге осудил "ученого еврея" за измену и объявил вне закона его самого и всю его научную деятельность. После этого нацистские штурмовики ворвались в дом Эйнштейна в Капуте, разыскивая оружие, якобы припрятанное там коммунистами.

1. Один из старейших и самых крупных колледжей Оксфордского университета.

Наконец знаменитый физик принял предложение Флекснера. Американец, со своей стороны, согласился с условиями ученого: платить ему пятнадцать тысяч долларов в год и взять на работу одного из его ассистентов. 17 октября 1933 года Эйнштейн сошел с парохода "Уэстморленд" на пристани Куорантин-Айленд в Нью-Йорке, оттуда его без лишней огласки доставили сначала на катере до побережья штата Нью-Джерси, а затем сразу же в гостиницу "Пикок-инн" в Принстоне.

Недавно учрежденный институт был словно нарочно создан для него. Здесь, по словам Флекснера, можно было спокойно работать, не опасаясь, что "затянет текучка". В обязанности Эйнштейна в Принстоне входило только одно: думать. В одной из бесед с журналистами его спросили:

– Профессор, ваши теории изменили всеобщее представление о мире. Благодаря им наука сделала огромный шаг вперед. Но скажите, где же находится лаборатория, в которой вы делаете ваши открытия?

– Здесь, – ответил Эйнштейн, показывая на нагрудный карман пиджака, из которого торчала авторучка.

Эйнштейну хотелось добиться наибольшей производительности работы мозга при обдумывании научных вопросов. Для этого он изобрел и часто применял на практике метод, названный им Gedankenexperiment ("мысленный эксперимент"). В действительности такой метод использовался еще в классической Греции, хотя уже в самом названии скрыто противоречие. Любая современная наука, а физика – в особенности, основана на том, что всякая гипотеза должна проверяться экспериментально. С конца девятнадцатого века стали появляться все более совершенные и сложные научные приборы, и "чистым" ученым-физикам становилось все менее по вкусу возиться с ними в лабораториях исключительно ради того, чтобы получить результаты, которые они и так уже *знали*. Вражда *теоретиков* с *практиками* усилилась настолько, что превзошла даже традиционное непонимание между математиками и инженерами; обе стороны испытывали взаимную неприязнь и отказывались работать вместе, если только к этому их не принуждали обстоятельства.

Бэкон, как и Эйнштейн, принадлежал к когорте физиков-теоретиков. Он не изменил своей детской любви к чистой математике и всегда держался подальше от прикладной науки. Ему, чтобы заниматься своими исследованиями, не нужны всякие громоздкие устройства, достаточно лишь сосредоточиться и включить умственные способности. Вот такая физика Бэкону нравилась, напоминая ему вдобавок любимые шахматы!

Несмотря на наличие важных научных центров, сам Принстон был довольно серым городишком, совсем маленьким и по-американски ханжеским. Вопреки университетскому духу (а может быть, как раз под его влиянием) здесь во всем царили сдержанность и умеренность, довольно невеселое и неловкое *соблюдение приличий*.

Размышляя об атмосфере лицемерия в городке, Бэкон пришел к выводу, что секс – единственное, в чем теория не только не приносит удовлетворения, но в условиях одиночества просто трансформируется в извращенные фантазии. Обитатели города – ректор и церковнослужители, жены преподавателей и мэр, полицейские и врачи, большинство студентов университета – занимались "мысленными экспериментами" в области секса в самых неожиданных местах: в церкви и на университетских лекциях, в кругу семьи и по дороге в детский сад, за завтраком или выводя

вечером на прогулку своих пуделей. И сотрудники Института перспективных исследований, и непросвещенные обитатели Принстона ограничивались тем, что лишь воображали себе удовольствия, которые не осмеливались испытать в жизни. Из-за этого Бэкон презирал всех своих знакомых: лицемерные, глупые, малодушные люди! Сам он никак не хотел мириться с чисто теоретическим познанием секса; ни один интеллект, даже такой великий, как Эйнштейн, не в силах постичь то, что может дать физическая близость с женщиной! Разум способен формулировать научные законы и теории, выдвигать гипотезы и обнаруживать их следствия, но ему не дано воспроизвести бесконечное разнообразие запахов, ощущений, потрясений, которое дарит женское тело... В общем, надо признаться, Бэкон уже два года пользовался услугами представительниц самой древней профессии — потому, может быть, что не имел возможности поддерживать подобные отношения с женщинами своего круга.

Но вдруг судьба свела его с Вивьен. Однажды с ним приключился очередной приступ хандры, а ее тело было совершенно неотразимым; груди казались круглыми, как большие черные бильярдные шары, хотелось взять их в ладони и почувствовать кожей эту гладкую округлость. Всякий раз, когда Бэкон предчувствовал ее появление в своем доме (Вивьен ни за что не соглашалась заранее предупреждать его о приходе), он выбирал самые белые простыни и застилал ими постель. Четкие очертания прекрасного черного тела на белоснежных простынях возбуждали его невероятно. Охваченный блаженством, он ложился рядом и растворялся в безмолвном и сладостном состоянии полного согласия с окружающим миром, создаваемом слиянием двух ничем не похожих существ.

Они очень мало разговаривали. Дело не в том, что Бэкон не хотел ничего знать о ее жизни или о чем она думает; он также был равнодушен ко всему, что касалось других женщин, оказавшихся в его постели, но тем не менее мог подолгу болтать с ними о разных пустяках. Просто ему нравилось верить, что в этой чернокожей девушке с широкими бедрами, приносящей покой и умиротворение, прячется что-то очень загадочное и жестокое. Радужная оболочка ее глаз мерцала, как венец луны во время затмения. Такие глаза наверняка скрывали какую-то тайну из прошлого, какую-нибудь трагедию или даже преступление, из-за чего их обладательница стала замкнутой и нелюдимой. Все это, возможно, одни лишь выдумки — Бэкону и в голову не приходило заниматься расспросами, — да только он уже не мог жить без этого воображаемого образа, без волнения, которое охватывало его в присутствии Вивьен.

Это была почти любовь; во всяком случае, ничего подобного он раньше не испытывал. И все же Бэкон избегал появляться с Вивьен на улицах Принстона, всегда встречался с ней у себя дома, и ее появление там стало уже своеобразным ритуалом, она словно совершала жертвоприношение, чтобы задобрить каких-то своих языческих божков. Она позволяла делать с собой все, что ему хотелось, с невозмутимостью, граничащей с равнодушием. Покорная, с испариной по всему телу, Вивьен занималась любовью, будто танцевала под медленную блюзовую музыку, а не под жаркие и чувственные африканские ритмы.

Как только она оставалась без одежды, Бэкон укладывал ее на постель лицом вниз, включал все лампочки в комнате и в течение нескольких минут просто откровенно разглядывал предстающее его взору необыкновенное оптическое явление. Затем склонялся и припадал губами к ее те-

лу; без устали обводил языком все округлости, нащупывал губами сферические формы, описать которые невозможно никакими уравнениями, и на практике убеждался в их совершенстве. Потом переворачивал ее, как куклу, на спину и только тогда раздевался сам. Осторожно разводил в стороны ноги Вивьен, воображая, что перед ним два струящихся потока жаркой вулканической лавы, и погружал лицо во влажную, зовущую плоть. Это вступление служило своего рода аксиомой, дающей в каждом конкретном случае начало целому ряду теорем. Так, ведомый аналитическими догадками, он мог оказаться у ног Вивьен, маленьких и не очень чистых; в другой раз — возле сосков, или бровей, или пупка. Прежде чем войти в нее, он изучал, как сегодня ведет себя ее тело, какими путями сможет она получить свою долю наслаждения. Таким образом, в результате проведенных калькуляций, достигался обоюдный оргазм.

— Тебе пора, — говорил он ей сразу, как только приходил в себя.

Даже если чувство Бэкона можно назвать любовью, она заканчивалась вместе с завершением полового акта. Ему и думать было противно, что Вивьен останется в его постели дольше отведенного для этого времени, что придется обнимать ее тело, когда все уже позади. Еще недавно так возбуждавшая его горячая кожа женщины, покрытая маленькими блестящими капельками пота, вызывала теперь сходное по силе отвращение. Бэкон вдруг казался себе грязным животным, барахтающимся вместе с самкой в собственных нечистотах. Поэтому, как только задремавшая девушка открывала глаза, Бэкон просил ее уйти. *Теория* доказана экспериментально, Вивьен здесь делать больше нечего. Теперь Бэкон сам с отчужденным безразличием наблюдал, как она молча поднимала вещь за вещью и надевала на себя. Оставшись наконец в одиночестве и чуть взгрустнув, quod erat demonstrandum[1], он обычно ложился и засыпал без сновидений.

Бэкон получил хорошее воспитание, соответствующее требованиям весьма приличного общества штата Нью-Джерси. Однако это совсем не способствовало его успеху у сверстниц. Девушки, которые ему нравились — аккуратно причесанные, скромные и регулярно посещающие церковь, а еще неотразимо красивые, — не обращали на него никакого внимания. Отчаяние привело Бэкона в заведения non sanctos[2], рекомендованные одним сведущим товарищем по университету. Там не надо было вести "непринужденных" бесед и стараться изображать интерес к погоде, светской жизни и моде; как объяснил ему приятель, отношения здесь строились на деловой основе и без лишних слов — ты платишь за удовольствие и никому ничего не остаешься должен. Нашелся наконец идеальный способ, чтобы утихомирить демонов желания и не отвлекаться от таких действительно важных дел, как квантовая физика. Нескольких долларов было достаточно, чтобы на время насытить молодую жаждущую плоть. В любом ученом сидит что-то от энтомолога, а именно — влечение к непохожести и разнообразию. Бэкон получал истинное удовольствие от новых неожиданных ощущений всякий раз, когда оказывался в постели с очередной женщиной. Даже незначительные на первый взгляд мелочи оборачивались в действительности

1. Что и требовалось доказать *(лат.)*.
2. Не богоугодные *(лат.)*.

неиссякаемым источником сладостного возбуждения. Родинка на гладкой коже, округлость груди, живота или ягодиц, необычная впадинка пупка — все эти подробности волновали его не меньше, чем поиск решения сложной алгебраической задачи. Он, словно коллекционер, изучал собранные образцы; тогда ему и в голову не приходило, что он может испытать к женщине чувство, хотя бы отдаленно похожее на возвышенную любовь.

Но что-то отличало Вивьен от остальных женщин. Ее спокойное, немного печальное лицо Бэкон увидел впервые, покупая в киоске "Нью-Йорк таймс". Бэкон обычно брал с прилавка экземпляр, а деньги оставлял на обложке какого-нибудь журнала мод, лежавшего тут же. Однако в тот раз он попросил продавщицу подать ему газету. Вот тогда-то, принимая газету из протянутой руки, он обратил внимание на равнодушные и невеселые глаза, обращенные к нему из глубины киоска. Бэкону хватило одного этого недолгого взгляда, чтобы миловидные, печальные черты остались в его памяти как булавка, приколотая к внутреннему карману пиджака, которую всюду носишь с собой. До того дня он не замечал красоты девушки; несмотря на черный цвет кожи (Бэкон не стеснялся размышлять именно так), лицо было не грубым, а, наоборот, очень привлекательным; его не портили широкий нос и крупные губы. Оно вызывало у Бэкона ощущение тревожной предрассветной тишины тропического леса. Им овладело желание познакомиться с девушкой.

Однажды он попытался заговорить с нею — что-то о последних новостях, о войне (о войне тогда все говорили), — но ничего не добился; на губах девушки возникло нечто похожее на улыбку и исчезло, а на лице вновь застыло отсутствующее выражение.

— Ты что, немая? — обиделся Бэкон, но тут же поспешил перейти на более дружелюбный тон. — Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — ответила она глубоким низким голосом.

Бэкон заплатил за газету и стал медленно удаляться, словно ожидая услышать вслед призывный оклик. Однако девушка, судя по всему, не обратила ни малейшего внимания на очередного покупателя, осведомившегося о ее возрасте. На следующий день Бэкон появился вновь; от волнения у него дрожали колени, но все же ему удалось сказать твердо и равнодушно, произнося слова в нос — так, как, ему казалось, должны разговаривать белые плантаторы в южных штатах:

— Хочешь пойти в кино?

Его решительный тон и заданный напрямик вопрос пробили стену безразличия. Огромные до невероятности глаза взглянули с подозрением: это шутка? И все же губы раздвинулись в скупой, но ослепительной улыбке; даже бумага разложенных на прилавке газет в этот миг словно пожелтела.

— Не могу.

— Почему?

— Просто не могу.

— Боишься?

— Нет.

Эта сцена в точности повторялась на протяжении двух следующих месяцев. Бэкон покупал очередной номер "Нью-Йорк таймс" и всякий раз вычитывал киоскерше названия фильмов, идущих в соседних кинотеатрах, стараясь вызвать ее интерес и получить согласие, но она в от-

вет лишь отрицательно трясла своими кудряшками, словно отгоняла надоедливую муху. Скоро эти короткие беседы с чернокожей девушкой стали настолько привычны, что, когда она однажды утром приняла его предложение, он изумился. А вечером того же дня оба встретились у киношки на краю города. Показывали недавно вышедший на экраны страны фильм "Унесенные ветром". Он, правда, не очень хорошо запомнил сюжет, так как на протяжении почти всего сеанса украдкой разглядывал сливающийся с темнотой профиль своей спутницы, зато в память врезалось имя актрисы, игравшей главную роль, — Вивьен Ли, и с тех пор он называл этим именем свою новую знакомую. Даже когда впоследствии девушка призналась, как ее зовут на самом деле — то ли Делорес, то ли Барбара, то ли Леона, — для Бэкона она осталась Вивьен.

Через неделю, в следующее воскресенье, все повторилось сначала; даже в кино пошли на те же "Унесенные ветром", еще раз, подтвердив, таким образом, физические законы инерции. Они будто заключили негласное соглашение о том, что будут проводить друг с другом часть своего времени, но не более того. В первый раз Бэкон ее поцеловал по дороге в кино (ее губы показались ему огромными присосками, вроде тех, какими прочищают раковины). Сделал он это не из любовных побуждений, а из стремления к научному эксперименту. Прошло еще несколько недель, и к ставшим привычными сценариям их свиданий прибавились новые декорации: маленький домик за городом, доставшийся ей после смерти отца в качестве единственного наследства. Но даже там словесное общение между ними не выходило за рамки строго необходимого. Поначалу это раздражало Бэкона; ему хотелось знать, по меньшей мере, получает ли она такое же удовольствие, как он, от их физической близости или ложится с ним в постель, только чтобы ублажить его. Бэкона с его рациональным мышлением беспокоило отсутствие определенного термина, каким можно было бы квалифицировать их отношения, хотя, с другой стороны, рассуждать об этой неестественной и тайной связи казалось просто ненужной затеей. Со временем он смирился и стал воспринимать молчание как неизбежное условие присутствия Вивьен.

Бэкон только что вернулся с занятий домой, когда к нему неожиданно приехала мать. После смерти первого мужа и повторного брака она переменила фамилию и образ жизни. По происхождению она относилась к среднему классу, однако второе замужество вознесло ее до уровня местной аристократии. В новом окружении Рэчел Смит чувствовала себя как рыба в воде и с усердием перенимала царящие здесь пристрастия и порядки, в том числе присущее данной социальной группе свойство — расизм. Полученное от умершего мужа наследство позволило ей нанять пару чернокожих служанок, к которым она относилась примерно так же, как к уличным нищим. Бэкон долго не замечал в матери эту новую черту, пока однажды она, проходя вместе с ним около рабочих-негров, не заметила с раздражением: "Этот запах — такой... *характерный*!" — и прижала к носу платочек, пропитанный ароматом французских духов.

— Фрэнки, своим поведением ты ставишь меня в очень неловкое положение! — начала мать без предисловий, нервным движением положив на письменный стол Бэкона свою маленькую сумочку бирюзового цвета. — Почему я должна выслушивать от своих знакомых, что мой сын вместо учебы тратит время и отцовские деньги на какую-то черную шлюшку?

— Мама, она не проститутка!

— Не лги мне, Фрэнк!

После нескольких минут словесной перепалки Бэкон, напуганный слезами матери, сдался и пообещал ей больше не встречаться с Вивьен. Естественно, он не собирался держать слово. Просто во время очередного свидания заявил девушке, что им не следует показываться вместе на улице. Вивьен заметно огорчилась, даже глаза ее увлажнились, но, как и предвидел Бэкон, ничего не сказала. Ни единой жалобы, ни упрека, только все то же грустное лицо. На следующей неделе Бэкон отказался пойти с ней в кино. И вновь Вивьен промолчала. С тех пор они никогда не бывали вместе на людях. Ему даже не пришлось объяснять, чем вызвана эта перемена в их отношениях; Вивьен все понимала и не желала испытывать еще большее унижение, выслушивая надуманные предлоги.

Рэчел Смит нередко созывала гостей на светские приемы; на одном из них она познакомила сына с жизнерадостной веснушчатой девушкой, сказав многозначительно, что ее семья "относится к лучшим в Филадельфии". Бэкону показалось не скучно общаться с новой знакомой, и танцевать с ней было приятно, и молодой человек с легкостью обронил к слову, что как раз сейчас ни с кем не встречается. Ни малейшего воспоминания о своей любовнице не промелькнуло в мозгу Бэкона, она оставалась где-то за пределами его сознания, в эротических сновидениях, сексуальных фантазиях, но только не в этой настоящей жизни. Прошло две недели после званого вечера. Бэкон зачастил в гости в великолепный дом родителей своей новой подруги. Вивьен несколько раз приходила к нему, но не заставала.

— Не бросай меня, — твердо и решительно потребовала она, когда наконец встреча состоялась.

— Мне очень жаль, но рано или поздно мы должны расстаться.

— Почему?

— Иначе быть не может, — только и сказал Бэкон.

— Я обещаю, никто ничего о нас не узнает.

Бэкон и злился на Вивьен все больше, и любил еще сильнее. Как так получается, он сам не понимал.

— Я должен сказать тебе кое-что, — пробормотал он, не поднимая глаз. — Я помолвлен. Ее зовут Элизабет... — голос его дрогнул. — Пойми, по-другому быть просто не могло! Прости, но лучше, чтобы между нами сразу все стало ясно...

Казалось бы, оскорбленная Вивьен должна встать и уйти, навеки порывая с ним всякие отношения, однако Бэкон подозревал, что вряд ли произойдет что-либо подобное. Более того, он почему-то был уверен: что бы ни случилось, им суждено опять быть вместе, и грустная Вивьен будет все так же приходить к нему домой и в молчании ложиться в его постель, и им так и не обрести никогда настоящего счастья друг с другом. Впрочем, пока суд да дело, Бэкона ожидали более неотложные заботы: надо заниматься подготовкой к свадьбе...

— Ладно, Вивьен. Будь по-твоему.

Институт перспективных исследований располагался в довольно мрачном строении, снаружи местами заросшем мхом. Внутри не наблюдалось ни деловитой суеты лабораторий, ни шума и гама беспокойных студентов, поскольку ни те ни другие здесь просто не существовали. Все,

что требовалось обитателям здания для своей деятельности, ограничивалось несколькими классными досками, мелом и бумагой. Для желающих заняться "мысленными экспериментами" тут, несомненно, были созданы идеальные условия. За толстыми стенами Фулд-холла объединились великие умы современности: профессора Веблен[1], Гёдель, Александер[2], фон Нейман, не говоря уже об отце-покровителе физической науки — самом Эйнштейне. К ним зачастую присоединялись приезжие знаменитости... Однако Бэкон здесь томился от скуки.

Все его попытки сблизиться с именитыми профессорами во время регулярных, ровно в три часа дня, перерывов на чай с печеньем закончились ничем. Никто из них не проявлял к нему ни малейшего интереса. Устав от своих ночных размышлений, они разговаривали друг с другом на отвлеченные темы: о будущем науки, о результатах бейсбольного матча, о том, где бы раздобыть вина из Европы и как могут американцы есть такую жирную пищу. Бэкон пытался было затронуть "серьезные" вопросы, но в ответ либо раздавались нервные смешки, либо его слова наталкивались на полное равнодушие и молчание. Веблен ценил Бэкона как сотрудника, но при встрече только снисходительно приветствовал и спешил удалиться; фон Нейман, как и предупреждал заранее, не более чем терпел его присутствие; остальные ученые были с ним почти не знакомы, да и не стремились узнать получше. Блестящее будущее, которое, как он рассчитывал, сулила ему работа в институте, превращалось в недосягаемый, несуществующий мираж.

Вдобавок ко всему отношения с Элизабет зашли так далеко, что регистрация брака казалась не за горами. Это ужасало Бэкона. Он не подозревал, что события будут развиваться столь стремительно.

— Что с вами происходит, Бэкон? — спросил как-то фон Нейман с присущей ему бесцеремонностью. — Вас что-то гложет? А-а, кажется, я понимаю... Причина наверняка в женщине, угадал? Женщина — вот источник всех бед современного мужчины! Это серьезная проблема, Бэкон! Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени мы тратим попусту, мучая самих себя из-за женщин и пытаясь найти выход из запутанных амурных ситуаций? Да если хотя бы четверть этого времени посвятить решению физических и математических задач, наука двинулась бы вперед со скоростью звука! Но, черт возьми, разве можно не увлечься женщиной!

— Не увлечься и не пострадать, профессор... — пробормотал Бэкон.

— Именно это и делает связь с женщиной такой притягательной! Должен признаться, меня данная тема тоже интересует и заставляет размышлять. Я, как вы знаете, человек женатый, но я мужчина еще молодой, значит, могу иногда обращать внимание на привлекательных женщин, как вы полагаете? — Лицо фон Неймана зарумянилось. — Послушайте, как насчет того, чтобы после работы пропустить по стаканчику и продолжить беседу? Отлично, Бэкон! А пока — за дело!

Фон Нейман опять назначил Бэкону встречу в своем доме. Жена Неймана ушла к живущим по соседству друзьям играть в бридж, так что мужчины получили полную свободу для обсуждения интересующих их вопросов. Бэкон уже не чувствовал прежней неловкости, сидя в этой просторной гостиной.

1. Освальд Веблен (1880—1960) — американский математик.
2. Джеймс Уэнделл Александер (1888—1971) — американский математик.

— Когда мне сказали, что в США запрещен алкоголь, — усмехаясь, проговорил фон Нейман, доставая из буфета два больших стакана, — я сначала не поверил. Но шутка обернулась ужасной правдой! Да, с американцами не соскучишься! Я для того и согласился работать в университете в качестве приглашенного преподавателя, чтобы иметь возможность ездить каждое лето в Европу и возмещать потерю жидкости в организме... — Он взял бутылку бурбона и привычно, как опытный бармен, разлил напиток желтоватого цвета по стаканам. — Слава богу, они все же опомнились. Воды? Я предпочитаю не разбавлять. Выпьем!.. Итак! Расскажите-ка, Бэкон, что с вами происходит.

— Да я и сам не знаю, — соврал тот. — Мне казалось, что все будет по-другому, — но тут же поправился: — Дело не в том, что мне плохо в институте, профессор, просто боюсь не оказаться в нужном месте в нужное время...

— Ну и где же вам хотелось бы оказаться?

— Вот это меня и мучит. С одной стороны, лучшего места мне не найти... Здесь все вы... Но именно по этой причине то, что делаю я, никогда не будет иметь значения, так мне кажется...

— Какой вы нетерпеливый, Бэкон! Мне тоже когда-то не терпелось, поверьте. Я вас понимаю, — профессор с опечаленным видом покачал головой. — По моим наблюдениям, математические способности человека начинают уменьшаться с двадцати шести лет, так что вам осталось...

— Четыре.

— Четыре! Ужасно, не правда ли? Впрочем, мне уже тридцать восемь, а у меня еще неплохо получается... — Он сделал пару глотков из стакана и промокнул губы льняной салфеткой. — И все-таки мне кажется, друг мой, что вы озабочены чем-то еще, помимо института... И это связано с прекрасным полом, признавайтесь!

— Боюсь, что да...

Бэкон всегда с благодарностью принимал советы от своего наставника, но ему не слишком хотелось обсуждать с ним личную жизнь. Вообще, если говорить прямо, он бы ни с кем не стал ее обсуждать.

— Рассказывайте, что происходит!

— Я знаком с двумя женщинами...

— Я так и знал! У меня наметанный глаз, Бэкон! Все думают, что мы, математики, витаем в облаках и совершенно оторваны от земной жизни, но это совсем не так... Наоборот, мы видим и замечаем даже больше, чем нормальные люди. Нам открыто то, что спрятано от всех остальных. — Он помолчал. — Вы влюблены в обеих?

— В определенном смысле — да. Не знаю... С одной из них я помолвлен. Хорошая такая девушка, открытая...

— Но любви нет...

— Да.

— Значит, влюблены в другую.

— Не знаю, как объяснить, профессор... — Бэкон отхлебнул бурбона для храбрости. — Она не такая, как все... Может быть, я ее вовсе не знаю и не люблю даже... Мы почти не разговариваем...

— Да, в самом деле, есть о чем задуматься! — прервал его фон Нейман. — Вы заметили, я опять оказался прав! Сколько ни отрицай очевидного, но именно такого рода вопросы постоянно занимают наше мужское внимание. — Профессор одним глотком опорожнил стакан и тут

же налил себе еще. Бэкон едва пригубил свой напиток. — Вот когда может пригодиться теория игр! Да-да, а вы, наверно, полагали, что это для меня просто необычный способ убить время, вроде орлянки или покера? А вот и нет, Бэкон, самое интересное в теории игр то, что она воспроизводит человеческое поведение. И служит эта теория как раз для того, чтобы выяснить природу явлений, очень схожих между собой, а именно: экономики, войны, любви... Я не оговорился! Именно в экономике, войне и любви с наибольшей силой проявляются человеческая ненависть и стремление уничтожить друг друга. Тут присутствуют как минимум две враждующие стороны, которые изо всех сил стараются заполучить для себя побольше выгоды с наименьшим риском...

— Как в том вашем примере с войной...

— Правильно, Бэкон! Хотя в последнее время меня больше занимает приложение теории игр к экономике, все же давайте-ка рассмотрим сейчас ваш случай, просто забавы ради. Итак, в игре принимают участие трое: вы и две женщины, сохраним в тайне их имена, а условно обозначим *A* и *B*. Вы будете *C*. Теперь расскажите, каковы цели каждого из участников.

— Не знаю, смогу ли... — Бэкону было неловко, как на исповеди, от волнения даже ладони стали влажными. — Пусть я помолвлен с той, которая *A*. Ее цель — выйти за меня замуж. Она только об этом и говорит при каждой нашей встрече, не терпится ей, ни о чем другом и думать не может. Девушка *B* хочет, чтобы я оставался с ней, но это будет невозможно, если я соглашусь жениться на *A*.

— Понятно. Чего же хотите вы?

— Боюсь, сам не знаю. Скорее всего, меня устроило бы оставить все так, как есть... Не хочу ничего менять.

Фон Нейман встал и принялся расхаживать взад-вперед.

— Судя по всему, дорогой мой, вы делаете в этой игре ошибочную ставку. Бездеятельность в вашем положении может доставить вам неприятности. Даже законы физики против вас! В любой игре следует наступать, добиваться преимущества, наносить противнику удар за ударом... Именно так играют обе женщины. И та и другая стараются загнать вас в угол, а вы лишь пассивно отступаете. — Фон Нейман вернулся в кресло и положил пухлую ладонь Бэкону на плечо. — Поверьте — я ведь на вашей стороне, — подобная стратегия ведет к поражению. В конечном итоге победа достанется *A* или *B*. По существу они, сами того не зная, играют между собой. Вы — не участник игры, юноша! Вы — приз победителя!

— Что же мне делать?

— Дорогой Бэкон, я лишь пытаюсь растолковать вам суть теории игр. Если говорить о реальной жизни, то, как вы весьма справедливо заметили в ходе нашей прошлой беседы, одно дело — понимание, но совсем другое — волеизъявление. Могу сказать только, что в вашем случае мне видится единственный выход...

— Какой же, профессор?

— Сожалею, Бэкон, но я — математик, а не психолог... — Румяное лицо фон Неймана расплылось в самодовольной улыбке. — Вам придется самому искать решение этой задачки... Еще виски?

Бэкон слышал от кого-то, что Эйнштейн, еще когда жил в Берлине, пристрастился к пешим прогулкам. Вот и теперь по заведенной привычке

он каждый день ходил пешком из дома в институт и обратно, причем по дороге любил с кем-нибудь поболтать. Такие беседы заканчивались для многих настоящим озарением, поскольку именно в эти недолгие минуты гениальный разум Эйнштейна полностью раскрепощался и был способен на совершенно неожиданные догадки. Многие именитые ученые специально приезжали в Принстон в расчете сопровождать профессора во время его прогулок. Бэкону до сих пор не выпало удобного случая быть представленным Эйнштейну, и он строил планы, как самому обратиться к великому физику и обменяться с ним хотя бы немногими словами. А там, глядишь, если повезет, тот соблаговолит принять его в свои постоянные спутники.

Как-то утром Бэкон решил дождаться профессора около двери его маленького кабинета в Фулд-холле, выходящей прямо на лестничную площадку. Он чувствовал себя очень неловко, но не для того же он остался в Принстоне, чтобы выслушивать бредовые наставления фон Неймана или терпеть безразличное отношение сотрудников института! Он просто обязан познакомиться с этим человеком!

Минуты текли так медленно, что можно было подумать, где-то во Вселенной закупорились трубки, по которым течет время. Вот истинное подтверждение теории относительности. Он торчал здесь сорок минут, как шпион в засаде или часовой на посту. Ему уже казалось, что, если профессор вдруг выйдет из кабинета, это будет равносильно чуду. То и дело кто-то поднимался или спускался по лестнице, и каждый раз Бэкон здоровался с потерянным выражением на лице, принимая вид, что забыл, зачем здесь очутился. Он напоминал себе самому не то какого-то неопытного охранника, не то швейцара, совершенно не нужного в этом научном учреждении.

Дверь распахнулась. Из нее поспешно вышел Эйнштейн — на нем был черный костюм, а шевелюра не выглядела такой белой и всклокоченной, как на фотографиях, — и устремился к выходу. Вот оно — решающее, долгожданное мгновение! Бэкон заколебался на какую-то долю секунды, но ее хватило, чтобы профессор преодолел целый лестничный пролет. Он даже не заметил фигуру напротив двери кабинета, словно перед ним стоял бестелесный призрак, а просто сразу направился по ступенькам вниз. Догонять его бесполезно: он, как обычно, отмахнется, и все. Весь замысел в том и состоял, чтобы они встретились как бы случайно! Бэкон в каком-то полубессознательном состоянии от злости на самого себя последовал за укутанным в пальто профессором, держась от него на почтительном расстоянии. Здание Фулд-холла осталось позади.

Дальше все происходило как в бреду. Бэкон плохо соображал от возбуждения и страха. Его рассудительности хватало только на то, чтобы, стараясь оставаться незамеченным, прятаться за припаркованными автомобилями и растущими по краям улицы толстыми ясенями, которые возникали у него на пути, словно предупреждая: не суйся куда не следует! Через какое-то время Эйнштейн вошел в дом номер 112 на шумной улице Мерсер, где проживал вместе со своей секретаршей Элен Дукас. Бэкон с облегчением вытер рукавом рубашки пот со лба, повернулся и отправился в обратный путь к Институту перспективных исследований.

На следующий день Бэкон был настроен решительно. Он попытается заговорить с Эйнштейном и даже, если придется к слову, признается в своем нелепом вчерашнем поведении. Это, несомненно, позабавит ге-

ниальный ум, обладающий невероятным чувством юмора, и таким образом сделает их общение еще более легким и приятным. В начале первого пополудни Бэкон уже стоял около кабинета. Он ощущал себя солдатом, исполняющим приказ командира. На этот раз Эйнштейн не заставил себя долго ждать. Он буквально выбежал из кабинета, едва молодой физик занял свой пост на лестничной площадке. Такой маневр застал Бэкона врасплох. Профессор, как и прежде, даже не взглянув на него, бросился к выходу.

Бэкон мысленно чертыхнулся. Проклятая застенчивость! Ну вот что. Сейчас он догонит Эйнштейна и обо всем договорится. И почти догнал, но, когда до того оставалось всего несколько шагов, понял, что не сможет сказать ничего вразумительного. И как только понял это, остановился и спрятался за почтовый ящик — чтобы профессор, обернувшись, не заметил его! Наваждение какое-то! Словно траектории их движения обречены никогда не пересекаться по неумолимым законам Ньютоновой механики. Эйнштейн благополучно добрался до дома, где его ждал обед. Он даже не подозревал о мучительных переживаниях своего преследователя. Дурак, дурак, дурак! — изводил себя Бэкон на обратном пути в институт. Какое-то колдовство заставляет его повторять одни и те же нелепые поступки!

Так, в дополнение к расчетам по заданиям фон Неймана, телефонным звонкам Элизабет и ночным посещениям Вивьен в жизни Бэкона появилось еще одно занятие: слежка за стариком профессором. Как это получилось, он и сам не мог понять. Если рассказать кому-нибудь — не поверят. Может быть, его предназначение — быть тенью, или отражением, или каким-то полем вокруг создателя теории относительности? Постепенно ежедневные прогулки до дома 112 по улице Мерсер стали такой же неотъемлемой частью существования, как перерыв на чай в три часа дня или решение задачек с матрицами, — чем-то вроде естественной потребности или дурной привычки. Чаще всего Эйнштейн шел домой один, иногда его сопровождали разные личности — молодые и пожилые, знаменитые и никому не известные, но все они занимали место, которое по праву принадлежало Бэкону как самому преданному из последователей гениального физика.

Однажды Эйнштейн все же обнаружил слежку, хотя для Бэкона это не имело каких-либо серьезных последствий. В тот день в воздухе висел туман, закрывая лица прохожих маслянистой пленкой и придавая им неестественно желтоватый оттенок. Птицы над головой пронзительно кричали, будто у них в гнездах полыхал пожар. Эйнштейн, шедший прямо перед Бэконом, вдруг ни с того ни с сего резко повернулся к нему лицом, и тот мгновенно ощутил, как сердце замерло от ужаса.

— Вы, кажется, работаете в институте? — приглядевшись, спросил профессор.

Бэкон подумал, что вот наступил столь желанный миг, ему, наконец, дарована возможность поговорить с этим великим человеком, занимавшим в его жизни больше места, чем кто-либо, перед которым он преклонялся так же самозабвенно, как верят в бога.

— Да, профессор, — сказал и замер, ожидая, как пророчества, продолжения речи гения.

— Ну и сырость сегодня! — зябко поведя плечами, поделился с ним своим наблюдением Эйнштейн.

И все. Больше ни слова. Не говоря уж о пророчестве или откровении каком-нибудь. Даже не поинтересовался, как его зовут. Только едва заметно кивнул головой на прощание и пошел дальше в одиночестве, не обращая ни на кого и ни на что внимания, кроме разве этого тусклого дневного света, природа которого так занимала его великий разум. Бэкону вдруг стало весело, и, хотя поджилки все еще тряслись, он с облегчением рассмеялся, провожая взглядом неясный силуэт Эйнштейна, растворявшийся в тумане — так постепенно ослабевает сияние звезды на бескрайних просторах Вселенной. Звездные лучи — о них столько размышлял великий ученый... На другой день Бэкон вновь следовал за ним, но уже чувствовал себя уверенно, как солдат, выполнявший приказ командира.

Гипотеза 4
О *теореме Гёделя и законном браке*

Настроение Элизабет угадывалось по цвету глаз. Если на душе у нее мир и покой, они блестели как две черные маслины. Когда же в них загорался жгучий медный оттенок, Бэкон знал — грядет буря. В такие — непродолжительные, впрочем — минуты он предпочитал не издавать ни звука и ждать, когда иссякнет гневный и стремительный поток упреков и угроз. Всякий раз, когда на нее накатывал очередной приступ ярости (а это случалось довольно часто), все ее изящное тело, казалось, увеличивалось в несколько раз, словно воротник возбужденной кобры, и в приливе негодования без следа тонули очарование и изысканные манеры, которыми она блистала на светских приемах. Вскоре, однако, собственная озлобленность душила Элизабет и заставляла умолкнуть. Ей становилось стыдно из-за своей несдержанности, и слезы раскаяния проливались рекой. Растроганный Бэкон принимался с нежностью целовать милый подбородочек и длинные каштановые волосы, а она — накапливать желчь, чтобы через короткое время вновь сорвать на нем свое раздражение.

Бэкон уже убедился, что эти неприятные сцены происходили с астрономической точностью раз в четыре недели. Он старался с иронией воспринимать эту неизбежную огорчительную сторону своего жениховства, которая, мысленно усмехался он, очевидно, уравновешивалась более отрадными ощущениями после ссоры, когда провинившаяся невеста буквально осыпала его поцелуями.

Мать Бэкона познакомилась с Элизабет на одном из светских приемов за многочасовой партией в бридж. Обе женщины успели вдоволь наговориться и понравились друг другу. "Эта девушка — просто прелесть!" — восторженно говорила Рэчел сыну и вовсю ее расхваливала — какая та красивая, талантливая (изучает живопись в одной из нью-йоркских школ!), но самое главное — какие богатые у нее родители. Элизабет была единственной дочерью преуспевающего банкира из Филадельфии, который потакал любым прихотям своего чада. Мать буквально за руку привела Бэкона в ресторан французской кухни на Пятой авеню, где состоялось его знакомство с Элизабет. С первого взгляда он понял, что этой девушке суждено занять важное место в его жизни, но не из-за тех качеств, что расхваливала мать, ему понравилось совсем другое: маленькое, словно у девочки, тело, непокорные вьющиеся волосы, кото-

рых не удерживали шпильки, ее привычка, вопреки приученности к хорошим манерам, перебирать пальцами выбившиеся из прически пряди. Его завораживала агрессивность в поведении Элизабет, присущая всем избалованным детям, ее дерзкие выходки казались ему лишь попытками скрыть от окружающих свою неспособность справиться с жизненными трудностями. В общем, если разобраться до конца, Элизабет нравилась ему потому, что была полной противоположностью Вивьен!

В тот день в ресторане после съеденного омара она разоткровенничалась и в ожидании шоколадного десерта рассказала Бэкону о том, что, по ее разумению, хотел бы услышать от девушки молодой, не обремененный предрассудками ученый. Говорила о своем увлечении живописью, о том, как важны для нее искусство и независимость, о том, что считает деньги одним из многих способов оставаться счастливой. Однако Бэкон — под воздействием шампанского и особой, казавшейся ему очень чувственной, нотки в высоком голосе девушки — едва ли постигал смысл ее слов. Он ни разу не взглянул ей прямо в глаза, зато без труда сосредоточил внимание на том, чтобы мысленно нарисовать форму грудей под вишневого цвета блузкой, наверняка упакованных в тонкое ажурное белье европейского производства. Элизабет тем временем с умным видом продолжала свою лекцию по истории искусства в уверенности, что сидящее перед ней будущее светило науки по достоинству оценит ее образованность и неизбежно влюбится.

Из ресторана вышли вместе. Бэкон, словно желая убедиться в широте взглядов своей новой знакомой, тут же, на улице, взял ее за руку, а потом даже попытался поцеловать. Элизабет в точности следовала известным рекомендациям относительно того, как заполучить молодого человека в мужья: пощечина получилась такая звонкая, что на звук оглянулись прохожие. Потом суровым голосом она потребовала от него вести себя как подобает джентльмену и немедленно проводить ее домой. Старый прием опять сработал — Бэкона ошеломило неожиданное проявление силы в этом хрупком существе, и он высказал пожелание встретиться вновь. Выждав несколько томительных секунд, Элизабет нехотя согласилась. С того дня их свидания случались не реже чем дважды в неделю — как правило, в субботу утром и в воскресенье вечером. Но лишь через месяц жаждущие губы Бэкона были допущены к неприступной тверди ее сомкнутого рта.

Вообще-то Бэкон всегда критиковал лицемерную буржуазную мораль. Но стоило ему оказаться подле Элизабет, как его убеждения рушились, не выдерживая испытания действительностью. Конечно, у него имелась Вивьен, которая до трех раз в неделю ложилась с ним в постель без всяких ухаживаний и церемоний, но это не ослабляло его влечения к Элизабет именно потому, что та не позволяла прикасаться к себе. Он совсем запутался в своих ощущениях и, наслаждаясь роскошными формами тайной любовницы, мечтал о девчоночьем теле Элизабет, чьи нескончаемые занудные монологи, в свою очередь, вызывали у него вожделенные воспоминания о безмолвной Вивьен.

Бэкон прекрасно понимал, что законы, действующие в человеческом обществе, так же неизменны, как в классической механике. Рано или поздно то двойственное положение, в котором он очутился, должно разрешиться единственно возможным способом: женитьбой на Элизабет. Бросить очаровательную девушку, которую все вокруг безогово-

рочно прочили ему в жены, ради какой-то убогой чернокожей простолюдинки? Нет, такого Бэкону не простили бы ни мать, ни друзья, ни даже его учителя и коллеги! Ему не оставалось ничего другого, как покориться всесильной судьбе. Свежим мартовским вечером 1942 года при свете луны, как и подобает по канонам романтизма, он вручил Элизабет купленное накануне обручальное колечко с голубоватым бриллиантиком. Та, в порыве ликования, одарила жениха чувственным поцелуем, и ее кошачий язычок впервые проник к нему в рот, облизывая его жадно и быстро, словно хозяйка, у которой долгое время руки не доходили до дальнего чулана, собралась наконец вытереть накопившуюся там пыль. А потом, обнимая жениха на прощание, она взяла его руку и положила ее себе на левую грудь. Только тогда, ощутив под ладонью гладкую сатиновую ткань платья, Бэкон понял, что подписал собственный приговор.

Теперь Элизабет все свое свободное время занималась тем, что ходила по магазинам и изучала бесчисленное количество свадебных платьев, хотя даже даты бракосочетания еще не назначили (Бэкону предстояло прежде договориться об отпуске, отправиться в Филадельфию и получить формальное благословение отца невесты). Во время свиданий только и разговоров было, что о рисунке цветочных узоров на материи. Элизабет разъясняла все премудрости пошива с той же дотошностью, с какой раньше рассуждала о сюрреализме и авангардизме: у этого платья — огромные красивые рукава в средневековом стиле, но белый цвет слишком монотонный; у другого прекрасное тонкое кружево, зато складочек маловато; а третье было бы совсем замечательное, если бы не эти нелепые воланы на подоле! Правильный выбор не находился, и сделать его, как догадался Бэкон, было труднее, чем вывести формулу квадратуры круга.

Помимо захватившего Элизабет увлечения цветочками, оборочками и кружавчиками, Бэкон открыл в ней в этот предсвадебный период еще одну новую для себя черту — все усиливающуюся ревность. Элизабет стала требовать от него более частых посещений; чтобы просто побыть возле нее пару часов, ему теперь приходилось ездить из Принстона в Нью-Йорк помимо суббот и воскресений также в другие дни недели. Причем эти встречи даже не стали более интимными; если уж мы столько ждали, охлаждала его пыл Элизабет, почему бы не потерпеть до брачной ночи?

Элизабет стала добиваться от него отчетов обо всех делах и перемещениях за день. Три основных вопроса — куда ходил, зачем и с кем — она заучила наизусть и произносила безошибочно, как "Отче наш". Любое случайно сорвавшееся с языка лишнее слово, противоречивое замечание или непонятная обмолвка немедленно влекли за собой подробный допрос, который мог длиться часами и, в лучшем случае, завершался по телефону после возвращения Бэкона в Принстон. Все его поступки, не относящиеся к категории "для любимой женщины", сами собой попадали в разряд "против любимой женщины". В понимании Элизабет, научные конгрессы, учебные занятия, работа в институте лишь служили Бэкону формальным алиби, а по сути были проявлениями неверности.

Уже не раз задавал он себе вопрос, почему терпит эти тюремные порядки, унизительные допросы. Долго искать ответа не приходилось: просто он чувствовал себя виноватым. Несмотря на вспышки озлобленности, Элизабет верила ему; получалось, что ее наигранные сцены рев-

ности на самом деле имели основание. Ему хотелось, как он и признался в разговоре с фон Нейманом, чтобы в отношениях с невестой ничего не менялось.

В конце марта 1942 года фон Нейман сообщил Бэкону, что достопочтенный профессор Курт Гёдель через несколько дней представит на заседаниях ученого совета института свои новые работы. Как раз в эти дни Бэкон обещал Элизабет съездить вместе в Филадельфию. Выслушав от него новость, а также объяснения важности предстоящего события и предложение перенести поездку на следующий месяц, она просто послала жениха к черту вместе с его дурацкой работой... Элизабет не раз грозила разрывом, но потом всегда сама искала встречи, так что в данном случае Бэкон решил даже не оправдываться. Его интерес к Гёделю был слишком велик, чтобы обращать внимание на женские капризы. Ему даже подумалось, что неплохо бы отдохнуть от нее недельку-другую и заодно хорошенько подумать о своем двусмысленном положении.

— Мне правда очень жаль, Элизабет, — сказал он в завершение их разговора по телефону, — но я не могу не присутствовать на ученом совете.

Профессор Гёдель был невзрачным, худым как жердь человеком с лицом, похожим на морду опоссума или мускусной крысы. Он обладал гениальным логическим мышлением. Десять лет назад, опубликовав одну только статью, он потряс основы современной математики, а спустя восемь лет Институт перспективных исследований принял его в число постоянных сотрудников.

На протяжении двух тысячелетий математика оставалась для человечества самым точным и совершенным инструментом, применяемым миллионами людей в повседневной практической деятельности, но имелась ли полная уверенность в том, что в ее безграничной универсальности не содержится разрушительное начало, какой-нибудь вирус или грибок, который может занести заразу во все, что достигнуто с ее помощью?

Греческие математики, открыв парадоксы, первыми заподозрили опасность. Зенон[1], а позднее и другие исследователи обнаружили, что строгое применение логики в решении арифметических и геометрических задач иногда приводит к бессмысленным или противоречивым результатам.

В 1900 году профессор Гёттингенского университета Давид Гильберт[2] выступил на открытии математического конгресса в Париже с докладом, известным с тех пор как "Программа Гильберта".

— Программа Гильберта стала библией математиков и логиков всего мира, — объяснял фон Нейман в разговоре с Бэконом. — Решение даже одной из поставленных в ней проблем принесло бы счастливчику всемирную славу. Представляете, что тут началось? Сотни молодых ученых во всех уголках мира ломали голову над Программой Гильберта. Все словно помешались... В конце концов с одной из проблем справился Гёдель в 1931 году. Его имя тогда было почти никому не известно. В опубликован-

1. Зенон Элейский (ок. 490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, известен знаменитыми парадоксами (апориями).
2. Давид Гильберт (1862—1943) — немецкий математик.

ной им статье под заголовком "О формально неразрешимых теоремах в 'Principia Mathematica'[1] и подобных системах. Часть I" Гёдель, не оставляя места сомнениям, утверждал, что в любой системе, будь то наука, язык общения или личность, существуют формулы и утверждения, которые являются правдивыми, но не могут быть доказаны. Какие бы усилия ни прилагало человечество, обогащая и совершенствуя свои познания, в них всегда отыщутся незаполнимые пробелы и пустоты, противоречивые доводы, прорастающие сорняками сомнений в благоухающем саду цивилизации. Теорема Гёделя совершила в математике такой же переворот, что и теория относительности Эйнштейна и квантовая теория Нильса Бора – в физике: эти науки перестали быть *точными*, перестали являть собой системы неопровержимых законов. Открытие Гёделя сделало истину еще более своенравной и неуловимой...

Распростертое тело Вивьен выделялось темным рельефным пятном на белой простыне. Она постучалась к Бэкону вскоре после наступления сумерек. Открыв дверь, он увидел на сливающейся с ночью черной коже ее больших рук блестящие капельки мелкого дождика, упорно моросившего весь день. Всего три дня прошло с того неприятного телефонного разговора с Элизабет, когда Бэкон сообщил о своем решении отказаться от поездки к ее родителям в Филадельфию и вместо этого присутствовать на лекциях Гёделя. Тогда же он дал себе слово, что перестанет встречаться с Вивьен. Однако при ее появлении не смог противостоять соблазну и теперь, нежно касаясь губами мочек ее ушей, вспомнил о своем обещании без всякого сожаления.

Им овладело чувство свободы, словно ему удалось избавиться от злого колдовства. Впервые после долгого перерыва он вновь в полной мере испытывал былое наслаждение, лаская эту женщину. Если раньше Вивьен казалась ему печальной и загадочной, то сейчас – беспомощной и невинной. Ему хотелось загладить свою вину перед нею, обиду, которую ей приходилось переживать уже несколько месяцев из-за его предательства. Бэкон сам раздел ее, будто ребенка перед купанием в ванне, потом приник к ее губам в долгом, чувственном поцелуе (такого излишества он никогда ранее себе не позволял), поглаживая рукой черные, в мелких кудряшках волосы. После этого уложил в постель и овладел с такой нежностью и деликатностью, словно она была девочкой, впервые занимающейся любовью. Неизменным оставалось только молчание, с которым он погружался в ее плоть осторожными, размеренными движениями...

– Ты любишь ее?

– Нет... – произнес он. – Не знаю... Вивьен, постарайся понять...

– Ты хочешь жениться на ней?

– Да...

– Зачем, ведь ты ее не любишь!

– Знаешь, есть вещи, о которых не спрашивают... Просто так должно быть, по жизни... Каждый человек женится, заводит детей, умирает... Она красивая, богатая, матери моей нравится...

– И у нее белая кожа...

1. Принципы математики *(лат.)*.

— Это не имеет значения.

— Нет, имеет, и ты это знаешь!

— Послушай, Вивьен, ты ведь с самого начала понимала, что у нас с тобой... Я ничего тебе не обещал.

— Как ты можешь что-то обещать, если даже не помнишь моего настоящего имени! — Вивьен отодвинулась от Бэкона и встала с кровати. Голос ее звучал совершенно спокойно, и ничто в поведении не выдавало раздражения или недовольства. Она принялась неторопливо собирать свою разбросанную по полу одежду. — Ладно, не будем больше об этом.

Бэкон неотступно следил за ней глазами. У него возникло ощущение, будто его взгляду неожиданно предстало содержимое давно забытой шкатулки, наполненной старыми фотографиями и памятными вещицами.

— Вивьен, пожалуйста... — не поднимаясь с постели, проговорил он сдавленным голосом после некоторого молчания. — Не уходи... Побудь со мной этой ночью... На улице дождь... Только сегодня! Хочется утром проснуться рядом с тобой.

Когда Бэкон открыл глаза, еще только светало. Несколько секунд он разглядывал распростертое перед ним женское тело. В неярком утреннем свете Вивьен была прекрасна. Стараясь не шуметь, Бэкон встал и начал собираться. Стоя под душем, он все время ловил себя на ощущении приятной умиротворенности. Это чувство не покидало его с того мгновения, когда он очнулся от сна и обнаружил рядом с собой Вивьен. Его кожа пропиталась запахом духов, который не смывался ни водой, ни мылом и напоминал о ней, как ни старался он переключить мысли на предстоящий рабочий день и назначенную на сегодня лекцию профессора Гёделя. Он быстро побрился, оделся и, прежде чем отправиться в институт, не удержался, подошел к Вивьен и легонько поцеловал ее в лоб.

За последние дни Бэкон очень многое разузнал о Гёделе и его прошлом, так что мог бы даже написать биографию ученого. Все институтские профессора отзывались о нем с уважением и восхищением, хотя близкие знакомые давали понять, что общаться с ним порою не легче, чем постичь его головоломные теоремы. И он был одним из немногих друзей Эйнштейна.

Гёдель впервые объявился в Институте перспективных исследований в 1933 году по приглашению прочитать цикл лекций, в то время он еще являлся профессором Венского университета. Естественно, что его выступления посвящались тогда математике и ее формально неразрешимым теоремам и вызывали у слушателей чрезвычайный интерес, иногда даже похожий больше на нездоровый ажиотаж. Не каждый ученый, за исключением, очевидно, Эйнштейна, мог похвастаться на своих лекциях подобным сосредоточенным вниманием аудитории. Освальд Веблен, организовавший приезд Гёделя, нарадоваться не мог, с каким восторгом его принимали.

Все шло как по маслу, когда вдруг однажды Гёдель объявил Веблену, что *должен* возвратиться в Европу немедленно и потому прерывает курс лекций. Не обладая умением изобретать подходящие предлоги, он просто сказал, что испытывает непреодолимое желание вернуться домой и

ничего не может с собой поделать. Принеся извинения всем профессорам института, Гёдель отправился восвояси. Прошло время, и осенью 1934 года стало известно, что его поместили на лечение в расположенную под Веной клинику Уэстэнд для психических больных с диагнозом "глубокая депрессия".

Годом позже Гёдель вновь почтил своим присутствием ученое сообщество Принстона, приехав опять с курсом лекций. Вскоре после аннексии Австрии гитлеровской Германией в 1939 году Гёдель теряет место в Венском университете, и, что еще хуже, его призывают на военную службу, несмотря на слабое здоровье. В январе 1940 года он решает уехать в США вместе с Адель Нимбурски, недавно ставшей его женой. Плыть через Атлантику показалось супругам слишком опасным, и они предприняли целую одиссею, отправившись сначала в Россию, затем на транссибирском экспрессе добрались до Японии, а там, в Иокогаме, поднялись на борт корабля, доставившего их 4 марта 1940 года в Сан-Франциско. Еще через несколько дней Эйнштейн встречал обоих в Принстоне.

Бэкон вошел в зал, где должна была состояться лекция, и сел в последних рядах. Он ожидал появления Гёделя с таким же нетерпением, какое испытывал, предчувствуя приход Вивьен. А когда увидел его входящим в зал, то решил, что тот больше похож на священника или раввина, чем на математика. Нос длинный и обвислый, как у индюка, ничего не выражающие маленькие глазки прячутся за толстыми затемненными стеклами очков. Между тем Бэкон, как и все присутствующие, знал, что этот худощавый жилистый человек — настоящий гений, один из тех меланхоличных мудрецов, которые вынуждены расплачиваться за свою одаренность здоровьем собственного рассудка. Ему было тогда только тридцать шесть лет — на три года меньше, чем фон Нейману.

Когда Бэкон вечером вернулся домой, Вивьен была уже там. Это было прямым нарушением его неоднократных наставлений и их договоренности. До его появления Вивьен вымыла пол, поснимала со стен приколотые кнопками клочки бумаги, на которых Бэкон ежедневно записывал все, что придет в голову, стерла с письменного стола давний слой пыли. Потом легла, как обычно, в постель поверх простыней, только на этот раз не снимая кофточки фиолетового цвета и черной юбки, и дожидалась его с безучастностью обреченной на казнь жертвы. Бэкон не единожды повторял ей, что не любит, когда посторонние дотрагиваются до его вещей, вторгаясь в тот особый, удобный для него беспорядок, сложившийся за многие годы. И все же Вивьен осмелилась напоследок поступить вопреки его глупым, никому не нужным привычкам. Если уж он отошел от правила сохранять холодность в их отношениях и тем самым пересек запретную черту, то и она отплатит ему тем же. Едва ступив за порог, Бэкон сразу заметил, что его берлога неожиданно засияла чистотой. Он медленно озирался, и на лице его нельзя было прочесть ни раздражения, ни восторга. Наконец его глаза встретились с печальным взглядом Вивьен.

— Ты что здесь делаешь? — довольно грубо выпалил он, с грохотом швырнув в сторону свой портфель.

— Я так и знала, что ты будешь злиться...

Бэкон медленно приблизился к ней, как хищник подкрадывается к беспомощному животному. Она даже не сделала попытки подняться. Без всякого предисловия Бэкон припал губами к ее голым ступням, потом принялся целовать колени и бедра, потом, в одно мгновение сорвав с нее одежду, как кожуру спелого, сочного тропического плода, покрыл поцелуями ее живот и грудь... Примерно через два часа Вивьен остановила его.

— Мне пора, — сказала она, не выпуская его из своих объятий.

— Куда ты?

— Уже поздно.

— Не ходи никуда, оставайся!

— Не забывай, что ты скоро женишься... — напомнила она.

— Именно поэтому ты должна остаться! — Бэкон даже не пытался щадить ее чувства. — У нас мало времени, так давай не будем его терять!

— Неужели ты не понимаешь, что так только хуже сделаешь? Расставаться будет еще тяжелее...

— До этого еще дожить надо, Вивьен. Неизвестно, как все обернется... Мы не можем с уверенностью сказать даже, пойдет завтра дождь или нет. Так зачем заранее забивать себе голову тем, что будет, если у нас уже есть то, что есть?

— Вчера ты говорил совсем другое...

— Вот видишь! — торжествующе воскликнул Бэкон. — Вот тебе доказательство, что не следует пренебрегать тем, что имеем сегодня!

И Вивьен, и Бэкон понимали — они оба обманывают друг друга или, точнее, скрывают от себя самих правду. Словно горький пьяница, который принимается самозабвенно вытряхивать из бутылки в стакан последние, до капли, остатки зелья, Бэкон принял бездумное решение остаться с Вивьен по меньшей мере пока длится курс лекций Гёделя — время, в течение которого он рассчитывал не встречаться с Элизабет.

Сначала ей хотелось как следует проучить Бэкона, поэтому Элизабет изо всех сил сопротивлялась желанию увидеться с ним или позвонить по телефону — слишком велика была уверенность, что он не выдержит первым, раскается в своем упрямстве, станет молить о прощении, и вот тут-то наступит удобный момент, чтобы выдвинуть свои условия и завладеть им раз и навсегда.

Еще никогда перерыв в их общении не был таким долгим. По мере того как проходили дни, все труднее становилось переносить разлуку. Они словно соревновались друг с другом (наподобие Ахиллеса с черепахой, как сравнивал позже Бэкон, когда его постигла участь черепахи), причем победителя ожидал приз в виде права принимать решения и навязывать свою волю побежденному. Элизабет прекрасно понимала, что результат этого соревнования отразится на всей ее дальнейшей жизни, и не собиралась сдаваться. Каждый раз, когда ее охватывал особенно сильный приступ тоски и рука сама тянулась к телефону, готовая набрать номер Фрэнка, девушка останавливала себя и утешалась тем, что ему, несомненно, сейчас не менее тяжело.

Но все испортил приснившийся ей кошмар, в котором она якобы тяжело заболела и умерла, а Бэкон устроил праздник, вместо того чтобы оплакивать ее кончину. Элизабет проснулась в слезах и в полной уверенности, что тактика ее ошибочна. А если он никогда не позовет ее?

Если он на самом деле и не любил ее никогда? Впервые в ней шевельнулось сожаление по поводу своего упрямства и вспыльчивости. Наверно, она требовала от него слишком многого! Как же глупо она вела себя! Кому нужны все эти страдания, эта разлука, зачем подвергать бесцельным испытаниям его чувства, ведь ей самой надо только, чтобы он был рядом! Нет, нельзя допустить, чтобы они расстались из-за глупой обиды и злой гордыни. Еще есть время исправить ошибку!

Нагруженная сумками и пакетами, Элизабет подошла к двери жилища Бэкона. Было одиннадцать часов утра, и он, конечно, в институте. В пакетах были сыр и вино, фрукты, презервативы и забавный игрушечный поезд. Элизабет еще ни разу не была в квартире у Бэкона, предпочитая, чтобы он навещал ее либо они встречались в кафе и ресторанах. Однако она с самого начала настояла на том, чтобы он дал ей запасной ключ. Теперь вот ключ пригодился, и Бэкона ожидал приятный сюрприз и несомненное свидетельство примирения!

Зал для лекций был заполнен почти до отказа. Однако, как с уверенностью полагал Бэкон, лишь немногие из присутствующих — среди них сидящие в первых рядах Веблен и фон Нейман — могли в полной мере оценить значение слов, которые произносил Курт Гёдель. Он сильно смущался и старался не встречаться глазами со слушателями, устремляя взгляд сквозь стену куда-то вдаль. В тот день Гёдель раскрывал перед аудиторией свой метод доказательства так называемой континуум-гипотезы, впервые упомянутой математиком Георгом Кантором[1] в теории множеств.

Вдруг Гёдель запнулся и замолчал, не понимая, что происходит. Тяжелая деревянная дверь распахнулась и с грохотом захлопнулась, нарушив царившую в зале мертвую тишину. Веблен и другие профессора поднялись со своих мест, взгляды всех присутствующих устремились на молодую женщину, бесцеремонно вторгшуюся в аудиторию.

— Ты здесь? — сердито выкрикнула она, не обращая никакого внимания на целое собрание незнакомых людей. — Ты мне врал! Все время врал, трус несчастный!

Со своего места в последнем ряду Бэкон видел лишь силуэт своей невесты. Что делать — встать и сказать, чтоб успокоилась, или, наоборот, лучше ей сейчас не показываться? Гёдель продолжал ошеломленно молчать. Элизабет с искаженным от ярости лицом вглядывалась в присутствующих, разыскивая среди них виновного в измене и нанесенной ей обиде.

— Ради бога, мисс, не знаю, кто вы и что вам надо, только прошу вас покинуть аудиторию! — нашелся Веблен. — Здесь проходит научная конференция, пожалуйста, дайте профессору возможность продолжить свое выступление...

Элизабет и бровью не повела. Зато ее взгляд, наконец, уперся в переполненные ужасом глаза жениха.

— Вот ты где! — вновь разнеслось по залу. — Ты что же, надеялся, что я никогда не узнаю? Что сможешь и дальше спать с этой черной шлюхой? За полную идиотку меня держишь?!

1. Георг Кантор (1845–1918) — немецкий математик.

— Элизабет, прошу тебя, — умоляюще воззвал к ней Бэкон, лишенный возможности и дальше разыгрывать свою непричастность к происходящему. — Потом все уладим...

— Нет уж, никаких потом! Говори сейчас, не успокоюсь, пока все мне не объяснишь! — Она стала приближаться, не спуская с Бэкона глаз, из которых струились жгучие слезы обиды. Ее упрямство начинало злить его.

— Господин Бэкон, — решительным тоном обратился к нему Веблен, одновременно указывая пальцем на выход, — объясните мисс, что она мешает проведению весьма важной научной конференции! *Вы меня понимаете?*

К этому времени Элизабет уже добралась до того, кто послужил причиной ее гнева. Едва Бэкон попытался взять ее за руку, чтобы выпроводить из зала, как тут же получил звонкую пощечину. Она прозвучала громко, будто удар мухобойки по оконному стеклу, так что у всех присутствующих, кроме, может быть, Гёделя, одновременно вырвалось дружное: "О-ох!" Для Бэкона это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Не в силах больше переносить унижение, он, не успев даже подумать, влепил невесте ответную пощечину, не такую сильную, но которая, из-за какого-то акустического феномена, прозвучала еще громче, чем первая.

— Это недопустимо, господин Бэкон! — взорвался Веблен, тогда как стоящий рядом фон Нейман не смог сдержать удовлетворенный смешок. — Я все-таки вынужден настаивать, чтобы вы покинули помещение и позволили нам продолжать!

Ошеломленная Элизабет ничего не замечала вокруг. От пощечины у нее помутилось в голове, ею овладели апатия и сонливость. Хотелось только одного — заснуть в объятиях Бэкона и выспаться вдоволь. Профессор Гёдель испуганно наблюдал за ней, ничего не понимая и по-прежнему стоя перед аудиторией, потерявшей к нему всякий интерес.

— Она жила у тебя дома, — всхлипывала Элизабет, увлекаемая Бэконом к двери под взглядами его коллег. — Ты держал эту черную шлюху у себя дома...

Последнее, что увидел Бэкон, выходя из зала, — возмущенное лицо Веблена, ясно говорившее без слов, что так блестяще начавшаяся карьера молодого ученого бесславно оборвалась и его дни в институте сочтены. Почти волоча обессиленное тело своей невесты — *бывшей* невесты, уничижительно мелькнуло у него в голове, — Бэкон едва ли мог в достаточной мере осознать значение происходящего; совершенно неожиданно все главные составляющие его жизни — Элизабет, институт и Вивьен — столкнулись и разбились, как три самолета, с огромной скоростью летевшие навстречу друг другу. Бэкон затащил Элизабет в соседнюю аудиторию, посадил ее на стул и сел рядом сам, не решаясь обнять или даже дотронуться до нее. Через несколько минут она пришла в себя, поднялась и нетвердой походкой направилась к выходу, бросив ему через плечо что-то обидное.

Тем временем рядом, в конференц-зале, профессор Гёдель заявил собравшимся, что не может продолжать читать лекцию, и безудержно разрыдался, а фон Нейман принялся его утешать...

Гипотеза 5
О том, как Бэкон уехал в Германию

Фрэнк Эйделотт, сменивший Флекснера во главе Института перспективных исследований, уже несколько дней разыскивал Бэкона. Ничего хорошего от этой встречи Бэкон не ожидал. В лучшем случае ему грозил суровый выговор, в худшем — позорное изгнание из института. В довершение всех бед у него разыгралась ужасная мигрень, которая словно лезвием рассекла его мозг на две половины: одну — здоровую и не ощущающую никакой боли, и вторую — будто сотрясаемую невидимым поршнем, снующим с бешеной скоростью. Подобные приступы начинались всегда, стоило ему перенервничать или сильно испугаться чего-либо.

К десяти утра недуг овладел им. Уши словно заложило ватой, хотя любой резкий звук с улицы отдавался в мозгу в десять крат сильнее. Кирпичные стены Фулд-холла студенисто колебались. Стоя у директорского кабинета, Бэкон отдышался, кое-как причесал волосы, собрался с духом и, распахнув дверь, предстал перед дородной секретаршей. Выслушав доклад о его прибытии, директор сразу же велел заходить. Не поднимаясь из-за стола, молча указал на стул, словно специально поставленный как для жертвы в камере пыток. Позади Эйделотта возвышалась мощная фигура мужчины в сером костюме, телосложением похожего на игрока в американский футбол. Он выжидательно смотрел на Бэкона.

— Садитесь, — приказал Эйделотт.

Бэкон послушно, но не спеша сел на стул. С одной стороны, не хотелось, чтобы заметили, как ему трудно держаться на ногах, но и чрезмерно медлить не стоило по той же причине. Он чувствовал себя достаточно плохо в роли мальчика для битья, не следовало еще больше унижаться, оправдываясь из-за своих хворей.

— Расслабьтесь, Бэкон, — процедил сквозь зубы директор, — никто не собирается вас пороть или отдавать под суд.

— Простите меня, пожалуйста, — против воли вырвалось у Бэкона. — Я никак не предполагал, что мои личные проблемы... Мне хотелось бы лично извиниться перед профессором Гёделем...

Эйделотт осуждающе уставился на него.

— Вы слишком многого хотите, Бэкон. Все не так просто, к сожалению. Да будет вам известно, что профессор Гёдель опять... у него рецидив болезни нервов. Поймите, он весьма обостренно реагирует на внешние раздражители.

— Это очень серьезно? В каком он состоянии?

— Ну, скажем, сейчас для него наступили не самые лучшие дни. Конечно, не при смерти, но недельку придется провести в постели. — Эйделотт внушительно кашлянул, давая понять, что данная часть беседы завершена. — Итак, Бэкон, поговорим о случившемся с вами чрезвычайно огорчительном инциденте. Вы понимаете, какое впечатление он произвел на всех, кто присутствовал в зале?

— Да, мне ужасно стыдно... Если бы я только мог как-нибудь загладить...

— *Как-нибудь!* — гневно повторил за ним Эйделотт. — Мне очень жаль, Бэкон! Я изучил ваше личное дело и должен признать, что оно *действительно* впечатляет. Университетские и нынешние характеристики свидетельствуют о вашем таланте и разумном подходе к работе — достоинствах, которые я особенно и прежде всего ценю в ученых. — Толстые губы Эйделотта шевелились, как две извивающиеся пиявки, по крайней мере так казалось Бэкону. — Вдобавок профессор фон Нейман решил заступиться за вас... Он считает вас одним из самых одаренных сотрудников нашего института.

На душе у Бэкона немного потеплело. Для него математик-венгр был учителем и наставником, и было приятно узнать, что тот относится к своему подопечному с сочувствием, а не просто с обычной терпимостью.

— Более того, он выразил уверенность, что вы, повзрослев через некоторое время, сможете достичь важных результатов в науке. (Ну, это уж слишком, мысленно изумился Бэкон великодушию фон Неймана.) Итак, изволите видеть, вы очутились в положении непростом, но отнюдь не безнадежном. Счет, как говорится, в вашу пользу, а случившееся на днях небольшое недоразумение теряется среди ваших многочисленных достоинств, как иголка в стогу сена...

Бэкон ушам не верил. Он со страхом подумал, что Эйделотт просто издевается — хочет сначала зубы заговорить, а потом избавиться от него с легкой душой.

— Бэкон, вы даже в лице переменились от испуга. Успокойтесь, вам нечего бояться, я говорю все это не в качестве предисловия перед тем, как объявить о вашем увольнении. — Эйделотт опустил взгляд и стал смотреть, как его пальцы развинчивают и снова завинчивают колпачок авторучки. — Однако я намерен быть с вами до конца откровенным: Институт перспективных исследований — не для вас. Ваше поведение накануне только подтверждает эту неоспоримую истину. — Тут Бэкона передернуло; слова Эйделотта как иголкой пронзили его разламывающуюся от боли голову. — Нас в принципе устраивает сотрудничество с вами. Вместе с тем складывается впечатление, — можете поправить меня, если я ошибаюсь, — что нынешняя работа вам самому не приносит удовлетворения. Мы тоже чувствуем, что заставляем вас попусту терять время. Нельзя втиснуть настоящий талант в тесные рамки рутинной работы. — Эйделотт обернулся, как бы ища одобрения у незнакомца в сером, который продолжал невозмутимо стоять у него за спиной. — Это не означает, что я вам советую заняться экспериментальной физикой; просто ваш характер — как бы поточнее выразиться — слишком *беспокойный*... Возникло опасение, что, если бы так продолжалось и дальше, вам рано или поздно пришлось бы покинуть институт, так и не совершив выдающихся открытий, чего мы все от вас ожидаем... Вам нужен больший простор для деятельности, юноша. Больше *жизни*.

— Мне трудно говорить... — пробормотал Бэкон. — Прошу дать мне возможность...

— Я уже объяснял вам, Бэкон: то, что произошло на лекции профессора Гёделя, достойно сожаления, но не катастрофа, — прервал его Эйделотт с заметным раздражением. — Позвольте представить вам господина Берда. — На лице мужчины в сером появилось подобие улыбки. — Господин Берд представляет правительственное учреждение. К

нам обратились с просьбой рекомендовать молодого сотрудника, обладающего определенными качествами, необходимыми для выполнения специального задания. Им нужен компетентный ученый-физик. Когда я попросил профессора фон Неймана высказать свое мнение, он не колеблясь предложил вашу кандидатуру.

От обиды и унижения у Бэкона горели уши. Теперь он смог как следует разглядеть атлетическую фигуру за спиной у директора. Мужчина был похож на спортсмена, уже несколько лет как прекратившего активные тренировки и начавшего слегка полнеть. Из сказанного о нем Эйделоттом было не ясно, чем он занимается, и Бэкон решил, что, скорее всего, тот служит в армии, может быть даже в морской пехоте.

— Дорогой Бэкон, поймите меня правильно, — учтивость давалась Эйделотту с видимым усилием, — мы чувствовали бы великое удовлетворение, если бы вы нашли с господином Бердом общий язык. Я не собираюсь давать вам указания, конечно, просто прошу выслушать его предложение и добровольно принять решение, которое является наиболее приемлемым в данной ситуации. Поверьте, это самый достойный выход для *всех* нас...

Закончив тираду, Эйделотт поднялся с места и с широкой улыбкой на лице снизошел наконец до того, чтобы подать Бэкону руку. Господин Берд слегка кашлянул, как бы принимая эстафету переговоров, вышел из своего укрытия за спиной директора и направился к выходу.

— Пройдемся, — бросил он на ходу Бэкону тоном, не предполагающим возражений.

Бэкон довольно бодро поспешил следом; случившееся подействовало на него как электрический разряд, заставив на время позабыть о недомогании.

— Желаю удачи, Бэкон, — напутствовал его Эйделотт.

Ошеломленный всем услышанным и своей мигренью, Бэкон заторопился к выходу в полной уверенности, что в обозримом будущем уже не увидит ни директора, ни институт.

— Вы здесь никогда не бывали раньше? — обратился он к спутнику, чтобы нарушить молчание.

— Был раз.

Они шли бок о бок, словно два приятеля на прогулке, не спеша и никуда в особенности не направляясь. Господин Берд вел себя, как садовод-любитель: останавливался и разглядывал посаженные вдоль дорожки маргаритки и цветущие кусты шиповника.

— Так вы работаете на правительство? — Бэкон опять ощутил внутри тошноту. — Куда мы идем?

— Никуда.

Они обошли территорию института и начали второй круг. Очевидно, господин Берд располагал уймой времени. Он вдруг резко остановился и в упор взглянул на Бэкона, словно решившись наконец посвятить его в свои планы.

— Профессор Эйнштейн в самом деле открыл четвертое измерение?

Бэкон подумал, что ослышался. В какой-то момент даже мелькнула мысль, что из-за боли в голове у него возникают слуховые галлюцинации.

— Н-не совсем так, — после некоторого молчания проговорил он с усилием. — В его теории четвертым измерением является время... Мир

существует в четырехмерном пространстве, называемом *пространство-время.*

— А вот эта формула, которую в газетах печатают, она что, действительно доказывает существование души?

— Нет, конечно! Формула служит лишь для подсчета количества энергии путем умножения массы на скорость света в квадрате. Она не имеет ничего общего с душой, то есть внутренней энергией живого человеческого тела...

Господин Берд озадаченно почесал затылок, как бы обозначив этим красноречивым жестом вступление к монологу, в котором изложил свою собственную теорию.

— Не нравится мне вся эта относительность. Я не считаю, что все в жизни относительно. Например, как может быть относительным зло или добро? А вам не приходило в голову, что такие рассуждения только на руку преступникам? Вы себе даже не представляете, сколько проходимцев и жуликов твердят в суде про эту вашу теорию относительности, стараясь избежать заслуженного наказания. Если каждый станет думать, что все вокруг относительно, и начнет делать что захочет, то справедливости и правопорядку придет конец! Нельзя же считать относительной государственную измену! Нельзя считать относительным убийство! Нельзя считать относительными кровавые преступления Гитлера!

Решительность и горячность в выступлении собеседника не смутили Бэкона.

— Я с вами полностью согласен... Позвольте лишь заметить, что приведенные вами примеры не имеют ничего общего ни с теорией относительности, ни с профессором Эйнштейном, — примирительно заверил он господина Берда. — Речь в ней идет не о социальных, а о физических явлениях...

— А по мне так все едино...

— Нет-нет... Эйнштейн говорит лишь о том, что скорость движения наблюдаемого объекта является относительной для наблюдателя, который также движется. Вот, например, те две девушки приближаются к нам быстрее, поскольку мы тоже идем к ним навстречу. И только скорость света остается неизменной независимо от расположения наблюдателя. Это научный факт, который не имеет ничего общего с моральными понятиями, господин Берд...

— И это считается великим открытием?

— Несомненно!

— Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, все это чепуха. Как может существовать то, чего нет! Я же не вижу никакого четвертого измерения, и атомов не вижу, так с какой стати я должен верить всяким выдумкам!

— Знаете, вы не единственный... — начал было Бэкон, но остановился, потеряв вдруг всякое желание рассуждать на эту тему. Не только бесполезно, но просто глупо спорить о физике с человеком, который, скорее всего, не знает даже значения числа "пи". Судя по всему, господин Берд был настолько непоколебим в своей точке зрения, что ни на секунду не признал бы правоты Эйнштейна.

— Вы именно об этом хотели со мной поговорить?

— Нет-нет, просто полюбопытствовал, прошу прощения. — Господин Берд словно опомнился и даже застыдился своей горячности. — Видите ли, мне приходилось встречаться с очень многими учеными вроде вас, так что я поневоле задался вопросом, о чем они, черт их возьми, размышляют все время? Вы, физики, способны часами сидеть или ходить туда-сюда по кабинету и думать, думать... Даже дома не перестаете вспоминать теоремы и цифры, даже в ванной, даже в постели, перед тем как заснуть... Мне иногда кажется, что ученые могут заниматься любовью с женами и при этом мысленно производить свои расчеты!

— Поверьте, таких среди нас не много, — поспешно заверил Бэкон. — Откуда вам столько известно о физиках?

— Пришлось познакомиться. По работе...

— А в чем конкретно заключается ваша работа, господин Берд?

— Еще узнаете, всему свое время. Лучше скажите, с какой целью вам понадобилось ежедневно следить за профессором Эйнштейном?

Бэкон давно ждал, что кто-нибудь когда-нибудь задаст ему подобный вопрос, но все же оказался застигнутым врасплох и не нашелся, что ответить.

— Запираться нет смысла, — вкрадчивым голосом проговорил господин Берд. Бэкону померещилось, что он смотрит кино про шпионов. — Вы следили за Эйнштейном, а мы следили за вами...

— Кто — вы?

— Вы не ответили на мой вопрос, профессор, — голос господина Берда становился все более отчужденным.

— Если я скажу, вы не поверите, — пробормотал Бэкон, пытаясь изобразить улыбку.

— Посмотрим!

— Сам не знаю, клянусь вам! Мне очень хотелось заговорить с Эйнштейном, пока он шел домой, но не хватило смелости, и я просто следовал за ним на расстоянии...

— Так-так, следовал за ним на расстоянии... Ну хорошо, а в остальные дни?

— И в остальные тоже. Понимаю, звучит абсурдно, но я говорю правду!

— И вы полагаете, что делали это незаметно для профессора Эйнштейна?

— Да, он видел меня один раз, но, кажется, не придал большого значения.

— А между тем профессор Эйнштейн обратился в полицию. Что вы на это скажете?

— Не может быть... — Бэкона вдруг прошиб холодный пот. — Я же не хотел ничего плохого... Это было что-то вроде шутки...

— Сейчас не время для шуток, профессор, — голос Берда вновь обрел прежнюю учтивость. — Как вам известно, нацисты ненавидят Эйнштейна. И не только они. Вокруг полно всяких недоумков... Соединенные Штаты стали для Эйнштейна второй родиной, и правительство обязано заботиться о безопасности своих граждан. В особенности таких граждан, как Эйнштейн, вы согласны?

— Так вы из полиции? — встревожился Бэкон.

— Почти угадали, — доверительным тоном ответил Берд. — Только не из полиции в общепринятом понимании. Скажем, мне поручено

обеспечить спокойную жизнь профессору Эйнштейну, чтобы он не испытывал никаких неудобств, чтобы его никто не беспокоил.

— Раз вы меня видели, значит, догадались, что это была лишь игра!

— Что ж с того, что догадался. Моя обязанность — принять меры предосторожности. Я провел расследование, и, на ваше счастье, мы не обнаружили ничего подозрительного.

— Теперь, когда вы убедились, что я не готовлю покушения на Эйнштейна, мне можно идти?

— Боюсь, что нет, — невозмутимо заявил господин Берд. — Все отзываются о вас как о хорошем физике. Отличные характеристики. Пристойное поведение. Ну, не считая трудностей в отношениях с женским полом, которые вы себе сами создали, однако меня это мало интересует... Итак, в силу ваших профессиональных качеств мы готовы согласиться с предложением профессора Эйделотта и профессора фон Неймана относительно вашей кандидатуры. Полагаем, что именно вы способны выполнить деликатную и весьма важную для нас миссию.

— Что же я могу для вас сделать?

— Очень многое, профессор. Вы — молодой талантливый ученый, любите рисковать, хорошо знаете немецкий язык и как нельзя кстати именно сейчас остались без работы и перспектив найти ее в ближайшее время. Так что вы для нас — подходящий вариант.

— Подходящий для чего?

— Я уже сказал — для сотрудничества. Если хотите знать больше, для одного *расследования*. Вы же любите свою родину, не так ли?

— Да, конечно.

— Ну вот, для вас наступило время сделать кое-что для нее. Не забывайте, профессор, идет война. В подобной ситуации интересы нации становятся приоритетными для всех граждан.

— Значит, отказаться я не могу...

— А вы и не откажетесь. Вы многим обязаны этой стране, и наконец пришел час, когда вы сможете хотя бы частично вернуть долг. Разве это не справедливо? — Господин Берд словно растолковывал ребенку необходимость выполнять школьные домашние задания. — Сами понимаете, о нашем разговоре никто не должен знать. Соблюдайте полную конфиденциальность. Разрешаю вам попрощаться только с самыми близкими родственниками, причем без лишних разъяснений причин отъезда.

— Что я могу рассказать, если сам ничего не знаю? — возразил Бэкон.

— Скажите, что вы решили поступить на военную службу. Позже, если все пойдет гладко, сможете сообщить больше.

— Все это так неожиданно... Нельзя ли мне подумать?

— Сожалею, профессор Бэкон, на обдумывание нет времени. Вы должны верить нам так же, как родина верит в вас.

Бэкон шел к дому фон Неймана с такой поспешностью, словно от их встречи зависело решение вопроса жизни и смерти. Головная боль утихла, но из-за поднявшейся температуры им овладело ощущение нереальности происходящего.

— В чем дело? — как всегда недовольно встретил его фон Нейман.

Не дожидаясь приглашения, Бэкон прямиком направился в кабинет хозяина.

— Пришел поблагодарить вас за *протекцию*, — пояснил он, — и заодно попрощаться.

Фон Нейман уселся в свое кресло и созерцал Бэкона с отеческой снисходительностью. Раздраженность сменилась свойственным ему добродушием.

— Рад, что вы приняли это предложение, юноша. Уверен, вы не пожалеете.

— Значит, вам с самого начала все было известно?

— После скандала на лекции меня вызвал Эйделотт. Веблен требовал просто выгнать вас из института без всяких разговоров. Я высказал то, что думаю: вы хороший физик, но вам надо сменить обстановку. Эйделотт довольно долго думал и наконец сообщил мне, что, возможно, у него найдется для вас кое-что получше. Он назвал это "учебной командировкой". — Тут на губах фон Неймана появилась кислая улыбка. — Что делать, Бэкон, мы живем в такое время, когда *все* вынуждены чем-то жертвовать. Я, как и вы, думал поначалу, что вам все же надо остаться в институте, но теперь понял — это было бы ошибкой. Вы человек умный и сможете принести гораздо больше пользы нации, если окажетесь за пределами славной маленькой тюрьмы, именуемой Принстоном. Знаю, как вам сейчас несладко, впереди — тревожная неизвестность, однако поверьте: перед вами будет поставлена важнейшая задача, и выбор пал на вас именно потому, что вы физик. Вам предстоит не просто военная служба, но участие в работе, имеющей первостепенное значение.

— Я бы предпочел все же, чтобы мне дали возможность решать самому!

— Что ж, в каком-то смысле именно так и произошло, юноша. И обстоятельства сложились в пользу этого решения. Вспомните-ка нашу последнюю беседу! — Фон Нейман торжествующе хлопнул Бэкона по плечу. — Вы мне поведали тогда о своих амурных приключениях, о том, как оказались меж двух огней. Я еще пытался дать вам понять, что теория игр годится и для влюбленных, что в вашем случае также необходима своя стратегия. Вспоминаете?

— Еще бы!

— Я уже тогда знал, что если вы ничего не предпримете и не добьетесь перемен в жизни, то рано или поздно потеряете все! Упорствуя в нежелании действовать, вы только ухудшали свое положение, доводя его до кризисного. Именно так все и случилось, если не ошибаюсь...

— Наверно, вы правы. Вы меня предупреждали, что я не смогу вечно балансировать между Элизабет и Вивьен, что неизбежно возникнет ситуация, когда мне придется выбирать... Либо, наоборот, одна из них бросит меня...

— И я не ошибся, как это ни прискорбно!

— Боюсь, что вы оказались даже слишком прозорливы. Все оборвалось мгновенно. Да вы и сами видели... Они все-таки столкнулись друг с другом! Так что, ко всему прочему, я, наверно, потеряю их обеих.

— Я это предвидел, — в голосе фон Неймана проскользнула нотка сочувствия, что было ему совсем не свойственно. — Все логично. Вообще, любить одновременно двух женщин — любить, а не заниматься любовью, это не одно и то же, — самое худшее, что может случиться с мужчиной. Некоторые склонны рассматривать такой феномен как благословение свыше или свидетельство мужественности, а по мне — десять казней египетских не намного страшнее. В конце концов правда всегда выплывает

на поверхность, и вот тогда говоришь себе: нет, больше я в такие игры не играю! И с одной-то женщиной проблем не оберешься, а уж с двумя!.. – вырвалось у фон Неймана очень убедительно, словно он рассказывал о собственном опыте. – Соперничество между женщинами за мужчину относится, по моему определению, к категории игр "с нулевой суммой". То, что одна выигрывает, другая обязательно проигрывает, а возможность параллельно набирать очки исключается. Что касается мужчины, то, как бы он ни старался поступать справедливо, в конечном итоге неизбежно изменит обеим женщинам. В результате у них возникнут подозрения, а в худшем случае – например в вашем – дело дойдет до конфронтации. Не хотел бы я оказаться в вашей шкуре, Бэкон!

– Профессор, но вы же сами говорили, что, вероятно, найдется способ распутать подобное хитросплетение логическим путем!

– И готов это повторить! – Фон Нейман с явным удовольствием играл роль deus ex machina[1], нежданного спасителя. – На самом деле все очень просто. Поскольку стрелку не перевели вовремя и поезда столкнулись, единственной правильной стратегией будет отказаться от этой игры и начать новую!

– Отказаться от обеих женщин?

– Навсегда и бесповоротно!

– Так вот почему вы рекомендовали меня для выполнения этого задания!

– Скандал лишь послужил детонатором для того, чтобы все взорвалось к черту! Но для вас, я думаю, так будет лучше. Если говорить откровенно, то, на мой взгляд, другого выбора у вас просто нет. Учтите, речь не идет о каком-то трусливом бегстве, вы спасаете то немногое, что у вас осталось. Или вы предпочитаете и дальше жариться в маленьком аду, который с таким легкомыслием сами для себя создали?

Бэкон не ответил. Ему все еще было не по себе от болезненного разрыва с Элизабет, от внезапного одиночества после исчезновения Вивьен, от мучительного краха надежд и мечтаний, связанных с работой в институте. Раньше все в жизни было ясным и надежным, а теперь вдруг стало непонятно, как существовать дальше. Что, если Эйделотт, фон Нейман и господин Берд действительно предлагают ему наилучший выход? Расстаться и с той и с другой, пока обстоятельства благоприятствуют, прежде чем та или другая решит вернуться, но ведь ни одна из них никогда не простит его и будет таить обиду, всегда готовую выплеснуться горькими напоминаниями и упреками.

– Получается, я должен вас благодарить? – ошеломленно произнес Бэкон.

– Ну, сейчас это делать не обязательно, а в будущем вы мне сами спасибо скажете! Не так уж часто человеку выпадает честь послужить доброму делу. Не печальтесь, Бэкон! По меньшей мере, нам с вами разлука не грозит; боюсь, мне никуда не деться от того, чтобы лицезреть вас время от времени.

– О чем вы? – Поистине сюрпризы в этот день сыпались как из рога изобилия.

– Господин Берд, конечно, не отличается высокой образованностью, зато он отличный сотрудник разведки военно-морских сил США.

1. Бог из машины *(лат.)* – термин в драматургии, означающий развязку, наступающую вследствие вмешательства непредвиденного обстоятельства.

— Вы его знаете?

— Конечно! Однако важно не это. Так и быть, Бэкон, поделюсь с вами большим секретом, вам надо учиться хранить тайны. Я тоже на них работаю.

— Вы?

— Да, это один из моих приработков. Занятие не самое захватывающее, но довольно интересное. Дома я всегда храню наготове чемоданчик со сменой белья и пуленепробиваемой каской — разрешается брать с собой только самое необходимое! И все же, когда не видит Клара, я ухитряюсь засунуть внутрь томик по истории Средних веков. В любой момент может последовать команда отправиться в путь, а лететь в самолете до Лондона в наше время чрезвычайно долго и скучно...

— До Лондона!

— Там, скорее всего, мы и встретимся в следующий раз, Бэкон. Это ваш пункт назначения. Сможем, по крайней мере, выпить хорошего чаю.

— Меня отправят в Лондон?

— Вы поразительно догадливы, юноша! Да, вас отправят в Лондон. Понюхаете пороху. Посмотрите мир. Там вам будет гораздо веселее, чем здесь, вот увидите.

В течение нескольких секунд Бэкон молча усваивал услышанное от фон Неймана. Итак, ему предстоит стать агентом военно-морской разведки в Лондоне! Он несколько раз мысленно повторил эту фразу, пока наконец она не стала похожей на правду.

— Меня только продолжает беспокоить состояние здоровья профессора Гёделя, — неожиданно вырвалось у него. — Полагаю, я невольно послужил виновником обострения его болезни, учитывая глубину потрясения, которое он пережил, наблюдая ту непристойную сцену...

— Ничего подобного! — воскликнул фон Нейман, довольно улыбаясь. — Да Курт, наверно, был единственным, кто мог войти в ваше положение!

— Что вы имеете в виду?

— Неужели вы думаете, что Гёделя смутило поведение вашей невесты? — расхохотался фон Нейман. — Не будьте таким наивным, Бэкон! Просто Гёдель, как и вы, по уши влюблен, в этом вся причина!

— Гёдель? Влюблен? — изумился Бэкон.

— А по виду не скажешь, правда? — продолжал смеяться фон Нейман. — Тем не менее это так: наш застенчивый тихоня Курт Гёдель без ума от своей жены. Чтобы добиться от нее согласия выйти за него замуж, он без устали преследовал ее, завалил подарками и еще много чего сделал... Только женщины способны превратить мужчину из гения в скотину.

— Значит, все закончилось хорошо?

— Расскажу вам, Бэкон, но только при условии, что вы будете хранить молчание. Лишь очень немногие здесь, в Америке, посвящены в эту тайну. Жена Гёделя Адель в свое время работала в Вене танцовщицей в одном из ночных клубов с плохой репутацией. Для родителей Курта было совершенно неприемлемым, чтобы их мальчик водился с подобной женщиной...

— Но ведь профессор Гёдель к тому времени уже достиг почти тридцатилетнего возраста!

— В их семье царили весьма консервативные порядки, Бэкон, и сына держали в строгом подчинении. Да, ситуация сложилась по-настоящему

трагическая! Прошло много лет, прежде чем он решился пойти наперекор воле родителей. Теперь понимаете? Ваша ссора с невестой напомнила профессору его прежние переживания. Вот почему он расплакался!

– Я не мог даже представить подобного!

– Да, история удивительная, – задумчиво произнес фон Нейман, словно разделяя волнение Бэкона, тронутого тем, что выпавшее на его долю психологическое испытание привело другого человека к эмоциональному срыву. – Несомненно, между вами есть что-то общее. Подлинная трагедия профессора Гёделя заключается не в проблеме континуума и не в существовании формально неразрешимых суждений, а в том, что он мучительно и страстно любит проститутку – свою жену.

Автобиографические резюме: от теории множеств до тоталитаризма

Резюме 1
Детство и конец одной эпохи

Нетрудно предположить, что, ознакомившись с историей лейтенанта Фрэнсиса П. Бэкона, вы задались вопросом: если этот господин Густав Линкс, преподаватель математики Лейпцигского университета, утверждает, что излагает одни только факты, то каким образом ему стали известны самые невообразимые подробности жизни другого человека, то есть того же лейтенанта Бэкона?

Что ж, ваша обеспокоенность, скорее всего, достаточно обоснованна, поэтому я взял на себя смелость включить в повествование данную главу. Да, сомнения, как говорится, имеют право на существование, но, когда они развеются, мой рассказ приобретет *достоверность*. Мы, ученые, знаем, что без доказательства любая теория рассыплется, как карточный домик. Не отрицаю, некоторые события не обязательно произошли в действительности (именно поэтому они обозначены здесь как *гипотезы*), поскольку мне и впрямь не довелось участвовать в них лично, но лейтенант Фрэнсис П. Бэкон сам поведал мне о своей жизни, когда мы вместе коротали время за нескончаемыми разговорами. Наступала минута, когда он откладывал в сторону протокол допроса, я переставал давать долгие и скучные показания, и тогда между нами возникала удивительная, похожая на заговорщическую, связь; задушевная близость двух искренних друзей; единение не только наших умов, но и сердец. В эти мгновения полного согласия и сопереживания мне доводилось выслушивать от него признания настолько откровенные, что позавидовали бы многие психоаналитики и духовники. Мы менялись ролями, и на некоторое время я превращался в дознавателя, а он становился объектом изучения.

Дальше в лес – больше дров; за одним вопросом тянутся все новые. Какие обстоятельства привели меня и лейтенанта Бэкона к месту нашей встречи? Когда впервые столкнула нас судьба? В чем состоит наше *общее* предназначение? Как случилось, что пересеклись параллельные линии наших жизней? Объяснить все это возможно, сказав хотя бы несколько слов о моей собственной персоне.

Прошедшие годы позволяют взглянуть на собственную жизнь с расстояния, рассмотреть ее, словно какое-то постороннее явление или, образнее, будто мелкую букашку, ползающую и шевелящую усиками под увеличительным стеклом. Теперь мне понятно, что со дня рождения моя судьба неразрывно связана с историей двадцатого века, как морская минога, присосавшаяся к коже огромного кита, обрекает себя на бесконечные странствия в его неизменной компании. На мою долю выпало жить в непростое время, в обществе особенных людей, с которыми я познакомился в первой половине столетия. Чисто случайное стечение обстоятельств сделало меня свидетелем великих событий и самых разрушительных несчастий, когда-либо постигавших человечество: двух мировых войн, трагедий Аушвица[1] и Хиросимы, а также рождения новой науки.

Я слишком многословен. Начинать надо с самого главного, найти слова, которые создали бы ясное представление обо мне, пробудить у читателя интерес к моей личности, впечатлить каким-то эффектным ходом — но ничего подобного у меня не получается, к сожалению. Что ж, скажу самое очевидное. Меня зовут — повторюсь — Густав Линкс. Родился 25 марта 1905 года в Мюнхене, столице Баварии. Мой отец, Юрген Линкс, преподавал в университете историю Средних веков. Мою мать звали Эльза Шварц, но мои воспоминания о ней весьма расплывчатые, поскольку она умерла во время выкидыша, когда мне было только три года. Так что не могу сказать о ней почти ничего. Из-за случившейся с ней трагедии я оказался единственным ребенком, и, вопреки принятым в то время обычаям, мне не пришлось делиться своими немногими детскими радостями с целым выводком сводных братьев и сестер; отец так и не женился больше, хотя никто бы не подумал, что раннее вдовство потрясло его до такой степени.

Я родился в мире, где порядок и педантичность ценились превыше всего, легкомыслию не было места, а всякие несуразности — войны, страдания, ужасы — считались огорчительными исключениями из правил, ошибками, исчезающими вместе с эволюцией общества.

К счастью, мир моего детства состоял не только из научно обоснованного аскетизма. Нашлось для меня занятие, которое в значительной степени сформировало мой характер: я вступил в ряды Wandervögel — "Перелетных птиц" — так в те времена называлось движение, похожее на заграничных бойскаутов и призванное способствовать физическому воспитанию немецких подростков. Тогда-то я и познакомился с Генрихом фон Лютцем, надолго ставшим мне лучшим другом и сыгравшим важную роль в моей жизни, а также с Вернером Гейзенбергом, который был старше нас на четыре года и уже сам руководил группой "Перелетных птиц".

Резюме 2
Молодость и иррационализм

Мы с Генрихом были настолько преданными и неразлучными приятелями, что каждый словно существовал в оболочке другого. Оба досконально знали все привычки, наклонности и пристрастия друг друга.

1. Аушвиц — немецкое название располагавшегося на территории Польши лагеря смерти Освенцим.

В шестнадцать лет мы вместе впервые посетили публичный дом и заказали одну проститутку на двоих. Мы попросили ее обслужить нас обоих одновременно, чтобы насладиться видом своего собственного глупого выражения, отражающегося как в зеркале на лице друга. В общем, как ни воспитывали нас в строгости и благонравии, к восемнадцати годам мы с Гени накопили уже такой богатый опыт любовных похождений, как никто из сверстников.

Только не подумайте, что у нас тогда не было другого занятия, как шляться по улочкам Мюнхена и глазеть на женские попки. Гени получал плохие отметки в школе, но при этом обладал блестящим умом, глубоким знанием философии и способностью видеть действие ее законов в реальной жизни. Его воодушевляли идеи патриотизма, внушаемые нам в гимназии и нашей молодежной организации, а именно: общество пришло в упадок; мы, немцы, должны обратиться к опыту прошлого, чтобы отыскать способ высвободить нацию из нынешнего унизительного положения. Эти постулаты натолкнули Генриха на далеко идущие умозаключения: он еще не знал точно, каким будет его жизненный путь, но твердо решил, что станет кем-то вроде духовного вождя и о нем узнает весь мир. Постоянно читая средневековые романы, он преисполнился каким-то мистическим почитанием "германской расы", ее традиций и идеалов.

Шел 1924 год, и мы с Гени, к нашему удовольствию, только что закончили учебу в Макс-гимназии. Меня приняли в Лейпцигский университет на факультет математики, а Генрих решил отправиться в Берлин, чтобы всерьез взяться за изучение трудов своего уже тогда наиболее почитаемого философа — Фридриха Ницше и подготовить диссертацию о последних, самых ярких годах его творческой деятельности.

Резюме 3
Арифметика бесконечности

В Лейпциг я приехал в сентябре 1924 года. В то время в национальной экономике наметился подъем, обеспечивший наконец Веймарской республике несколько лет относительной политической стабильности. Город оказался не таким красивым, как, скажем, Дрезден, но не менее интересным. Здесь мне предоставлялась возможность вести самостоятельное, взрослое существование вдали от родительской опеки и, следует признать, от порядком надоевшей дисциплины молодежной организации. Денег у меня было не много, но я мог сам решать, на что их тратить.

Моей специализацией — чем, полагаю, можно вполне гордиться — была математическая логика, и прежде всего теория бесконечных множеств, разработанная Георгом Кантором в конце девятнадцатого века. Я выступал почти что в роли первопроходца, поскольку тема все еще оставалась довольно новой, а в то время немногие молодые математики посвящали свою деятельность малоизученному материалу. Теории Кантора привлекли мое внимание в последний год учебы в Макс-гимназии, и я тотчас загорелся желанием завершить начатое им дело. Мой предшественник взялся за один из наиболее интересных аспектов философских знаний — бесконечность, подойдя к нему с позиций математики. С первых страниц его трудов я понял — передо мной открылась золотая жила. Один из пунктов, включенных в знаменитую Гильбертову про-

грамму, как раз относился к теории трансфинитных чисел Кантора, а именно — так называемая "проблема континуума", которую тот так и не сумел решить.

Проблема континуума до сих пор не решена и стала чем-то вроде обидной оплеухи, полученной человеком от Господа, чуть не проклятием, свидетельством слабосилия человеческого разума.

Резюме 4
Свобода и любовь

В середине октября 1926 года я получил от Генриха письмо с радостными известиями: он не только успешно осваивал университетскую науку, но вдобавок повстречал девушку своей мечты и намеревался на ней жениться. Наталия, как отмечалось в письме, была чуть моложе Генриха, красива, умна и без памяти влюблена в него. Мне предлагалось не мешкая отправляться в путь, чтобы встретиться с другом и его невестой.

С не меньшим восторгом я написал в ответном письме, что предприму все возможное для скорейшего преодоления расстояния между двумя городами и сочту за честь познакомиться с любимой женщиной Генриха.

До сих пор мне не доводилось бывать в столице рейха. Я думал, что Берлин похож на Мюнхен, но ошибся: в то время это была настоящая столица мира или, по выражению писателя Стефана Цвейга, "новый Вавилон". И в самом деле, в 1926 году Берлин занимал третье место среди крупнейших городов планеты. Я сидел на вокзальной скамейке в ожидании встречающих, чувствуя себя в своем лучшем сюртуке белой вороной среди снующих вокруг пассажиров. Однако неловкое ощущение улетучилось при виде приближавшегося ко мне Генриха в сопровождении двух прелестных девушек. Одна была веснушчатой блондинкой с точеной фигуркой восемнадцатилетней девочки, а другая, рыжеволосая, выглядела еще ослепительнее.

— Познакомься, — сказал Гени, — Наталия, моя любовь и судьба. А прелестная особа рядом с ней отзывается на имя Марианна...

— Enchanté[1], — произнес я и поцеловал обеим руки.

Девушки смотрели на меня с улыбкой.

— Мой друг несколько старомоден, — извиняющимся тоном объяснил Гени. — А теперь — ходу, а то опоздаем!

Наталия и Марианна шли в нескольких шагах впереди нас, а мы вдвоем следовали за ними.

— Ну что, разве не конфетки? — повернувшись ко мне, тихонько и радостно процедил сквозь зубы Генрих.

— Послушай, на какие деньги мы будем их развлекать? — завел я разговор о том, что тревожило меня больше всего. — А их родители разрешают им?..

— Да забудь ты о христианских нравоучениях, все это в прошлом! — оборвал меня на полуслове Генрих. — У тебя сегодня праздник, какого, может, не будет еще очень долго, так что просто веселись и ни о чем не думай!

1. Мое почтение *(франц.)*.

Гени подозвал такси и велел отвезти нас к кафе "Бауэр" на Фридрихштрассе. Там мы посидели, слегка перекусили, причем, по мере приближения вечера, вокруг становилось все оживленнее, а я мог получше узнать своих новых знакомых. Как я и подозревал, Марианна на самом деле оказалась старше нас на два года, но вела себя как маленькая избалованная девочка: заказала себе двойную порцию десерта и в течение двух часов, которые мы там провели, почти не говорила со мной. Зато все время требовала внимания Наталии, делясь с ней впечатлениями по поводу роскошного интерьера зала, элегантных нарядов посетительниц и учтивости официантов. Наталия же только слушала и почти не отвечала. В какой-то момент она расхрабрилась и спросила, действительно ли я изучаю математику. Ее внимание так меня обрадовало, что я уже вознамерился было произнести небольшую речь о Канторе и теории бесконечности, но Генрих тут же прервал меня со свойственной ему бесцеремонностью.

— Этот город преисполнен низменных страстей! — воскликнул он, обращаясь к девушкам. — Готовы ли вы окунуться в мир разврата?

— О да! — немедленно отозвалась Марианна и впервые бросила на меня многозначительный взгляд. Я чувствовал, что мои щеки пылают.

— Думаю, в целой Европе нет такого количества кабаре, как здесь, — продолжал Гени. — В кафе "Националe" обслуживают официантки, голые по пояс. — Он подождал, пока девушки должным образом удивятся. — В "Аполло" можно танцевать вообще голышом, причем не важно, с женщиной или мужчиной — в зависимости от вкуса. Еще больше свободы в "Узах верности"; там запросто встретишь мужчин в женской одежде и женщин — в мужской...

Я был впечатлен богатым опытом Гени и подумал сначала, что он, наверно, успел наведаться во все злачные места Берлина. Но, поразмыслив, решил, что, скорее всего, этими познаниями поделился с ним его отец, хотя с трудом мог вообразить их беседующими на подобные темы. Девушки же просто внимали Генриху с восхищением.

— А что еще к нашим услугам? — попросила продолжения (не трудно догадаться!) Марианна.

— Здесь, в Берлине, выступают лучшие вокалисты мира. Доводилось слушать Ренату Мюллер? Или Эвелин Кюннеке? Но даже они не могут сравниться с Клер Вальдофф — некрасивой коротышкой с бочкообразной фигурой. И конечно же, взошедшая в этом году новая звезда — актриса Марлен Дитрих; все только и говорят о ее великолепной игре в пьесе "Из уст в уста"[1]...

С каждым словом Гени передо мной словно открывался незнакомый мир, и я вдруг ощутил, что мне в этом мире хорошо, очень хорошо...

— Расскажи о певице, — взволнованно проговорил я, — которую мы будем слушать сегодня!

— Джозефина Бейкер — верх совершенства! — голос моего друга звучал не менее возбужденно. — Сам Макс Рейнхардт[2], директор Немецкого театра, был потрясен, впервые присутствуя на ее выступлении.

1. Более чем четырехчасовое представление из 18 картин под музыку Оффенбаха, поставленное популярным в то время режиссером и продюсером Эриком Чэреллом.
2. Макс Рейнхардт (1873–1943) — немецкий театральный актер и режиссер, в 1905–1920 и в 1924–1933 гг. возглавлял крупнейший независимый театр Германии — Немецкий театр в Берлине.

Мы приехали туда, где должно было состояться представление (сейчас я уже не помню названия места), и Генрих сразу направился к администратору. Для нас оказался зарезервирован маленький столик неподалеку от сцены. Официантка принесла и поставила на него бутылку шампанского.

С самого начала я как завороженный не отрывал глаз от Джозефины Бейкер; она показалась мне необыкновенно красивой, самой прекрасной женщиной, какую я когда-либо видел! Она превосходила все описания Генриха. Ее бедра были прикрыты широкими платановыми листьями, которые развевались в стремительном танце, а маленькие груди с коричневыми сосками дрожали в такт. Она и в самом деле очаровывала страстной дикостью, но в то же время техника исполнения оставалась безупречной; ни одно движение ее тела не выбивалось из напряженного барабанного ритма.

— Приятного аппетита! — наклонясь в мою сторону, прокричал сквозь грохот Гени. — В Лейпциге такого не попробуешь!

Я промолчал, потому что не хотелось отвлекаться на разговоры. Я витал где-то на седьмом небе, я был поглощен без остатка зрелищем разгоряченной, мокрой от пота черной кожи, блестящих, гладко прилизанных волос. Сидящие рядом девушки тоже, как загипнотизированные, не отрываясь смотрели на сцену.

— И ведь все прекрасно знают, что она всего лишь шлюха, — продолжал говорить мне на ухо Генрих, — только очень дорогая. Посмотри, как все вокруг буквально сходят по ней с ума, но сделай она один неверный шаг, и ее тут же запрут обратно в клетку! Эх, умеют же здесь, в Берлине, веселиться, потому-то мне так нравится этот город! — воскликнул он, поднимая бокал.

Вслед завершившей выступление Джозефине Бейкер раздались неистовые аплодисменты, крики, публика, казалось, совсем потеряла голову. Я не мог успокоиться. Похоже, что остальные тоже были слишком взволнованы, потому что Наталия предложила пойти куда-нибудь еще. Мы посоветовались и остановили выбор на ресторане "Узы верности". Особенно на этом настаивала подвыпившая Марианна, которой непременно хотелось посмотреть на женщин, переодетых в мужчин. По дороге она остановила меня, подождав, когда Гени и Наталия уйдут вперед, поцеловала в губы и сказала, что я ее возбуждаю. Это необычайно возвысило меня в собственных глазах, и я гордо обхватил ее за талию.

То, что мы увидели в "Узах верности", не вполне оправдало наши ожидания. За некоторыми столиками действительно сидели девушки крупного телосложения, с гладко причесанными волосами, одетые в черные смокинги с белыми галстуками-бабочками... Однако остальные посетительницы все же носили женские наряды, под которыми, очевидно, не было ни лифчиков, ни трусов.

— Они тебе нравятся? — спросила меня Марианна.

— Да, кажется.

— А я?

— Очень! — я обхватил руками ее голову и крепко поцеловал.

— Ты меня любишь?

— Люблю! — сказал я не колеблясь.

— Хочешь я выйду за тебя замуж?

Я на мгновение запнулся и подумал, что на следующий день она вряд ли вспомнит об этом разговоре.

— Конечно хочу!

Больше мы в ту ночь почти не разговаривали, а только пили, целовались и под столом залезали руками друг другу под одежду.

После возвращения в Лейпциг все случившееся в Берлине казалось сном. Возобновилась обычная жизнь — серая, однообразная, расписанная по часам, и я чувствовал себя глубоко несчастным. Без особой радости ходил на занятия и продолжал изучение континуум-гипотезы.

Как-то утром по почте пришло письмо. Из Берлина. От Марианны.

Дорогой Густав! Как я узнала от Генриха, тебе предстоит невеселое Рождество в Лейпциге, поскольку твоего отца не будет в Мюнхене, и ты считаешь, что ехать туда не стоит. Какое совпадение, я оказалась в похожей ситуации: моя мать уехала в Америку повидаться с братом, и я вынуждена оставаться в Берлине в одиночестве. Так что я подумала, если захочешь, мы могли бы вместе провести праздники и, взявшись за руки, встретить новый 1927 год. Если это не мешает твоим планам и ты согласен, дай мне знать. *Марианна.*

Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы обдумать ситуацию: с одной стороны — заманчивое предложение Марианны, с другой — куча недоделанной работы, подготовка к экзаменам, косые взгляды Гуттенлохера. Решение проблемы было скорым и очевидным: в ответном письме я написал, что буду счастлив встретиться с Марианной, что знаю прелестную деревеньку на полпути между Берлином и Лейпцигом, где мы оба сможем прекрасно провести время, а после, может быть, и на лыжах покататься. Она тут же согласилась.

Я не мог и предположить, что от тех недолгих колебаний — посылать ответ или нет — зависело так много в моей будущей жизни. Узнав Марианну ближе, я открыл в ней обаяние и остроумие, о которых не подозревал поначалу. С ней было легко и радостно не только в постели — наши тела и руки очень скоро обрели сладкую гармонию, — но и потому, что она обладала редкостным даром слушать и понимать мужчину. Ее искренне интересовало мое увлечение математикой (чего я никак не мог ожидать от девушки); она даже попросила рассказать ей о Канторе из-за того только, что этот человек значил так много для меня.

— Да, любопытный был тип. Хотел познать Бога с помощью математики, — пробормотал я, не отводя глаз от обнаженной груди Марианны.

Мы лежали в жарко натопленной деревенской хижине, и огонь потрескивал в камине, будто гномы вели перестрелку в короткой войне.

— И ему это удалось?

— Нет, пожалуй, — ответил я, прихватывая губами ее розовый сосок. — У него было много врагов, и все старались отравить ему жизнь. Его считали сумасшедшим.

— Он в самом деле был сумасшедшим?

— У него была уязвимая психика. Он долго лечился от депрессии в больницах и реабилитационных клиниках.

— Бедняжка! Сколько ему пришлось пережить!

— Лишь новое поколение математиков сумело по-настоящему оценить его уже незадолго до смерти... — Мне доставляло огромное удовольствие разговаривать с голой женщиной о любимой науке. — Его стали награждать медалями и дипломами, однако слава пришла слишком поздно. Разум его помутился из-за непостижимости совершенных им

невероятных открытий. Кантор умер в сумасшедшем доме в Галле 6 июня 1918 года, за несколько месяцев до окончания войны.

Хижина, камин, Марианна — все это слишком хорошо, чтобы быть правдой... Я вдруг очутился в раю, о каком и не мечтал. Когда пришло время расставаться, я понял, что полюбил эту женщину больше всего на свете, что не смогу жить без нее, без запаха ее кожи, без ее сочувствия, нежности... То, о чем я, пьяный, сказал Марианне в Берлине, теперь стало для меня очевидным: мне действительно хотелось прожить вместе с ней всю жизнь. Так и случилось. 30 октября 1928 года Марианна Зибер стала моей женой. Меньше чем за три месяца до этого события, 7 августа, Генрих поклялся в вечной верности Наталии Веберн. Счастье пришло легко и просто, как в сказке или как решение алгебраического уравнения.

Резюме 5
Поиски абсолюта

В промежутке между 1928 и 1932 годами произошло много событий, которые так или иначе потрясли Веймарскую республику: Бертольт Брехт и Курт Вайль[1] поставили "Трехгрошовую оперу"; философ Рудольф Карнап[2] опубликовал свое "Логическое строение мира"; Марлен Дитрих стала — как и предсказывал Гени — великой кинозвездой благодаря сыгранной ею роли в фильме "Голубой ангел"; дирижабль "Граф Цеппелин" совершил кругосветный перелет; писатель Альфред Дёблин[3] закончил работу над книгой "Берлин, Александерплац"; власти Мюнхена не разрешили Джозефине Бейкер выступать в местном театре; Гитлеру удалось добиться высокого представительства своей партии в рейхстаге на выборах в 1930 году; Гёдель сформулировал знаменитую теорему; маршала Гинденбурга[4] в 1932 году вновь избрали президентом рейха, а к концу того же года сбылась заветная мечта Гитлера — двести тридцать нацистских депутатов взяли рейхстаг под свой полный контроль.

Поверхностное перечисление событий, конечно, не может передать зарождавшуюся тогда в Германии напряженную атмосферу страха и ненависти. Почему же я рассказываю об этом периоде так, словно подробности не имеют значения, почему не анализирую противоречия, послужившие причиной прихода к власти нацистского режима? Отвечу, хотя мне стыдно признаваться: потому что указанные четыре года были самыми благословенными в моей жизни. Иногда, вспоминая прошлое, мне кажется, что как раз в эти годы в нем как бы образовалась прореха; даже пытаясь восстановить в памяти день за днем, я не отмечаю ни одного существенного эпизода и... улыбаюсь. На протяжении четырех лет — четырех! — мое существование составляли незначительные события, повседневные мелочи семейной жизни, хождение по гостям и вечеринкам, упоительные сцены супружеской любви и великолепного отдыха на альпийских курортах. Весь мир готов был вот-вот перевернуться вверх тормашками; квантовая физика изменяла представления

1. Курт Вайль (1900–1950) — немецкий композитор.
2. Рудольф Карнап (1891–1970) — австрийский философ и логик. С 1935 г. жил в США.
3. Альфред Дёблин (1878–1957) — немецкий писатель.
4. Пауль фон Гинденбург (1847–1934) — президент Германии с 1925 г. 30 января 1933 г. поручил Гитлеру формирование правительства.

человечества о действительности; над Европой нависла черная тень фашизма; живопись, музыка, литература достигли невиданных высот; я же занимался главным образом тем, что лобзал нежный животик супруги, в университете решал задачки по математике и готовился к предстоящей Habilitationsschrift[1]. Подобные пустяки не заслуживают внимания читателя. Если ненадолго задержаться на моей профессиональной деятельности, то, несмотря на все усилия, проблема континуума оставалась нерешенной, зато по ходу дела я занялся другими вопросами, прежде всего в области физики, и эта работа принесла мне удовлетворение и, что немаловажно, одобрение моих научных руководителей.

Заостренный овал лица Марианны напоминал кошачью мордочку, сказал бы я, да только моя жена не обладала качествами, которые присущи этой породе животных, — коварством и стремлением держаться особняком. Напротив, ее отличали нежность и отзывчивость, особенно заметные в постели, в минуты нашей всеобъемлющей близости, когда сливались в единое целое тела и души и Марианна, на людях всегда вызывающе веселая и беспечная, преображалась в застенчивую и чувственную. Это не мешало ей быть зачинщицей многих наших тогдашних похождений и приключений. Она ощущала постоянную *потребность* заступать за рамки дозволенного, пробовать все на зуб и на ощупь. Очень часто мы ездили в Берлин, место нашей первой встречи, и вместе с Гени и Наталией, а то и без них, вновь углублялись в темные и извилистые закоулки таинственного мира ночного города. Марианна радовалась даже больше меня, если удавалось найти кабаре с каким-нибудь неприличным шоу.

Это был самый лучший период нашей дружбы с Гени и Наталией. Всех нас занимали одни и те же заботы, сомнения, мечты. Не случайно, что даже пожениться мы решили почти одновременно; нам хотелось все в жизни делать сообща. Кстати, отношения между Наталией и Марианной были очень похожи на наши с Гени. Обе родились и выросли в Гамбурге, будучи маленькими девочками поклялись в вечной дружбе и с тех пор не разлучались. А когда вышли замуж за таких же верных друзей, как мы с Гени, их привязанность только упрочилась. Бывало, мы всей компанией устраивали такие праздники, что вспомнить приятно! Мы были так близки и так любили друг друга, что назвать наши отношения семейными — не только не преувеличение, но, пожалуй, единственно верное определение.

Учеба Генриха продвигалась как нельзя лучше, я иногда даже завидовал ему. После завершения университетского образования в Берлине ему светила аспирантура в Гейдельберге под руководством Мартина Хайдеггера[2]. Более радужной перспективы не придумаешь. Но наступил переломный 1933 год, и не успели мы глазом моргнуть, как все наши планы резко изменились, как изменился и весь окружавший нас мир.

На состоявшихся накануне выборах нацисты получили около сорока процентов голосов. После стычек с коммунистами в Берлине Гитлер добился от президента страны, маршала Пауля фон Гинденбурга, своего назначения рейхсканцлером 30 января 1933 года. Несмотря на превосходство его противников в правительстве (только два нациста занимали министерские посты — Вильгельм Фрик и Герман Геринг), это

1. Конкурсная работа на замещение должности преподавателя *(нем.)*.
2. Мартин Хайдеггер (1889–1976) — философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма.

стало неожиданной для всех победой Гитлера и первым шагом на пути к диктатуре. Наступило начало конца.

27 февраля, меньше чем через месяц со дня назначения Гитлера, произошло непредвиденное событие, значительно ускорившее приход нацистов к власти. Вдруг, ни с того ни с сего кому-то понадобилось поджечь рейхстаг. На следующий день Гитлер издал Указ о чрезвычайном положении, в котором объявил о мерах, вводимых с целью противостоять возмутительным провокациям коммунистов: "Действие статей 114–118, 123–124 и 153 Конституции Германского рейха временно приостанавливается. В этой связи вводятся ограничения свободы личности, свободы слова, включая свободу печати, союзов и собраний; а также цензура почтовой и телеграфной переписки, прослушивание телефонных переговоров, ограничения неприкосновенности жилища, конфискации, ограничения прав собственности, каковые в дальнейшем осуществляются по усмотрению властей вне рамок, установленных до сих пор законом".

Из обгоревшего здания рейхстага полицейские выволокли длинного, нескладного молодого человека. Он выкрикивал одно слово: "Протестую, протестую!" – и был похож на душевнобольного с вытянувшейся, опухшей, черной от копоти физиономией. Через некоторое время стало известно его имя – Маринус ван дер Люббе[1], голландец, сторонник коммунистических идей.

Я как раз находился в Лейпциге, когда 20 сентября 1933 года официально начался суд над ван дер Люббе, но мне некогда было следить за ходом судебного процесса, поскольку в то время я сдавал один за другим целую кучу экзаменов и зачетов, а также выполнял разные формальности для поступления в аспирантуру Берлинского университета. В январе 1934 года пришло уведомление о том, что меня приняли. Свершилось! Кроме того, Генрих и Наталия уже пару месяцев как тоже вернулись в столицу рейха, и всем нам, четверым друзьям, снова предстояло быть вместе!

Приехав в Берлин, я сразу заметил, что город не такой, каким встретил нас несколько лет назад. Былая беспечность и эйфория если и не исчезли бесследно, то уступили место какой-то обреченности, которая так и витала повсюду – на Александерплац и в золоченых ложах Немецкой оперы, в университете и Институте имени кайзера Вильгельма, в Прусской академии наук и на Курфюрстендамм. Чтобы получить представление о том, как изменился город, достаточно сказать, что, когда по старой привычке шляться по кабаре Гени, Наталия, Марианна и я однажды вечером отправились в "Танцфест" – модное заведение, посещаемое иностранными дипломатами и туристами, нашим глазам предстало зрелище, может быть, еще более безнравственное, чем во времена Веймарской республики, однако производившее впечатление совершенно противоположное прежнему разнузданному и бесшабашному веселью. Вместо женщин, одетых мужчинами или вообще не одетых, бродили какие-то юноши, наряженные скелетами (возможно, грубо пародируя символику охранявших концентрационные лагеря гиммлеровских отрядов "Мертвая голова" – Totenkopfverbände). Они распевали хором: Berlin, dein Tänzer ist der Tod[2], отрывок из самого популярного тогда фокстрота со зловещим названием Totentanz – "Танец смерти". Но мне тогда казалось,

1. Маринус ван дер Люббе – голландский коммунист, гей и поэт, был признан виновным и приговорен к смертной казни за поджог рейхстага. Расстрелян в 1933 г.
2. Берлин, для тебя танцует смерть *(нем.)*.

что эти перемены пустяшные и не имеют никакого отношения к нашим судьбам. Естественно, я прекрасно видел, что нацисты раздувают националистические и антисемитские настроения, и без того сильные в наиболее консервативных кругах германского общества, однако, как и большинство населения, считал эти действия временным явлением, попытками поднять популярность Гитлера.

Ошибочность своего мнения я понял весной 1934 года, и это ранило меня больнее, чем все творившиеся тогда беды. Гораздо больнее, чем чистка СА[1] или Закон о полномочиях, предоставлявший фюреру неограниченную власть. Больнее даже, чем организованный в это время бойкот еврейских фирм или Закон о реорганизации государственного аппарата, запретивший всем "неарийцам" занимать чиновничьи посты.

Как-то Марианна и я пришли в гости к Гени с Наталией на очередную вечеринку. Часа два мы пытались более или менее слаженно сыграть "Эрцгерцог-трио"[2] Бетховена. Не помню, рассказывал ли я, что Гени играл на скрипке, Наталия — на фортепиано, а я — на виолончели. Марианна составляла всю нашу публику, однако ее аплодисментов нам было достаточно, чтобы считать себя неплохими исполнителями. Закончив музицировать, Наталия отправилась на кухню готовить ужин, а все остальные расселись поудобнее в самом умиротворенном расположении духа, навеянном музыкой. Вдруг, без всякого перехода или вступления, словно заводя речь о пустяках вроде погоды или болезни дальнего родственника, Гени заявляет, что намеревается поступить на службу в вермахт.

Сначала я подумал, что ослышался, однако, посмотрев на его серьезное и неподвижное лицо, понял, что это правда. Кровь застучала мне в виски, как барабан расстрельного взвода, взявшего ружья наизготовку. Меня обуял ужас. Происходило что-то непостижимое.

— Что ты сказал?

— Я решил пойти на службу в вермахт, — ровным тоном повторил он.

— Ты хочешь сказать, что цивилизованный человек, философ предпочел стать солдафоном? И вдобавок служить в нацистской армии? Я не могу в это поверить!

Марианна принялась меня успокаивать, а вернувшаяся с кухни Наталия подсела к мужу.

— Бог мой, Генрих, но зачем! — оторопело твердил я.

— Боюсь, тебе не понять, Густав. Это решение, может быть, самое философское из всех, что я принимал.

— Невероятно! Ты, наверно, сошел с ума! Гитлер — придурок, которому нужна только война! Тебе что — на фронт захотелось? Хочешь, чтоб тебе там пулей башку разнесло?

— Я уже объяснил тебе, — сдержанно ответил он, — это решение принято мной после долгих размышлений, осознанно; то, что я делаю, считаю своим долгом.

Я уставился на Наталию, державшую Генриха под руку, и не отводил взгляда, пока она не опустила глаза. Все это было чудовищно!

1. В ночь с 30 июня на 1 июля 1934 г. несколько сотен людей были подняты из постелей и расстреляны по приказу Гитлера. Одной из жертв этой акции оказался давний соратник и главный соперник фюрера Эрнст Рём, под началом которого было более трех миллионов штурмовиков (СА). Эта чистка впоследствии была названа "Ночь длинных ножей".
2. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели, соч. 97, посвященное другу и покровителю Бетховена эрцгерцогу Рудольфу.

— Но так нельзя! — в отчаянии воскликнул я. — Как можно ни с того ни с сего, вдруг отказываться от собственного мировоззрения! Признавайся: ты это делаешь, чтобы сохранить свои привилегии, так?

— Постарайся обойтись без оскорблений! — сухо проговорил он. Я не узнавал ни голоса, ни выражения лица Гени. Передо мной сидел чужой человек, не имеющий ничего общего с моим самым близким другом. — Повторяю, я поступаю так, как велит мне долг, а не ради выгоды. Речь идет о чести интеллигента, если это более понятно.

— Кто вбил тебе в голову подобные мысли, Гени? Наталия, скажи хоть что-нибудь, прошу тебя! — Она по-прежнему прятала от меня глаза.

У меня руки зачесались ударить его по лицу, такое зло взяло. Нам никогда не приходилось говорить на эту тему, но я привык думать, что у нас с Генрихом обо всем одинаковое мнение. И вот теперь он предал не только меня, но нас обоих... А ведь мы были как братья, даже больше, чем братья... Нет, не могу поверить!

— Нам лучше пойти домой... — поднялась Марианна. — Когда вы оба успокоитесь, сможете все обсудить мирно.

— Нам нечего обсуждать! — выкрикнул я.

Марианна и я лихорадочно собрали вещи и направились к выходу. Меня просто трясло от ярости.

— Густав, ради бога... — умоляюще произнесла вслед Наталия.

— Бог да простит вас! — бросил я.

Уран и компания

— С чего же начать? — в очередной раз спрашивал сам себя Бэкон по дороге в комендатуру. Накануне он еще раз перечитал запись показаний Вольфрама фон Зиверса: "Деньги на исследования выделялись, только если проект визировал советник фюрера по науке. Кто был этот засекреченный ученый на самом деле, мы не знали. По слухам, в миру его признавало и почитало все научное сообщество. Нам он был известен только под условным именем Клингзор". Может, стóит опять допросить фон Зиверса? Хотя вряд ли чего-то добьешься; немец уже неоднократно отказывался от своего заявления и отрицал, что вообще когда-либо произносил слово "Клингзор".

А может, обратиться к Сэмюэлу И. Гаудсмиту, своему бывшему начальнику по военной службе? Ему, как никому другому, известно обо всем, что связано с научными исследованиями в нацистской Германии.

Бэкон служил под командованием Гаудсмита до конца 1945 года в составе руководимой им группы по вопросам науки в рамках программы Alsos. В 1920-х годах Гаудсмит был одним из тех многообещающих молодых ученых, которые много сделали для развития зарождавшейся тогда квантовой физики. Получив образование под началом Пауля Эренфеста[1], Гаудсмит — по происхождению голландский еврей — нашел себе работу в Мичиганском университете. Его родителям не повезло; они не смогли вовремя последовать за сыном, и разразившаяся война, а затем нацистская оккупация Голландии застали их в Гааге. Гаудсмит приложил все усилия, чтобы перевезти родителей в Америку. Однако, когда в кон-

1. Пауль Эренфест (1880—1933) — нидерландский физик-теоретик.

це концов ему удалось собрать все необходимые документы, было уже слишком поздно: в 1943 году, во время массовой депортации евреев, стариков арестовали и отправили в Аушвиц.

В отчаянии Гаудсмит обратился за поддержкой к ученому-физику Дирку Костеру, уже занимавшемуся в 1938 году спасением Лизы Майтнер[1], чтобы тот в свою очередь добился содействия Вернера Гейзенберга. Вскоре от Гейзенберга пришло письмо, которое Костеру следовало показать нацистским оккупационным властям в Нидерландах. В нем он с благодарностью упоминал о гостеприимном приеме, оказанном семьей Гаудсмитов немецким физикам во время их поездки в эту страну. Однако помощь не поспела вовремя: за пять дней до отправки Гейзенбергом своего послания старики погибли в газовой камере Аушвица — как раз в день, когда отцу исполнилось семьдесят лет. Гаудсмит был уверен, что Гейзенберг не предпринял достаточных усилий для спасения его родителей, и никогда не простил ему этого.

Участники миссии Alsos высадились в Нормандии вскоре после наступления "дня Д" — открытия второго фронта. Перед ними стояла главная задача — найти и захватить десятерых немецких ученых, работавших в проекте атомных исследований Германии, а именно: Вальтера Герлаха, Курта Дибнера, Эриха Багге, Отто Гана, Пауля Гартека, Хорста Коршинга, Макса фон Лауэ, Карла Фридриха фон Вайцзеккера, Карла Вирца и, само собой, Вернера Гейзенберга.

Несколько дней Гаудсмит и Бэкон держали путь через опустошенные северные области Франции и Бельгии, пока наконец не достигли Голландии. Гаудсмит первым делом направился в Гаагу, где нашел развалины, оставшиеся от родного дома. Бэкон увязался за ним и стал свидетелем слез бессильной ярости и вины, стекавших по лицу ученого. Он не знал, как утешить старшего товарища. Среди многочисленных образов, олицетворяющих войну, в его памяти на всю жизнь остался этот высокий, сильный мужчина с косинкой в глазах, оплакивающий разрушенный домашний очаг и гибель престарелых отца и матери.

Из Гааги они перебрались в Париж, где обосновался генеральный штаб Alsos. Там располагалась лаборатория французского физика Фредерика Жолио-Кюри, которая в период оккупации использовалась немцами, и участники миссии собрали всю имевшуюся в ней информацию. Затем они поехали в Страсбург и посетили открытый там гитлеровцами немецкий университет. В конце марта 1945 года они прибыли в старинный университетский город Гейдельберг, где арестовали двух немецких физиков — Вальтера Боте и Вальтера Гентнера — и создали передовой южный пост миссии Alsos.

Подробные допросы Боте и Гентера позволили Гаудсмиту и Бэкону узнать точное местонахождение всех до единого немецких ученых, участвовавших в ядерной программе, а также где проводились исследования. Кроме того, подтвердилось предположение, имевшее важное значение для дальнейшего хода войны, а именно: среди пресловутых секретных вооружений Гитлера отсутствовала атомная бомба.

Это известие немного успокоило Вашингтон. Генерал Гроувз слегка изменил основную задачу миссии: учитывая, что некоторые немецкие физи-

1. Лиза Майтнер (1878—1968) — австрийский физик; с 1907 г. работала в Германии, в 1938 г. эмигрировала в Швецию.

ки после окончания войны окажутся на территории, занятой французскими или русскими войсками, необходимо взять их в плен как можно скорее.

Было принято решение о формировании ударного отряда под командованием полковника Пэша, который будет целенаправленно продвигаться к Гайгерлоху, где немцы построили атомный реактор, и Гехингену, куда переехал основной коллектив физиков во главе с Гейзенбергом.

Подразделение миссии Alsos, умело ведомое Пэшем, вошло в город Гайгерлох 23 апреля, в День Святого Георгия, за час до вступления туда французских войск. Американцы без особых затруднений нашли и арестовали Карла Вирца, Эриха Багге, Карла Фридриха фон Вайцзеккера, а также Макса фон Лауэ, который, впрочем, не имел никакого отношения к атомным исследованиям. Разобрав реактор, Пэш и Бэкон направились в соседнюю деревню под названием Тайльфинген, где отыскали и взяли в плен Отто Гана, первооткрывателя ядерной реакции. Всех арестованных и лабораторное оборудование отправили в Гейдельберг.

Оставалось завершить наиболее трудную часть операции. На свободе еще оставались три ученых-физика: Дибнер и Герлах в Мюнхене, а также Гейзенберг, который, как стало известно, уехал за 250 километров в селение Урфельд разыскивать свою семью. Подразделение миссии Alsos разделилось надвое; одна часть направилась в Мюнхен за Дибнером и Герлахом, другая, под командованием Пэша — к ней примкнул и Бэкон — проследовала в Урфельд. 30 апреля, в день самоубийства Гитлера в Берлине, операция в Мюнхене была успешно осуществлена.

1 мая десять человек под командованием Пэша на четырех автомобилях приехали в маленькую деревеньку Кохель в Баварии. На противоположном от нее склоне невысокой горы Кессельберг располагался Урфельд.

Через сутки команда Пэша добралась до небольшого дома, где жил Гейзенберг. Ученый сидел на веранде, созерцая невозмутимую гладь озера. Высокий, худой, с лицом невинного ребенка и типичными для немца русыми волосами, Гейзенберг вызывал у лейтенанта симпатию и сочувствие. Его облик излучал молчаливое достоинство побежденного героя. Никогда не забудет Бэкон это неподвижное и серьезное мальчишечье лицо и глаза, напоминающие две маленькие голубые копии озера.

— Не хотите ли войти, господа? — равнодушно-вежливо произнес Гейзенберг, увидев Пэша и Бэкона.

Внутри дома их встретила жена Гейзенберга Элизабет, истощенная и очень напуганная, а также шесть его маленьких детей. Не теряя времени на церемонии, Пэш объявил, что хозяин дома арестован армией США. Немецкий физик выглядел слегка удивленным — он не ожидал, что союзники уже контролируют этот район и за ним придут так скоро, — однако не проронил ни слова.

Вдали послышались выстрелы. У Пэша мелькнула мысль, что стреляют снайперы. В любом случае рассуждать было некогда. Он велел Гейзенбергу поспешить, собрать кое-какие личные вещи и приказал Бэкону отвести арестованного в бронеавтомобиль. Обстановка диктовала необходимость немедленно доставить ученого в Кохель, где он будет в большей безопасности.

Сидя напротив ученого, Бэкон искал предлога, чтобы заговорить, но не находил слов. Как выразить свои чувства от встречи с физиком, чьи работы он знал так хорошо с юношеского возраста, кем восхищался всю жизнь? Ему казалось, что обстоятельства делали подобные вы-

сказывания неуместными. Вокруг в развалинах простиралась Бавария, родина Гейзенберга, и тут вдруг приставания с разговорами о науке! Ощущая чуть ли не вину, Бэкон избегал встречаться с ученым взглядом. Так прошло несколько минут, пока Гейзенберг сам не начал беседу.

– Полагаю, разыскать меня было не просто? – спросил он по-английски тоном, преисполненным достоинства.

– Да, нам пришлось нелегко, – ответил Бэкон по-немецки.

– О-о! – выразил удивление Гейзенберг, но как-то равнодушно. – Немецкому научились в армии?

Машину тряхнуло на кочке.

– Нет, сэр. В Принстонском университете.

– В Принстонском? – переспросил Гейзенберг. – Что изучали?

Бэкон предпочел сказать неправду.

– Экономику, – выпалил он первое, что пришло в голову.

После некоторого молчания Гейзенберг снова заговорил.

– Красивый город... Я имею в виду Принстон. Бывал там... Участвовал в научных конференциях, как понимаете.

– Когда вы в последний раз приезжали в Соединенные Штаты?

– В тридцать девятом, перед войной... – Он замолк, словно вспоминая прошлое. – Всего шесть лет прошло, а кажется – целая вечность, не так ли? А знаете, я ведь неоднократно собирался переехать жить в вашу страну.

Ну, это уж слишком, подумал Бэкон, но, не желая показаться грубым, после короткой паузы сказал только:

– Что ж не переехали?

Гейзенберг помолчал. Потом пригладил волосы и сплел перед собой пальцы рук, покрытых белой и нежной, как у женщины, кожей, словно стараясь этим жестом сделать свое объяснение более понятным.

– Знаете, повсюду в мире вы можете выпить пива – хорошего, плохого, темного, горького, даже перченого, какого угодно. И все же баварское пиво – самое вкусное, оно нравится всем! Однако, если вообразить, что баварское пиво вдруг испортилось, стало хуже, чем, скажем, бельгийское или голландское, мы должны попытаться сделать его лучше. И если политики наносят вред экономике страны, мы также должны каждый день бороться за то, чтобы исправить положение. Понимаете?

– Думаю, что да, – неуверенно произнес Бэкон.

На самом деле он не понимал. То есть ему были понятны такие категории, как национализм, любовь к отчизне, однако он считал *недопустимым*, чтобы человек работал – добровольно! – на шайку злодеев, преступников; чтобы кто-то направил свой разум, свои знания во вред – именно *во вред*! – родной стране и всему человечеству и ни на минуту не задумался о нравственной стороне своих действий. Да, Бэкон восхищался Гейзенбергом как ученым, но одновременно презирал его за бездумное безразличие, с каким он пошел на службу к Гитлеру. А пришедшее на ум воспоминание о заживо сожженных в газовой камере родителях Гаудсмита развеяло малейшие зачатки жалости к Гейзенбергу.

На следующий день Гейзенберг и Бэкон прибыли на передовой южный пост миссии Alsos в Гейдельберге. Город одного из старейших и наиболее уважаемых в мире университетов показался лейтенанту мрачным и угрожающим. Блики на речной глади Неккара болезненно кололи глаза, знаменитый древний замок неприветливо взирал своими окнами с высоты одного из довлеющих над местностью холмов. Позади

настороженно застыл сплошной темной стеной лес. Как верна мысль, подумалось Бэкону, что природа по сути нейтральна и выглядит красивой или отталкивающей в зависимости от настроения наблюдателя.

В помещении миссии прибывших встретил Гаудсмит. Он холодно поздоровался с Гейзенбергом; тот, в свою очередь, с полным безразличием воспринимал все происходящее и потому казался надменным и гордым. Гаудсмит поблагодарил Бэкона за выполненное задание и повел Гейзенберга на допрос, длившийся несколько часов. До этого оба встречались в последний раз в университете Энн-Арбор штата Мичиган в ходе визита немецкого ученого в США накануне войны. Их разделяло не только время — несуществующее измерение, созданное человеческим разумом, — но также нравственная пропасть между совершившим преступление и несущим возмездие, между подсудимым и судьей, между человеком, которого предал друг, и тем самым бывшим другом, который, весьма вероятно, чувствует себя предателем. Бэкон не присутствовал на их встрече, но к концу этого долгого дня, за ужином, Гаудсмит не удержался и кое-что рассказал ему о пленнике.

— Предложил ему работать вместе, уехать в Соединенные Штаты. — В его голосе звучала горечь; Гаудсмит вспомнил, как еще тогда, в Энн-Арбор, делал нынешнему пленнику точно такое же предложение. — И знаете, что он мне ответил, лейтенант?

— Нет, сэр.

— Напустил на себя всю свою немецкую спесь и говорит: "Не хочу уезжать. Я нужен Германии". — Гаудсмит поднял к лицу руку и устало закрыл ею глаза. — *"Я нужен Германии"*! Невероятно!

На следующий день Гаудсмит передал всех десятерых арестованных — Багге, Дибнера, Герлаха, Гана, Гартека, Коршинга, фон Лауэ, фон Вайцзеккера, Вирца и Гейзенберга — американской военной администрации. Миссия Alsos завершилась. Пленников поместили в лагерь для интернированных "Дастбин" неподалеку от Версаля.

С этого момента лейтенант Бэкон потерял их из виду, но позже до него дошли сведения, что при содействии шотландского физика Р. В. Джонса, бывшего профессора философии естественных наук Абердинского университета, ставшего начальником секретной службы генштаба британских ВВС, через несколько месяцев пребывания в лагере немецких ученых перевели в Фарм-холл, загородную усадьбу вблизи Годманчестера, принадлежавшую разведслужбе Великобритании "МИ-6". Там они оставались до конца года и там же из газет и радиопередач Би-би-си узнали о первой атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года. Впоследствии Гаудсмит сообщил Бэкону в письме, что, услышав новость, Вальтер Герлах, который был руководителем атомной программы нацистов, заперся в своей комнате и всю ночь проплакал, будто проигравший решающую битву полководец.

Р. В. Джонс заранее позаботился о том, чтобы установить звукозаписывающую аппаратуру в помещениях Фарм-холла, предназначенных для проживания в заключении десяти немецких физиков, и все их личные разговоры стали известны британской разведке.

В ответ на просьбу Бэкона о помощи в поисках Клингзора Гаудсмит отослал в комендатуру американской оккупационной зоны в Нюрнберге некоторые звукозаписи из Фарм-холла. В них, по мнению Гаудсмита, мог отыскаться какой-нибудь след, ведущий к Клингзору.

Внимательно перечитав копию звукозаписи, Бэкон с разочарованием отметил, что в ней ни разу не прозвучала прямая ссылка на Клингзора, предполагаемого помощника Гитлера по вопросам науки. Немного поостыв, Бэкон принялся изучать текст документа с большей тщательностью:

[*6 августа 1945 г. Несколько часов спустя после сообщения Би-би-си о ядерной бомбардировке Хиросимы.*]

ГАН — Если американцы сделали урановую бомбу, то все вы — второсортные ученые.

ВИРЦ — Проблема не в технических знаниях, а в том, как проводились наши исследования. В Германии политика погубила науку.

ГЕРЛАХ — Мы только подчинялись приказам, зависели от более широкого плана, разработанного без нашего участия.

ВИРЦ — План, план... Просто нам с самого начала следовало сосредоточиться на одной задаче! Единственный вопрос, который сейчас имеет значение — почему нас постигла неудача?

ГЕРЛАХ — Наша программа была одной из многих... Он считал ее не самой важной, отказывал нам в обеспечении ресурсами...

БАГГЕ — Что могло быть важнее?

ГЕРЛАХ — Вот как раз для него первостепенное значение имели сумасбродные, неосуществимые идеи, несбыточные мечтания... После них нам доставались крохи, которых хватало лишь на исследования в минимальном объеме. Reichsforschungsrat все деньги направлял на всякий псевдонаучный вздор... Взять, к примеру, Ahnenerbe.

[*10 августа 1945 г.*]

ГЕЙЗЕНБЕРГ — Наши расчеты были правильными. Так же, как и наша оценка критической массы, необходимой для инициирования цепной реакции.

ДИБНЕР — Тогда в чем причина неудачи?

ГЕРЛАХ — Неправильным было решение производить уран в промышленном масштабе, большими объемами. Совет по научным исследованиям полагал, что мы не успеем создать боеспособную бомбу до окончания войны. Нам приходилось околачивать пороги кабинетов — от Гиммлера к Шпееру, от Бормана к Герингу — и доказывать целесообразность продолжения работы над проектом... У всех всегда находились более важные дела. А он никогда не придавал нам значения...

ДИБНЕР — У нас была гораздо более скромная конечная цель — построить атомный реактор, создать условия для самодостаточной цепной реакции, вот и все!

ГЕРЛАХ — Повторяю — мы проиграли потому, что он не пожелал оказать нам должную поддержку. Бюджетом не предусматривалось финансирование наших работ.

От остальных записей толку было еще меньше. Одни только жалобы, угрызения совести, взаимные обвинения, преисполненные горечи поражения. Бэкон обратил внимание на маленькую деталь: Герлах постоянно выражал недовольство тем, что много средств предназначалось вместо атомной программы другим "секретным" проектам. Но в чьем ведении находилось распределение ресурсов? Кто этот загадочный "он", которого то и дело обвинял Герлах? Бэкон не знал, что и думать.

Параллельные миры

Нюрнберг, 2 ноября 1946 г.
От лейтенанта Фрэнсиса П. Бэкона
профессору Джону фон Нейману

Уважаемый профессор!

Не знаю, с чего начать. Мы столько времени не виделись, что накопилось слишком много всего, о чем хотелось бы рассказать. То, что Вы называли игрой в войну, оказалось, сверх всяких наших ожиданий, занятием довольно нудным и кровожадным (впрочем, в этом как раз нет ничего нового). Да, не буду докучать истинами, известными Вам не хуже меня. От себя могу лишь добавить, что, как ни тяжело признавать, наилучший вариант такой игры — вообще в нее не играть.

В настоящее время я вовлечен в другую игру, вполне безопасную, но, может быть, именно поэтому весьма непростую. Для начала, кому бы пришло в голову, что из меня получится, вместо погруженного в размышления ученого, даже не солдат, а сыщик, преследующий ученых. В подобном превращении есть определенная доля Вашей вины, чем я осмелюсь воспользоваться и попросить у Вас помощи. Вы разрешите мне объяснить, в чем дело, и быть уверенным, что Вы не захлопнете впоследствии дверь Вашего дома у меня перед носом? Благодарю. Итак, сложность состоит в том, что я, игрок, не только не осведомлен о названии игры и ее правилах, но даже не знаю, в чем заключается выигрыш. Интересно, к какой категории Вы отнесли бы ее по вашей классификации? Возможно, нашелся совершенно новый тип игры, в которой участники до самого финала не знают, какой их ожидает приз. У меня есть уравнение с невероятным количеством неизвестных и лишь самый конец путеводной нити Ариадны, на эту тонкую ниточку нельзя положиться в непроглядной тьме современной Германии. К тому же речь идет о засекреченном задании, то есть предполагается, что я должен держать язык за зубами, но я все же решил рискнуть.

Итак, Вам что-нибудь говорит слово *Клингзор*? По некоторым сведениям, Клингзор — условное имя немецкого ученого, занимавшего у нацистов весьма высокое положение. Что-то вроде шпиона, пятой колонны в научных кругах Германии. Как бы то ни было, военная разведка поручила мне провести расследование. Ладно, перехожу к сути. Как понимаете, я собираюсь попросить Вас кое о чем, иначе не стал бы развлекать Вас побасенками. Мне нужно, чтобы Вы помогли мне выбрать направление. Стыдно для опытного работника, но не знаю, с чего начать. С нетерпением жду ответа.

Принстон, Нью-Джерси, 9 ноября 1946 г.
От профессора Джона фон Неймана
лейтенанту Фрэнсису П. Бэкону

Дорогой Бэкон!

Приятно получить от Вас весточку, поскольку прежде всего это свидетельствует, что Вы все еще живы, — полагаю, прийти к такому умозаключению достаточно логично. Ничего не слышал о Вас с тех пор, как мы последний раз виделись в Лондоне примерно тысячу лет назад! Ну и времечко выпало на нашу долю! Похоже, само течение жизни ускорилось в угоду науке! Не хочу показаться жестокосердным, я понимаю, конечно, человечеству пришлось пережить трагедии, тяжелее которых, возможно, не случалось во всей его истории, однако убежден — избежать их все равно бы не удалось. Было просто необходимо закончить войну *немедленно*. Хуже всего то, что не успели мы развязаться с одной войной, как тут же начинаем другую — на этот раз против русских. А они могут оказаться гораздо опаснее нацистов, уверяю Вас! Я жил в Венгрии в период правления красных, и можете мне поверить, юноша, то был ад кромешный! Так что, дорогой друг, нам надо будет снова встретиться и с помощью нашей теории игр найти выигрышный вариант в этой партии против Сталина...

Мой дорогой Бэкон, мне тоже хотелось бы рассказать вам много интересного о работе, которую мы проделали в Нью-Мексико в последние месяцы войны, однако я чувствую себя слишком усталым и вдобавок, как Вы, наверно, понимаете, мне запрещено даже упоминать об этой работе. Поэтому перехожу к ответу на Ваш вопрос. У меня для Вас хорошие новости, юноша! Несомненно, нам повезло! Из-за Вас мне пришлось всех с ног на голову поставить, но, похоже, не зря. Бюрократы во всем мире одинаковые. Ни один бюрократ не решит вам дела с первого раза — это одно из правил их кодекса поведения. Он должен сначала спросить разрешения у своего начальника, тот — у своего, и так далее до самого президента, госсекретаря или министра обороны... Если хочешь чего-то добиться от этих скотов, надо набраться терпения и ждать. Наконец, как я и предвидел, дверь приоткрылась...

Впрочем, не стоит чрезмерно обольщаться. Это даже не дверь и не дверка, а скорее узенькая щель, которая, возможно, указывает путь в нужном направлении. Но ведь надо начинать с чего-то. Не следует пренебрегать малым, стремясь достичь великого. Изучая элементарные частицы, да познáете Вселенную, из которых она состоит, молодой человек! Послушайте-ка вот такую историю.

В 1944 году группа офицеров немецкой армии решила положить конец жизни Гитлера. Замысел был следующий — убить фюрера, осуществить государственный переворот, ликвидировать нацистов в правительстве. К несчастью, их постигла неудача. Фюрер остался невредим, а попытка переворота была подавлена с невиданной жестокостью Гиммлером и его эсэсовцами, мастерами в таких делах. Все, о чем я до сих пор рассказал, общеизвестно, хотя к настоящему времени этот эпизод уже почти полностью забыт. В заговор были вовлечены военные, дипломаты и представители гражданских кругов. По приказу Гиммлера любого человека, связанного каким-либо, пусть самым отдаленным, образом с участниками подготовки покушения, следовало арестовать, обвинить в измене и казнить. За период с августа по сентябрь в геста-

повских застенках очутились сотни людей. Большинство из них были расстреляны или отправлены в концентрационные лагеря.

И вот тут-то начинается самое интересное. Среди арестованных находился ученый-математик, друг офицера вермахта, участвовавшего в заговоре. Как и многим другим, ему было предъявлено обвинение в государственной измене на одном из заседаний берлинского суда, только почему-то не вынесли смертного приговора, а долго таскали по разным тюрьмам, пока наш патруль не освободил его за несколько дней до окончания войны... Эта история не казалась бы особенно впечатляющей, если бы не пара случайных деталей, которые, похоже, представляют для нас интерес. Во-первых, отвечая на вопросы американского офицера, бывший узник заявил, что был арестован и брошен в тюрьму исключительно по вине Клингзора. Вторая случайная деталь еще более удивительная: я знаком с этим человеком! Да-да, дорогой Бэкон, математик, о котором мы ведем разговор, был моим другом еще до войны. Его имя — Густав Линкс.

Познакомились мы в Берлине в 1927 году. Я в то время учился у профессора Гильберта в Гёттингенском университете. Линкс уже тогда потрясал своим интеллектом, но при этом оставался скромнягой. Его признавали на международных математических конгрессах, хотя мы с ним почти одногодки. Насколько мне помнится, он был одержим поисками решения теоремы континуума Кантора. Свою первую ученую степень получил в Лейпцигском университете, затем написал и защитил докторскую диссертацию в Берлинском университете. Мы поддерживали отношения примерно до 1936 года; с тех пор я ничего о нем не слышал...

Ну как? К счастью, он жив, и, надеюсь, ему можно доверять. Это наш человек! Как с ним встретиться? Да очень просто. Он находится там же, где и все остальные немецкие ученые, избежавшие плачевной участи оказаться в советской зоне оккупации, — в Гёттингене. Найти его там не представит труда. Желаю вам удачи в новой игре, дорогой Бэкон, и не забывайте держать меня в курсе ваших достижений.

Нюрнберг, 26 ноября 1946 года
От лейтенанта Фрэнсиса П. Бэкона
профессору Густаву Линксу

Уважаемый профессор!

Меня зовут Фрэнсис П. Бэкон, я физик по образованию, окончил Принстонский университет. Здесь, в Германии, я провожу расследование по заданию военного командования США. Наш общий друг, профессор фон Нейман, сказал, что, возможно, Вы могли бы мне помочь. Если вы не против, мне хотелось бы встретиться с Вами в Гёттингене. Был бы безгранично благодарен за сотрудничество.

Для чего я мог понадобиться какому-то физику, который вдобавок не постеснялся объявить о своей принадлежности к американской армии? Что ему от меня нужно? И самое главное, с чего это фон Нейман решил, что я мог бы ему помочь? Неужели они все никогда не оставят меня в покое?

После освобождения в 1945 году мне ни разу не представилась возможность вернуться к нормальной жизни. Германия была полностью

разрушена, и союзники расчленяли ее труп в соответствии со своими договоренностями, достигнутыми на конференциях в Ялте и Тегеране. В отличие от ученых-физиков, работавших в рамках немецкой атомной программы, я был задействован в ней лишь постольку-поскольку, выполняя задания Гейзенберга в качестве обычного математика. Это избавило меня от участи остальных членов Uranverein[1]: поскольку я не считался ценным военным трофеем, мне не пришлось ехать под конвоем сначала в Париж, а затем — в Фарм-холл. После проверки личности, убедившись в моем антинацистском прошлом, американцы отпустили меня на все четыре стороны. Через несколько месяцев после окончания войны я смог перебраться в Гёттинген, захватив с собой то немногое, что имелось из имущества, — все равно после смерти Марианны меня мало интересовали материальные блага, — и осел в этом сумрачном университетском городке, располагавшемся в британской зоне оккупации.

В отличие от слишком злопамятных французов и американцев, а также русских, не замедливших прибрать к рукам научно-исследовательские ресурсы немцев, англичане проявили бóльшую сострадательность. Под влиянием присущей этой нации особенности отвергать все авторитарное они решили, что гарантировать мирное и стабильное будущее Европы можно, только предоставив относительную автономию находящейся под их контролем территории Германии. Следуя этому убеждению, англичане способствовали сосредоточению в Гёттингене немецкого научного потенциала. Единственным неудобством для реализации их планов была чрезмерная близость города к советской зоне оккупации, граница с которой пролегала всего в нескольких километрах.

Я чувствовал себя совершенно разбитым, когда приехал в Гёттинген. Ничто меня не интересовало, и сам я был — ничто... Меня не отпускала мысль о том, какой никчемной оказалась вся моя жизнь. Цифры, формулы, теоремы, аксиомы — вздор, сделавший меня в смутное время молчаливым соучастником преступления. В 1946 году немецкий ученый значил меньше, чем насекомое. Какая польза от млекопитающего, которое вместо того, чтобы класть кирпичи, изучает их форму и измеряет их длину? Я ощущал себя не просто ненужным, но даже лишним. Если, как скажет позже один философ, литература стала невозможной после Аушвица, то что же говорить о математике? Кого могли волновать Кантор и проблема континуума, когда прервались миллионы человеческих жизней? Как мне на улице смотреть людям в глаза?

Я поселился в одном из разоренных многоквартирных домов на окраине города, не зная, чем заняться. По соседству со мной в голых комнатенках ютились целые семьи. В конце февраля в Гёттинген приехали Вернер Гейзенберг и Отто Ган, до которого совсем недавно дошло известие о присуждении ему Нобелевской премии за открытие деления атомного ядра. И тот и другой заручились дозволением британских властей (а те в свою очередь — американских) приступить к воссозданию отделений соответственно физики и химии Института имени кайзера Вильгельма. Их миссия сообщала некоторое оживление городу, но этого было недостаточно, чтобы вывести меня из летаргического состояния. Я ощущал полное безволие. Совершенно автоматически принял предложение возглавить кафедру математики в университете, руковод-

1. Урановый союз *(нем.)*.

ствуясь единственным соображением, что так мне проще всего заработать на жизнь, не прилагая особых усилий. Во всяком случае, я не собирался заниматься научно-исследовательской деятельностью или вмешиваться в учебную работу.

Между тем союзники принимали срочные меры в соответствии с программой *денацификации* общественной жизни Германии. Всех нас, немецких граждан, заставили заполнить анкеты, в которых неоднократно повторялись вопросы о принадлежности к ассоциациям или группам, так или иначе связанным с нацистской партией. Те, кто отвечал утвердительно, были обязаны предстать перед военным трибуналом для дачи показаний. Выявленные таким образом члены партии и примыкавших к ней структур лишались права осуществлять любую деятельность, имеющую отношение к государственной службе. В Германии университетские кафедры традиционно являлись частью центральной администрации, поэтому большинству профессоров пришлось вступить в нацистскую партию единственно ради сохранения рабочего места. Все это привело к тому, что для сотен хороших ученых обратная дорога в академическую жизнь оказалась закрытой, а многим профессорам более низкого уровня, не значившимся в партийных списках, достались должности, ранее для них недоступные.

Когда наступила моя очередь отчитаться за прошлое, нашлись несколько свидетелей, хорошо знавших о том, как далек я был от нацистов. Благодаря этим Persilscheine — так в народе прозвали оправдательные показания, имея в виду рекламу известной торговой марки мыла "Персил": "Не просто чистый — незапятнанный!" — в октябре 1946 года меня назначили Extraordinarius[1] математической логики в древнейшем университете имени Георга Августа в Гёттингене.

Как только я получил письмо лейтенанта Бэкона, сразу понял — это некий знак, зов судьбы. Тем не менее поначалу постарался не придавать ему значения, убеждал себя, что речь идет просто о еще одном обычном расследовании, которые в те дни уже всем оскомину набили. Однако Джонни не вспомнил бы обо мне, желая лишь помочь какому-то солдатику заполнить бюрократическую анкетку; между строчками письма прячется что-то гораздо большее. Отсюда вопрос: а нужно ли мне все это? Хочу ли я снова окунуться в пережитую боль, воскресить ужас двенадцати лет гитлеровской диктатуры, когда все уже наконец позади? Не лучше ли безвозвратно забыть? Именно так и поступали все вокруг, словно подчиняясь категорическому запрету поминать всуе преисподнюю.

По Аристотелю, инициирующая причина материальной причины есть формальная причина причиненного. Значит, надо винить фон Неймана во всем, что произошло после того, как ему взбрело в голову назвать мое имя? Или, еще точнее, взвалить на него ответственность за письмо, посланное им, скорее всего в спешке и без особых раздумий, на адрес одного из своих учеников? Старый добрый фон Нейман, знаток случайностей, сам ставший орудием случая...

Лейтенант Фрэнсис П. Бэкон появился в моем нетопленом кабинете одетый в американское обмундирование, что поначалу производило впечатление не только бестактности, но также способа оказать на меня психологическое давление. Кажется, у меня еще не было повода дать подроб-

1. Внештатный профессор *(нем.)*.

ное описание его внешности, и вот каким я увидел его тогда в Гёттингене. Высок, но не слишком, с лица не сходит вымученная ухмылка, будто чувствует, как неловко сидит на нем офицерская форма. Заметно сутулится, конечности длинные — когда он поднял руку в военном приветствии, было видно, как рукав сорочки сполз до локтя, — но в целом можно сказать, что не урод. Взгляд умный, все время перемещается с предмета на предмет (я даже подумал, что он хочет запомнить обстановку в моем кабинете и потом составить о ней отдельный отчет) — гораздо более живой по сравнению с довольно-таки угловатой осанкой. Я прикинул, что ему не больше тридцати, то есть лет на пятнадцать младше меня.

Его порывистые движения немного раздражали, хотя подозреваю, что моя медлительность производила на него такое же впечатление. Его левая бровь дергалась, указывая на склонность к потере самоконтроля, в то же время твердая, решительная линия губ придавала его лицу некую грубоватую чувственность, не оставлявшую, полагаю, женщин равнодушными.

Выслушав довольно официальное представление, я предложил ему сесть. Опершись локтями на мой письменный стол, он сразу взял быка за рога.

— Вы состояли в нацистской партии?

Было очевидно, что ответ ему уже известен.

— Нет.

— Вы входили в какую-либо организацию, созданную нацистской партией?

— Я уже отвечал на этот вопрос тысячу раз. К тому же вы читали мое личное дело. Нет, я никогда не принадлежал ни к одной из этих организаций.

— В таком случае почему вы остались в Германии?

— Это моя родина. Вы бы поступили иначе?

— Не знаю. В условиях, созданных здесь Гитлером...

Он слушал меня как бы нехотя, словно по необходимости выполнить — хорошо бы поскорее — скучную бюрократическую процедуру.

— Вы слишком все упрощаете. Может быть, мне не следует говорить вам это, я уже устал доказывать, но поначалу происходящее не казалось таким очевидным, как сейчас. В 1933-м у Гитлера не было на лбу написано: Я УБИЙЦА, или Я НАМЕРЕВАЮСЬ РАЗВЯЗАТЬ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, или Я СТАВЛЮ СЕБЕ ЦЕЛЬ УНИЧТОЖИТЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ... Нет, все не так просто.

— Но его планы были общеизвестны, все знали, что он хотел перевооружить страну, а антисемитизм являлся частью официальной политики... Не пытайтесь убеждать меня теперь, что об этом никто не знал!

— Мне совершенно безразлично, как вы отнесетесь к моим словам, лейтенант. Я не собираюсь никого защищать, включая и себя.

— Очень хорошо!

(Да он просто ребенок! Фон Нейман прислал ко мне несмышленыша!)

— Почему вы не выступили открыто против Гитлера?

— *Открыто?!* — Я не смог сдержать издевательскую ухмылку. — Если бы я тогда выступил открыто, вы бы допрашивали сейчас другого математика, не меня! В гитлеровской Германии открытые выступления, как вы их называете, стоили человеку жизни!

— Так или иначе, вас все равно арестовали и отдали под суд.

— Давайте-ка проясним кое-что с самого начала, — сказал я. — Вы достаточно изучили мою биографию, прежде чем прийти сюда. Хотите, чтобы я вам подтвердил каждый пункт своего личного дела?

— В мои намерения не входило...

— Да, меня посадили в тюрьму в конце войны, после неудавшейся попытки переворота 20 июля 1944 года. Десяткам моих друзей, не совершившим другого преступления, кроме осуждения в частных беседах зверств Гитлера, повезло меньше, чем мне; они не дожили, чтобы рассказать об этом. Погибли все близкие мне люди. Что вам еще нужно, лейтенант? Хотите, чтобы все оставшиеся в живых немцы просили у мира прощения за злодеяния Гитлера? Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное. Не забывайте, что нет ничего полностью однородного. В этой стране жертвами Гитлера пало столько же людей, сколько в Польше или России.

— Сожалею. Я понимаю, что вам неловко говорить об этом.

— *Неловко?!*

Разговор становился все более жестким. Я не мог позволить ему обращаться со мной с позиции силы, мне необходимо было с самого начала установить принципы наших дальнейших отношений. Иначе ничего не получится. Сделав паузу, я попытался смягчить тон беседы.

— Чем могу помочь вам, лейтенант?

— Профессор фон Нейман сказал мне, что вы были друзьями...

— Да, это так, — солгал я. — Хотя мы давно не встречались по понятным причинам.

— На чем вы специализируетесь? — впервые прозвучал вопрос, по которому можно предположить, что обмундирование офицера оккупационных войск было надето на ученого.

— На теории чисел. Во всяком случае, я занимался этим *прежде.*

— Профессор фон Нейман рассказывал, что вы хорошо знаете работы Кантора.

— Да, кое-что помню, — нехотя признался я; мне всегда было неприятно разговаривать о науке с *военными*, будь то нацистские начальники или образованные оккупанты. — Мое увлечение бесконечностью так и не исчезло полностью.

— Бесконечностью?

Я утвердительно кивнул, не понимая причины его удивления. Можно подумать, он услышал, что я занимаюсь изучением костной структуры бабуинов.

— Что-то не так?

— Нет-нет, наоборот, я нахожу это *очень* интересным. — Его немецкий не был безнадежным, но все же довольно убогим.

Я откинулся на спинку стула, взял ручку и принялся бездумно рисовать на листке бумаги.

— Я был бы признателен, если бы мне представилась возможность ознакомиться с какими-нибудь вашими работами.

— Благодарю за любезность, лейтенант, однако полагаю, вы ехали в Гёттинген не за этим.

— Нет, конечно. — У него была киношная манера нагнетать напряженность, выдерживая между фразами долгие, нудные паузы. — Как я и сообщал в письме, мне нужна ваша помощь.

— Чем же может помочь вам обычный ученый-математик?

— Я здесь не для того, чтобы разговаривать с вами как с математиком...

— А как с кем? С военнопленным?

— Как с человеком, сведущим в современной научной жизни, профессор. — Он изо всех сил старался, чтобы в его голосе слышался металлический звон и непоколебимость. — Просто хочу послушать, что вы скажете.

— Что вам от меня надо?

— Я хочу знать, что вы думаете, хочу знать историю немецкой науки...

— Не понимаю, — поддразнил я его. — Честное слово, лейтенант, я не уверен, что вам необходимо знать личные соображения математика-*немца*, чтобы получить нужную информацию. Вы, американцы, можете делать в нашей стране все, что заблагорассудится. Я не жалуюсь, это — реальность, с ней приходится мириться. В этой форме и с вашими полномочиями вам открыт доступ к любым архивам, какие есть повсюду, от Гёттингена до Мюнхена. Я-то вам для чего?

— Поверьте, если бы я на самом деле не нуждался в вашей помощи, я бы не стал отправляться в дальний путь специально, чтобы просить вас о ней, — перешел он в контратаку. — Я хочу подчеркнуть последние сказанные мной слова — *просить* вас о ней. Это не приказание, не требование. Я обращаюсь к вам как друг, как *коллега*. Мне нужен кто-то, кому я мог бы полностью доверять.

Я почувствовал, как кровь прилила к лицу.

— Хотите сделать меня своим стукачом, лейтенант?

— Господи, нет, конечно! — Его волнение было искренним. — Ничего подобного у меня и в мыслях нет! Я не собираюсь ни за кем шпионить. Просто хочу содействовать тому, чтобы правда вышла наружу. Я пытаюсь докопаться до истины!

Не стану отрицать, во мне пробудилось любопытство. Я заметил, как мне показалось, блеск в глазах лейтенанта Бэкона, который пришелся мне по душе, несмотря на самоуверенное поведение гостя. Было в нем что-то от меня, от меня молодого: та же готовность действовать, та же юношеская воодушевленность — чувства, которых я уже не испытывал теперь. Этот самодовольный лейтенант Бэкон был в чем-то моим Doppelgänger[1], родственной душой.

— Боюсь, я не совсем понятно изъясняюсь, — вновь заговорил он. — Приношу свои извинения.

Эти слова прозвучали искренне и немного наивно. Он мне начинал нравиться... Что ж, продолжайте, лейтенант Бэкон, профессор Бэкон, Фрэнк...

— Важно, чтобы мы могли полностью доверять друг другу. Понимаю, что достичь этого не просто; наши страны слишком долго оставались смертельными врагами.

— Вы еще не сказали, какая мне выгода от того, что я решу сотрудничать с вами, — снова озадачил я его.

— Долгое время вы были жертвой нацистского произвола, — начал он издалека. — Если хотите знать мое мнение, то в глубине души вам так же хочется сотрудничать со мной, как мне с вами. Война закончилась, но это не означает, что совершенные преступления можно оставить безнаказанными, забыть о них. Я говорю о преступлениях нацистов

1. Двойник *(нем.)*.

против человечества. О преступлениях против вас и других ученых. Я прошу вас стать моим проводником на чужой для меня территории нацистского прошлого, где самому мне не найти дороги.

Несколько мгновений я обдумывал его слова.

— Ваши сомнения можно понять, — продолжил он. — А вы дайте мне испытательный срок, и мы оба посмотрим, сможем ли работать вдвоем.

— Согласен, — решился я наконец.

Бэкон снова обозначил паузу, легким покашливанием прочистив горло. Он был просто влюблен в театральные эффекты, в мелодраматические сцены, в детективные романы. Я узнавал его все лучше.

— Очень хорошо, — с подчеркнутой сдержанностью произнес он. — Знаете ли вы что-нибудь про ученого самого высокого уровня, консультанта Совета рейха по научным исследованиям, известного под условным именем Клингзор?

Я оторопел.

— Никогда не слышал ничего подобного.

— Похоже, в Германии о нем никто понятия не имеет, — иронически констатировал Бэкон, но я сделал вид, что не заметил сарказма. — Тем не менее есть основания полагать, что речь идет о человеке, приближенном к самому Гитлеру...

Ах, вот в чем дело...

— А почему это так важно?

— Еще слишком рано просить меня ответить на этот вопрос, профессор Линкс. — Он поднялся со своего места и стал прохаживаться по кабинету, всем видом показывая, кто теперь хозяин положения. — Сначала помогите мне разобраться в иерархии нацистов, чтобы найти в ней хоть какие-то следы, которые привели бы нас к этому чертову Клингзору! — Снова пауза. — Итак, я повторяю вопрос: не доводилось ли вам когда-либо слышать об этом человеке?

Я выдал себя. И самое худшее — что он это заметил. Но я не собирался позволить ему так просто себя раскусить. *Клингзор...* Сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз слышал это имя? Мне уж стало вериться, что никто никогда не произнесет его больше, что оно, как тень, как ночное привидение, исчезнет вместе с черной полосой истории; испарится, как мираж; вымрет, как доисторическое существо. И вот на́ тебе — являются прямо ко мне и говорят: Клингзор существовал. Откуда он узнал? Ах да, Нюрнберг... Ну конечно! Письмо пришло из Нюрнберга! У кого-то оказался слишком длинный язык, кто-то выпустил птичку из клетки... А что же теперь делать мне? Выложить все Бэкону? Поступить, как он просит, — указать ему тропинку, ведущую к Клингзору? Получается, что я — не лучше других, тех, кто ненавидит и жаждет возмездия, забывая о благоразумии. Ну и пусть, будь по-твоему, лейтенант!

— Клингзор... Да, при мне упоминали имя Клингзор.

— Только что вы утверждали обратное!

— Я был не уверен, хочу ли впутываться...

— А теперь уверены?

— Кажется, да.

— Отлично. Слушаю вас.

— Клингзор — слишком деликатная тема в нынешних условиях, лейтенант. Мы вступаем в эпоху мира и согласия, так нам говорят, во вся-

ком случае. Если вытащить на свет Клингзора, то за ним потянутся факты, которые очень многих могут поставить в неловкое положение. Очень важные персоны считают, что нужно дать возможность ранам затянуться, перестроить Европу, превратить ее в бастион борьбы против красных; не забывайте — наш бывший враг теперь и ваш враг... Поймите меня правильно. Взять хотя бы бомбу; если бы русские завладели ею, это противоречило бы общим интересам, ведь так?

— Клингзор имел отношение к бомбе?

— Клингзор имел отношение ко *всему*, лейтенант, — вот почему этот вопрос непростой и опасный. Он принимал участие в слишком многих делах, военных и научных, чтобы разглашение сейчас информации о его деятельности не затронуло чьих-то интересов. — Для Бэкона такое заявление было полной неожиданностью, и он не сумел скрыть удивления. — Да-да, лейтенант; Клингзор принимал окончательное решение по бюджетному финансированию специальных научных исследований рейха. Никто не знал его лично, однако для всех он был ученым первого порядка, который, оставаясь в тени и вроде бы в стороне от политики и партии, выполнял свою работу от начала до конца войны. Как нам, ученым, хотелось знать, кто он! Он выполнял некую смешанную функцию советника и шпиона, что требовало от него владения грандиозным объемом информации. В сфере своей деятельности этот человек был всемогущ, за ее пределами он подчинялся только лично Гитлеру...

Бэкон переживал слишком большое потрясение, чтобы сделать какое-нибудь уместное замечание. Перед ним совершенно неожиданно открылась золотая жила; теперь у него появились основания продолжать расследование.

— Дальше, профессор Линкс...

— Могущество Клингзора было огромным — до невероятности, и кое-кто даже думал, что он в действительности не существовал, что он просто *не мог существовать*. По поводу его личности ходили самые разные слухи — будто это уловка Геббельса с целью держать под контролем всех ученых; или что имя "Клингзор" объединяет не один десяток человек; а кто-то даже предположил, что сам Гитлер и есть Клингзор... Но слухи оставались слухами, не больше. — Я вдруг почувствовал утомление, произнеся столь длинную тираду. — Хотите знать мое мнение?

— Прошу вас.

— В отличие от многих моих коллег я думаю, что Клингзор был реальной личностью. Почему я так думаю? Да потому, что он вел себя как живой человек, оставлял за собой след, появлявшиеся время от времени в научном мире свидетельства его присутствия... Их было слишком много, чтобы считать Клингзора выдумкой или плодом нашего устрашенного воображения. К сожалению, у меня нет никаких реальных доказательств, подтверждающих мои предположения. — Помолчав, я добавил: — Потому-то мне и не хотелось говорить вам правду, лейтенант. Не хотелось, чтобы по моей вине вы направились по ложному пути, руководствуясь версией без единого серьезного аргумента, свидетельствующего в ее пользу.

Однако Бэкон, похоже, не слышал этих последних слов. Он находился в состоянии, близком к экзальтации, даже пот выступил.

— Вы хотите сказать, что Клингзор контролировал все секретные научные исследования рейха?

— Именно так.

— Но почему нет свидетельств его существования? Почему о нем не говорят?

— Да, вы не увидите ни одного документа, подписанного Клингзором, ни одного отчета о его деятельности, ни одной адресованной ему записки. И уж совсем невероятно обнаружить личное дело с фотографией. Однако это не означает, что он не существовал или не существует до сих пор. Наоборот, я полагаю, что такая неосязаемость является одним из признаков его присутствия среди нас. Сама специфика выполняемых им функций требовала, чтобы он тщательно скрывался от окружающих, это же ясно. Но есть *факты*, лейтенант. Если вы скрупулезно проанализируете их, то сможете найти им объяснение, оттолкнувшись от которого сумеете достать и *его*.

— Признаюсь, вы меня огорошили, профессор. Не знаю, что и думать.

— Сохраняйте спокойствие, лейтенант. Обдумайте все, а потом встретимся, и вы мне скажете, считаете ли меня просто чокнутым или в моих словах есть какая-то логика.

— Ох, не знаю...

— Единственное, о чем вас прошу, не сообщайте пока об этом своим начальникам. Если я не заговорил о своих подозрениях раньше, то лишь потому, что боялся натолкнуться на кого-нибудь, кто не обладает вашей способностью правильно оценивать ситуацию. А ситуация такова, что, если только дело предать огласке, можно считать, все потеряно... Включая мое будущее ученого в Германии.

— Но откуда вы знаете, что он все еще жив? Может, он умер или сбежал?

— Я не знаю, — доверительно сказал я, — только *подозреваю*.

— Что ж, прикажете мне строить все расследование на одном подозрении?

— Вам решать. Я заявляю, что готов уделить вам время и предоставить информацию, которой располагаю, с целью открыть истинное лицо Клингзора. В обмен я выдвигаю единственное условие.

— Что в моих отчетах не будет упоминаться ваше имя...

— Именно!

— Я не могу пойти на это, профессор.

— Только так я готов помочь вам. У меня и без того слишком много проблем. Докажите, что вам можно доверять, лейтенант! Вы сами просили об этом.

Бэкон помолчал несколько секунд, охваченный сомнениями.

— Согласен! Вы станете моим проводником! — наконец воскликнул он, едва сдерживая волнение. — Моим Вергилием...

Это сравнение пришлось мне по вкусу. Мы начинали понимать друг друга.

Поиски Святого Грааля

— Вы знаете, кем был Клингзор? — Что-то мне подсказывало: этот вопрос, каким бы очевидным он ни казался, ускользнул от внимания лейтенанта Бэкона.

— Если бы знал, не стал бы вас беспокоить.

— Вы не поняли, лейтенант. Я спрашиваю, знаете ли вы, кем был самый первый Клингзор, из легенд...

— Скорее всего, один из героев опер Вагнера, которыми так восхищался Гитлер, — ответил он.

Отсюда явствовало, что мифология не относилась к числу его коньков.

— Боюсь разочаровать вас, но речь идет не о герое, а о злодее. Это — один из персонажей "Парсифаля" Вольфрама фон Эшенбаха, хотя, конечно, своей известностью он обязан вагнеровскому "Парсифалю".

— Опере, которую, несомненно, обожал Гитлер...

— Меня удивляет, что вам надо разъяснять общеизвестные вещи. Хотя Гитлер был очарован Вагнером, "Парсифаль" не стал его любимой оперой... Он, так же как Ницше, считал ее слишком христианской.

— Ладно, Линкс, — впервые он обращался ко мне в подобном фамильярном и несколько обескураживающем тоне, — расскажите-ка мне об *этом* Клингзоре. Я весь внимание.

— Действие происходит, само собой, в незапамятные времена. Мы находимся в лесу неподалеку от замка Монсальват...

— Гора Спасения, — перевел Бэкон, но я даже не обратил внимания на эту его похвальбу своей дешевой эрудицией.

— Здесь собираются рыцари Святого Грааля, военного и религиозного ордена. Грааль, по преданию, — чаша, которой пользовался Христос во время последней вечери. В нее же спустя несколько дней была собрана кровь, вытекшая из раны в его теле, нанесенной копьем римского воина по имени Кай Касий, прозванного с тех пор Лонгином. Так вот, священной миссией рыцарей является охрана и ритуальное почитание Грааля. В произведении Эшенбаха Грааль не имел ничего общего с кровью Христовой, но Вагнер решает ввести в оперу христианскую традицию; поэтому, если средневековый трубадур рассказывает нам об обряде, имеющем языческие корни, то Вагнер превращает его в нечто похожее на причастие.

— Разобраться довольно сложно, но я не теряю нить...

— В начале оперы мы оказываемся у ручья, возле которого видим Гурнеманца, старейшего из рыцарей Грааля. Склонившись, он читает молитву. Здесь используется один из типичных мелодраматических приемов, действующий многим на нервы: старик во всеуслышание повествует об истории короля Амфортаса.

— Таким образом о ней узнаем и мы...

— У благодетельного Амфортаса есть враг, являющий собой что-то вроде его извращенной противоположности...

— Клингзор!

— Да, Клингзор. Оба символизируют две непримиримые силы. В течение многих лет они противостояли друг другу, но ни один так и не сумел одержать верх, пока, наконец, в результате многочисленных происков, демон не нашел способ победить Амфортаса, заставив его согрешить...

— Женщина!

— Вы на редкость проницательны, лейтенант, — сказал я ему, не скрывая раздражения. — Так оно и есть. Инструментом порока становится женщина "жуткой красоты". В заколдованном саду Клингзора де-

вушка, "роза ада", занимается совращением Амфортаса. Потрясенный ее красотой, он доходит до того, что вручает ей священное копье Лонгина. Та недолго думая изменяет королю и передает копье Клингзору, который тут же использует его, чтобы ранить прежнего владельца. С того печального дня Амфортас медленно умирает, постепенно теряя кровь из незаживающей раны. Само собой, его недуг излечим лишь в том случае...

— Сейчас я угадаю! — перебил Бэкон. — ...Если ему поможет юноша с добрым сердцем, чистыми помыслами...

— Вагнер не настолько щедр, он ограничивается словом "невинный", каковое определение, по сути дела, можно дать любому деревенскому дурачку. На этом заканчивается рассказ Гурнеманца, и в этот момент к его ногам падает с неба лебедь. Белизна его груди запятнана кровью из раны, оставленной пронзившей сердце стрелой. Немедля появляется молодой охотник и предъявляет права на свою добычу.

— Парсифаль!

— Гурнеманц укоряет его — в окрестностях Монсальвата даже твари земные священны. На громкие причитания старца прибегает Кундри. Она — посланница Грааля и несет с собой из далекой Арабии бальзам для лечения раненого. Женщина просит пощады для охотника; ведь тому неведом закон, запрещающий убивать диких животных. Старик велит юноше назвать свое имя, но Парсифаль отвечает, что не знает его. Помнит только, что был взращен в полной невинности своей матерью, Херцелойде. Услышав эти слова, Гурнеманц приглашает юношу в замок на предстоящий Liebesmahl, праздник любви.

В Монсальвате все готово для проведения обряда. Рыцари Грааля, а также Кундри и Парсифаль стоят вокруг каменного постамента, на котором установлена Святая Чаша. Немощный Амфортас открывает Граль в ожидании сотворения им чуда спасения. Великолепие момента переполняет благоговением всех, кроме бедного короля, который не перестает оплакивать свой недуг и прегрешение. Наблюдая мучения Амфортаса, молодой Парсифаль не испытывает ни малейшей жалости, наоборот, ему кажется, что король *заслуживает* эти страдания. Гурнеманц теряет всякую надежду и приказывает Парсифалю удалиться. Этим заканчивается первый акт.

— Слава богу! — Бэкон переигрывал. — Прежде чем перейти ко второму, будет лучше, если мы отправимся отпить из *настоящей* чаши.

Затем он отвел меня в какую-то маленькую, грязную пивную неподалеку от университета, битком набитую отпущенными в увольнение американскими солдатами. За видавшей виды деревянной стойкой держали оборону старик бармен и молоденькая официантка, довольно привлекательная, если не замечать ее стрижки. Я догадался, что она здесь — главная приманка для клиентов. Бэкон направился прямо к ней и, подмигнув, тут же заказал два бурбона. Увидев его, девушка сделалась особенно любезной. Бэкон же просто не сводил с нее глаз. "Ее зовут Ева, — повернувшись, проговорил он мне на ухо, — так же, как любовницу Гитлера".

Раздевшись у вешалки с военными шинелями, мы взгромоздились на высокие табуреты у стойки бара. От стоявшей напротив плиты шло приятное тепло.

— Похожа на "жутко красивую" Кундри? — с иронической улыбкой кивнул Бэкон в сторону официантки.

— Ну, если сменить ей прическу...

— Рассказывайте про Парсифаля и Кундри, я слушаю. — Взгляд его блуждал от меня к бюсту официантки. — Так вы говорили, что Клингзор был чем-то вроде демона?

— Он являлся воплощением зла или совершенства, как вам больше нравится. Его замок располагался на большом холме, возвышавшемся над заколдованной долиной. Впрочем, в той части света, где правил Клингзор, все было кажущимся. Даже красота не настоящая — за ней пряталась смерть. Именно по этой причине, как свидетельствует легенда, Клингзор кастрировал сам себя... Да, он демон, нет сомнений, но демон бесплодный, импотент...

— Искуситель Христа в пустыне... — рассеянно заметил Бэкон, заказывая очередные два бурбона.

— Как и полагается демону, Клингзор только обещает, но не выполняет обещанного. Клянется открыть любовь и истину, но это ложь — он сам бесчувственный, как камень; существо с пустой, извращенной душой. Укрывшись в замке, он целыми днями созерцает свое отражение в огромном зеркале. Он — Нарцисс, способный любить лишь самого себя, но должен, как ревнивый муж, быть каждую минуту уверенным в этой любви, не спуская глаз с собственного образа. — Я одним глотком допил содержимое стакана.

К Бэкону подошла Ева. Очевидно, им надо было договориться о цене.

— Значит, Парсифаль — его противоположность...

— Не он — Амфортас, — сухо возразил я ему. — Пораженный недугом король — вот истинный соперник Клингзора. Именно он в центре трагедии, человек, который умирает, потому что не может умереть. Роль Парсифаля заключается лишь в том, чтобы нарушить существующее в мире равновесие между добром и злом. Во всем свете есть только две магические зоны: окрестности замка Монсальват, вотчина рыцарей Грааля, и заповедные кущи, скрывающие от людских глаз дворец Клингзора. Парсифалю назначено стать тем, кто найдет выигрышное завершение этой партии, в которой, казалось бы, наступил вечный пат.

— Любите шахматы? — Бэкон наконец посмотрел в мою сторону, но тут же опять отвернулся.

— Забросил давным-давно...

— Давайте сыграем как-нибудь, а? Мое любимое занятие в детстве!

— Сыграем, сыграем... — согласился я и вернулся к прежней теме. — Парсифаль ни о чем не подозревает. Он воплощает в себе не добро, как раненый Амфортас, но невинность. Он не ведает о своем предназначении и ведать не хочет. Это новый Адам, почти варвар, не знающий о великом историческом противостоянии, с праотеческих времен делящем Вселенную на две враждующие половины. Именно поэтому лишь ему дано предотвратить надвигающуюся катастрофу...

Книга вторая
О динамических законах преступления

Закон I
За каждым преступлением стоит преступник

Этой истине учат с древних времен, хотя очевидно, что ее современная формулировка следует из законов движения Ньютона. Ведь что есть преступление, если не чье-то движение, определенное действие в абсолютном пространстве и абсолютном времени, событие, при котором одно тело выходит из неподвижного состояния, а другое становится неподвижным — и, может быть, навсегда?

Вот что говорит сэр Исаак: "Все тела сохраняют присущее им состояние покоя либо равномерного прямолинейного движения, если только они не понуждаются изменить это состояние какой-либо приложенной к ним силой". Ну разве не прекрасное определение насилия, включая одиночные и массовые убийства? Каин, нанося удар Авелю, тем самым впервые совершает акт насильственной смерти и создает прецедент, основополагающий для развития цивилизации. Не будь этого первобытного зверства, мы бы так и остались потерянными в пещерной темноте без всякой надежды на то, что кто-то изменит мир вокруг.

Далее Ньютон говорит: "Перемена состояния пропорциональна обусловливающей ее движущей силе и происходит на всем протяжении прямой линии, на которой действует эта сила". Чтобы ясно понять данную посылку, достаточно вообразить, как пули из винтовок одного расстрельного взвода — или тысяч и тысяч оных, — никуда не сворачивая, устремляются прямо в мишень — грудь врага...

И наконец, английский физик пишет: "Для всякого действия имеется такое же обратное противодействие; иначе, взаимодействия двух тел всегда равны между собой и направлены в противоположные стороны". Не так много на свете определений, настолько же точных и емких по содержанию. Оно описывает не только простое перемещение, но всю происходящую в мире борьбу.

И если вы случайно набредете на обескровленный труп, на растерзанную женщину или на еще не проветрившуюся газовую камеру, можете быть уверены — здесь произошло столкновение двух несовместимых волеизъявлений, действия и противодействия, чей драматизм может напугать не на шутку.

Следствие I

Так какое же преступление совершил Клингзор? Какое преступление пытался раскрыть с моей помощью лейтенант Бэкон? Что сделал Клингзор? Зачем он вдруг так понадобился? В чем его вина?

Закон II
У *всякого преступника своя правда*

Тот, кто способен на убийство, воровство или предательство, никогда не оставит попыток найти себе оправдание.

Если кто-то убивает человека — или миллионы людей, как в нашем случае, — то убийца старается смягчить вину, выдвигая свою, оправдывающую его версию событий; либо стремится вообще остаться незамеченным для истории, затеряться в безымянной массе тех, о которых умалчивают. Но даже это молчание есть *его* правда. Чтобы провести настоящее расследование преступления (так же как научное исследование), надо тщательно изучить факты и не дать обмануть себя; надо быть готовым увидеть в каждом деле признаки, которые указывают, предполагают или разоблачают волеизъявление преступника, отразившееся на движении мира.

Следствие II

Можно ли распознать Клингзора через его деяния? Вычислить его истинное значение? Измерить его влиятельность? Где искать его? Мир, в котором скрывается беглый преступник, похож на шахматную доску. Лучшего сравнения не найти: следить за передвижениями беглеца — то же самое, что видеть расстановку фигур в середине партии; чтобы спланировать все возможные завершения, необходимо представить себе, каким было начало. Как искать Клингзора? Если доказательств его существования недостаточно, то по оставленным следам. По влиянию, оказанному им на других людей; по сломанным веточкам на пройденном пути; по отметинам на лицах жертв, появившихся вследствие его собственного мировоззрения.

Закон III
У *всякого преступника есть мотив для преступления*

Видимо, следует уточнить эту посылку: только великие преступники, *истинные* преступники готовы до конца отстаивать оправданность своих действий. Цель оправдывает средства, или, другими словами, преступление — и не преступление вовсе, но акция революционной справедливости, перераспределение богатства, благое дело, самооборона, филантропия... Наибольшие прегрешения совершаются во имя самых нелепых и непостижимых понятий: раса, религия, партия, граница...

Настоящий преступник уверен, что оказывает миру большую услугу, и в определенном смысле так оно и есть. Робеспьер, Гитлер, Ленин — вот лишь наиболее яркие образцы длинной вереницы *чистокровных* представителей этой породы, среди которых не следует сбрасывать со счетов гораздо реже упоминаемые имена Трумэна[1], Магомета и целой плеяды римских пап.

1. Гарри Трумэн (1884–1972) — 33-й президент США (1945–1953). Отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Был ли Клингзор *истинным* преступником? Верил ли он вместе со своим хозяином, Гитлером, что осуществляет свои злодеяния во имя спасения человечества? Был ли еще одним одурманенным фанатиком из тех, что маршировали в черных мундирах с нашивками СС, готовые пойти на любые преступления ради "наивысшей цели"? Являлся ли безукоснительным исполнителем своего долга или, как все *великие люди*, "носителем веры"?

А теперь поставим вопросы по-другому. Нуждается ли Бог в мотивации, чтобы осуществлять свои деяния? Творит ли Он благо в обмен на *что-то*? Теологи отвечают на данный вопрос отрицательно. Бог есть само Благо, ему не нужно поощрение, чтобы даровать милость.

А чем обусловлена порочность дьявола? Найти ответ на этот вопрос еще труднее. Насколько бескорыстно строит дьявол свои греховные козни? Какую цель преследует? Если мы решим, что зло беспричинно, то неизбежно окажемся лицом к лицу с абсолютным ужасом: произволом. Гитлер и Сталин в качестве второразрядных чертей не подпадают, конечно, под эту теорию. У них имелась цель, вера в справедливость того, что они делают, и оба умерли с этой верой. С точки зрения теологии их даже вряд ли можно отнести к категории еретиков. А как быть с Клингзором?

МАКС ПЛАНК, ИЛИ О ВЕРЕ

Гёттинген, декабрь 1946 г.

Кабинет лейтенанта Бэкона находился в здании, чудом оставшемся целым и невредимым во время бомбежек, словно авиация союзников не стала утруждаться объектом, который и без того рухнет сам по себе. До войны здесь располагалась типография, затем склад боеприпасов.

— Настоящий дворец по сравнению с домом, где я живу, — сказал при виде меня Бэкон вместо приветствия.

Я засмеялся и сел на деревянную скамью, придвинутую к его рабочему столу. Ко всему прочему, у инженерной службы, похоже, не дошли руки до ремонта системы отопления, так как в помещении царила полярная стужа.

— Есть какие-нибудь новости, лейтенант? — спросил я дипломатично, дрожа от холода.

— Боюсь, что нет. Все слишком туманно, профессор. — Бэкон выглядел озабоченным и утомленным, вокруг глаз у него темнели круги фиолетового цвета. — Слишком много разных зацепок, слишком много информации, слишком много мест, откуда можно начать... И в этом главная проблема, поскольку следствие по делу "Клингзор" ведется только вами и мной.

— Неужели ваши начальники не понимают, что речь идет об очень важной работе?

— У них нет полной уверенности. Пока я не получу конкретных результатов, они лишнего доллара не потратят. — Лейтенант с досады грохнул кулаком по столу. — Сотни архивных документов, сотни папок, сотни подозреваемых! Нас было около двадцати человек в миссии Alsos, мы работали больше трех лет, чтобы собрать всю имеющуюся ин-

формацию о немецкой науке и немецких ученых. Мне предстоит перелистать и перечитать тысячи страниц...

Я прокашлялся.

— На мой взгляд, вам следовало бы испытывать удовлетворение при наличии стольких отправных точек...

Я безостановочно потирал руки, стараясь согреться.

— Обещали наладить отопление через пару дней, — извиняющимся тоном произнес Бэкон. — Впрочем, боюсь огорчить вас, но, как мне говорили те, кто давно здесь работает, это им обещали еще в октябре... Итак. Вижу по вашим глазам, профессор: у вас есть план действий.

— Как не быть, лейтенант. Начнем с того, что Клингзор существовал; во-вторых, он был личностью незаменимой для Гитлера. Таковы два основополагающих постулата нашей с вами теории. Все последующие гипотезы и теоремы мы будем строить на этих двух аксиомах... Как вы знаете, лучший способ доказать лживость какого-либо утверждения — предположить, что оно верно; если это не так, тут же начнут возникать противоречия...

— Reductio ad absurdum[1].

— Любой уважающий себя сыщик сначала определит цель расследования, а затем выдвинет версию. Или несколько версий, если необходимо. В нашем случае речь идет о том, чтобы идентифицировать некоторое число подозреваемых. — Должен признаться, роль детектива начинала мне нравиться. — Надо составить поименный список подходящих кандидатур, внимательно изучить биографию каждого, особенно их деятельность в период существования Третьего рейха. По ходу расследования кого-то придется вычеркнуть из списка, кто-то останется, так что при благоприятном стечении обстоятельств мы сможем найти нужного нам человека и собрать против него улики. Я придумал для вас отличную легенду: будете представляться американцем, пишущим книгу об эволюции немецкой науки при нацистах. Так мы сможем опросить многих подозреваемых, не опасаясь их отказа сотрудничать с нами.

— Очевидно, вы уже наметили первого кандидата.

— Могу предложить кое-что получше, — признался я, не скрывая гордости за свою изобретательность. Важно было убедить Бэкона в обоснованности моих рассуждений. — В обычном делопроизводстве подсудимый считается невиновным, если не будет доказано обратное. Однако мы должны применить противоположную систему. Виновными остаются *все* до тех пор, пока мы не сможем их полностью оправдать. — Глаза Бэкона округлились. — Не поймите меня превратно, я не предлагаю ничего противоречащего закону. В конце концов, мы не судьи, а всего лишь сыщики. Мы же не хотим навредить кому-то.

— Что ж, прикажете никому не верить?

— За исключением одного человека, — открыл я свой главный козырь. — Он выше добра или зла. Им восхищаются и левые, и правые; его нравственная чистота проверена жизнью. Надеюсь, полученные от него сведения нам существенно помогут, даже станут как бы пробным камнем. Он уже стар и немощен, однако для нашего дела будет очень полезен, в этом я не сомневаюсь...

1. Доведение до нелепости *(лат.)*.

— Помимо Эйнштейна только один человек отвечает подобной характеристике — Макс Планк. Сколько же ему сейчас лет? Около сотни?

— Ну, не преувеличивайте, лейтенант: восемьдесят восемь.

— И вы думаете, что он согласится нам помочь?

— Не исключено. Должен вас предупредить, однако, что на его долю выпало слишком много горестей за последние годы. Один из сыновей погиб на фронте, другой был приговорен к смертной казни за участие в покушении 20 июля... Ко всему прочему, во время бомбежки его дом в Берлине полностью разрушен.

— Да, знаю...

— Теперь он живет здесь, в Гёттингене. Его одолевает серьезный недуг, и, по словам самого Планка, ему на этом свете делать больше нечего.

— А значит, если я вас правильно понял, времени терять нельзя. За работу, профессор! Я отдам распоряжение, чтобы нам организовали встречу.

— Это не совсем удобно, как мне представляется. Лучше, если мы нанесем ему визит в качестве коллег, последователей. Предлагаю следующее: дайте мне день-другой, и я попытаюсь договориться, чтобы он нас принял. Если мне не удастся, тогда подключитесь вы.

Назавтра мы вновь встретились в кабинете Бэкона. Единственным новшеством в нем была покоящаяся на письменном столе папка коричневого цвета с личным делом Планка. Бэкон принялся читать громким голосом:

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 322-F
ПЛАНК, МАКС
ALSOS
170645

Макс Планк родился 18 апреля 1858 года в городе Киль, земля Гольштейн, в семье юристов и теологов. Поступив в Мюнхенский университет, он вскоре перевелся в Берлин, в Университет имени Фридриха Вильгельма, где и получил основное образование, а в 1889 году — должность профессора. В 1912 году занял одно из двух кресел непременных секретарей Прусской академии наук. В 1913 году стал ректором Берлинского университета. По окончании Первой мировой войны ему поручили руководить Чрезвычайным фондом поддержки немецкой науки, задача которого заключалась в финансировании большинства научных программ страны. С 1930 года являлся президентом Общества кайзера Вильгельма. Лауреат Нобелевской премии в области физики 1915 года за свои работы по теории "абсолютно черного тела".

Планку удалось отыскать новую универсальную константу. Благодаря "постоянной Планка" (обозначаемой буквой *h*) стало известно, что энергия распространяется не в каких-то неопределенных количествах, а постоянными величинами, целыми кратными *h*. Эти "пакеты" энергии Планк назвал *квантами*.

— Уж не вы ли составляли эту служебную записку? — воспользовавшись паузой, отважился спросить я.

Бэкон слегка вздрогнул от неожиданности:

— Честно говоря, не помню, но по стилю не похоже. Знаю, что терминология не самая верная, однако БСИ поставило задачу отредактировать текст так, чтобы поняли даже военнослужащие.

— Звучит, будто краткая энциклопедия немецкой науки для широкого круга читателей, — сказал я в шутку. — Вы могли бы специализироваться в области популярной литературы.

Бэкон заметно обиделся на мое замечание.

— Продолжайте, лейтенант!

Политические симпатии Планка никогда не были на стороне демократии. Он — один из тех ученых, кто подписал послание общественности в поддержку кайзера во время Первой мировой войны. Позже, несмотря на свою оппозицию демократическим преобразованиям, Планк проявил готовность сотрудничать с только что родившейся Веймарской республикой. (Среди немецких физиков только Эйнштейн открыто выступил в ее поддержку.)

Когда нацисты заполучили власть, перед Планком встал все тот же больной вопрос — следует ли ему активно противодействовать новому правительству? Для него, как и для большинства ученых, наука имела наиглавнейшее значение. К ней нельзя примешивать политику; научные исследования должны продолжаться независимо от политической окраски правящего в стране режима. Именно поэтому Планк даже не задумывался о том, чтобы покинуть Германию, хотя творимый нацистами произвол становился все более очевидным.

На протяжении всего периода существования Третьего рейха Планку приходилось так или иначе уживаться с нацистами, чтобы располагать хоть какой-то независимостью. Однако фюрер и его команда испытывали все большее желание взять под свой личный контроль научную жизнь страны. Планк даже специально встречался с Гитлером, чтобы обсудить возникающие в связи с этим проблемы, хотя их беседа не привела к какому-либо практическому итогу. Пользуясь своим влиянием, он пытался не допустить увольнения многих ученых-евреев в соответствии с "законом о реорганизации государственного аппарата", но без особого успеха. Позиции Планка в Академии наук начали ослабевать, особенно после принятия в ее члены таких приверженцев нацистского режима, как Людвиг Бибербах и Теодор Вален[1]. В 1938 году, в результате прямого вмешательства руководства министерства образования рейха (REM), Валена избирают президентом Академии. Планку к тому времени исполнилось уже восемьдесят лет.

— Сил моих больше нет сидеть в этом холодильнике! — воскликнул я. — Без печки здесь не выжить! А я напоследок хочу вас приятно удивить, лейтенант. Максу фон Лауэ удалось уговорить Планка принять нас ненадолго. В пятницу в полдень.

Пожав ему руку на прощание, я поспешно спустился по лестнице наружу. Потом, уже спокойнее, пошел прочь от этого места, поглядывая на висящие с оконных карнизов сосульки. День стоял серый и морозный, и больше всего на свете мне хотелось выпить стаканчик хорошего подогретого вина.

1. Людвиг Бибербах (1886–1982) и Теодор Вален (1869–1945) — немецкие математики.

На часах не было и семи, а уже стемнело, над городом нависла грязно-серая мгла. В тусклом свете уличных фонарей призрачными казались почти безлюдные улицы, по которым Бэкону предстояло добираться до дома, куда его поселили. По вечерам он частенько заходил на пару часов в свой любимый бар, флиртовал там с официанткой Евой, пока не надоедало. Но сегодня лейтенант направился, никуда не сворачивая, к себе на квартиру, решив лечь спать пораньше.

В самом безрадостном настроении поднялся Бэкон по ступенькам лестниц неубранного подъезда. Здесь было даже хуже, чем в нежилой коробке бывшей типографии, где располагался его кабинет; здание подверглось серьезным разрушениям во время бомбежек, но, несмотря на это, в уцелевших квартирах ютились десятки семей. Замешкавшись, обшаривая карманы в поисках ключей от квартиры, лейтенант вдруг столкнулся с молодой женщиной, несущей на руках ребенка. В темноте он не заметил их приближения, погруженный в свои мысли.

— Простите, ради бога, я его не ушиб? — поспешно извинился он, поддерживая женщину под руку.

— Нет, ничего, — прозвучало в ответ. — Даже не проснулся...

— Позвольте, я помогу. — Он проводил женщину по коридору до двери квартиры.

Она с трудом отперла замок, быстро вошла и положила ребенка в кроватку. Бэкон продолжал стоять в дверях и смотреть, будто впервые в жизни видел мать вместе с сыном.

— Спасибо, — повернувшись к нему, сказала женщина и, помолчав, добавила: — Меня зовут Ирена.

— Фрэнк. — Бэкон смущенно пожал протянутую руку.

Ирена смотрела ему прямо в глаза.

— Надо идти... Иоганн проснется... — сказала она и закрыла перед ним дверь.

Макс Планк походил на привидение из девятнадцатого столетия, дожившее до современности. Кожа на его лице напоминала пожелтевший пергамент, испещренный письменами морщин, оставленных бременем знаний, невысказанной болью и гневом безысходности. Воспитанный в славные времена империи кайзера Вильгельма, достигший зрелости, когда шла великая война, и состарившийся в период Третьего рейха, Планк, казалось, олицетворял сам дух Германии, неоднократно растоптанный и каждый раз возрождающийся из пепла.

Вопреки всем пророчествам Планк продолжал жить; ему удалось пережить своих сыновей, да и миллионы других немцев, погибших на полях сражений двух мировых войн или в концентрационных лагерях. Несмотря на постигшие его разочарования и горечь потерь, нужду и одиночество, он сохранял душевную твердость, являя соотечественникам один из немногих примеров, вселяющих в них надежду на лучшее будущее. В 1946 году для большинства немцев Планк служил напоминанием о *другой* Германии — Германии разума и науки, которая существовала наряду с Германией жестокости и произвола, той, что в конце концов утратила свое превосходство и уничтожила саму себя.

В Гёттингене на Планка смотрели как на сказочную птицу Феникс. Пока он есть, существует и возможность привести в порядок громадное разоренное гнездо немецкой науки. Планк возрождал веру в разум од-

ним своим существованием, простым бессловесным присутствием. Он — капитан, потонувший вместе с кораблем, но все еще способный помочь спасти его, поднять со дна океана.

— Благодарю, что согласились принять нас, — начал я разговор.

Планк сидел в широком кресле с отсутствующим видом, закутанный в пледы, как больной ребенок с высокой температурой.

— Говорите громче, он глухой на левое ухо, — предупредила экономка, которая ухаживала за ним круглосуточно.

Мы уселись на стулья, которые захватили с собой из столовой. Рядом с маленькой гостиной располагался кабинет, хотя, очевидно, никакой потребности в нем уже не было. Главенствующее место здесь занимал длинный письменный стол красного дерева, чистый и прибранный, без всяких признаков использования его по назначению, словно приготовленный для отпевания покойника. На комоде стояли многочисленные фотографии в рамках; среди них наверняка был портрет казненного сына Планка. На окнах — плотные льняные занавески, которые не препятствовали дневному свету и в то же время смягчали его, делая безболезненным для слабых глаз хозяина.

Хотя Планк уже давно не выходил из дома, на нем был строгий черный костюм и галстук. Воспитание не позволяло ему встретить нас в домашнем халате. Несмотря на производимое им впечатление одинокого, забытого всеми старика, он был чисто выбрит, отчего его седые усы резко выделялись и казались птичкой, сидевшей на верхней губе.

— Чем могу быть полезен, господа? — В голосе прозвучали твердые, деловые нотки. — Хотите чего-нибудь выпить? Может быть, кофе? У нас ведь есть кофе, Аделаида?

— Да, господин профессор, — подтвердила та.

— Спасибо. — Бэкон явно нервничал. Его пальцы сжимали блокнот и карандаш с такой силой, что хватило бы расколоть грецкий орех.

Аделаида вышла. Бэкон назвал себя. Нетвердым голосом он поведал Планку, что окончил Принстонский университет, рассказал об Эйнштейне и фон Неймане и о том, как глубоко взволнован возможностью познакомиться с великим ученым.

— Профессор Бэкон пишет монографию о современной немецкой науке, включая период, охватывающий несколько последних лет, — вмешался я. — У него возник ряд вопросов, и он рассчитывает на вашу помощь.

Воцарилось долгое молчание. Нам обоим подумалось, что Планк нас просто не слышал.

— Я давным-давно ничего ни о чем не знаю, — раздался вдруг смешок Планка, потом он чихнул, отчего все его тело сотряслось. — Я — как Сократ... Так что вы хотели?

— Хотя моя работа не носит строго научного характера, профессор, — Бэкон передал мне блокнот и карандаш, знаком попросив делать заметки, — я, тем не менее, применяю в ней научные принципы... Это прежде всего — исследование... Я разрабатываю гипотезу, провожу опыты, проверяю результаты экспериментов, формулирую теоретические выкладки... Только в данном случае теория рассматривает не физические явления, а — как бы это поточнее сказать — человеческие отношения; это — теория истинности некоторых событий, и она не исключает приемов научного исследования...

"Что за галиматью он несет?" — мысленно изумился я, но вопреки моим предположениям увидел, что Планк слушает его с живым интересом.

— Кажется, я вас понимаю, — сказал старый физик, поигрывая краем клетчатого пледа. — Наука чем-то похожа на религию. И та и другая с достаточной последовательностью стремятся к чему-то постоянному. Основная трудность, с которой сталкивается религия, заключается в том, что ее призыв требует преданности души, — Планк улыбнулся, — то есть веры. А в условиях нынешнего всеобщего скептицизма такой призыв не получает отклика.

— Вы полагаете, что наука сможет заменить религию для человеческой души?

— Не для скептически настроенной души, поскольку наука, как и религия, требует веры. Любой, кто серьезно занимался научной работой, знает, что над входом в храм науки начертано: *Верую*. Нам, ученым, не обойтись без веры. Любой, кто занимается обработкой серии результатов, полученных в ходе экспериментального процесса, словно приближается к осмыслению божественного образа искомой им религии.

Я не знал, что и думать; не понимал, куда клонит Планк, или это Бэкон завел его неизвестно куда своими рассуждениями.

— Вы хотите сказать, что научные гипотезы следует отнести к атрибутам вероисповедания?

— Несомненно! — Глаза Планка сияли, будто слова, слетающие с его высохших губ, вселяли в него новую жизнь. — Умение мыслить само по себе не может содействовать прогрессу. Время от времени организационная система мыслительной деятельности терпит крах, и тогда наступает необходимость использовать другую систему... Сочетание мыслительных качеств и веры является обязательным для достижения успеха...

— Значит ли это, что я должен доверять своей интуиции? — с ошеломленным видом спросил Бэкон. — Что моя вера должна играть доминирующую роль в процессе экспериментирования и упорядочения?

— Наука не в силах в одиночку раскрыть загадочную суть естества по той простой причине, что мы сами являемся частью естества, а потому и тайны, которую хотим раскрыть. — Планк закашлялся, потом продолжил: — Посредством музыки, различных видов искусства мы тоже пытаемся в определенной степени понять или хотя бы отобразить эту тайну. На мой взгляд, чем совершеннее становятся произведения искусства, тем гармоничнее наши отношения с естеством. Наука же в данной сфере служит нам одну из своих величайших служб.

Бэкон помолчал несколько секунд, размышляя. Я же по-прежнему был занят тем, что делал пометки в блокноте.

— Естество не перестает преподносить нам сюрпризы, — наконец осторожно продолжил Бэкон. — Наука помогает нам познавать его, но иногда ее помощи недостаточно... Всегда есть что-то, чему не находится объяснения.

— Да, — согласился Планк. — Мы то и дело сталкиваемся с иррациональным. В противном случае мы бы не смогли верить. Как говаривал мой старый друг Эйнштейн, никто из нас не был бы ученым, если бы не знал, что мир существует на самом деле, но знание это не вытекает ни из одного известного умозаключения. Данное понятие принимается за

истину без доказательств и, по сути, является верой! Верой метафизической...

— Правильно ли я понимаю, — перебил Бэкон, — я *верю*, что есть нечто в окружающем мире, подлежащее изучению; тайна, которую надо раскрыть, — этого достаточно?

— Да, если выбрана соответствующая методология исследования. Если вы верите, что какая-то область действительности нуждается в изучении, руководствуйтесь этой верой на пути к решению проблемы. Весьма вероятно, что вы не достигнете цели и потерпите неудачу, но такое случается с учеными не впервые. Если вы по-прежнему верите в существование непознанного, начните заново, найдите другой подход... По большому счету, все великие открытия делались подобным образом.

Планк, похоже, совсем выдохся, но выглядел довольным. Ему, видимо, надоели вечно сочувствующие посетители; он только и ждал, чтобы кто-то пришел и поговорил с ним о чем-нибудь по-настоящему интересном.

— Но скажите, — продолжил Планк, — во что верите вы? Какова цель вашего исследования?

Бэкон как-то сник и потускнел, словно ему казалось недостойным заводить речь о причине нашего посещения после столь высокой теоретической дискуссии. Он посмотрел на меня, будто ища поддержки; я лишь слегка кивнул головой, мол, давай.

— Клингзор.

Воцарилось молчание — необъятное, хмурое, роковое. Вот мы и у цели, хоть я никак не ожидал, что Фрэнк вот так просто выпалит это слово.

— Я вас не понимаю.

— Вы знаете, кем был или является человек, которого называли Клингзор? — Наш собеседник хранил молчание. — Это и есть то, что меня интересует. Я *верю* — за этим именем скрывается тайна, нечто весьма важное, требующее расследования. И рассчитываю на вашу помощь.

Лицо Планка приобрело землистый цвет. Приступ кашля не давал ему сказать ни слова.

— Аделаида! — только и сумел выкрикнуть он. — Лекарство, пожалуйста!

Вошла экономка с флакончиком и ложкой в руках, накапала в нее лекарство и сунула профессору в рот. Прежде чем удалиться, она бросила на нас недовольный взгляд.

— Прошу прощения, в последнее время я не очень хорошо себя чувствую. — Планк снова закашлялся. — Боюсь, нам придется продолжить беседу в другой раз. Еще раз прошу прощения.

— Пожалуйста, профессор, ответьте на мой вопрос! Вы знаете, кто такой Клингзор?

— Вы упомянули зловещее имя, сударь. — Голос Планка звучал глухо. — Если нет категорической необходимости, я бы предпочел не говорить о нем...

Вот оно! Старик Планк подтвердил мои подозрения!

— Это чрезвычайно важно, — не уступал лейтенант.

На лице Планка появилась болезненная гримаса.

— У меня с ним связаны слишком горестные воспоминания. И, откровенно говоря, мне не хотелось бы...

— Почему-то никому не хочется! Но почему, профессор?

— Я объяснял лейтенанту... — опять пришлось вмешаться мне. — Говорил ему, что речь идет лишь о слухах, не больше...

Планк недоуменно посмотрел на меня.

— Если профессор... Линкс... сказал вам все, что знает, то для чего понадобился я?

— Такова методика научного исследования, профессор. Мне нужно подтверждение...

— Подтверждение? Чего?

— Что Клингзор существовал — или существует...

Планк снова погрузился в молчание.

— Как возможно подтвердить подобное, мой юный друг? Вы, например, смогли бы доказать мне свое существование? Убедить меня каким-либо образом, что вы действительно находитесь здесь, в этой комнате, сидите напротив и не даете мне покоя своими вопросами? А вдруг виновато мое старческое слабоумие и вы мне просто мерещитесь? Я слишком стар, чувства обманывают меня...

— Профессор...

— Как я могу подтвердить чье-то существование?

— Вы сами говорили...

— Говорил, говорил! — на пергаментно-желтом лбу старика вздулись синие жилы, будто реки, готовые выйти из берегов. — Вы что, меня не слушали? Вера, друг мой! Вера — единственное, что может убедить нас в существовании другого человека!

— Значит, вы подтверждаете...

— Я не оракул и не продаю счастливые билетики... Если вы сами уверены в своей гипотезе — тогда вперед! Я не собираюсь вас разубеждать.

Теперь Бэкон не мог понять, о чем ему толкует Планк. Наверное, он прав в том, что не следовало заводить с ним этот разговор.

— Тогда я спрошу по-другому: вы верите, что Клингзор существовал?

— Во что верю я, не имеет ни малейшего значения! Важно, во что верите вы! Вы-то что думаете?

— Думаю, что да... *Да!*

— В таком случае прочь сомнения! Ищите его!

Сначала Планк вроде выразил неуверенность в существовании Клингзора, теперь чуть ли не приказывает продолжать поиски... Бэкон начал отчаиваться.

— Скажите, по крайней мере, профессор, у вас есть хоть малейшая догадка, кто он? Неужели вы не хотите как-то помочь нам? Любая информация представляет для нас ценность, даже если это только предположения, даже если это только подозрения!

— В том-то и заключается весь ужас моего положения, господа. У меня есть некоторые соображения на данный счет, однако допусти я ошибку — представляете, как загрызет меня совесть? Небольшой сбой в работе моей изношенной памяти может поставить под угрозу репутацию невинного человека, прекрасного ученого. Я не осмелюсь взять на себя такую ответственность, господа. Только не в мои годы...

— Речь не идет о том, чтобы ставить под угрозу чью-либо репутацию! Я прошу вас пролить хоть немного света на это темное дело. Не называйте имен, просто наведите нас на след!

— Если он существовал на самом деле, — видно было, что старик прилагал усилия, стараясь не произносить страшного имени, — то наверняка относился к ученым высшей категории. И хорошо разбирался в квантовой механике, теории относительности, внутриатомных частицах, ядерной реакции...

— Что вы хотите этим сказать, профессор?

— Что он был один из нас, — с горечью произнес Планк. — Прекрасно знал каждого из нас. Жил рядом... И всех нас обвел вокруг пальца!

Голос Планка вдруг оборвался, словно сказано было слишком много. Все его тело забилось в конвульсиях, не в силах освободиться от тяжести, сдавливающей грудь. Прибежала Аделаида со стаканом воды. Старик с трудом отпил.

— Попрошу вас удалиться, господа, — решительно обратилась к нам женщина. — Профессор плохо себя чувствует. Пожалуйста...

Бэкон встал с места, но не сдержался:

— Кто он, профессор? Назовите имя!

— Кажется, отпустило... — извиняющимся тоном прохрипел Планк. — Никто не знал его настоящего имени. Никто не видел его исполняющим свои обязанности. Им мог быть любой... Любой из нас...

— Господа! — взмолилась Аделаида.

Бэкон и я направились к двери.

— Больше ничего нам не скажете?

— Вы ведь физик, не так ли? Почему бы вам не прибегнуть к методу ваших коллег? Клингзор так же неуловим, как атомы... — Голос Планка раздавался глухо, как из глубокой пещеры. — Учитесь у своих предшественников, мой вам совет! И храните веру, друг мой, только она вам поможет...

Эти слова старого ученого продолжали слышаться нам еще долго после того, как мы покинули его дом. Скупые откровения Планка лишь подтвердили мои подозрения, однако произвели настоящий переворот в сознании Бэкона. Он вдруг ясно ощутил, что Клингзор — не выдумка, но осязаемая и пугающая действительность.

На город опустились сумерки, и он стал казаться Бэкону огромным озером, наполненным неподвижной темной водой. Лейтенант шагал совершенно бесцельно, ходил кругами по улицам, будто стремился обмануть время или наткнуться на выход из лабиринта своих мыслей. Приближался конец года, Рождество, и хотя он уже давно не верил в Бога (избавился от веры, о которой так настойчиво толковал ему немецкий физик), хотелось все-таки очистить душу.

На тротуары Гёттингена начал падать легкий снежок, и Бэкон решил, что небо наконец оказало любезность, подстроившись под его настроение. Лейтенант поднял воротник и завернул внутрь отвороты шинели, чтобы защититься от студеного ветерка. И тут увидел ее... Если бы он свернул на другую улицу, если бы пошел к себе в кабинет, а не отправился бродить по зимнему городу, если бы очутился в том месте на несколько минут позже или раньше, если бы не уехал в Европу, если бы после университета не остался работать в Принстоне, если бы не увлекся физикой... то не встретил бы ее здесь, прямо перед собой, в это самое мгновение. И Бэкона вдруг осенило, что все принятые им в жизни решения вели к этой встрече.

Несмотря на густой сумрак в узенькой улочке, зажатой с двух сторон стенами домов, он сразу разглядел нескладную фигурку Ирены, как человек без труда узнает что-то, всю жизнь ему принадлежавшее. На ней было какое-то полосатое пальто, из-под которого виднелся подол платья в цветочек. Она стояла посреди улицы и смотрела вверх, на падающий снег, забыв, очевидно, про холод и отчаяние. А Бэкону представилось, как, будь сейчас небо усыпано звездами, они бы отражались в ее глазах, похожие на капельки мельчайшего белого дождика... Она стояла неподвижно, не обращая внимания на ледяной ветер, будто статуя, которой нет дела до непогоды и проходящих мимо равнодушных людей... Обе руки прижаты к груди, по телу пробегает дрожь. Но вот она расцепила руки и принялась шарить в карманах пальто, пока не извлекла помятую, надломанную сигарету; поместила ее между потрескавшихся от холода губ и долго прикуривала от спрятанной в ладонях спички.

Бэкон молча наблюдал, как слабое пламя боролось с воздушным вихрем. Ирена улыбнулась, добившись своего, а Бэкону показалось, что в этой улыбке он разглядел долгие годы нужды и лишений, многочасовые бдения возле больного или напуганного Иоганна, нескончаемые серые дни, похожие на сегодняшний, бесчисленные ночи одиночества... Сколько боли хранило сердце Ирены, сколько невыплаканных слез и безутешного отчаяния? Бэкон начал потихоньку приближаться к ней. В темноте ему без труда удалось остаться незамеченным, и он подошел почти вплотную, так что мог уловить запах молодой, обожженной стужей кожи и винных паров в ее дыхании. Вблизи она уже казалась не такой беззащитной и очень красивой.

— Что смотрите? — сказала она вместо приветствия.

Ее глаза... Те же самые глаза, что и вчера вечером, но в то же время не похожие; сегодня они обжигали сверхъестественным сиянием. Несомненно, эта женщина родилась под знаком огня; вот почему она с таким вожделением жгла спичку за спичкой.

— Смотрю на вас. Можно задать вопрос: что вы делаете здесь, посреди улицы, на этом холоде?

— Уже задали. — В голосе звучало пренебрежение, готовое перерасти в грубость, если ей посмеют нанести обиду.

— Не хотите отвечать?

— Вас жду!

— Меня?

Ирена рассмеялась, довольная, что он попался на шутку. Потом сделала такую глубокую затяжку, что сигарета, казалось, вот-вот рассыплется у нее между пальцев.

— Вы что, замерзли?

— До смерти!

— Тогда вас надо спасать горячим чаем.

Они вместе быстрым шагом вошли в дом и поднялись по длинным лестничным пролетам.

— Не шумите, — предупредила Ирена, прежде чем отпереть дверь. — Иоганн спит.

Ее квартира показалась ему более просторной, чем накануне. И уж конечно поуютнее его собственной. Правда, за многие годы сырость и плесень разрисовали высоченный потолок и верхнюю часть стен точно такими же, как у него, замысловатыми узорами. Всю середину гостиной

занимал длинный стол; напротив стоял огромный, почти до потолка, шкаф; дальний угол, где располагались умывальник и плита, служил, когда надо, кухней. Одна из дверей вела в ванную, другая — в комнатку, где сейчас спал малыш.

— С Иоганном почти не остается времени на отдых, — сказала Ирена, ставя на плиту видавшую виды кастрюлю. Потом достала из шкафа мешочек с заваркой и насыпала ее в воду.

Тут послышался плач Иоганна.

— Все-таки разбудил, — виновато сказал Бэкон.

— Нет, просто есть захотел, — объяснила Ирена. — Он *всегда* хочет есть.

Женщина ушла в другую комнату и вернулась с маленьким Иоганном на руках. Подогрела немного молока на плите и стала кормить ребенка из бутылки с соской.

— Посмотрите, пожалуйста, чай заварился?

Бэкон повиновался, слегка конфузясь. Налил заварку в две чашки и поставил их на стол.

— Сколько ему лет? — спросил он, чтоб хоть как-то нарушить затянувшееся молчание.

— Сразу видно, что вы ничего не знаете о детях, — рассмеялась она. — Два года.

Бэкон испытывал инстинктивное отвращение к маленьким детям, он не понимал их; трогательные крошечные тельца воспринимались им не как чудо природы, а как форма уродства. Наевшись, Иоганн отрыгнул и преспокойно уснул на материнских руках. Ирена поднялась, чтобы отнести его обратно в спаленку.

— Чем вы занимались? До войны, я имею в виду, — вернувшись, спросила она и отпила из чашки. — Чай получился ужасный, правда?

— Нет, все в порядке.

— Так чем вы занимались?

— Физикой. Окончил университет.

— Физикой? — Глаза Ирены осветились на мгновение. — У меня никогда в жизни не было знакомого ученого. Поэтому вас и прислали в Гёттинген?

— Наверно. А вы здесь все время живете?

— Нет, я из Берлина, хотя родилась в Дрездене. Бывали там?

— Боюсь, что нет.

— С чем и поздравляю, — с горечью сказала она. — Потому что Дрездена больше нет, если хотите знать. Ваши бомбы от него камня на камне не оставили. А теперь там русские!

— Да, все это ужасно, — примирительно согласился Бэкон.

— А когда-то был самый красивый город в Германии. Слышали о Цвингере? Великолепный был дворец... А здание оперы! А собор!.. Впрочем, наверно, мы это заслужили... Оказались не достойны обладать такой красотой.

— А вы? — Фрэнк решил сменить тему.

— Что я?

— Чем занимались вы?

— До войны? Ничем особенным, — в ее голосе не было ностальгии. — Работала учительницей в начальной школе. А теперь вкалываю на заводе...

— А где отец Иоганна?

— Расскажу как-нибудь, только не сегодня. Не хочу. Налить еще чаю?

— Нет, благодарю. Пойду. Завтра рано вставать.

— Спасибо за компанию, — сказала она, протягивая на прощание руку.

— Есть новые идеи, профессор Линкс? — такими словами встретил меня Бэкон в своем кабинете.

— Я долго думал над фразой, оброненной Планком: "Клингзор так же неуловим, как атомы", и решил, что это не просто boutade[1]. Скорее всего, он дал нам ключ...

— Что вы хотите сказать?

— Вспомните слова старика. Концепция существования элементарных частиц, из которых состоит все на свете, почти такая же древняя, как род человеческий. Она восходит, по меньшей мере, к классической Греции. Но физики смогли научно доказать ее достоверность лишь считанные годы тому назад. Резерфорд создал свою модель строения атома в начале двадцатого века! — воскликнул я.

— К чему вы клоните?

— Планк решил помочь нам! Он указал нам направление поиска и благословил на продолжение работы! Клингзор для нас сегодня — одно только имя, но от нас зависит доказать его существование и превратить в человека из плоти и крови, как это сделали с атомом с помощью своих моделей Томсон[2], Резерфорд и Бор!

— Схема! — оживился Бэкон. — Хорошо бы нарисовать схему, в середине которой разместить Клингзора. Да, точно, как ядро в Резерфордовой модели атома... Да-да, теперь понимаю! Отлично! Только сообразить бы, что за элементарные частицы нам надо открыть. Какая из орбит выведет нас к загадочному центру планетарной модели, именуемому Клингзор?

— Немецкие физики, математики и темы их работ... Схема должна отражать внутренние связи, характер деятельности, раскрывать общие интересы, показывать отношения с нацистской верхушкой.

— Ну что ж, за работу! — воодушевленно воскликнул Бэкон.

Я помолчал несколько секунд, обдумывая наш первый шаг.

— Что, если мы начнем с наиболее очевидной кандидатуры? Речь идет о первоклассном физике, лауреате Нобелевской премии, сторонника Гитлера с давних пор. Его имя — Иоганнес Штарк[3].

— По-моему, этот вариант даже *слишком* очевидный, чтобы оказаться реальным... Ярый враг Эйнштейна и Гейзенберга?

— Все же подумайте: могущественная личность в нацистской Германии, последовательный антисемит, в партию вступил еще в двадцатых годах...

— Любой заподозрил бы его первым... Не кажется ли вам, что уже по этой причине Штарка можно вообще отбросить?

— Просто так, даже не удостоверившись? — настаивал я. — Какой же вы ученый, если пренебрегаете экспериментальной проверкой только потому, что выводы вам кажутся очевидными? Если Штарк невиновен, мы легко в этом убедимся. Я не утверждаю, что *именно* Штарк и окажет-

1. Шутка, каламбур *(франц.)*.
2. Джозеф Джон Томсон (1856—1940) — английский физик, предложил первую модель строения атома.
3. Иоганнес Штарк (1874—1957) — немецкий физик.

ся Клингзором, однако характер его деятельности, его приближенность к Гитлеру, его привилегированные позиции в научных кругах рейха – все это заставляет предположить, что их пути пересекались, и не раз! Штарк может стать ориентиром, указывающим на место, где в конечном итоге мы отыщем Клингзора.

Бэкон задумался на несколько секунд, которые показались мне нескончаемыми.

– Скажу, чтобы доставили его личное дело, – наконец сдался лейтенант.

Когда последние солнечные лучи еще пытались без успеха пробиться сквозь густую туманную мглу, повисшую на закате дня, Бэкон подошел к полуразрушенному дому, за стенами которого находилась Ирена. Лейтенант запыхался, пришлось переждать, чтобы восстановилось дыхание, потом он решился и постучал. Ирена открыла дверь. На ней было надето что-то похожее на жакет черного цвета, на плечи накинута шаль.

– Проходите, – обрадованно, как почудилось Бэкону, пригласила хозяйка. – Налить чаю?

– Спасибо.

Он повесил на вешалку шинель, осмотрелся, подошел к Ирене, вглядываясь в ее темные глаза. Вдохнул аромат ее тела, ее недавно вымытых светлых волос. Она поставила чашки на стол, и оба уселись пить чай рядышком, очень близко друг от друга.

– А Иоганн?

– Я отвела его сегодня к бабушке.

Бэкон улыбнулся.

– Давайте сходим куда-нибудь, – предложила Ирена смущенно. – Так редко выпадает свободный вечер...

– Конечно! – вскочил Бэкон, снова берясь за шинель.

Ирена поспешно поправила прическу, оделась и взяла лейтенанта под руку с радостью маленькой девочки, которую родители ведут на праздничное гулянье. Уже стемнело, однако на этот раз вечер был не особенно холодный. Снег комочками налип на ветках и уцелевших листьях деревьев, грязными сугробами сгорбился по краям тротуаров.

– Он погиб на фронте.

– Кто?

– Отец Иоганна, – пояснила Ирена.

– Очень жаль.

Они шли по улицам, пока не набрели на маленький ресторанчик.

– Нет, ничего страшного, – успокоила она его. – Мы разошлись задолго до того, как это случилось. Жаль, конечно, что так произошло, просто я хочу сказать – мне он уже давно безразличен.

Они сели в дальнем конце зала. Было приятно после улицы очутиться в жарко натопленном помещении.

– Да, – произнес Бэкон, – иногда обыденность приводит к концу любви.

– Что вы имеете в виду?

– Я считаю, что любовь мужчины и женщины заканчивается, когда начинается совместный быт, когда возникает привычная уверенность в том, что тебя любят и будут любить...

— То, что вы говорите, ужасно... — Ирена заказала два стакана подогретого вина.

— Может быть, я не совсем точно выразил свою мысль, — теперь уже Бэкон не мог остановиться. — Я хочу сказать, что, хорошо узнав человека, мы рано или поздно начинаем заранее угадывать его поступки. Любовь при этом становится предсказуемой. Любовь — длинная дорога, на которой мы открываем много нового для себя, но когда все же прибываем в пункт назначения, испытываем некоторое разочарование.

Ирена сделала протестующий жест.

— Я не согласна с тем, что любовь похожа на лошадиные бега. Может быть, она существует именно для того, чтобы наполнить счастьем грустные или малозначительные эпизоды нашей жизни?

— Мне кажется, мы говорим об одном и том же, только с разных точек зрения, — заметил Фрэнк, отпивая из стакана вино. — Если я люблю женщину, мне нужно, чтобы она каждый день была другой.

— Ну, это не проблема! — подхватила его собеседница не без сарказма. — Просто возьмите себе в любовницы хорошую актрису, или эскапистку, или, еще лучше, шизофреничку!

— Вы, конечно, можете иронизировать...

— Простите, но вы, по-моему, никогда никого не любили по-настоящему! — Щеки Ирены полыхали негодующим румянцем. — Вы хотите, чтобы женщина заменила вам целый гарем. Какая нелепость! Если любишь, разве тебе хочется, чтобы любимый человек изменился?

Винные пары начинали действовать на Бэкона; ему нравилось, с какой горячностью эта женщина спорила с ним. Он даже не был уверен, что до конца понимал смысл ее слов, но продолжал противоречить ей, любуясь ее страстностью.

— Боюсь, вы меня неправильно поняли. Я не говорил, что каждую ночь мне нужна другая женщина, но я хочу Шехерезаду, готовую рассказать всякий раз новую сказку. Я хочу *тысячу и одну ночь*. Когда Шехерезада больше не может придумать ни одной свежей сказки, султан отправляет ее к палачу. Если нет других способов возродить любовь, пусть лучше умрет.

— Да вы просто дремучий мужской шовинист!

— Ошибаетесь, моя теория верна как для мужчин, так и для женщин.

— А если у женщины не хватит воображения, чтобы вас удовлетворить?

— Дело не в воображении, а в желании. Я не ожидаю от своей потенциальной спутницы жизни ни литературного таланта, ни актерского мастерства. Речь идет не о притворстве или игре, но о любви, которая не ослабевает вопреки течению времени. Маленький элемент непредсказуемости еще никому не причинял вреда, Ирена...

Впервые он вслух назвал ее по имени... Ему эти звуки казались сладкой музыкой...

— Мне кажется, у вас просто не хватает смелости признать, что вам вообще не нужна единственная спутница жизни. Вы хотите много женщин! Но этого не следует стесняться. Наверно, вам хочется *разнообразия*, а не любви, и в этом нет ничего плохого.

— Больно слушать, как вы истолковали мои слова. Ведь я говорил именно о любви... Мне не надо каждый раз нового тела или нового характера. Единственное, чего я не хочу и с чем не смогу смириться — если жен-

щина не готова к переменам в самой себе. Я не переношу самодовольных людей, особенно в любви. Необходимо все время находиться в поиске...

— А где гарантия, что эти бесконечные поиски не приведут вас к ненависти? Или осознанию, что в действительности вы ее не любите или любите другую?

Бэкон на секунду задумался.

— Тем не менее стоит рискнуть. Печально, но иногда любовь заканчивается или иссякает именно потому, что двое не смогли и дальше искать ее так, как делали это в самом начале. *Потерять* можно лишь то, что *имеешь*, выступая в качестве собственника, хозяина.

— Все это ужасно! — вновь запротестовала Ирена. — В таком случае мы никогда не можем быть уверены, что тот, кто нас любит, не лжет и что мы, в свою очередь, не обманываем людей, которых, как нам казалось, любим.

— Но это на самом деле так! — почти закричал Бэкон. — В этом-то все и дело! Мы доверяем другому человеку и еще больше — собственной интуиции. Именно в *доверии* собака-то и зарыта. Что́ есть доверие, если не слепая вера в другого человека без всякой гарантии, что он нам не врет? Сама жизнь подтверждает это на каждом шагу. Надо быть реалистами, Ирена: мы никогда не застрахованы полностью от чужой лжи. *Никогда.*

— Я не могу спокойно слушать это. Получается, любви вообще нет, а только какая-то игра. Каждый старается получить преимущество за счет другого, и наоборот.

— Очень точное определение. Только любовь — такая игра, где в итоге нет ни победителей, ни побежденных. Самое худшее, что может произойти — когда один из участников решает прекратить игру, и тогда все заканчивается.

— Но как узнать, хочет другой играть или нет?

— Это совсем не трудно, Ирена. Сигналы поступают со всех сторон. Есть сотни разных признаков, по которым мы можем судить о намерениях партнера. Любое зримое действие несет смысловую нагрузку. — Бэкон взял салфетку и поднес к губам. — Самые лучшие любовники среди мужчин и женщин те, кто умеет наблюдать, кто обладает достаточным опытом, чтобы разгадать посылаемые им зашифрованные сигналы.

— Вы все время говорите о любви как о каком-то спортивном состязании. Я всегда думала о ней как о чем-то неожиданном, как о подарке свыше...

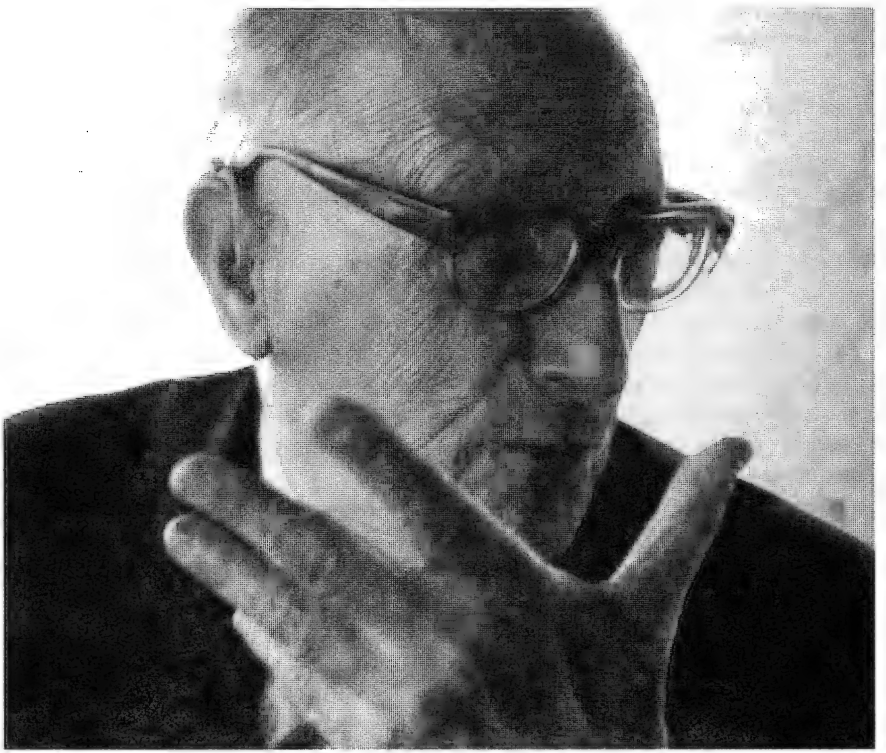
— Идеализм не чужд моей теории, Ирена, — сдержанно парировал Бэкон. — Но он не имеет ничего общего со стратегией, которой мы следуем, чтобы любить. Чтобы заявлять о своей любви. Чтобы возжелать чьей-то любви. Чтобы жаловаться на любовь. Чтобы требовать большей любви. Чтобы отдаляться от любви. Чтобы взыскивать долг с любви.

Бэкон знал, что эта партия осталась за ним. Но ему не хотелось покидать Ирену в проигрыше. Прежде чем расстаться у двери квартиры, он обнял ее, и оба замерли на несколько минут, показавшихся ему вечностью.

Окончание следует

Хорхе Гильен
Стихи

Перевод с испанского Натальи Ванханен
Вступление Натальи Ванханен и Татьяны Пигарёвой



Обретенный рай

"Многие мои тома я отдал бы за одно стихотворение Гильена", — признавался Хорхе Луис Борхес.

"Наш самый изысканный лирический поэт", — так отозвался о Хорхе Гильене замечательный испанский писатель Асорин.

"С самого начала он был учителем и для современников, и для нас, пришедших позднее. Гарсиа Лорка признал это первым; убежден, что я — не последний", — утверждал Октавио Пас.

Что касается самого Лорки, то его отзывы о Гильене восторженны и многочисленны. Так, рассуждая о поэзии, он предлагает "назвать наугад — случай все-

© Наталья Ванханен. Перевод, 2005
© Наталья Ванханен, Татьяна Пигарёва. Вступление, 2005

гда безошибочен — несколько настоящих (как я это понимаю), истинных поэтов. Это Гильен..."[1]. Затем он назовет Салинаса, Рафаэля Альберти, Херардо Диего, Висенте Алейсандре, Луиса Сернуду, но первым безошибочный случай избрал именно Гильена.

А вот что Лорка пишет Гильену в письме: "Все сильнее я проникаюсь чистотой и красотой (да — Красотой) твоей поэзии, полной дивного чувства, такого понятного, но недостижимого. Я еще почитаю тебе *наизусть* твои стихи. Я читаю их друзьям и вижу, что стихи твои *волнуют*. Не правы те, что считают тебя *головным* поэтом. Твои стихи так естественны, что пробуждают дар слезный, если примешь их в сердце. Я восхищаюсь тобой и хочу, чтобы ты знал это. Тобой *одним* изо всей нашей молодой литературы я восхищаюсь *безоговорочно*"[2].

Лорка называет Гильена в числе трех своих лучших друзей, посвящает ему (вместе с Салинасом и Мельчором Фернандесом Альмагро) свою первую изданную книгу — "Песни". Письма к Гильену он подписывает: "Твой верный друг и почитатель", а о встречах вспоминает с неизменным восторгом: "Гильен — чудо. С ним я провел незабываемые часы".

Отзывы Гильена о Лорке не менее эмоциональны: "Рядом с ним вы переставали ощущать жару или холод, вы ощущали только одно — Федерико".

Критики впоследствии назовут прославленную плеяду испанских поэтов XX столетия — поколение 27-го года — "поколением Гильена—Лорки".

Хорхе Гильен родился 18 января 1893 года в старинном испанском городе Вальядолиде. Некоторое время он учился в Швейцарии. Потом занимался филологией в Мадриде, жил в знаменитой Студенческой резиденции[3], где и познакомился со всеми яркими поэтами-сверстниками, а также с Хуаном Рамоном Хименесом, Антонио Мачадо, Асорином, Мигелем де Унамуно, Валье-Инкланом; слушал лекции Ортеги-и-Гассета. Повзрослевшему Хорхе Гильену довелось жить во Франции и преподавать в Сорбонне. "Я приехал в Париж в состоянии полной душевной смуты. А уехал оттуда через шесть лет, уверенно встав на свой путь: преподаватель, муж, отец", — писал Гильен.

Именно во Франции он ощущает свое поэтическое призвание. Здесь он начинает писать стихи, которые в дальнейшем сложатся в главную книгу его жизни — "Песнопение".

Основная внепоэтическая деятельность Гильена — преподавание. С 1929-го по 1930 год он читает лекции в Оксфорде, а затем на кафедре испанской литературы в Севилье. Ученики вспоминали, что его лекции были "произведением искусства", "воплощением духа", а сам он казался человеком не от мира сего. Что касается общественно-политических убеждений, то собственно политикой Гильен никогда не занимался. Тем не менее его как друга Лорки и Асаньи — первого президента Испанской республики — механически зачислили в ряды "левых". "Я либеральный демократ, в какой-то мере склоняющийся к социализму", — скажет Гильен о себе на склоне лет.

Гражданская война резко и страшно ворвалась в жизнь этого поборника чистой поэзии: в 1936 году Гильен был арестован в Памплоне франкистами. Грозное обвинение — подозрение в шпионаже — не сулило добра. "Как невыносимо трудно было пережить те ночи, ведь убивать тогда было проще, чем не

1. Ф. Гарсиа Лорка. Самая печальная радость... М.: Прогресс, 1987. С. 376. Цит. в переводе Н. Малиновской.
2. Там же. С. 376.
3. Студенческая резиденция – созданный в 1910 г. в Мадриде вольный университет и студенческий городок, куда приезжали читать лекции виднейшие ученые и писатели всего мира.

убивать. Для испанца убить другого испанца — дело патриотическое", — будет вспоминать Гильен годы спустя. Ему повезло, он был выпущен и вскоре отправился в эмиграцию. Отношение к диктатуре было у поэта не столько политическим, сколько физиологическим: "О диктатуре не размышляют, ее или переваривают, или нет: это вопрос пищеварения. Я сразу понял, что не переварю".

С момента отъезда в эмиграцию в биографии Гильена сменяются названия университетов, в которых он успешно преподает: Монреаль, Огайо, Гарвард, Сан-Диего, Мехико, Богота. Его американская известность до сих пор превосходит европейскую.

Разлука с Испанией, впрочем, не была слишком долгой. Уже в 1949-м поэт тайно навещает больного отца и проводит лето в родном Вальядолиде, в 1951-м посещает Мадрид, а в 1955-м получает в Севилье премию Латиноамериканской академии искусств.

Как это ни удивительно, уже в 50-е годы в испанские журналы начинают просачиваться подборки стихов Гильена. Не обошлось, правда, без курьезов.

Так, франкистская цензура запретила стихотворение Гильена "Маха и дон Франциско". Стихотворение было посвящено великому поэту Золотого века Франциско де Кеведо, но для бдительных цензоров в стране был только один Франциско — Франко, а в таком контексте махи неуместны.

В середине 70-х Гильен возвращается в Испанию, живет в Малаге и, по свидетельству современников, становится центром притяжения лучших сил испанской культуры.

Всю свою жизнь Гильен пишет одну книгу — "Песнопение", расширяя ее, добавляя новые стихи, но сохраняя свойственное ему восторженное приятие мира.

"Твой друг, почитатель и полюс, тебе противоположный", — так подписал Лорка одно из писем к Гильену. Действительно, эти два поэта — полюса одного творческого поколения. У Лорки каждая книга — иная, не похожая на предшествующие. Дар Гильена другой. Он, можно сказать, автор одного гигантского произведения, книги стихов, объединенных общим неизменным чувством. Поэт Педро Салинас, ближайший друг Гильена, сравнивал работу над "Песнопением" с "ростом дерева, которое, оставаясь неподвижным, ширится, разрастается, крепнет, достигает высот своими ветвями, дает все больше тени, радостно осеняя все большее пространство вокруг".

Трагичный, несогласный с миром Лорка и восторженный, принимающий мироздание Гильен. У одного сердце рвется от боли, у другого — от счастья. Кто-то из критиков тонко заметил: "Лорка подобен тореро: даже застегнутый на все пуговицы, он кажется обнаженным. Гильен же превращает свою искренность в тунику, проницаемую лишь для взгляда посвященных".

Лорку в России давно знают и любят, Гильен же, высоко ценимый и в Европе, и в Америке, у нас почти неизвестен. На то несомненно есть свои причины.

Русская поэтическая традиция вырастает из боли и страдания. Воспитанный на русской культуре читатель, знакомясь со стихами Гильена, поневоле впадает в недоумение: да что же это такое? Он все время радуется! Это, конечно, прекрасно, только вот... нормален ли он?

Поневоле всплывает из Маяковского: "Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп". Или цветаевский бунт против мироустройства: "На твой безумный мир ответ один — отказ!"

Это нам понятно, *это* близко.

К одной из глав "Евгения Онегина" стоит эпиграф из Петрарки: "Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно". Сам сумрачный климат России не способствует ликованию. Как обитающие в лесах племена ин-

дейцев способны различать до сорока разновидностей зеленого цвета, так мы — знатоки оттенков тени, сумерек. Ослепительный свет Средиземноморья, заливающий страницы стихов Гильена, режет нам глаза.

Впрочем, надо признать, мировосприятие Гильена — редкость в любой культуре.

Бездны ада изучены мировым искусством гораздо лучше кругов рая, а место вечного блаженства представляется вроде как даже скучным. Все хорошо, все нормально — о чем тут петь?

Хорхе Гильен — поэт нормы, певец рая. Его мир светозарен. Сам поэт полушутя вспоминал: "Один критик написал, что, впав однажды в депрессию, прочел "Песнопение", и ему сразу полегчало. И добавил: "Рекомендую всем это чтение". Словно дал предписание отпускать мою книгу в аптеках".

Рай в настоящем всегда омрачен страхом утратить его: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" Если в литературе и встречается рай, то это рай потерянный. Формы потерянного рая различны, но не столь уж многообразны: счастливое детство, юность, любовь, несбывшаяся мечта. Скажем, у Набокова таким раем становится Россия, которую ему больше не суждено увидеть.

У Гильена рай — обретенный. Его прекрасное мгновенье длится и длится, и ему ничто не угрожает. Разве что плавное перетекание в другое — еще более прекрасное.

Мир Гильена не то творится Богом на наших глазах — "и увидел Бог, что это хорошо", не то заново обживается неким Робинзоном, приходящим в восторг и от острова, и от возведенной собственными руками хижины, и от крепкого частокола вокруг нее. Да и как не радоваться: только что вокруг царил бесформенный хаос, и вдруг невидимые атомы сложились в простые и добротные вещи, обрели смысл. Разве это не чудо?

Мир у Гильена "хорошо сделан", "крепко сбит" и оттого прекрасен.

Эта добротность и благоустроенность гильеновского мира способна даже породить подозрение: а может, это обывательский буржуазный комфорт воспевается с таким пафосом? В конце концов, ведь и Робинзон, как известно, не что иное, как возведенный на пьедестал неунывающий буржуа. Именно так и воспринял эту восторженность Луис Сернуда, резко откликнувшийся на строки Гильена о ладно скроенном мире: "Нет, он не ладно скроен, но мог бы быть несколько лучше, если бы не этот ваш буржуазный конформизм".

Человек иного склада и иного темперамента, замечательный поэт Луис Сернуда в данном случае несправедлив, поскольку с бытовых, социальных позиций подошел к тому, что Гильен рассматривает с точки зрения абсолюта. Гильеновский восторг перед совершенством мироздания сродни духовидческим экстазам великих испанских мистиков — Святой Терезы или Сан Хуана де ла Крус.

Книга недаром носит название с религиозно-мистическим оттенком — "Песнопение" (на русский язык это можно было бы перевести и как "Воспевание", "Прославление"). Единение с абсолютом, приятие творения, преклонение и восторг перед величием сущего наполняют гильеновскую поэзию.

"Небесная механика" — таким было предварительное название книги. Перед нами некий точный, обретающий объемность чертеж, прекрасный в своем выверенном совершенстве макет Вселенной.

Поэзия Гильена — это мир чистых, залитых светом форм: кругов, конусов, плоскостей. Река не просто течет — она сама себя лепит на наших глазах. Чашка круглится, постепенно обретая свою выпуклую законченность, — словно возникает здесь и сейчас из белой пустоты листа.

Гильена по характеру ви́дения сравнивали с Сезанном. Очень наглядно особенность живописи Сезанна показал выдающийся искусствовед Н. Н. Пунин, сказавший, что если потянуть за ветку сосны на картине Шишкина, то она оторвется вместе с иголками и корой, а ветка с картины Сезанна — вместе с куском неба. Как у Сезанна нет различия между живым и неживым, материальным и эфемерным, а предметы слиты воедино с фоном, так и у Гильена не только живое и неживое, но и конкретное и абстрактное обретают равнозначное поэтическое существование.

И еще один художник, возможно, дает ключ к пониманию поэтики Хорхе Гильена, это современник поэта, итальянский живописец Джорджо Моранди. Его натюрморты — чаши, сосуды, бутылки, вазы, сотворенные из невесть какого материала, — являют только форму и свет, именно свет, а не цвет.

Европейцы говорят: дьявол прячется в мелочах. В поэзии Гильена дьяволу спрятаться негде: тут мир не измельчен на частные подробности. Обобщенные светозарные круги, кубы, конусы напрямую славят Высшую Силу:

> Круглой чашки борта. Завершенность такая —
> ты на радость уму!
> Вот и кофе. Я миг настоящий приму,
> мысли в круг замыкая.

За исключением бытового кофе здесь воспеваются те же совершенные геометрические формы, что и в сияющем Дантовом "Рае". Умозрение то же. Не удивительно: Гильен изначально вдохновлялся "Божественной комедией", только начал он сразу с райской вершины.

Позже, с годами, он еще спустится если не в ад, то в чистилище, написав поэтическую трилогию "Вскрик", в которой к утверждению, что мир хорошо сделан, добавится горькая поправка: *мир людей* сделан плохо и, вероятно, это непоправимо.

Увидят свет и другие книги Гильена. Однако главным его творением останется "Песнопение". На титульном листе полного и окончательного издания, четвертого по счету, стоят даты начала и завершения работы: "Трегастель, Бретань, 1919—1950 Уэлсли, Массачусетс".

А между ними — вся жизнь.

Лауреатом Нобелевской премии из поколения Лорки—Гильена станет в 1977 году поэт Висенте Алейсандре. Критика будет единодушна — это премия всему блистательному поколению 27-го года. Будет и много недовольных: почему не Гильен, это было бы справедливее! Сам поэт относился к премиям без особого трепета: есть — хорошо, нет — не важно. Впрочем, у него их было немало: премия Этна-Таормина (1961), премии Сервантеса и Римской академии (1977) и многие другие.

Хорхе Гильен прожил почти век. В его случае долголетие выглядит естественным следствием жизни. Был ли он сам так же безоблачно счастлив, как звучат его строки?

Думается, ответ, как всегда, в стихах поэта: "Я мучился. Это не важно".

Там, за гранью (фрагмент IV)

Балкон, стекло, вода,
и стол, и книжек груда.
И только-то? Ну да.
Обыкновенность чуда.

Материя, сырье,
из атомов в наличье
слепившая свое
конкретное обличье.

Окольной ли тропой,
а может, напрямую
здесь атомы толпой
прорвались в жизнь земную.

Всех тайных сил запас
тут празднует победу,
вот в этот миг, сейчас,
во вторник или в среду.

Из хаоса прийти —
нет, не деталью мелкой —
явленьем во плоти:
циновкой и побелкой!

Друзья

Друзья. И только. Темный лес окрест.
Открытость, ясность — разве надоест?
Любовь, которой клятвы ни к чему,
ты нас возносишь всех по одному
и вместе, враз. И плещутся слова
о берег, беззаботны и легки,
и зеленеет берега трава,
и зеленеет ленточка реки.
Миг вольного паренья, час отрады:
досуг, душа, открывшиеся клады!

Благословенное кресло

Блаженно, благословенно
старинное кресло! В доме
ты память в полном объеме
и знак, что все неизменно,
незыблемо и нетленно,

что прочностью мир отмечен,
добротен, небыстротечен
и крепко сбит, и любое
мгновенье шумит в прибое —
прибой спокоен и вечен.

Ариадна, Ариадна

Те кручи облаков над кругом кроны —
неужто только сонное виденье?
По кучевому облаку забвенья
бреду сквозь явь, и оживают склоны.

Куда? Зачем? Осенних веток стоны,
гнезд густонаселенное кипенье.
Прощаюсь с октябрем без сожаленья,
в апрель вхожу, весною обновленный?

Лишь для тебя, всесильной формы царство,
что в слово светозарное одета,
претерпеваю в хаосе мытарства.

Неужто в этом мировом избытке
не удостоюсь даже тени света?
О, Ариадна, дай мне кончик нитки!

Конец страстной субботы

День субботний.
Свет с небес!
С нами чудо из чудес.

Обрети весну свою!
Аллилуйя бытию!

Сам Спаситель был спасен
и в сиянье вознесен.

Аллилуйя, свет зари!
Как сияет, посмотри!

На гигантских парусах
сто Америк в небесах.

Полно смерти нас пугать.
Там, за жизнью — жизнь опять.

Нас надежда позвала.
Слава! Слава и хвала!

Здесь Он принял свой венец.
Нас собой закрыл Творец.

Божий свет нам подал знак:
погляди — сияет мрак!

Праздник правды и любви,
день сегодняшний — живи!

Луч, пронзающий насквозь,
что обещано — сбылось!

И распахнуты сердца,
ликованью нет конца.

Так! Воистину! Воскрес!
Громом "да!" гремит с небес.

Обрети весну свою!
Аллилуйя бытию!

День субботний.
Божий рай!
Душу радости отдай.

Тополя у реки

Антонио Мачадо

Серо, бело, склон скалистый.
Бег реки в неясном свете.
Ливня профиль серебристый
в тополином силуэте.

Кто-то ходит у потока
с одиночеством в союзе,
или тополь одиноко
никнет с музыкою к музе?

А река торит и лепит
за излукою излуку.
Тополиный легкий лепет
не дает угаснуть звуку.

И водой зеленой дышат,
зеленея, в небе кроны.
Их дыханье путник слышит
над водой бродя зеленой.

Впрямь блажен обретший отдых,
вдоль реки скользящий тенью,
отраженья сея в водах,
в листьях — трепет и смятенье.

Полдень на часах

Сказал я: диво это
достигло полноты.
Серебряного цвета
дрожащие листы.
Любовь — что шар в зените
в высоких небесах,
и птица на раките,
и полдень на часах.
И птичий голос реял,
и слушал белый свет,
и самый малый плевел
узнал, что он воспет.
А посреди творенья,
в основе бытия
был я, мой слух и зренье —
вот эта жизнь моя,
вся высота итога,
всей полноты размах,
и мир дозрел до Бога,
и полдень на часах.

За столом после застолья

Здесь солнца доверительней тепло.

Рубен Дарио

...энергия нормальности...

Альфонсо Рейес

На сияющей скатерти в отсветах дня
хрусталя естество
и червонного золота луч сквозь него:
этот свет — для меня!

Подведенье итога. Луч медлит в минуте
так знакомо и сладко!
Я вверяю себя целиком, без остатка
цвету, контуру, сути.

Упоение мыслью, меняющей формы:
обращаясь друг к другу,
мы заветное счастье пускаем по кругу —
воплощение нормы.

Сколько лето дает — и пьянит, и дурманит
полновкусием пира!
И надежда лежит в основании мира —
это прочный фундамент.

Луч с лучом говорящий, сверкающий срез.
Позабыл про дела
день, играющий радужным блеском крыла —
гранью божьих небес!

Тронуть солнце в прозрачных глубинах кристалла —
о высокое право!
Озаренных стаканов веселая слава —
вот она, воссияла!

Рядом трубки дымок, силуэт выбирая,
лепит плотность из света.
О негромкая слава застолья — примета
потаенного рая!

Растекается время, паря в настоящем.
Дружба — праздности зданье.
Если это не вся полнота обладанья,
что полнее обрящем?

Круглой чашки борта. Завершенность такая —
ты на радость уму!
Вот и кофе. Я миг настоящий приму,
мысли в круг замыкая.

Сладость жизни, томящая в каждой детали,
что ни миг — хороша!
Ты куда, возносясь, отлетаешь, душа
вечереющей дали?

Ханс Кристиан Андерсен

Сказки и истории

Переводы с датского
Вступление А. В. Сергеева и А. Н. Чеканского

Портрет Х. К. Андерсена работы датского художника К. А. Йенсена (1836)

© А. В. Сергеев, А. Н. Чеканский. Вступление, 2005
© Н. Федорова. Перевод, 2005
© Нора Киямова. Перевод, 2005
© А. Афиногенова. Перевод, 2005
© В. Г. Тихомиров. Перевод, 2005

В этом году исполнилось двести лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена, безусловно самого знаменитого датского писателя. Вряд ли кто решится оспаривать тот факт, что главный вклад писателя в мировую литературу — это его сказки (еще при жизни Андерсен удостоился чести называться королем всех сказочников). Вместе с тем у себя на родине и далеко за ее пределами он хорошо известен как романист и драматург, поэт и создатель увлекательных путевых очерков, наконец, как автор трех книг воспоминаний. В ознаменование юбилея Андерсена издательство "Вагриус" подготовило к изданию новые переводы всех сказок Андерсена и две из трех его автобиографий. Работа осуществлялась при финансовой поддержке датской стороны — "Международного комитета Х. К. Андерсена-2005", находящегося в г. Оденсе. Большую помощь в установлении и поддержании контактов с руководителями комитета оказало посольство Дании в Москве во главе с послом, г-ном Ларсом Виссингом.

Сказки и истории Андерсена издавались в России неоднократно. Лучшими, без сомнения, до сих пор остаются переводы, выполненные основателями русской переводческой школы в области скандинавских языков Анной Васильевной Ганзен (1869—1942) и Петром Готфридовичем Ганзеном (1846—1930). В конце XIX века они перевели на русский язык почти все опубликованные к тому времени в Дании сказки и истории Андерсена, объединив их во втором и третьем томах Собрания сочинений в 4-х томах (СПб., 1894—1895). С небольшими редакционными изменениями эти переводы легли в основу всех последующих изданий, в том числе и двух наиболее значительных в научном отношении, подготовленных Л. Ю. Брауде и И. П. Стребловой: Х. К. Андерсен. Сказки, рассказанные детям. Новые сказки. — М.: Наука, 1983; Х. К. Андерсен. Сказки. Истории. Новые сказки и истории. — М.: Наука, 1995.

Первые свои сказки Андерсен, как известно, опубликовал в 1835 году, сразу же после того, как увидел свет его роман "Импровизатор" (1835), поначалу он не придавал им особого значения, считая их едва ли не побочным занятием, не имеющим отношения к серьезной литературе. Но со временем взгляды Андерсена изменились, и сказка для него стала синонимом поэзии: "Для меня сказка, вобравшая в себя и древние предания о дымящихся кровью могилах, и благочестивые истории из детских книжек, вобравшая как народную, так и литературную традицию, есть самое поэтическое во всем необъятнейшем царстве поэзии".

Андерсен понял, какими огромными возможностями обладает жанровая форма сказки — ведь любое явление окружающего мира, любое радостное или грустное событие могло послужить поводом к ее созданию. "Материала у меня для сказок масса, больше, чем для какого-либо другого литературного жанра. Иногда мне кажется, будто каждый забор, каждый маленький цветок говорят мне: 'Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни!'"

Из созданных Андерсеном более ста пятидесяти сказок и историй около двадцати являются переработкой народных сказок, среди них и такие знаменитые, как "Огниво", "Принцесса на горошине", "Свинопас". Другие сказки основаны на народных преданиях, которые Андерсен нашел в книге собирателя фольклора Ю. М. Тиле: "Бузинная матушка", "Затонувший колокол", "Хольгер Датчанин", "Волшебный холм", однако подавляющее их число являются совершенно оригинальными произведениями. В них он отходит от фольклорных источников, используя жанровую форму сказки для постановки главным образом религиозно-нравственных проблем. Идейное содержание сказки выражается в подтексте. "Теперь я рассказываю все из собственной головы, схватываюсь за какую-нибудь идею для взрослых и рассказываю ее для детей, ведь и родители читают детские книги и им надо дать кое-какую пищу для размышлений".

Начиная с 1844 года Андерсен называет свои сборники "Новые сказки" (1844—1845 и 1847—1848). К ним относятся такие признанные шедевры, как "Соловей", "Гадкий утенок", "Снежная королева", "Пастушка и трубочист", "Старый дом", "История одной матери", "Воротничок". Новизна этих сказок в том, что, доступные восприятию ребенка, они адресованы в первую очередь взрослому читателю.

Дальнейшее расширение рамок жанра происходит в сказочном творчестве Андерсена в 1850—1870-х годах и отражается в названиях сборников. Наряду со сказками в них появляются так называемые истории: "Истории". Вып. 1—2, 1852—1853; "Новые сказки и истории". Вып. 1—10, 1858—1872. В примечаниях к двум первым томам Полного собрания сказок и историй Андерсен по этому поводу писал: "Для новой серии мне понадобилось новое, подходящее название, и я остановился на названии 'Истории'. Я нашел, что оно всего больше подходит к моим сказкам: на датском народном языке 'история' означает и простой рассказ, и самую смелую фантастическую сказку..." Андерсен, по сути, констатировал, что он с самого начала стремился к созданию некой универсальной жанровой формы, включающей в себя признаки самых разных жанров "малой прозы", от аллегории и притчи до рассказа и даже "романа в миниатюре". Последнее в полной мере относится к его историям о прошлом: "Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях" или "Предки птичницы Греты". Некоторые его истории: "Под ивой", "Иб и Кристиночка", "Хорошее настроение" — это просто жизненные зарисовки, в которых нет ничего фантастического, как и в истории "Пропащая", написанной Андерсеном в память о своей матери.

Андерсен был глубоко религиозным человеком, хотя и далеким от церковной ортодоксии. Не принимая церковные догматы о небесном проклятии и муках ада ("Мне показалось чем-то несерьезным, принижающим Господа Бога представлять Его, вопреки слову Христа, строгим властелином, карающим вечным огнем без надежды на спасение человека, который не смог побороть в себе то, что дано ему от природы", — писал Андерсен в одной из автобиографий), он возлагал все свои надежды на доброго и заботливого Бога, пекущегося о своих чадах. Он размышлял о вечной жизни как доказательстве "божественной природы" человека и ничуть не сомневался в том, что в борьбе за Истину, Красоту и Добро "человек может проиграть, но его бессмертная душа в конце концов восторжествует". Вера в небесную жизнь, выраженная им в сказках "Девочка со спичками", "Камень мудрецов", "Последний сон старого дуба", помогала Андерсену переносить трагизм и несправедливость земной жизни, о которой он знал не понаслышке.

Недостаток классических, ганзеновских переводов заключается в том, что их авторы считали сказки и истории Андерсена, даже те, которые предназначены в первую очередь взрослому читателю, преимущественно чтением для детей и в своем стремлении адаптировать их к детскому восприятию зачастую слишком далеко отходили от текста, порой сбиваясь на пересказ. Кроме того, возникла необходимость устранить неточности в переводе, а также некоторые не всегда оправданные архаизмы и устаревшие обороты. Именно по этим причинам издательство "Вагриус" и приняло решение представить в юбилейном сборнике Х. К. Андерсена его сказки и истории в новых переводах.

Предлагаем вниманию читателей "Иностранной литературы" сегодняшнее прочтение нескольких сказок, историй и притч Ханса Кристиана Андерсена (некоторые из них хорошо знакомы нам с детства), чтобы читатели журнала могли сравнить старые, классические переводы с новыми.

Пастушка и Трубочист

Ты видел когда-нибудь настоящий старинный шкаф, потемневший от времени, изукрашенный резными завитушками да листьями? Точно такой шкаф стоял в одной гостиной, он достался хозяевам по наследству от прабабушки и был сплошь, снизу доверху, в резных розах, и тюльпанах, и затейливых завитушках, а меж ними выглядывали оленьи головки с ветвистыми рогами; посредине же был во весь рост вырезан человек самой что ни на есть смехотворной наружности — с козлиными ногами, рожками на лбу и длинной бородой; вдобавок он ухмылялся, да-да, ухмылялся, улыбкой-то этакую гримасу никак не назовешь. Дети, которые играли в комнате, прозвали его *обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног* — выговорить трудновато, и звания этого мало кто удостоивается, но ведь вы́резать его тоже было непросто. Так или иначе, теперь он находился здесь! И глаз не сводил со столика под зеркалом, потому что там стояла прелестная фарфоровая Пастушка, маленькая, в золоченых башмачках, в платье, перехваченном пояском с алой розой, в золотой шляпке и с пастушьим посохом в руке, — чудо как хороша! Рядышком с нею стоял маленький Трубочист, черный как уголь, но тоже фарфоровый. Был он опрятный, красивый, не хуже всякого другого, а трубочиста всего лишь изображал — фарфоровых дел мастер спокойно мог бы и принцем его сделать, если б захотел.

Прелесть как он был хорош — лестница на плече, личико белое, румяное, словно у девушки, хотя тут мастер, пожалуй, допустил оплошность, ведь немного сажи на щеках пришлось бы очень кстати. Стоял Трубочист бок о бок с Пастушкой — так их обоих поставили, и раз уж оказались поставлены рядышком, они обручились, ведь были вполне под пару друг другу: молодые, из одинакового фарфора и одинаково хрупкие.

Подле них стояла еще одна фигурка, тоже фарфоровая, только втрое больше, — Старый Китаец, который умел кивать головой. Он говорил, что доводится маленькой Пастушке дедом, но доказать этого ничем не мог, однако уверял, что держит ее в своей власти, и оттого кивал обер-унтер-генерал-командор-сержанту Козлоногу, который сватался к Пастушке.

— Заполучишь мужа на славу, — твердил Старый Китаец, — мужа, который, очень может быть, вырезан из настоящего красного дерева! Шутка ли, станешь женой самого́ обер-унтер-генерал-командор-сержанта Козлонога! У него в шкафу полным-полно серебра, не говоря уж о том, что припрятано в секретных тайниках!

— Я не хочу в темный шкаф! — отвечала Пастушка. — Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен.

— Значит, ты можешь стать двенадцатой! — произнес Китаец. — Вот нынче же ночью, как только старый шкаф заскрипит, свадьбу и сыграем, не будь я китаец! — Он опять кивнул головой и задремал.

А Пастушка расплакалась и посмотрела на своего возлюбленного, на фарфорового Трубочиста.

— У меня к тебе просьба, — сказала она, — давай убежим отсюда в широкий мир, здесь нам оставаться нельзя!

— Я с радостью сделаю все, что пожелаешь! — отвечал маленький Трубочист. — Прямо сейчас и отправимся. Думаю, я сумею прокормить тебя своим ремеслом.

— Лишь бы нам благополучно спуститься на пол! Я не успокоюсь, пока мы не выберемся отсюда в широкий мир.

Трубочист утешал ее и показывал, куда становиться, спускаясь по резным выступам и золоченым листьям на ножке стола, временами и лестницу свою подставлял, так что в конце концов они очутились на полу, а когда глянули на старинный шкаф, увидали, какой там поднялся переполох — резные олени еще больше высунулись из листвы, вскинули рога и завертели головой; обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног высоко подпрыгивал и кричал старому Китайцу:

— Они сбежали! Сбежали!

Беглецы слегка оробели и поспешили схорониться в приставном ящике[1], что стоял под окном.

Там лежали не то три, не то четыре карточные колоды, правда неполные, и кукольный театрик, с грехом пополам установленный для спектакля. На сцене как раз представляли комедию, и все дамы — бубновые и червонные, пиковые и трефовые — сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами, а за спиной у них выстроились валеты, показывая, что они парни с головой — и вверху, и внизу, как положено игральным картам. Комедия повествовала о влюбленных, которым не суждено было соединиться, и Пастушка плакала, ведь их история так походила на ее собственную.

— Нет, я не выдержу! — воскликнула она. — Мне нужно выбраться отсюда!

Когда же они снова очутились на полу и посмотрели на столик, Старый Китаец уже не спал и раскачивался всем телом, пытаясь сдвинуться с места, снизу-то он был литой, тяжелый.

— Ой, догонит нас Старый Китаец! — испугалась Пастушка и в отчаянии пала на свои фарфоровые колени.

— Я кое-что придумал! — сказал Трубочист. — Давай спрячемся в той большой вазе с ажурной крышкой, что стоит в углу; устроимся там на розах и лаванде, а когда он подойдет, бросим ему в глаза душистой соли.

— Это нам не поможет! — отвечала Пастушка. — Вдобавок я знаю, Старый Китаец и Ваза были помолвлены, а если двое когда-то состояли в близких отношениях, между ними всегда сохраняется толика приязни. Нет, нам остается лишь одно — бежать в широкий мир!

— Вправду ли у тебя хватит смелости отправиться со мной в широкий мир? — спросил Трубочист. — Ты подумала о том, что он очень велик и что мы никогда больше не сможем сюда вернуться?

— Конечно, подумала! — ответила Пастушка.

А Трубочист твердо посмотрел на нее и сказал:

— Мой путь ведет через печную трубу! Коли у тебя вправду хватит смелости пробраться со мною по всей печи, через топку и дымоход, то мы попадем в трубу, а уж там я свое дело знаю! Мы поднимемся высоко-высоко, они нас не достанут, а на самом верху есть отверстие — выход в широкий мир.

С этими словами он подвел ее к печной дверце и ступил внутрь.

— Ой, как же там черно! — испугалась Пастушка, но все-таки прошла с ним и через топку, и через дымоход, где царил кромешный мрак.

1. Окна в датских домах расположены высоко, поэтому, чтобы выглянуть на улицу, становились на такой ящик. (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. переводчиков.*)

— Ну, вот мы и в трубе! — молвил Трубочист. — Смотри-ка! Смотри! Какая красивая звездочка сияет в вышине!

И правда, высоко в небе виднелась звездочка, сияла им навстречу, словно желая указать дорогу. А они все карабкались да ползли выше и выше. Дорога была ужасная, но Трубочист помогал Пастушке, поднимал ее, поддерживал, показывал, куда ей лучше ступать маленькими фарфоровыми ножками, и в конце концов они вылезли на край трубы и сели там, потому что совершенно выбились из сил — и было от чего.

Над ними раскинулось усыпанное звездами небо, внизу же темнели городские крыши, видно было далеко окрест, и они могли заглянуть далеко в широкий мир. Бедная Пастушка никак не думала, что он окажется именно таков, она припала головкой к Трубочисту и расплакалась, да так, что даже позолота с пояска посыпалась.

— Это уж чересчур! — всхлипывала она. — Я не выдержу! Мир чересчур велик! Ах, если б мне вернуться на столик под зеркалом! Я не успокоюсь, пока снова не буду там. Я пошла за тобой в широкий мир, а теперь ты, будь добр, вернись со мною домой, если хоть чуточку меня любишь!

Трубочист успокаивал ее, вразумлял, говорил о Старом Китайце и об обер-унтер-генерал-командор-сержанте Козлоноге, но Пастушка, плача навзрыд, целовала своего Трубочиста, вот и пришлось ему подчиниться, хоть и было это опрометчиво.

С превеликим трудом беглецы вновь слезли в трубу, спустились в дымоход и проползли по нему — занятие, конечно, не из приятных, но, в конце концов, они очутились в темной топке и притаились за дверцей, чтобы выяснить, как обстоит дело в комнате. Там было тихо, они выглянули — ах! Старый Китаец лежал на полу. Он хотел броситься за ними вдогонку, упал со столика и раскололся на три куска: спина отвалилась целиком, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног стоял на своем обычном месте и размышлял о случившемся.

— Какой ужас! — вскричала Пастушка, ломая руки. — Старый дедушка разбился, и виноваты во всем мы! Я этого не переживу!

— Его можно починить, — отвечал Трубочист. — Можно, и даже очень легко. Не надо так убиваться! Если хорошенько приклеить спину да вставить в шею сзади крепкую заклепку, он опять будет почти как новенький и еще наговорит нам много обидных слов.

— Ты так думаешь? — спросила Пастушка.

Потом они взобрались на столик, где стояли раньше.

— Ну вот, от чего ушли, к тому и пришли, — сказал Трубочист. — Столько сил потратили, и совершенно понапрасну.

— Лишь бы старого дедушку починили! — воскликнула Пастушка. — Как по-твоему, это очень дорого?

Китайца вправду починили; хозяева приклеили ему спину, вставили в затылок крепкую заклепку, и стал он почти как новенький, только головой кивать больше не мог.

— А вы заважничали с тех пор, как разбились на куски! — сказал обер-унтер-генерал-командор-сержант Козлоног. — Все же, мне кажется, у вас нет причин этак грозно смотреть! Получу я ее в жены или нет?

Трубочист и Пастушка с мольбой посмотрели на Старого Китайца — очень они боялись, как бы он не кивнул, но кивать он не мог, а сказать постороннему, что в затылке у него вставлена заклепка, стыдился. И

фарфоровая парочка осталась неразлучной, они благословляли дедову заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

Перевод Н. Федоровой

Воротничок

Жил-был изящный кавалер, все имущество которого составляли "денщик"[1] и гребенка, зато у него был чудеснейший на свете воротничок, про него-то мы и послушаем.

Воротничок был уже на возрасте и надумал жениться, и вот случилось так, что он попал в стирку вместе с подвязкой.

— Надо же! — воскликнул воротничок. — Никогда я не видел столь гибкой и грациозной, столь нежной и прелестной особы! Нельзя ли мне узнать ваше имя?

— Не скажу! — ответила подвязка.

— Где же вы пребываете? — спросил воротничок.

Но подвязка была до того стыдлива, что и не подумала отвечать на такой нескромный вопрос.

— Вы, наверно, тесемка! И опоясываете талию! — сказал воротничок. — Как я погляжу, милая барышня, вы не только пригожи, но и приносите пользу!

— Не смейте со мной разговаривать! — отвечала подвязка. — Я, кажется, вовсе не давала к этому повода!

— Ну как же, раз вы такая очаровательная! — сказал воротничок. — Разве это не повод!

— Держитесь-ка от меня подальше! — сказала подвязка. — У вас прямо-таки мужские повадки!

— На то я и кавалер! — ответил воротничок. — У меня есть "денщик" и гребенка! — Что было неправдой, это у его хозяина были "денщик" и гребенка, просто воротничок хвастался.

— Не приближайтесь ко мне! — сказала подвязка. — Я к этому не привыкла!

— Недотрога! — сказал воротничок, и тут его вынули из корыта!

Его накрахмалили и повесили на стул сушиться на солнце, а потом положили на гладильную доску; тут появился горячий утюг.

— Мадам! — сказал воротничок утюжной плитке. — Милая вдовушка! Я весь пылаю! Я сам не свой, я как на раскаленных углях, вы меня прожигаете, ой!.. Предлагаю вам руку и сердце!

— Ветошшшь! — сказала утюжная плитка и гордо проехалась по воротничку; она воображала себя паровиком, который тащит по железным рельсам вагоны.

— Ветошшшь! — повторила она.

Воротничок пообтрепался по краям, и вот явились длинные ножницы, чтобы состричь бахрому.

— О! — воскликнул воротничок. — Вы, наверно, первая танцовщица! Как вы вскидываете ноги! Ничего обворожительнее я не видел! Куда до вас людям! Вы несравненны!

1. Подставочка для стягивания сапог.

— Знаем! — сказали ножницы.

— Вы заслуживаете того, чтобы стать графиней! — продолжал воротничок. — Все, чем я обладаю, это — изящный кавалер, "денщик" и гребенка!.. Но будь у меня графство!..

— Никак он сватается! — сказали ножницы и в сердцах откромсали от него изрядный кусок, после чего он стал ни на что не годен.

— Посватаюсь-ка я к гребенке! И как же это вам удалось сохранить все свои зубки, милая барышня! — тараторил воротничок. — Вы никогда не подумывали о том, чтобы обручиться?

— А как же, — сказала гребенка. — К вашему сведению, я обручена с "денщиком"!

— Обручены?! — сказал воротничок; ну а больше свататься было не к кому, и тогда он решил этим пренебречь.

Прошло немало времени, и воротничок попал на бумажную мельницу, где размалывалось тряпье; там в ящике собралось целое тряпичное общество, тонкие лоскутья лежали сами по себе, а грубые — сами по себе, как оно и следовало. У всех у них нашлось что порассказать, особенно — у воротничка, он был ужасный хвастун.

— У меня было жуть как много невест! — объявил воротничок. — Мне прямо не давали проходу! Так ведь накрахмаленный, я был кавалер хоть куда! У меня даже были "денщик" и гребенка, только я ими никогда не пользовался!.. Видели бы вы меня в те поры, видели бы, как я полеживал на боку! Никогда не забуду первую мою невесту, тесемку, — такая грациозная, такая нежная и прелестная, она бросилась из-за меня в корыто с водой!.. А еще была одна вдова, которая ко мне воспылала, но я был к ней холоден, и с горя она почернела! Была и первая танцовщица, это она меня так резанула, до того была ненасытная! Моя собственная гребенка и та влюбилась в меня и растеряла от сердечной тоски все свои зубы! И таких приключений у меня было множество!.. Но больше всего мне жалко подвязку, то бишь тесемку, которая утопилась. У меня много чего на совести, мне позарез нужно стать белой бумагою!

Так оно и вышло, все тряпки стали белой бумагою, а из воротничка получился вот этот вот самый лист, на котором его история напечатана, а все потому, что он так ужасно хвастался тем, чего и в помине не было; и это нам назидание, чтобы мы не уподоблялись воротничку, ведь кто его знает, может, и мы в один прекрасный день угодим в ящик с тряпьем и станем белой бумагою, на которой напечатают всю нашу историю, даже самое сокровенное, и придется нам, как воротничку, самим же и разносить ее по свету!

Последний сон старого дуба

Рождественская сказка

В лесу, на высоком обрыве, у берега моря, стоял старый-престарый дуб, ему было ни много ни мало триста шестьдесят пять лет, но столь долгий срок для него — все равно что такое же число суток для нас, людей; днем мы бодрствуем, ночью спим и видим сны; у дуба же все по-другому, три четверти года он бодрствует и только лишь к зиме

засыпает, зима для него — время сна, это его ночь, наступающая после длинного дня, который зовется весною, летом и осенью.

Сколько раз, бывало, погожим летним днем около его ветвей кружилась подёнка, обитала, витала и чувствовала себя счастливою, когда же это крошечное создание присаживалось на миг на большой и свежий дубовый лист и замирало в тихом блаженстве, дуб неизменно говорил:

— Бедняжечка! Вся твоя жизнь — один-единственный день! До чего ж коротка она! Как это грустно!

— Грустно? — неизменно переспрашивала подёнка. — О чем ты? Мир восхитительно светел, здесь так тепло и чудесно, мне так весело!

— Да, но один лишь день, а после — всему конец!

— Конец! — говорила подёнка. — Кому конец? И тебе тоже конец?

— Нет, я проживу, быть может, еще тысячи и тысячи твоих дней, мой день — это целых три времени года! Это нечто такое длинное, тебе нипочем не сосчитать!

— Нет, да я тебя и не понимаю! У тебя — тысячи и тысячи моих дней, зато у меня — тысячи радостных и счастливых мгновений! И что, вся прелесть этого мира исчезнет, когда ты умрешь?

— Нет, — сказал дуб, — пожалуй, она сохранится еще надолго, так надолго, я даже не представляю, на сколько!

— Ну, значит, нам отпущено поровну, только мы считаем по-разному!

И подёнка кружилась и вилась в воздухе, радуясь своим изящным, бесценным крылышкам, таким прозрачным и бархатистым, радуясь теплому воздуху, напоенному густыми запахами кашки, шиповника, бузины и жимолости, не говоря уж о ясменнике, калужнице и дикой мяте; запахи были до того крепкие, что подёнке казалось, будто она чуточку захмелела. День был длинный и дивный, полный радости и сладостных ощущений, ну а когда заходило солнце, маленькая мушка, навеселившись, всякий раз чувствовала приятную истому. Крылышки уже не держали ее, тихо-претихо опускалась она на шелковую, качающуюся травинку, кивала головою, как это умеют мушки, и блаженно засыпала — вечным сном.

— Бедная маленькая мушка! — говорил дуб. — Она прожила так недолго!

И каждый летний день все повторялось заново: кружение, речи и ответы, и вечный сон; поколение за поколением подёнки появлялись и исчезали, и все они были одинаково счастливы, одинаково веселы. Дуб прободрствовал все весеннее утро, летний день и осенний вечер, теперь ему пришла пора спать, надвигалась его ночь, зима.

Бури уже пели ему:

— Покойной ночи, покойной ночи! Вот упал листок, вот упал другой! Мы обрываем, мы обрываем! Давай засыпай! Мы тебя убаюкаем, укачаем, твоим старым сучьям хорошо, верно ведь? Они даже потрескивают от удовольствия! Спи сладко, спи сладко! Это твоя триста шестьдесят пятая ночь, ты, в сущности, еще годовалый младенец! Спи сладко! Тучи посыпят землю снегом, постелят белую простыню, укутают тебе ноги снежным одеялом! Спи сладко, приятных снов!

И раздетый дуб приготовился отойти ко сну и проспать всю долгую зиму и видеть сны, в которых, так же как и у людей, всегда что-то да происходит.

Когда-то дуб тоже был маленьким, да, и желудь был ему колыбелькой; по людскому счислению, он жил на свете уже четвертое столетие; это бы-

ло самое большое и могучее дерево в лесу; дуб возносил свою вершину над всеми остальными деревьями и был виден издалека, с моря, и служил кораблям вехою; ему и в голову не приходило, что его высматривает столько глаз. В зеленой кроне его вили гнезда дикие голуби, и куковала кукушка, а осенью, когда листья походили на пластинки кованой меди, здесь отдыхали, прежде чем отправиться за море, перелетные птицы; но теперь была зима, дуб стоял безлистый, широко развесив свои кривые, корявые сучья; на них усаживались по очереди вороны и галки и толковали о том, что настали суровые времена, и о том, как трудно прокормиться зимою.

Тут подошло Святое Рождество, и дубу приснился самый чудесный сон изо всех виденных; о нем-то мы и услышим.

У дуба было явственное ощущение, будто наступил праздник, ему слышался окрест колокольный звон; а еще будто бы стоял чудный летний день, теплый и ласковый; он раскинул пышным шатром свою сочную зелень, сквозь листву его и ветви сквозили солнечные лучи, воздух был напитан запахами трав и кустов, пестрые бабочки играли в пятнашки, подёнки самозабвенно кружились, словно все вокруг было создано для того лишь, чтоб они могли кружиться и веселиться. Все, что на протяжении жизни дубу довелось пережить и увидеть, проходило теперь перед ним в праздничном шествии. Он видел старинных рыцарей и дам, ехавших на конях по лесу, в шляпах с перьями и с соколом на руке; трубил охотничий рог, заливались собаки; он видел вражеских солдат в сверкающих латах и пестрых одеждах, с копьями и алебардами, которые разбивали палатки и снова их свертывали; горел бивачный костер, под раскидистыми ветвями дуба пели песни и устраивались на ночлег; он видел влюбленных, что встречались тут при луне и, млея от счастья, вырезывали свои имена, начальную букву, на его серо-зеленой коре. Случалось, развеселые странствующие подмастерья — а было это раз в несколько лет — подвешивали к ветвям дуба цитру и эолову арфу — и вот они вновь здесь висели и вновь издавали чарующие звуки. Дикие голуби ворковали, будто хотели поведать, что́ при этом испытывал дуб, а кукушка куковала, сколько летних дней ему еще осталось прожить.

И тут дерево словно бы ощутило прилив живительных соков, что заструились вниз, добираясь до самых маленьких корешков, и вверх, достигая вплоть до кончиков листьев самых высоких веток; дерево почувствовало, как оно при этом вытягивается, даже корнями, в земле, оно осязало жизнь и тепло; оно чувствовало, что сил у него прибывает, оно становилось все выше и выше; ствол тянулся кверху, был все время в движении, вымахивал и вымахивал, крона возносилась все пышней и развесистей — и по мере того, как дуб рос, росло и его довольство и сладостное желание подняться еще выше, прямо к яркому, жаркому солнцу.

Он поднимался уже над облаками и тучами, которые ходили под ним то темною перелетной станицей, то большою белою лебединой стаей.

И каждый из его листьев мог озираться по сторонам, как если бы он был зрячим; средь бела дня ему видны были звезды, огромные, сияющие; и каждая мигала, как пара глаз, до того ясных, до того ласковых; они напоминали дубу знакомые, любящие глаза, детские глаза и глаза влюбленных, когда те встречались под его сенью.

То были упоительные, исполненные блаженства мгновенья! Но при всем при этом дуб томился желанием, чтобы и другие лесные деревья, и все оставшиеся внизу кусты, и цветы, и травы тоже смогли подняться сю-

да и осязать весь этот блеск и пережить эту радость. Грезя о своем великолепии, могучий дуб не мог быть до конца счастлив, ему хотелось, чтоб все, от мала до велика, были с ним рядом, он этого жаждал, и ветви его и листья трепетали так, как способно трепетать лишь человеческое сердце.

Дуб поводил своею вершиною, точно он чего-то искал, точно ему чего-то недоставало, он обернулся назад, и вдруг до него донесся запах ясменника, а чуть погодя еще более сильный аромат жимолости и фиалок, и ему послышалось, как отозвалась кукушка.

Ну да! Сквозь тучи и облака проглянули зеленые макушки — дуб увидел, как под ним растут и устремляются ввысь другие деревья; кусты и травы тянулись высоко вверх; некоторые даже оторвались от земли вместе с корнем и взмыли. Береза опередила всех; тонкий ствол ее с шелестом взметнулся вверх белой молнией, ветви развевались, словно зеленый флёр или флаги; весь лес принялся расти в вышину, даже тростник с коричневыми метелками, птицы тоже летели к небу и распевали песни, а на длинной былинке, что вольно вилась и парила зеленой шелковой лентою, сидел и пиликал кузнечик, водя крылышком по своей задней ноге; майские жуки жужжали, пчелы гудели, всяк пел как умел, и радостная песнь эта неслась в поднебесье.

— Ну а синий цветик у воды, он тоже должен быть с нами! — сказал дуб. — И пурпурный колокольчик! и маленькая ромашка! — Дубу хотелось, чтобы все они были с ним.

— Мы здесь! Мы здесь! — разливалось в воздухе.

— А пригожий летошний ясменник!.. а позапрошлогодние ландыши, что цвели здесь в таком обилии!.. а дикая яблоня, до чего она была хороша!.. и вся эта лесная краса, которой я любовался много-премного лет!.. Доживи и дотяни они до этого дня, они тоже были бы рядом со мною!

— Мы здесь! Мы здесь! — зазвенело сверху, как будто они на лету обогнали дуб.

— Нет, ну до чего же чудесно! Просто не верится! — ликовал старый дуб. — Все они рядом! От мала до велика! Никто не забыт! Возможно ли, мыслимо ли такое блаженство!

— На небесах все возможно и мыслимо! — прозвучало в ответ.

И дуб, который все еще продолжал расти, почувствовал, как корни его высвободились из земли.

— Так оно будет лучше всего! — сказал он. — Теперь меня ничто не держит! Я полечу в вышние пределы, где царят свет и великолепие! И рядом со мною все, кого я люблю! Все, от мала до велика!

— Все!

Вот что грезилось дубу, а пока он грезил, в Святую рождественскую ночь на море и суше разыгралась сильная буря; на берег обрушивались тяжелые морские валы, дуб скрипел и трещал, и под конец его вырвало с корнем, как раз когда ему снилось, что его корни высвободились. Он рухнул. Прожитые им триста шестьдесят пять лет сравнялись теперь с короткой жизнью подёнки.

Рождественским утром, когда показалось солнце, буря уже улеглась; по всем церквам торжественно звонили колокола, а из каждой трубы, даже самой маленькой, на крыше у хусмена[1], вился синеватый дымок,

1. Хусмен — мелкий крестьянин.

точно над алтарем друидов, возжигавших благодарственные курения. Море все более и более успокаивалось, и большой корабль, который ночью благополучно выдержал натиск бури, по-рождественски празднично разукрасился флагами.

– Дерева не стало! Старого дуба, что служил нам вехой на берегу! – сказали моряки. – Его повалило в бурю этой ночью! Кто нам его заменит? Никто!

Таково было краткое, но искреннее надгробное слово, которого удостоился дуб, распростертый на снежном покрывале на берегу; а еще над ним прозвучал псалом, донесшийся с корабля, песнь о рождественской радости, о спасении душ человеческих во Христе и о вечной жизни:

Гряньте громче, Божьи чада!
Нам дарована отрада,
Ныне мы ликуем!
Аллилуйя, аллилуйя!

Так звучал старый псалом, и каждый на корабле, кто пел его и творил молитву, пусть по-своему, но возносился душою ввысь, точь-в-точь как это было со старым дубом в последнем его, самом чудесном сне рождественскою ночью.

Хорошее настроение

От моего батюшки я унаследовал самое что ни на есть лучшее, а именно хорошее настроение. Кем был мой батюшка? Ну, к настроению это касательства не имеет! Он был живого нрава, цветущий, толстый и круглый, его внешность и характер совсем не вязались с родом его занятий. Но а каков был род его занятий и положение в обществе? Ну, если это написать и тиснуть в самом начале книги, не исключено, что многие отложат ее в сторону и скажут: "Меня прямо жуть берет, нет уж, увольте!" Хотя батюшка мой был никаким не живодером и не палачом, напротив, исполняя свою должность, он частенько оказывался во главе наипочтеннейших в городе лиц, и имел на то полное право, и был совершенно на своем месте; ему полагалось быть впереди всех, впереди епископа, впереди принцев крови... он и был впереди... он ездил кучером на похоронных дрогах!

Ну, вот оно и сказано! А еще я скажу вам, что, глядя, как мой батюшка восседает на козлах, в передке омнибуса смерти, облаченный в свой длинный и широкий черный плащ, с обшитой черною бахромою треуголкой на голове, а тем паче глядя на его лицо, – точь-в-точь как срисованное солнце, круглое и смеющееся, – невозможно было предаваться скорбным мыслям о смерти; лицо его говорило: "Это ничего не значит, все устроится гораздо лучше, чем вы полагаете!"

Вот от него-то, видите ли, у меня хорошее настроение и привычка почасту бывать на кладбище – это очень приятное времяпрепровождение, ежели только идешь туда в хорошем расположении духа... А еще я, так же как и он, выписываю "Адресную газету".

Я далеко не молод, у меня нету ни жены, ни детей, ни библиотеки, но, как уже было сказано, я выписываю "Адресную газету", мне ее впол-

не хватает, я почитаю ее лучшей газетой, так же как и мой батюшка; она приносит несомненную пользу и содержит все, что человеку необходимо знать: кто проповедует в церквах, а кто проповедует в новых книгах! где приискать жилье, нанять прислугу, купить одежду и продовольствие, кто распродает все до последнего, а кто сам отправляется в последний путь, а еще там много чего про благотворительность и множество невинных стихов, от которых ровно никакого вреда! Законный брак, в который ищут вступить, свидания, на которые решаются или же не решаются; и все это до того просто и натурально! Право же, выписывая "Адресную газету", можно счастливо прожить до гробовой доски, причем к тому времени ее накопится изрядная кипа, которая может послужить мягкой подстилкою, ежели кто не любит лежать на стружках.

"Адресная газета" и кладбище были и остаются двумя самыми моими душещелительными прогулочными маршрутами, двумя самыми благотворными для моего настроения городскими банями.

В "Адресную газету" может заглянуть каждый; а вот пойдемте-ка со мною на кладбище, давайте-ка отправимся туда, когда светит солнце и зеленеют деревья, и пройдемся среди могил! Каждая из них, словно закрытая книга, корешком кверху, вы можете прочесть заглавие, которое говорит о ее содержании и вместе с тем не говорит ничего; но я-то знаю, что в ней, знаю от своего батюшки, а кое-что разузнал сам. Все это занесено в мою Могильную книгу, это книга, которую я самолично составил, пользы и удовольствия ради; в ней они все и значатся, и кое-кто еще!

Ну вот мы и на кладбище.

Здесь, за выкрашенными белою краской колышками ограды, где рос когда-то розовый куст, — его уж нет, и барвинок с соседней могилы просунул сюда свои зеленые пальчики, чтобы хоть как-то эту могилу скрасить, — здесь покоится разнесчастный человек, хотя при жизни он, что называется, катался как сыр в масле, имел хороший доход и кое-что сверх того, вот только он все принимал слишком уж близко к сердцу, вернее сказать, искусство. Сидя вечером в театре, он, вместо того чтобы от души наслаждаться, прямо-таки рвал и метал, а все потому, что или машинист чересчур ярко осветил луну с обоих боков, или же софит висел перед кулисою, в то время как ему следовало висеть сзади, или же на Амагере[1] красовалась пальма, а в Тироле — кактус, а на севере Норвегии — буки! Ну не все ли равно! Да кто ж об этом задумывается! Это же комедия, и от нее надобно получать удовольствие... Или вот еще: то публика хлопала слишком бурно, то слишком вяло. "Дрова сыроваты! — говорил он, бывало. — Сегодня их не разжечь!" И оглядывался по сторонам, чтобы рассмотреть публику, и обнаруживал, что люди смеются невпопад, вовсе не тогда, когда нужно бы, и из-за этого он злился и мучился и был несчастный человек, а теперь вот он почиет в могиле.

Ну а тут покоится счастливец, то есть высокопоставленный господин знатного роду, в этом-то его счастье и заключалось, иначе бы из него никогда ничего не вышло, да только в природе все устроено до того премудро, что думать об этом одно удовольствие. Он был расшит спереди и сзади и помещался в парадной комнате, подобно тому как на видном месте помещают дорогую сонетку[2], расшитую бисером, но приво-

1. Остров, во времена Андерсена предместье Копенгагена.
2. Сонетка — комнатный звонок для вызова прислуги.

дится-то она в действие крепким и толстым шнурком, который, собственно, и несет службу; вот и у этого господина тоже имелся такой шнурок — заместитель, который нес службу, да и посейчас несет, приводя в действие новую сонетку, расшитую бисером. Все устроено донельзя премудро, как же тут не быть в хорошем настроении!

Здесь покоится... вот уж действительно печальная история!.. Здесь покоится человек, который в течение шестидесяти семи лет тщился блеснуть остроумием; он жил единственно надеждой, что его посетит остроумная мысль, и она его посетила, так, по крайней мере, считал он сам, и он до того обрадовался, что умер, умер на радостях, и проку от этого не было никому, остро́ты-то никто не услышал. Сдается мне, он и в могиле не знает покоя, ведь если эту остроту, допустим, надо было приурочить к обеду — чтобы она возымела действие, а покойник, по общему мнению, может явиться только лишь в полночь, значит, острота эта будет некстати и никого не рассмешит, и он опять сойдет с ней в могилу. Да, эта могила наводит печаль.

А здесь покоится ужасная скупердяйка; при жизни она вставала по ночам и мяукала, чтоб соседи подумали, будто она держит кошку, — такой была скупердяйкой!

Тут покоится барышня из хорошего семейства! Бывая в обществе, она непременно должна была что-нибудь спеть, вот она и пела вместе с другими "Mi manca la voce"[1], это было единственное правдивое высказывание за всю ее жизнь!

Здесь покоится девица другого рода! Когда канарейка сердца принимается верещать, рассудок затыкает уши. Девица-красавица венца не дождалась и с честью девичьей распрощалась!.. Обыкновенная история! Мягко выражаясь. Ну да пусть мертвые почиют в мире!

Тут покоится вдова, голос у нее был соловьиный, а сердце змеиное. Она рыскала по знакомым и выискивала недостатки у ближних, совсем как "Друг полицейского"[2], который во время оно выискивал уголки в городе, где через сточную канаву не удосужились перекинуть мостки.

А эта могила — фамильная; все члены этого семейства держались заодно и стояли друг за друга горою. И если весь свет и газета утверждали: дескать, это так, а сыночек, придя из школы домой, говорил: "Я слыхал другое!", то слова его были единственно правильными, ведь он же их отпрыск! И уж будьте уверены, если их дворовому петуху случалось закукарекать в полночь, то для них наступало утро, что бы там ни возвещали сторож и все городские часы.

Великий Гёте заканчивает своего "Фауста" словами: "может иметь продолжение", так и наша прогулка по этому кладбищу, она может продолжиться — я частенько сюда наведываюсь! Ежели кто из моих друзей или недругов очень уж мне досадит, я прихожу сюда, приискиваю ту или иную лужайку и посвящаю ее тому или той, кого желаю похоронить, и не мешкая хороню, так они и лежат тут, мертвые, и ничего не могут поделать, пока не вернутся назад новыми и лучшими людьми. Их житие и деяния, увиденные мною со стороны, я записываю в мою Могильную книгу; хорошо бы, так поступали все: не злились, ежели кто устроит им

1. Букв.: "У меня нет голоса" (*итал.*), на самом же деле: "У меня нету слов" — квартет из оперы Россини "Моисей в Египте".
2. Еженедельная газета, которая указывала на неполадки в городском хозяйстве и была известна своими мелочными придирками.

пакость, а не мешкая хоронили своих обидчиков, и сохраняли хорошее расположение духа и подписку на "Адресную газету", газету, которую сочиняет сама публика, хотя рукой ее частенько водят другие.

А придет время, что и меня вместе с моим жизнеописанием переплетут в могилу, сделайте тогда на ее корешке надпись:

"Хорошее настроение!"

Такова моя история.

"Пропащая"

ГОРОДСКОЙ судья стоял у распахнутого окна; на нем была рубашка с манжетами и жабо, в котором красовалась булавка, и он был отменнейше выбрит — своя работа; он, правда, слегка порезался, ну да он залепил это место клочком газеты.

— Эй, мальчуган! — крикнул он.

А мальчуган был не кто иной, как прачкин сынишка, который как раз проходил мимо и почтительно снял фуражку; козырек у нее был сломан, чтоб сподручнее было совать в карман. В бедном, но чистом и тщательно залатанном платье, обутый в тяжелые деревянные башмаки, мальчик стоял перед ним с почтительным видом, словно перед самим королем.

— Ты хороший мальчик, — сказал судья. — Ты вежливый мальчик! Твоя мать, верно, на реке, полощет белье; туда ты и направляешься, и несешь кое-что в кармане. Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя тут?

— Шкалик, — вполголоса испуганно отвечал мальчик.

— А утром ты ей отнес столько же, — продолжал тот.

— Нет, то было вчера! — сказал мальчик.

— А два шкалика — это полштофа!.. Пропащая она женщина! С этим простонародьем одна беда!.. Постыдилась бы твоя мать, так ей и передай! Да смотри, сам не сделайся пьяницей, но, скорей всего, так оно и будет!.. Несчастный ребенок!.. Ну уж ступай!

И мальчик пошел дальше; он не стал надевать фуражку, и ветер трепал его длинные светлые волосы. Он свернул за угол и спустился проулком к реке, где его мать стояла в воде перед табуреткой и колотила вальком по тяжелой льняной простыне; течение было сильное, ведь мельничные шлюзы были подняты, простыню сносило, табуретка грозила вот-вот опрокинуться; прачка с трудом удерживала ее.

— Я того и гляди уплыву! — сказала она. — Хорошо, что пришел, мне пора уже чуток подкрепиться! Вода студеная; я простояла здесь шесть часов. Ты мне чего принес?

Мальчик достал бутылку, мать поднесла ее ко рту и отхлебнула глоток.

— До чего же славно! Враз согревает! Не хуже горячих харчей, вдобавок дешевле! Хлебни, мой мальчик! Ты такой бледный, и весь дрожишь! Да и то, платьишко на тебе легкое, а на дворе осень. Ух! Вода студеная, только б не захворать! Да я не захвораю! Дай-ка мне еще глотнуть, и хлебни сам, но только капелюшечку, тебе не след к этому привыкать, бедное мое нищее дитятко!

Она обошла мостки, где стоял мальчик, и выбралась на берег; с циновки, которой у нее был обвязан пояс, ручьем стекала вода и ручьем лила с юбки.

— Я работаю не покладая рук, скоро у меня кровь из-под ногтей брызнет! Ну да это все равно, лишь бы я честным путем вывела тебя, мой миленький, в люди!

В это время к ним подошла пожилая женщина, бедно одетая, изможденная, хромая на одну ногу и с большущим накладным локоном, спущенным на один глаз с целью его прикрыть, отчего изъян был еще заметнее. Это была прачкина товарка, Марен-Хромуша с Локоном, как прозывали ее соседи.

— Бедняжка! Работаешь не покладая рук, да еще стоя в холодной воде! Тебе и впрямь не мешает маленько хлебнуть и согреться! А тебя этой каплею попрекают! — И Марен не замедлила передать прачке слова, с которыми судья обратился к мальчику; она же все слышала, и ее это рассердило: как он может говорить так с ребенком про его мать и поминать ту малость, что она выпивает, когда сам устраивает званый обед, на котором вина — море разливанное! — Доброго вина, крепкого вина! Тут не один хватит лишку! Но это у них не называется выпивать! Они — порядочные, а ты — пропащая!

— Так вот как он говорил с тобою, сынок! — сказала прачка, и губы у нее задергались. — Мать у тебя — пропащая! Может, он и прав! Только ему не след говорить такое ребенку! Да сколько ж мне от этого семейства еще терпеть!

— Верно, вы же у них служили, у его родителей, когда они были еще в живых. Сколько уж лет прошло! А пудов соли съедено! Оно и немудрено, что охота пить! — И Марен рассмеялась. — У судьи сегодня званый обед, его бы надобно отменить, ан поздно, да и еда сготовлена. Я узнала это от ихнего дворника. С час назад пришло письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене.

— Умер! — воскликнула прачка и побледнела как смерть.

— Эва! — сказала Марен — И чего так переживать! А-а, вы ж знавали его в те поры, когда были у них в доме служанкою.

— Так он умер! Лучше его и добрее я человека не знала! У Бога таких наберется не много! — И по щекам у нее побежали слезы. — Господи, как у меня кружится голова! Это оттого, что я выпила всю бутылку! А этого мне было нельзя! Как мне неможется!

И она привалилась к дощатому забору.

— Боже правый, да вы, матушка, совсем плохи! — сказала Марен. — Погодите, может, оно пройдет!.. Нет, вы и впрямь больны! Лучше-ка я сведу вас домой!

— А как же белье?

— Я о нем позабочусь! Берите-ка меня под руку! Мальчик пусть побудет здесь и постережет, а я приду достираю; тут и осталось-то всего ничего!

Ноги у прачки подкашивались.

— Уж очень я долго стояла в студеной воде! И во рту с утра маковой росинки не было! Меня всю ломает! Господи Исусе! Помоги мне дойти до дому! Бедное мое дитятко!

И она разрыдалась.

Мальчик заплакал, вскоре он уже сидел у реки один, присматривая за мокрым бельем. Женщины шли медленно, прачку пошатывало, из проулка они свернули на улицу; когда они поравнялись с домом судьи, прачка повалилась на булыжную мостовую. Вокруг собрался народ.

Марен-Хромуша побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна.

— Это прачка! — сказал он. — Хватила лишнего! Пропащая женщина! Жаль только ее красивого мальчика. Я к нему действительно расположен. А мать — пропащая!

Прачку привели в чувство, проводили до ее бедного жилища и уложили в постель. Добрая Марен приготовила ей чашку подогретого пива с маслом и сахаром, это было, по ее разумению, наилучшим лекарством, после чего отправилась на реку; белье она выполоскала из рук вон плохо, зато с душою; собственно, она просто-напросто вытащила мокрое белье на берег и покидала в корзину.

Под вечер она сидела у прачки в ее убогой каморке. Кухарка судьи дала ей для больной несколько картошек, обжаренных в жженом сахаре, и чудесный жирный кусок ветчины. Все это уплели мальчик с Марен; больная же лакомилась запахом, он до того питательный, сказала она.

Потом мальчик улегся на ту же самую постель, где лежала и его мать, только спал он у нее в ногах, поперек, и укрывался старым половиком, сшитым из синих и красных лоскутьев.

Прачке чуточку полегчало; ее подкрепило горячее пиво и подбодрил запах вкусной еды.

— Спасибо тебе, добрая ты душа! — сказала она Марен. — Так и быть, я все тебе расскажу, когда мальчик уснет! По-моему, он уже спит! Глазки закрыты, ну до чего же он мил! Он и не знает, каково приходится его матери! Не дай бог ему когда-нибудь такое изведать!.. Я служила в доме у коллежского советника и советницы, родителей судьи, и вот случись так, что младший из сыновей, студент, приехал домой на побывку; в ту пору я была молодая да шалая — но честная, это я говорю как перед Господом Богом! — сказала прачка. — Студент был ну такой веселый и улыбчивый, такой славный! А уж добрый и порядочный до мозга костей! Лучше его человека на земле не было. Он — хозяйский сын, а я — простая служанка, но мы полюбили друг дружку и обручились, все честь по чести. Ведь поцеловаться разок не грех, коли взаправду друг друга любишь. И он рассказал о том своей матери; он почитал ее все равно что Господа Бога! Она была до того умная, сердечная и душевная!.. Он уехал, а перед тем надел мне на палец свое золотое кольцо. Он был уже далеко, и тут меня призвала к себе хозяйка; вид у нее был строгий и вместе мягкий, и ее устами как будто говорил Господь Бог; она разъяснила мне, какая нас с ним разделяет пропасть. "Он глядит сейчас на твое пригожее личико, но красота пройдет! Ты не образованна, как он, вы не будете равными в царстве духа, в этом-то вся и беда. Я уважаю бедных, — сказала она, — у Господа они, быть может, поставлены будут выше, чем многие из богатых, но здесь, на земле, негоже сворачивать с накатанной колеи, раз едешь вперед, — не то повозка перевернется, так оно будет и с вами! Я знаю, что к тебе сватался один честный, хороший человек, у которого есть ремесло, — Эрик-перчаточник, — он вдовец, бездетный, живет в достатке, подумай над этим!" *Каждое ее слово было мне — нож в сердце, но ведь она была права! И так это меня удручило и*

сокрушило! Я поцеловала ей руку и горько заплакала, а еще горше плакала, когда вернулась к себе в каморку и бросилась на постель. Тяжкую я провела ночь, одному Господу ведомо, как я мучилась и боролась сама с собою. Ну а в воскресенье я пошла к причастию, чтобы Господь просветил мою душу. И мне словно бы явилось знамение: когда я выходила из церкви, мне повстречался Эрик-перчаточник. Тут уж я больше не сомневалась, мы были ровнею, вдобавок он человек зажиточный, и тогда я подошла к нему, взяла за руку и сказала: "Ты меня все еще любишь?" – "Да, – говорит, – и буду любить по гроб!" – "Возьмешь ли за себя девушку, которая тебя уважает и почитает, но не любит, но это, может статься, придет!" – "Это придет!" – сказал он, и мы пожали друг другу руки. Я отправилась домой к хозяйке; золотое кольцо, что мне дал ее сын, я носила у себя на груди, я не смела надевать его днем на палец, а надевала лишь вечером, когда ложилась в постель. Я поцеловала кольцо, да так крепко, что из губ у меня пошла кровь, а потом отдала его хозяйке и говорю, на той неделе меня с перчаточником огласят в церкви. Тут хозяйка обняла меня и поцеловала... она вот не говорила, что я пропащая, только в ту пору я, может, и впрямь была лучше, но и то, на меня еще не свалилось столько невзгод. Свадьбу мы справляли на Сретенье; и первый год прожили хорошо, мы держали подмастерья и мальчика, а еще у нас служила ты, Марен...

– И славной же вы были хозяйкой! – сказала Марен. – Век буду помнить, какие вы с мужем были ласковые и добрые!

– Так ты и жила с нами в хорошие времена!.. Детей у нас тогда не было... Студента я больше так и не видела!.. Нет, видела, это он меня не видел; он приезжал на материны похороны. Он стоял у ее могилы, белый как мел и до того печальный, но это он горевал по матери. А когда умер его отец, он был в чужих краях и сюда не приехал, да и после ни разу здесь не бывал. Он так и не женился, это я знаю... По-моему, он стал присяжным поверенным!.. Куда ему меня помнить; а если б он меня даже и увидал, то уж наверняка не признал бы, такая я стала уродина. Да так оно и к лучшему!

И она принялась рассказывать про тяжкие дни испытаний, когда на них одно за другим стали обрушиваться несчастья. У них было пятьсот риксдалеров, а в их улице продавался дом за двести, – была прямая выгода сломать его и поставить новый, вот они этот дом и купили. Каменщик с плотником составили смету, постройка должна была обойтись в тысячу двадцать риксдалеров. Кредит у Эрика был, его ссудили деньгами из Копенгагена, но шкипер, который должен был их привезти, пошел ко дну, вместе со всеми деньгами.

– А я как раз родила моего милого мальчика, что здесь спит... Отца нашего одолела тяжелая, затяжная болезнь; девять месяцев я его и раздевала, и одевала. Дела у нас покатились под гору, мы все занимали да занимали; остались голые-босые, и потеряли отца!.. Ради ребенка я работала не покладая рук, не разгибая спины, мыла лестницы, стирала белье, и грубое, и тонкое, но Господу, видать, не угодно, чтобы я выкарабкалась; ну да он меня развяжет и порадеет о мальчике.

И она заснула.

Поздним утром она почувствовала себя бодрее и решила, что у нее достанет сил пойти на реку. Но едва она зашла в холодную воду, как ее охватила дрожь, она начала обмирать; судорожно хватая рукою воздух,

она шагнула к берегу — и упала. Голова ее оказалась на земле, а ноги — в воде, деревянные башмаки — в каждый был вложен пучок соломы — поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

Судья посылал к ней домой человека, передать, чтобы она тотчас же шла к нему, у него к ней дело. Слишком поздно! Привели цирюльника, чтоб отворил ей кровь, но прачка уже скончалась.

— Ее погубило пьянство! — сказал судья.

В письме с извещением о смерти младшего брата передано было и содержание завещания, где говорилось, что вдове перчаточника, служившей когда-то у родителей покойного, отказано шестьсот риксдалеров. Деньги эти должны выдаваться вдове и ее сыну частями, большими или меньшими, — как сочтут лучшим.

— Никак у моего брата с ней были шашни! — сказал судья. — Хорошо, что она убралась на тот свет; теперь все получит мальчик, я пристрою его в порядочную семью, может, из него выйдет хороший ремесленник!

И в последние его слова Господь вложил Свое благословение.

И судья призвал к себе мальчика, и пообещал о нем позаботиться, и сказал ему, хорошо, что его мать умерла, она же была пропащая!

Ее снесли на кладбище, кладбище для бедных; Марен посадила на могиле розовый кустик, мальчик стоял с ней рядом.

— Милая моя матушка! — сказал он, заливаясь слезами. — Она что, правда была пропащая?

— Неправда! — ответила старая девушка, подняв глаза к небу. — Я знала ее много лет, а еще лучше узнала в последнюю ночь. Говорю тебе, она была достойная женщина! И Господь в Царствии Небесном тоже так скажет, а люди пускай себе называют ее пропащею!

На краю моря

К Северному полюсу было послано несколько больших кораблей, чтобы установить, где кончается суша и начинается океан, и разведать, как далеко могут проникнуть на север люди. Долго-предолго, одолевая великие трудности, пробивались они сюда сквозь туманы и льды; и вот настала зима, солнце скрылось, воцарилась длинная-предлинная ночь; все вокруг было сковано льдом; корабли все до одного оказались намертво пришвартованы; навалило снегу, и из снега были поставлены дома-ульи, некоторые побольше, с наши курганы, другие — всего-навсего на двух-четырех человек; но только темно там не было, там светило, переливаясь красным и синим, северное сияние, то был великолепный, нескончаемый фейерверк, и снег сверкал, и ночь казалась длинной пламенеющею зарею; в самые светлые часы наезжали гурьбой туземцы, в диковинных одеждах из мохнатых шкур, в санках, сбитых из льдин; они привозили груды мехов, благодаря им в снежных домах появились на полу теплые ковры; меха служили матросам и подстилками, и одеялами, которыми они укрывались, засыпая под снежным куполом; а снаружи трещал мороз, какого у нас не бывает даже в самую суровую зиму. У нас все еще стоит осень, думалось им. И вспоминалось яркое солнце, и красно-желтая листва на деревьях. Часы показывали, что наступил вечер и пора спать, и в одном из снежных домов двое уже улеглись на покой; у млад-

шего было с собой самое его большое сокровище, Библия, которую перед отплытием дала ему на прощание бабушка. Каждую ночь он клал ее себе под изголовье, она была знакома ему с детских лет; каждый день он прочитывал из нее отрывок, и не раз, лежа на своем ложе, находил утешение в словах Святого Писания: "Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя!" Под эти слова истины и веры он закрыл глаза и уснул, и увидел сон, то было откровение духа в Боге; душа его бодрствовала, пока отдыхало тело, он это чувствовал, это было как мелодии старых, милых сердцу, знакомых песен; его овевало ласковым-преласковым, по-летнему теплым воздухом, со своего ложа он видел над собою сияние, словно снежный купол пронизали лучи извне; он поднял голову – сияющая белизна была не стены и потолок, а огромные крылья за плечами у ангела, и, возведя глаза, он посмотрел ему в ласковый, светлый лик. Ангел поднялся со страниц Библии, как из чашечки лилии, и распростер свои крылья, и стены снежной хижины осели легчайшею пеленою тумана; вокруг, озаренные тихим солнечным светом погожего осеннего дня, расстилались родные зеленые поля, подымались холмы, темнели бурые леса; аистиное гнездо пустовало, но на дикой яблоне еще висели яблоки, хоть листья и облетели; шиповник пламенел яркокрасными ягодами, в маленькой зеленой клетке над окном деревенского дома, родимого дома, свистел скворец, свистел так, как выучили, а на прутьях клетки бабушка развешивала пташью мяту, как обыкновенно делал ее внук; у колодца стояла молоденькая дочь кузнеца, до того красивая! Она вытащила полное ведро и кивнула бабушке, а та поманила ее и показала письмо, пришедшее издалека; оно прибыло этим утром из холодных краев, с самого Северного полюса, где внук ее был – в Божьих руках... И они смеялись и плакали, а он, во льдах и снегах, пребывая в мире духа, осененный крылами ангела, все это видел и слышал, и смеялся и плакал вместе с ними. Письмо было прочитано вслух, даже слова из Библии: "переселюсь на край моря, и там удержит меня десница Твоя!" И все кругом словно бы пело чудесный псалом, и ангел укрыл спящего своими крылами, словно бы опуская завесу... Сон кончился... в снежном доме стало темно, но под головою у юноши лежала Библия, а в сердце жили вера с надеждою; Бог был рядом, и родной дом был рядом – "на краю моря"!

"Тернистый путь славы"

ЕСТЬ такая старая сказка: "Тернистый путь славы для стрелка по имени Брюде, который добился-таки великой славы и почестей, но лишь после долгих и многих мытарств и невзгод". Иные из нас наверняка слышали ее в детстве, а может, прочли уже взрослыми и задумались о своем неприметном тернистом пути и "многих мытарствах". Сказка и быль до того похожи, только сказка находит свое гармоническое разрешение здесь, на земле, а быль чаще всего отодвигает его за пределы земной жизни, на потом, в вечность.

Всемирная история – это Laterna magica, волшебный фонарь, показывающий нам в ярких картинах, на черном фоне эпохи, как брели тернистым путем славы благодетели человечества, мученики таланта.

Здесь высвечиваются все времена, все страны, на одно лишь мгновенье, но ведь за этим мгновеньем – целая жизнь, целый человеческий век

с борениями и победами; давайте же взглянем хотя бы на нескольких из этой процессии мучеников, которой, пока стоит земля, не будет конца.

Мы видим переполненный амфитеатр, Аристофановы "Облака" полны издевок и потешают толпу: со сцены осмеивается духовный и телесный облик самого выдающегося человека в Афинах, того, кто был народу щитом от тридцати тиранов. Сократ, который в пылу битвы спас Алкивиада и Ксенофонта, который воспарил духом над богами древности, и сам находится среди зрителей; он поднялся со скамьи и выставил себя напоказ, чтобы смеющиеся афиняне могли судить, есть ли сходство между ним и представленной на сцене карикатурою: он стоит перед ними выпрямясь, он много выше их всех.

Тебе, сочная, зеленая, ядовитая цикута, а не оливе быть эмблемой Афин!

Пять городов оспаривали друг у друга право называться родиною Гомера, но это уж после того, как он умер, — а взгляните на него при жизни! Он скитается по этим городам, исполняя свои песни пропитания ради; мысль о дне грядущем убелила его власы! Он, величайший провидец, слеп и одинок, колючие тернии превратили одеяние первого из поэтов в рубище...

А песни его и доныне живы, и только в них продолжают еще жить древние боги с героями.

Одна за другой наплывают картины из полуденных стран и полуночных стран — столь удаленные друг от друга в пространстве и времени, они показывают все тот же отрезок тернистого пути к славе, на котором чертополох зацветает тогда лишь, когда надо украсить могилу.

Под пальмами шествуют верблюды, тяжело груженные индиго и прочими ценностями; они посланы правителем страны тому, чьи песни составляют радость народа, гордость страны; тот, кого зависть и клевета изгнали из отечества, он найден, караван приближается к маленькому городку, где он нашел пристанище; из ворот выносят бедно обряженного покойника — караван вынужден остановиться. Умерший — именно тот, кого они ищут: Фирдоуси. Тернистый путь славы пройден!

Африканец с грубыми чертами лица, толстыми губами, черной шапкой шерстистых волос сидит на мраморных ступенях дворцовой лестницы в португальской столице и просит милостыню. Это верный раб Камоэнса, без него и тех медяков, что ему кидают, его хозяин, творец "Лузиад", умер бы с голоду.

Ныне на могиле Камоэнса стоит пышный памятник.

Еще одна картина!

За железными прутьями показывается человек, мертвенно-бледный, с длинной спутанной бородою. "Я сделал открытие, величайшее в мире! — кричит он. — А меня здесь гноят больше двадцати лет!" — " Кто это?" — "Помешанный! — отвечает сторож. — И чего только людям не втемяшится в голову! Он воображает, что можно передвигаться с помощью пара!" Саломон де Ко, который открыл силу пара и поделился своей догадкой в путаной речи, не понятой Ришелье, умирает, засаженный в дом умалишенных.

Вот стоит Колумб! Которого некогда донимали и дразнили уличные мальчишки, потому что он собирался открыть Новый мир — он его открыл: праздничные колокола звонят в честь его победного возвращения, но еще громче звучат колокола зависти; первооткрывателю, кото-

рый взял и подарил своему королю лежащее за морем американское эльдорадо, наградою стали железные цепи — те самые, что он завещал положить ему в гроб, они свидетельствуют о людской неблагодарности и отношении современников.

Картины вытесняют одна другую, странников на тернистом пути славы не счесть.

Вот он сидит, окутанный кромешною тьмой, он, кто измерил высоту лунных гор, проник в мировое пространство к планетам и звездам, он, могущественный, кто увидел и услышал в природе дух, кто восчувствовал, что земля под ним вертится: Галилей. Ослепший, оглохший, сидит он на старости лет, пригвожденный терниями страданий, терзаясь своим отречением; у него вряд ли достанет сил поднять ногу, ту самую, коей он в минуту душевной муки, когда были зачеркнуты слова истины, топнул о землю, воскликнув: "А все-таки она вертится!"

Вот женщина с детской душою и пламенной верою: она несет впереди войска боевой стяг, она приносит отчизне победу и избавление. Посреди всеобщего ликования разводят костер: на нем сжигают Жанну д'Арк, ведьму... Да и последующее столетие оплевывает белую лилию: Вольтер, сатир остроумия, сочинил "La pucelle"[1].

На Виборгском тинге датская знать сжигает свод королевских законов — они горят ярким пламенем, освещая эпоху и законодателя, бросая отблеск славы на темную башню, где сидит, протирая пальцем канавку в каменной столешнице, поседелый, согбенный узник, что повелевал некогда тремя королевствами, любимец народа, друг горожан и крестьян — Кристиан Второй. Тот, что был суров нравом в суровые времена. Историю его писали враги... Вспоминая его кровавое злодеяние[2], не забудем же о двадцати семи годах заключения.

Из Дании отплывает корабль, у высокой мачты стоит человек, он смотрит на Вен в наипоследний раз: Тихо Браге вознес имя Дании до самых звезд, ему же отплатили оскорблениями и злом... Он отправляется в чужую страну. "Небо есть повсюду, чего же мне больше!" — вот его слова; и он уплывает, самый знаменитый наш соотечественник, на чужбине его ждут почести и свобода.

"Свобода!.. О, хотя бы освободиться от невыносимой телесной боли!" — доносится до нас вздох из глубины времен. Кого же мы видим? Гриффенфельдта, датского Прометея, прикованного к скалистому острову Мункхольм.

Мы в Америке, у одной из больших рек, на берегу сгрудилась толпа. Судно способно плыть против ветра, не уступая стихиям: Роберт Фултон — имя того, кто верит, что это возможно. Судно отчаливает — и неожиданно останавливается; толпа смеется, освистывает его, родной отец Фултона и тот заодно со всеми: "Гордыня! Безумие! Поделом тебе! Запереть сумасброда!" Тут маленький гвоздик, который на мгновенье застопорил машину, ломается, колеса поворачиваются, лопасти преодолевают сопротивление воды, судно плывет!.. Паровой челнок превращает часы в минуты, сокращая расстояния между странами.

1. Поэма "Орлеанская девственница".
2. Речь идет о "Стокгольмской кровавой бане" (1520) — казни более чем восьмидесяти противников унии с Данией, в числе которых были дворяне, представители духовенства и видные горожане.

Род человеческий! Способен ли ты понять все блаженство подобной минуты прозрения, когда дух осознает свою миссию, минуты, когда все раны, полученные на тернистом пути славы, — пусть даже и по собственной вине, — заживляются и человек обретает здоровье, силу и ясность, дисгармония оборачивается гармонией, и людям открывается милость Божия, явленная одному, она простирается через него на всех!

И тогда тернистый путь славы предстает как нимб над землею; блажен, кто избран по нему странствовать и кто, ничем того не заслужив, выдвигается в строители моста между человеческим родом и Богом.

На могучих крылах вершит свой полет сквозь времена дух истории и — чтоб ободрить нас, утешить, умягчить и заставить задуматься — показывает в ярких картинах, на фоне чернее ночи, тернистый путь славы, который не завершается, как в сказке о стрелке, почестями и радостями в земной жизни, но уводит за ее предел, в вечность.

Спустя тысячелетия

Да, спустя тысячелетия они перелетят на крыльях пара по воздуху через океан! Юные обитатели Америки прибудут в старую Европу. Они приедут осматривать памятники древности и оседающие города точно так же, как мы сегодня отправляемся к ветшающим примечательностям Южной Азии.

Спустя тысячелетия они будут здесь!

Темза, Дунай и Рейн все еще текут; Монблан стоит, белея снежной вершиной, над северными странами светит северное сияние, но не одно поколение уже превратилось в прах, череда калифов на час позабыта, как и те, что почиют ныне в кургане, на котором зажиточный мужик, в чьих владениях этот курган находится, сколотил себе скамейку, чтоб, сидючи на ней, озирать плоское, волнистое поле.

— В Европу! — возглашает юное поколение Америки. — В страну наших отцов, в чудесную страну воспоминаний и фантазии, в Европу!

Воздушный корабль приближается; он битком набит пассажирами, ибо скоростью превосходит морское судно; электромагнитный провод, протянутый по дну океана, протелеграфировал, какова численность этого воздушного каравана. Вот уже показалась Европа, это виднеются берега Ирландии, но пассажиры спят еще; они просили разбудить их только над Англией; там они ступят на европейскую землю в стране Шекспира, как именуют ее сыны духа; прочие же называют ее страной политики и страной машин.

Путешественники проводят здесь целый день: ровно столько времени занятое поколение может уделить великой Англии и Шотландии.

Через туннель под Каналом путь ведет во Францию, страну Карла Великого и Наполеона. Вспоминают Мольера, эрудиты толкуют о классической и романтической школах далекой древности и восторгаются героями, бардами и учеными, которых наше время еще не знает, но которые должны народиться в кратере Европы: Париже.

Воздушный пароход пролетает над страной, откуда вышел Колумб, где родился Кортес, где Кальдерон слагал плавными строфами свои

драмы; ее цветущие долины по-прежнему населяют прекрасные черноокие женщины, а в старинных песнях поминаются Сид и Альгамбра.

По воздуху, над морем — в Италию, туда, где стоял древний, вечный Рим; он исчез с лица земли, Кампанья превратилась в пустыню; от собора Петра остался лишь одинокий обломок стены, который и показывают путешественникам, однако подлинность его вызывает сомнения.

В Грецию, чтобы переночевать в роскошном отеле на вершине Олимпа, — итак, побывали и в Греции! Путь ведет к Босфору, здесь дается несколько часов на отдых и осмотр того места, где лежал Византий; бедные рыбаки закидывают свои сети там, где, по преданию, во времена турок находился гаремный сад.

Воздушный караван оставляет позади развалины больших городов на могучем Дунае, которых в наше время и не было, но кое-где — в городах, богатых воспоминаниями, тех, что еще возникнут, тех, что породит время, — кое-где он приземляется и поднимается вновь.

Внизу лежит Германия, некогда охваченная густейшей сетью железных дорог и каналов, — земли, где держал речи Лютер, слагал песни Гёте, где в свое время повелевал звуками Моцарт! В науке и искусстве сияют великие имена, имена, которых мы сегодня еще не знаем. На Германию отводится один день, и один — на страны Севера, родину Эрстеда, родину Линнея и Норвегию, страну древних героев и молодых норвежцев. Исландию прихватывают на обратном пути; гейзеры более не кипят, Гекла потухла, но в бушующем море, словно увековеченная сагою каменная доска, незыблемо стоит Скала Остров!

— В Европе есть что посмотреть! — скажет юный американец. — Мы всё осмотрели за восемь дней, и это вполне возможно: великий путешественник, — тут он называет имя своего современника, — так и написал в своей знаменитой книге "Европа, увиденная за восемь дней".

Перевод Норы Киямовой

Роза с могилы Гомера

Во всех песнях Востока поется о любви соловья к розе. В тихие звездные ночи несется к благоухающему цветку серенада крылатого певца.

Недалеко от Смирны, у дороги, окаймленной высокими платанами, по которой купцы водят своих навьюченных верблюдов, гордо вытягивающих длинные шеи и неуклюже ступающих по священной земле, видел я цветущий розовый куст. В кронах платанов гнездятся дикие голуби, и в лучах солнца их крылья отливают перламутром.

На этом розовом кусте один цветок был особенно хорош, и ему-то изливал свою любовную боль соловей, а роза молчала; ни капли росы не блестело на ее лепестках слезой сострадания. Она вместе с ветвями клонилась к нескольким большим камням, лежавшим на земле.

— Здесь покоится величайший певец Земли, — говорила роза. — Над ней хочу я благоухать, на нее буду ронять свои лепестки, оборванные ветром! Прах певца "Илиады" смешался с землей, и из этой земли выросла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья!

А соловей пел, пока не умер.

Мимо проходил караван навьюченных верблюдов, за которым шли черные рабы. Маленький сын погонщика верблюдов нашел мертвую птичку и похоронил крошечного певца в могиле великого Гомера, а на ветру качалась роза.

Наступил вечер, и роза, поплотнее свернув лепестки, заснула. И приснился ей чудный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришло множество чужеземцев, среди которых был певец с Севера, из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил в книгу и увез с собой на другой конец света, на свою далекую родину. И роза завяла от горя, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

— Это роза с могилы Гомера!

Вот что снилось розе; а когда она проснулась, то затрепетала от порыва холодного ветра. Капля росы скатилась с ее лепестков на могилу певца, но вот встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего; день был жарким, ведь дело происходило в теплой Азии. Послышался шум шагов, появились чужеземцы, которых роза видела во сне, и среди них поэт с Севера. Он сорвал розу и, нежно поцеловав ее, увез с собой в страну туманов и северного сияния.

Словно мумия покоится теперь цветок в его "Илиаде", точно во сне слышит, как, открывая книгу, поэт говорит:

Это роза с могилы Гомера!

Побратимство

Все дальше и дальше от датской земли
Летим мы на самый край света,
Здесь Греции берег, и море вдали
Почти василькового цвета,

Здесь россыпь плодов ярко-желтых горит
На ветках деревьев лимонных,
Репейник пророс между мраморных плит,
А плиты — в рельефах исконных.

На камне пастух, и собака у ног,
И вместе с собакой пастушьей
О древнем обычае слушай, сынок,
О побратимстве послушай[1].

Наш дом был слеплен из глины, но дверными косяками в нем служили рифленые мраморные колонны, обнаруженные на месте постройки. Крыша лежала чуть не на земле, сейчас она почернела, стала страшной, но клали ее из цветущих олеандров и свежих лавровых ветвей, привезенных из-за гор. Наш дом теснился между отвесных сизых скал, на вершинах которых нередко покоились облака, похожие на белые, живые существа. Никогда я не слышал здесь птичьего пения, никогда не видел людей, танцующих под звуки волынки, тем не менее место считалось свя-

1. Перевод В. Г. Тихомирова.

щенным с древних времен, само название об этом говорит — Дельфы! Мрачные, угрюмые горы покрыты снегом, самая высокая из них, блиставшая дольше всего под красными лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Вода, струившаяся с него, превращалась в ручей у подножия нашего дома; он когда-то тоже считался священным, а теперь его мутит своими ногами осел; но поток стремителен, и вода снова становится чистой. Как хорошо я помню каждый уголок этих мест и его священную, глубокую уединенность! Посреди хижины разводили огонь, и в горячей золе, остававшейся от костра, пекли хлеб. Когда хижину почти совсем заносило снегом, моя мать веселела, обхватывала мою голову ладонями, целовала меня в лоб и пела песни, которые в другое время петь не смела, потому что турки, наши властители, их терпеть не могли, а пела она так: "На вершине Олимпа, в низком еловом лесу, плакал старый олень; плакал красными, зелеными и голубыми слезами, а мимо шел самец косули: 'Что плачешь, олень, что роняешь красные, зеленые и голубые слезы?' Турки в наш город пришли, собак для охоты привели, целую свору. 'Я погоню их с островов! — сказал молодой самец. — Погоню их с островов прямо в глубокое море!' Но к вечеру убили самца косули и оленя загнали".

И при этих словах глаза ее увлажнялись, и на длинной реснице повисала слеза, но она, смахнув ее, поворачивала в золе черный хлеб. А я, сжимая кулак, говорил: "Мы убьем турок!" А мать снова напевала: "'Погоню их с островов прямо в глубокое море!' Но к вечеру убили самца косули и оленя загнали".

Много дней и ночей мы проводили одни, но вот возвращался отец. Я знал, что он принесет мне раковин из бухты Лепанто, а может, даже нож — острый и блестящий. Но в тот раз он принес с собой ребенка, маленькую, голенькую девочку, завернутую в шкуру; отец прятал ее под своим овчинным тулупом. Когда ее развернули и положили на колени моей матери, оказалось, что в ее черные волосы были вплетены три серебряные монеты. Отец рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и много чего другого, так что все это снилось мне потом целую ночь. Отца и самого ранили; мать перевязала ему плечо, рана была глубокая, толстая овчина пропиталась кровью, застывшей на морозе. Девчушка станет моей сестрой, она была такой прелестной, вся прямо светилась, ее глаза излучали ту же кротость, что и глаза моей матери. Анастасия — так ее звали — станет моей сестрой, потому что ее отец был побратимом моего; они побратались еще в юности в соответствии с древним обычаем, сохраняющимся у нас и по сей день. Я много слышал об этом прекрасном обычае: братание всегда совершает самая красивая и добродетельная девушка в округе.

И вот малышка стала моей сестрой. Она сидела у меня на коленях, я приносил ей цветы и птичьи перья, мы вместе пили воду, струившуюся с Парнаса, мы спали голова к голове под лавровой крышей нашей хижины, и много зим подряд моя мать пела песню о красных, зеленых и голубых слезах. Но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражаются неисчислимые беды моего народа.

Однажды к нам явились трое иноземцев, одетых иначе, чем мы. Они привезли с собой на лошадях постели и палатки, их сопровождали не менее двадцати турок, с саблями и ружьями, потому что иноземцы были друзьями паши и имели письмо от него. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, взобраться на заснеженный, уходив-

ший в облака Парнас и полюбоваться на отвесные скалы редкостного черного цвета, обступавшие нашу хижину. Поместиться в ней они не могли и, кроме того, не переносили дыма, поднимавшегося к потолку и выходившего потом через низкую дверь. Поэтому они раскинули палатки на узкой площадке перед нашей хижиной и принялись жарить барана и дичь и разливать сладкое вино, которое туркам пить не дозволялось.

Когда они уезжали, я их немного проводил и нес мою сестричку Анастасию за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземцев поставил меня к скале и нарисовал нас: мы вышли как живые и казались одним существом. Мне это никогда не приходило в голову, но ведь действительно мы с Анастасией были как бы одним существом: она либо сидела у меня на коленях, либо висела за спиной, и во сне я видел только ее.

Через две ночи в нашей хижине появились другие люди, вооруженные ножами и ружьями. Это были албанцы — храбрый народ, как сказала моя мать. Они пробыли у нас недолго; моя сестренка Анастасия даже сидела у одного из них на коленях, а когда он ушел, у нее в волосах осталось две серебряные монеты вместо трех. Они крутили самокрутки и курили. Самый старший никак не мог решить, по какой дороге им лучше пойти.

— Плюну вверх, — говорил он, — попаду себе в лицо, плюну вниз — попаду себе на бороду!

Но дорогу-то все же надо было выбирать.

Они ушли, мой отец отправился с ними. Вскоре раздались выстрелы, потом еще. К нам в хижину вошли солдаты и забрали мою мать, меня и Анастасию с собой. Мы дали приют разбойникам, сказали солдаты, мой отец пошел с ними, поэтому нам тоже здесь не место. Я видел трупы разбойников, видел труп отца и плакал, пока не заснул. Проснулся я уже в тюрьме, но помещение там было не хуже, чем в нашей хижине. Мне дали лука и налили из просмоленного бурдюка вина, отдававшего смолой, — у нас дома было не лучше.

Сколько времени мы просидели в тюрьме, не помню, знаю лишь, что прошло много дней и ночей. Когда нас выпустили, был праздник святой Пасхи. Я нес на спине Анастасию, потому что мать хворала и еле передвигала ноги. До моря, до бухты Лепанто, мы добрались нескоро. Мы вошли в церковь, сиявшую от ликов, написанных на золотом фоне, — это были прекрасные ангелы, но я подумал, что моя Анастасия столь же прекрасна. Посередине церкви стоял гроб, наполненный цветами, эти чудесные цветы — Господь наш Иисус Христос, сказала мне мать. Священник провозгласил: "Христос воскресе!" Все стали целовать друг друга, и каждый держал в руках зажженную свечку; дали свечки и нам с Анастасией. Загудели волынки, люди, взявшись за руки, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных ягнят, нас тоже пригласили к огню. Сидевший рядом парень, постарше меня, обнял меня за шею, поцеловал и произнес: "Христос воскресе!" Так мы познакомились с Афтанидесом.

Моя мать умела плести рыболовные сети, здесь, у моря, это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу моря — чудесного моря, соленого, как слезы, игрой красок напоминавшего слезы оленя: то оно делалось красным, то зеленым, а потом опять становилось синим.

Афтанидес хорошо греб, и мы с моей маленькой Анастасией частенько садились к нему в лодку, которая скользила по воде, как скользят по небу облака. Когда солнце садилось, горы окрашивались в темно-синий цвет,

одна горная гряда выглядывала из-за другой, а вдали был виден Парнас в своей снежной шапке. В лучах вечернего солнца его вершина пламенела, точно раскаленное железо, и создавалось впечатление, что свет исходит изнутри горы, потому что она продолжала светиться в голубом, сияющем небе еще долго после того, как скрывалось солнце. Белые чайки били крыльями по водному зеркалу, а вообще стояла такая тишина, какая бывает в Дельфах между черных скал. Я лежал на спине в лодке, Анастасия сидела у меня на груди, и звезды над нами блестели ярче лампад в нашей церкви. Это были те же самые звезды, и располагались они там же, где обычно, когда я смотрел на них в Дельфах, возле нашей хижины. Под конец мне пригрезилось, что я все еще там! Тут раздался всплеск воды, лодку сильно качнуло; я громко вскрикнул, — это упала в воду Анастасия. Но Афтанидес не растерялся, и вскоре он уже протягивал ее мне. Мы сняли с нее мокрую одежду, хорошенько выжали и снова надели на малышку. То же сделал и Афтанидес, и мы оставались в море, пока одежда не высохла, поэтому никто не узнал, какого страху мы натерпелись из-за приемной сестрички, в жизни которой Афтанидес теперь тоже принимал участие.

Наступило лето! Солнце пекло так, что на деревьях пожухла листва. Я вспоминал наши прохладные горы и живительную воду. Мать тоже тосковала, и однажды вечером мы пустились в обратный путь. Какая тишина стояла вокруг! Мы шли по зарослям высокого тимьяна, который все еще благоухал, хотя солнце высушило его листву. Мы не встретили ни одного пастуха, не миновали ни одной хижины; кругом было безлюдно и тихо, и лишь падающие звезды напоминали о том, что там, на небе, есть жизнь. Не знаю, светился ли сам голубой прозрачный воздух или свечение исходило от звезд, но мы хорошо различали очертания гор. Мать развела огонь и пожарила луковицы, которые захватила с собой, и мы с сестренкой заснули в тимьяне, не страшась ни гадкого Смидраки[1], из пасти которого вырывается пламя, ни волков, ни шакалов. Моя мать с нами, для меня этого было достаточно.

Наконец, мы добрались до дома, но от хижины осталась только груда мусора, нужно было сооружать новую. Несколько женщин пришли матери на помощь, и за какие-то считанные дни стены были подведены под олеандровую крышу. Мать начала плести из кожи и коры оплетки для бутылок, а я взялся пасти небольшое стадо священника[2]. Моими товарищами были Анастасия да черепашки.

Как-то нас навестил милый наш Афтанидес, по его словам, он очень соскучился, вот и пришел нас повидать. Он оставался у нас целых два дня.

Через месяц он появился снова и сообщил, что отплывает на корабле на Патрас и Корфу и поэтому пришел попрощаться. Моей матери он принес большую рыбу. Афтанидес много чего знал и рассказывал нам не только о рыбах в бухте Лепанто, но и о героях и королях, которые когда-то правили Грецией, как сейчас турки.

Я видел, как на розовом кусте наливается бутон и как он через несколько дней или недель распускается в цветок; но я никогда не размышлял о том, насколько бутон велик, красив и красен. Так получилось и с Анастасией. Она выросла, превратилась в настоящую красавицу; я был

1. По поверью греков это чудище рождается из выброшенных на землю желудков забитых овец. (*Прим. автора.*)
2. Грамотный крестьянин часто становится священником, и простолюдины его называют "святейшим отцом" и при встрече с ним падают ниц. (*Прим. автора.*)

здоровым, сильным парнем. Волчьи шкуры на постелях моей матери и Анастасии я сам содрал со зверей, павших от моего ружья. Годы шли.

Как-то вечером пришел Афтанидес, стройный, крепкий, загорелый. Перецеловав нас всех, он принялся рассказывать о великих морях, о крепостных сооружениях на Мальте, об удивительных погребениях в Египте. Его поразительные рассказы напоминали легенды, которые мы слышим от священников. Я смотрел на него с особым почтением.

— Как много ты всего знаешь! — воскликнул я. — Как умеешь рассказывать!

— Ты однажды поведал мне кое-что получше! — ответил он. — То, что не идет у меня из головы. Ты рассказал о прекрасном старинном обычае побратимства. И этому-то обычаю я хочу последовать! Давай же станем побратимами, как это сделали твой отец и отец Анастасии. Пойдем в церковь, и самая прекрасная и невинная девушка, сестра Анастасия, скрепит наши узы! Ни у кого нет таких замечательных обычаев, как у нас, греков!

Анастасия зарделась, как лепесток розы, а моя мать поцеловала Афтанидеса.

В часе ходьбы от нашей хижины, там, где горы покрыты черноземом, под сенью нескольких деревьев стояла церквушка. Перед алтарем висела серебряная лампада.

Я надел свой лучший наряд: с бедер пышными складками спадала белая фустанелла, красная куртка плотно облегала грудь, на феске красовалась серебряная кисточка, а за поясом — нож и пистолеты. На Афтанидесе была голубая форма греческих моряков, на груди висел серебряный образок Божьей Матери, талию охватывал дорогой кушак, какой могут себе позволить лишь богатые господа. Каждому было понятно, что нам предстоит торжественный обряд. Мы вошли в уединенную церквушку, залитую лучами вечернего солнца, проникавшими через открытые двери и игравшими на горящей лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колена на ступенях алтаря, Анастасия встала перед нами. Длинное белое платье легко и свободно облегало ее стройный стан. Белую шею и грудь украшало похожее на широкий воротник монисто из старых и новых монет, черные волосы уложены в пучок, стянутый убором из золотых и серебряных монет, найденных в старых храмах. Более великолепного украшения не было ни у одной гречанки. Лицо ее светилось, глаза сияли как звезды.

Мы, все трое, сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:

— Хотите ли вы быть друзьями и в жизни, и в смерти?

— Да! — ответили мы.

— Будет ли каждый из вас, что бы с ним ни случилось, помнить, что твой брат — это часть тебя самого, твоя тайна — это его тайна, твое счастье — это его счастье; и ты будешь жертвовать собой, стоять за него, как за самого себя?

И мы повторили: "Да!"

Она соединила наши руки, поцеловала каждого в лоб, и мы еще раз помолились. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а за алтарной стеной раздалось пение "священных отцов". Вечный братский союз был заключен. Когда мы поднялись с колен, я увидел в дверях свою мать, плакавшую от счастья.

Какое веселье царило в нашей хижине и у дельфийского источника! Вечером, накануне того дня, когда Афтанидесу предстояло покинуть нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мою талию, моя рука — его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на которых она могла положиться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И тут я схватил его за руку:

— И еще одно ты должен узнать, то, о чем до этой минуты знали лишь Господь и я! Мое сердце сгорает от любви! И эта любовь сильнее, чем любовь к матери и к тебе!

— И кого ты любишь? — спросил Афтанидес и густо покраснел.

— Анастасию! — ответил я.

Его рука задрожала в моей, а лицо покрылось смертельной бледностью. Я все заметил и все понял. Моя рука, кажется, тоже задрожала, я наклонился к нему, поцеловал в лоб и прошептал:

— Я еще не говорил ей этого, может быть, она меня не любит! Брат, вспомни, я видел ее ежедневно, она выросла у меня на глазах, вросла мне в душу!

— И она должна стать твоей! — сказал он. — Твоей! Я не могу и не хочу лгать тебе! Я тоже ее люблю! Но завтра я уезжаю. Мы увидимся через год, когда вы уже будете мужем и женой, так ведь? У меня есть немного денег, они — твои! Ты должен их взять, ты возьмешь их!

Мы молча поднялись по перевалу; уже вечерело, когда мы подошли к хижине моей матери.

Анастасия посветила нам при входе, матери дома не было. Анастасия с какой-то удивительной печалью посмотрела на Афтанидеса и сказала:

— Завтра ты покинешь нас! Как меня это огорчает!

— Огорчает, — повторил он, и мне послышалась в его голосе боль, сравнимая с моей собственной. Я не мог вымолвить ни слова, а он взял ее за руку и сказал:

— Наш брат любит тебя, а ты его любишь? В его молчании — его любовь!

Анастасия затрепетала и разрыдалась. Я видел только ее, думал только о ней. Я обнял ее и проговорил:

— Да, я люблю тебя!

Она прижалась своими губами к моим, руки ее обвились вокруг моей шеи, но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарился такой же мрак, как в сердце милого бедного Афтанидеса.

Утром он поцеловал нас на прощание и ушел. Все свои деньги для нас он оставил моей матери. Анастасия стала моей невестой, а через несколько дней и женой.

Перевод А. Афиногеновой

Эльфрида Елинек

Нобелевская премия 2004 года

В *стороне*

Нобелевская лекция[1]

Перевод с немецкого Александра Белобратова

Пишем ли мы, демонстрируя эластичность и умение гибко льнуть к реальности? Прильнуть к ней ведь так отрадно, только вот что тогда станет со мной? Что станет с теми, кому действительность на деле недоступна? Ведь реальность вся всклокочена и растрепана. И нет гребешка, способного пригладить ей лохмы. Поэты и писатели теребят ее пряди, отчаянно пытаясь соорудить ей прическу, и причесанная реальность является им в ночных кошмарах. Что-то неладное творится нынче с ее обликом. Зачесанные наверх и собранные в изящную башенку волосы не лепятся к замку волшебной мечты, и пряди реальности вновь обнаруживают свой строптивый характер. Они выбиваются из прически, падают на лицо, закрывая его и не покоряясь никаким усилиям привести их в порядок. Порой эти волосы встают дыбом от ужаса — такое творится вокруг. Их никак не удается уложить. Не поддаются ни в какую! Сколько ни води по ним выщербленным гребнем, результат все тот же! Выглядит еще хуже, чем было. Мы пишем о том, что происходит, и написанное тает у нас в руках, как истаивает и сочится сквозь пальцы время, потраченное на то, чтобы описать все происходящее, — время, отнятое у жизни. И никто не хлопочет об утрате, о времени, в течение которого жизнь была мертва.

© The Nobel Foundation, 2004
© А. Белобратов. Перевод, 2005

1. Нобелевская лекция Эльфриды Елинек была записана на видео и показана в Шведской академии в Стокгольме 7 декабря 2004 г.

Не хлопочут живые, не хлопочет убитое время, а уж о мертвых и говорить не приходится. То время, когда еще писали, втиснулось в книги других пишущих. Оно ведь способно на все и сразу, ведь оно — время: оно способно втиснуться в твою работу и в работы других, обрушиться на взлохмаченные прически, сооруженные другими, словно свежий, но злой ветер, нежданно-негаданно задувший со стороны реальности. Уж если что-то однажды вздыбилось, оно, пожалуй, не скоро уляжется. Дует яростный ветер, увлекая все за собой. И все срывается с мест, несется куда-то, только не в сторону реальности, которую следует отобразить. Куда угодно, только не в ту сторону. Реальность словно ветер, разрушающий прически, забирающийся под юбки и срывающий их, уносящий куда-то, спроси — куда? Откуда поэту знать реальность, если она все время врывается в него и срывает его куда-то, относит в сторону? Оттуда, со стороны, он, конечно, все разглядит яснее, и в то же время там он остается в стороне от путей реальности. В ней ему не находится места. Место его всегда вовне. Ведь всегда прислушиваются к тем его словам, которые он говорит, находясь в стороне, и именно потому прислушиваются, что суждения его двусмысленны. И вот перед нами два утверждения, оба подходящие, оба правильные, и оба они напоминают о том, что ничего вообще не происходило, оба толкуют события в двух разных смыслах, оба глубоко копают, пытаясь достичь недостаточного основания, давно утраченного, как острые зубья сломанного гребешка. Или — или. Правда или ложь. Раньше ли, позже ли, так должно было произойти, потому что на этом основании совсем ничего нельзя построить. Да и как можно что-то строить в бездонной яме? Все недостаточное, все неудержимое, все, попадающее в их поле зрения, — именно за такое основание держатся поэты, пытаясь на нем что-то строить, хотя вполне могли бы без этого обойтись. Они могли бы оставить все как есть, да они и оставляют. Они ничего не убивают. Они только смотрят своим неясным взором, хотя неясный взор их не блуждает, где попало. Их взгляд попадает прямо в точку. И предмет, явление, в которое угодил этот взгляд, говорит нам о чем-то, говорит на последнем издыхании, хотя на него едва взглянули, хотя в него не смогли угодить даже острые взгляды общественного мнения; предмет, явление, в которое попал взгляд поэта, никогда не говорит, что оно могло бы быть и иным, если бы не пало жертвой такого — одного — описания. Оно свидетельствует именно о том, о чем бы лучше помолчать (ведь сказать об этом можно было бы и половчее), о том, что всегда оставалось неясным и лишенным основания. Многие погрязли в этих неясностях по самую грудь. Как в песке-плывуне, который совсем не помогает плыть. Под этим явлением нет твердой почвы, однако оно не беспочвенно. Оно беспричинно, оно - любое, но любовью к нему никто не пылает.

Пишущий пребывает вовне, и его позиция служит жизни, пусть она и находится вне жизненных пределов, иначе бы все мы не существовали в самой сердцевине, в гуще наполненной до краев человеческой жизни, и пишущий извне наблюдает за жизнью, вершащейся в другом месте, вдали от него. Она вершится там, где тебя нет. Стоит ли ругать того, кто утратил путь, по которому шел, путь своей жизни, свой жизненный путь, потому что его снесло, смело́ с пути, и не в том причина, что не хватило терпения переносить всех, кто тебя окружает, нести на себе этот груз, груз жизни, — его просто случайно смело, как сметают пыль с башмаков, пыль, с которой беспощадно борется хозяйка, впрочем, может быть и не так беспощадно, как борются с пришлыми те, кто здесь — у себя дома. Что это за пыль? Она радиоактивна или просто активна? Я спрашиваю только потому, что она

оставляет на пути странный светящийся след. Помечает ли она то, что бежит в стороне от пишущего, – помечает дорогу, которая никогда к нему не приблизится, – или это сам пишущий пробегает мимо, выпадая за пределы? В мир иной он еще не ушел, однако он всегда уходит в сторону. Оттуда он смотрит на иных, чем он сам, впрочем, они иные и по отношению друг к другу, иные в своем многообразии, и он смотрит на них, чтобы показать их многообразие в свойственной им однообразности, привести их в форму, ведь самое важное — это форма, и, стало быть, оттуда ему удобнее за ними наблюдать. Но они, не прощая ему такой смелости, помечают дверь его убежища мелом; значит, путь его отмечен не светящимся порошком, а меловой чертой? В любом случае, эта метка одновременно и обнаруживает все, и снова все укрывает, тщательно замазывая след, проложенный им самим. Словно бы и не было его вовсе на этом свете. И все же он знает, что случилось. Ему сказали об этом с телеэкрана, он увидел это на лицах, искаженных гримасой боли, измазанных кровью, увидел на смеющихся лицах с густо наложенным гримом, прочитал по силиконовым губам, которые всегда дают правильные ответы на вопросы ведущего телешоу, прочитал с губ женщин, по натуре своей никогда не закрывающих рта, причастных к этому и ни в чем не виноватых, женщин, вдруг встающих со своего места и снимающих прямо перед камерой блузку, чтобы продемонстрировать свеженакачанные твердые груди – такой стальной упругостью плоти прежде кичились мужчины. А еще он услышал это из сотен глоток, из которых несутся слова, как несет изо рта гнилым запахом, только еще сильнее. Вот оно, то самое, что можно было бы увидеть на этом пути, если бы ты там еще находился. Но ты с этого пути сходишь, уступая ему — этому пути — дорогу. На него ты смотришь издали, оттуда, где ты в одиночестве, и делаешь это с удовольствием, потому что на дорогу приятно смотреть, а вот идти по ней нет желания. С этой дороги доносятся какие-то шорохи. Кажется, она подает нам сигнал, привлекая к себе внимание шорохами, а не только резким светом и громкими возгласами людей. Неужели дорога, по которой нельзя идти, боится того, что никто не совершит по ней прогулки, ведь столько вокруг совершается дурного, совершается непрерывно: пытки, преступления, кражи, жестокое принуждение, вынужденные жестокости, когда вершат судьбы мира? Дорога ко всему безразлична. Она все несет на себе, несет со всей твердостью, хотя и беспочвенно. Без оснований, на зыбкой почве. Я уже говорила, что волосы у меня на голове встают дыбом, и никакой лак не поможет их уложить. И во мне тоже нет твердости. Ни внутри, ни снаружи. Когда находишься в стороне, всегда надо быть готовым к тому, чтобы отскочить еще и еще на шажок, прыгнуть в ничто, в бездну, начинающуюся как раз на твоей обочине. Там, в стороне, кроется ловушка, ждущая своей добычи, она распахивается, чтобы заманить тебя поглубже. Она завлекает тебя, увлекает вовнутрь. Нет, я не хочу терять из виду тот путь, по которому я не иду. Я хочу описать его как следует, описать достоверно и точно. Уж если я на него смотрю, из этого должен выйти какой-то толк. Но этот путь безжалостен ко мне. Он не оставляет мне выбора. Что мне остается? Мне недоступно само движение по пути, я не могу двинуться прочь. Я ухожу, оставаясь на прежнем месте. Но и там для надежности мне необходима защита от собственной беззащитности, равно как и от ненадежной почвы, на которой я стою. Рядом со мной, вселяя в меня уверенность, а не только охраняя меня, идут мои слова, проверяя, правильно ли я поступаю, насколько я по-настоящему неправильно описываю реальность, ведь мои слова всегда описывают реальность неправильно, они не могут иначе, однако делают они это так, что лю-

бой, кто читает или слышит их, сразу замечает, что они неправильные. Они ведь лгут! И этот сторожевой пес, мое слово, мой поэтический язык, который призван защищать меня, для этого я его и держу, вдруг на меня набрасывается. Мой защитник хочет меня покусать. Мой единственный защитник, не позволяющий другим людям меня описывать, мой язык, мои слова, которые существуют как раз для того, чтобы описывать все что угодно, но не меня саму, — потому-то я и исписываю бездну бумаги, — моя единственная защита оборачивается против меня же. Неужели мои слова даны мне лишь для того, чтобы они на меня нападали, прикидываясь моими защитниками? Я искала в словах, в письме защиту, но теперь мои спутники, мои слова, которые в своем движении, в звучании представлялись мне надежной опорой, оборачиваются против меня. Ничего удивительного. Я ведь всегда им не доверяла. И что это за маскировка, существующая лишь для того, чтобы обнаруживать тебя все отчетливей, вместо того, чтобы делать невидимой?

Мои слова иногда случайно попадают на эту дорогу, но с дороги они никогда не сворачивают. Сказать словами — процесс вовсе не произвольный, он *непроизвольно* произволен, хочешь ты этого или нет. Слова знают, чего они хотят. Им хорошо. Вот я, к примеру, этого не знаю, мне неизвестны имена. Говорение, вообще всякое речение безостановочно изрекается там, на дороге жизни, не имея ни начала, ни конца, но назвать это сказываемым словом я не могу. Бесконечны речи тех, кто на ней стоит, потому что остановиться никто не желает, слишком они занятой народ. Они все там, на дороге. Но меня там нет. Там только мои слова, порой покидающие меня и идущие к людям, не ко всем подряд, а к тем, настоящим, реальным людям; мои слова, уходящие от меня по дороге, на которой есть хорошо различимые указатели (здесь никто не сможет заблудиться!); слова, словно видеокамера, следящие за каждым движением этих людей, чтобы по крайней мере они, мои слова, смогли узнать, что же это за жизнь и какова она, – хотя именно тогда, когда за ней наблюдают, она отчасти перестает быть самой собой. А потом все это им предстоит описать, разглядев как раз в том, что уже жизнью как таковой не является. Кто-то, например, говорит, что ему надо бы сходить на профилактическое обследование. И вдруг тон его становится очень серьезным, как будто он думает, не отказаться ли ему от всякого слова... Что бы там ни происходило, только слова мои уходят от меня, я остаюсь одна. Слова уходят. Я остаюсь вне пути. Вне дороги. И слова мои бредут чужим путем.

Нет, постойте, они все еще здесь. Неужели они никуда не уходили, а только примерялись, с кем бы помериться силами? Вот они и на меня обратили внимание, мои слова, и тут же меня оседлали. Они ведут себя со мной с превосходством седока, они мною помыкают, они меня не любят. Они заискивают перед милыми людьми, встречающимися им на дороге, они увязываются за этими людьми, словно бездомные собаки, притворно демонстрируя свое послушание. На самом-то деле они дерзки и непослушны не только по отношению ко мне, но и к любому другому. Они — сами по себе. Они громко кричат в ночи, ведь кто-то забыл расставить вдоль дороги фонари, питаемые одним только солнцем, а не током из электрической розетки, и кто-то забыл дать тропе, по которой они бредут, приличествующее ей имя. У этой дорожки, правда, столько имен, что за ней не угонишься, пытаясь назвать ее по-своему. Я кричу и бегу вперед, кричу из своего угла, топаю по могилам ушедших в мир иной, ведь уж если я мчусь по обочине, мне не уследить за тем, куда я ступаю и на что наступаю своей тяжелой стопой, я устремляюсь туда, где уже обретаются мои слова, издевательски посмеиваясь в мою сто-

рону. Им же известно, что, попытайся я хоть раз зажить этой жизнью, они бы немедленно устроили мне холодный душ. Сначала бы привели в чувство, облив ледяной водой, а потом еще и насолили бы мне как следует. Ладно. Я сама сыплю соль на дорожки, по которым идут люди, я бросаю ее горстями, чтобы растопить их лед, разбрасываю вокруг, чтобы лишить мои слова надежной почвы. При этом они давно уже беспочвенны. Сколь беспочвенна их наглость! Уж если я не обретаюсь на твердой почве, моим словам это и подавно непозволительно. Так им и надо! Почему они не остались со мной, там, в стороне, почему со мною расстались? Хотели увидеть больше, чем вижу я? Пройтись по главной дороге там, на той стороне, где полно людей, и людей приятных, так мило болтающих друг с другом о том и о сем? Хотели знать больше, чем знаю я? Они ведь и так знали много больше, а вот, поди же, хотят еще и еще. Мои слова, жадно пожирающие все вокруг, того и гляди погибнут. Они обожрутся, набивая брюхо реальностью. Так им и надо! Я изрыгнула их наружу, но сами они отрыжкой не страдают, они хорошо усваивают пищу. Мои слова окликают меня, они кричат в мою сторону, туда, где я — в стороне от дорог, кричат наугад, не прицеливаясь, и наверняка попадают в цель, ведь они не просто говорят что попало, они сказывают себя со "строгостью отпускающего", как сказано о Тракле у Хайдеггера. Они зовут, они окликают меня издали, теперь это доступно любому, у каждого в маленькой коробочке хранятся наготове слова, чтобы ему было о чем поговорить, не зря же он этому учился? — мои слова зовут меня, застрявшую в западне, и я кричу и бессильно перебираю ногами, впрочем, нет, все не так, мои слова не окликают меня, они ведь ушли прочь, покинули меня, поэтому они вынуждены звонить по телефону, кричать мне в ухо, доставать меня то ли по пейджеру, то ли по сотовому, они орут мне прямо в ухо, что нет никакого смысла что-то высказывать, они сами за меня постараются, и я должна высказывать только то, что они мне подсказывают; ведь еще бессмысленнее было бы однажды выговориться с милым человеком, с таким вот, которому можно довериться, потому что он споткнулся и не в состоянии быстро встать на ноги, чтобы побежать за кем-то, и — ну да, просто немного с ним поболтать. Смысла нет никакого. Разговоры моих слов там, наверху, на удобной дорожке (я знаю, она удобнее, чем моя, я вообще бреду без дороги, впрочем, я не вижу ее отчетливо, я просто знаю, что и мне хотелось бы по ней пройти), – стало быть, то, о чем говорят мои слова, которые от меня отделяются, сразу же предстает их попыткой выговориться. Нет, не поговорить с кем-нибудь. Просто выговориться. И, изливая себя, мои слова сами к себе прислушиваются, они сами себя поправляют, ведь выговор, произношение в любой момент можно поправить; да, его всегда можно поправить, в конце концов, для того оно и произношение, чтобы его улучшать, и вводить новые правила языка, однако такие правила, которые можно тут же снова нарушить. Это и будет моей новой уловкой, чтобы решить проблему спасения, я имею в виду, конечно же, самое простое решение. Простую уловку. Слова мои дорогие, прошу вас, может быть, вы хоть раз прислушаетесь к тому, что я говорю? Прислушаетесь, чтобы чему-то научиться, чтобы наконец-то обучиться правилам произношения... Что вы там дерете глотку и разглагольствуете? Вы ведете себя так, чтобы я вновь сменила гнев на милость и приняла вас обратно? А я-то думала, вы вообще не хотите ко мне возвращаться! Вы никак не намекнули, что хотите вернуться ко мне, да это и не имело бы смысла, я бы не поняла намека. Ведь и словами вы стали, чтобы отодвинуться от меня и чтобы обеспечить мое продвижение, разве не так? Однако здесь нет никаких гарантий. И уж вы то, насколько я вас

знаю, гарантировать вообще ничего не можете. Послушайте, я вас просто не узнаю. Вы по доброй воле хотите вернуться ко мне? Я вас к себе больше не пущу, что вы на это скажете? Что упало, то пропало. Ушедшего не вернуть. И если бы моя отрешенность, мое всегдашнее неприсутствие, мое беспрестанное стояние в стороне вдруг побудило бы меня вернуть слова назад, вернуть их, чтобы они, надежно у меня укрывшиеся, вернувшиеся наконец домой, могли бы выразить себя в прекрасных звуках, то в результате они с помощью этих звуков, с помощью этой пронзительной, громко ревущей сирены, в которую с силой врывается воздух, только отодвинули бы меня еще дальше в сторону, отодвигали бы все дальше и дальше. Мои слова, которые я сама породила и которые когда-то удрали от меня (или я породила их как раз для того, чтобы они сразу же дали деру, потому что самой мне не удалось вовремя от себя убежать?), теперь, отхлынув назад, оттеснят меня еще дальше в это стороннее пространство. Мои слова с удовольствием барахтаются в луже, в маленькой временной могилке на пути, они уставили взор на "могилу в воздушном пространстве"[1], перевернувшись на спину, как доверчивый зверек, который хочет понравиться хозяину, они хотят нравиться, как всякие приличные слова, они лежат так, задрав лапки, чтобы их погладили по брюшку, а зачем же еще? Они охочи до ласк. Потому они и не присматривают за мертвыми, за которыми смотреть приходится мне, понятно, что эта обязанность повешена на меня. Вот и нет у меня времени следить, чтобы слова оставались на привязи — мои слова, которые бесстыдно юлят, выпрашивая ласковые прикосновения и поглаживания. Дело в том, что существует слишком много мертвых, за которыми я вынуждена присматривать: у нас, у австрийцев, когда говорят "присмотреть за кем-то", это значит — о ком-то позаботиться. Я должна обходиться с ними хорошо, да ведь мы этим самым и знамениты, что мы со всеми всегда обходимся хорошо. Не беспокойтесь, весь мир уже давно присматривает за нами. Нам самим об этом не стоит заботиться. Однако чем громче во мне звучит призыв к тому, чтобы я присматривала за мертвыми, тем меньше мне удается следить за своими словами. Я присматриваю за мертвыми, а всякий праздный гуляка гладит и почесывает мои милые добрые слова, но мертвые от этого более живыми не делаются. Никто не виноват. И я, вся встрепанная внутри, как встрепаны волосы на моей голове, не виновата в том, что мертвые остаются мертвыми. Мне так хочется, чтоб слова мои там, на дороге, наконец-то перестали раболепствовать и подставлять себя под чужие руки, даже если им эти прикосновения столь приятны; мне бы так хотелось, чтобы они перестали канючить и требовать, а сами стали бы воплощенным требованием — чтобы подчиняться наконец не чужим ласкам, а требованию вернуться ко мне, слова всегда должны подчиняться, правда, они этого не знают и меня не слушаются. Они должны подчиниться, потому что люди, которые берут их к себе, словно родных детей, ведь слова такие милые, если к ним мило относиться, — эти самые люди, стало быть, не подчиняются никогда, они командуют, но сами не подчиняются, есть много таких, кто уничтожил, разорвал в клочья, сжег плакат, призывающий их добровольно вступить в круг общения, и знамя свое они уносят с собой, так-то вот. Чем больше людей следуют призыву моих слов и гладят их по животику, взлохмачивают им шерстку, откликаются на их доверчивость, тем дальше я, спотыкаясь, бегу от них прочь: я навсегда утратила мои слова, отдала их тем, кто обращается с ними лучше, чем я, я почти лечу — где же, в конце концов, тот путь, ко-

1. Цитата из стихотворения Пауля Целана (1920–1970) "Фуга смерти". Перевод О. Седаковой.

торый нужен мне, чтобы гнаться за ними вослед? Как мне двигаться дальше, куда и зачем? Как я попаду в ту местность, где смогу достать свой рабочий инструмент, впрочем, на самом-то деле — тут же опять его и упаковать? Там, на той стороне, меж ветвей пробивается немного света: там ли то самое место, где мои слова сначала ластятся к другим, убаюкивают их, чтобы потом самим наконец быть сладко убаюканными? Или опять они готовы кусаться? Им бы только кусаться, просто никто об этом еще не знает, я-то знаю их хорошо, они долго у меня жили. Поначалу все сюсюкают и воркуют над этим с виду кротким животным, похожим на тех, каких можно встретить в любом доме: зачем же люди пускают в дом еще и чужое животное? С чего бы этим словам быть не такими, как те, которые всем известны? А будь они другими, пожалуй, было бы небезопасно пускать их к себе. Вдруг они не подружатся со словами, раньше их поселившимися в человеческом жилье? Чем больше отыскивается дружелюбных незнакомых людей, понимающих толк в жизни, — хотя это вовсе не значит, что они разбираются, в чем же, собственно, ее толк, потому что преследуют они исключительно милые и уютные цели, ведь что-то преследовать им нужно всегда, — тем больше мой взгляд не может больше разглядеть дорогу к словам. Miles and more[1]. А кому же еще разглядеть ее, если не взгляду? Неужели слово хочет вобрать в себя еще и взгляд, неужели оно хочет сказать что-то раньше, чем увидит это самое что-то? Слово валяется тут, перед нами, его хватают руками, его треплет ветер, баюкает буря, его оскорбляет наш слух, оскорбляет настолько, что оно уже и вслушиваться перестает. Ну, тогда: слушать всем! Кто не станет слушать, пусть говорит, и слушать его не будут. Не слушают никого, хотя говорят все. Меня слушают, хотя мои слова меня не слушаются, хотя я их уже совсем потеряла из виду. О моих словах много чего говорят. Поэтому им самим говорить много не приходится, и это тоже хорошо. К ним прислушиваются — как они медленно говорят, говорят вслед тому, что где-то кто-то нажимает на красную кнопку, и происходит страшный взрыв. Остается сказать лишь одно: Отец наш небесный... Слова мои имеют в виду не меня, хотя кто же, как не я, родитель моих слов — или, точнее, родительница? Я — родительница языка моего отечества. Родной язык был здесь с самого начала, он всегда был во мне, вот только не было отца, который имел бы к этому отношение. Мой родной язык часто вел себя непристойно, мне это ясно давали понять, однако я понимать не хотела. Сама виновата. Отец покинул нашу маленькую семью, оставил родной язык. Он был прав. И я бы на его месте тоже здесь не осталась. Теперь мой родной язык последовал за отцом, ушел от меня прочь. Он, как уже сказано, там, на той стороне. Он прислушивается к людям, идущим по дороге. По той дороге, по которой так рано ушел отец. Теперь мой родной язык знает что-то — бог знает что, — чего он раньше не знал. Но чем больше он знает, тем меньше это о чем-нибудь говорит. Естественно, он постоянно что-нибудь говорит, но говорение это никому ни о чем не говорит. И даже моя отрешенность отрешается от меня, ведь ей не находится применения. Никто и не видит, что я — там, внутри, в своей отрешенности. Никто не обращает на меня внимания. То есть относятся ко мне со вниманием, но внимания на меня не обращают. Как мне добиться того, чтобы все мои слова говорили так, чтобы им было что нам сказать? Без помощи моих высказываний. Я вообще ничего не могу сказать, ведь мои слова сейчас не у меня дома. Они там, на той стороне, и говорят они что-то другое, я им такого не поручала, но мои слова сразу забыли мое поручение. Мне они ничего не гово-

1. Зд.: бесконечно длинную дорогу (*англ.*).

рят, хотя они и принадлежат мне. Мои слова не говорят мне ничего, как же они могут поведать о чем-то другим? И все же им есть что сказать, согласитесь с этим! Они говорят тем больше, чем они дальше от меня, да, именно тогда они осмеливаются что-то сказать, что хотели бы сказать сами, осмеливаются не слушаться меня, спорить со мной. Когда на что-то смотришь, то предмет, чем дольше на него смотришь, тем дальше отодвигается. Когда говоришь, ты вновь приближаешь его к себе, но сохранить его не удается. Он вырывается на свободу и спешит вослед своему собственному имени, вослед за теми многочисленными словами, которые я создала и которые потеряла. Мы достаточно много обменивались словами, обменный курс у слова жутко невыгодный, и в конце концов остается только одно — жуткое. Я что-то произношу, и это что-то с самого начала уже позабыто. Мое высказывание к этому стремилось, оно хотело уйти от меня прочь. Каждый день произносят нечто непроизносимое, но о том, о чем говорю я, говорить якобы непозволительно. Со стороны сказанного это подло. Это несказанно подло. Сказанное не хочет мне принадлежать. Сказанное хочет быть сделанным, чтобы люди говорили: сказано — сделано. Я бы согласилась, если бы мои слова отрицали всякую причастность ко мне, лишь бы они по-прежнему мне принадлежали. Как мне добиться того, чтобы они хоть сколько-то были ко мне привязаны? Ведь к другим ничто не привязывается, не пристает, поэтому я и предлагаю моим словам себя. Вернитесь! Прошу вас, уважаемые слова, вернитесь! Ни в какую. Там, на той стороне, на дороге они узнают о тайнах, о которых мне нельзя знать, и мои слова рассказывают о них другим, тем, кто не хочет слушать. Вот я бы хотела, мне бы это очень подошло, было бы к лицу, извольте, однако мои слова и не думают останавливаться, а уж заговорить со мной — об этом не может быть и речи. Мои слова существуют в пустоте, отличительный признак которой — отличающий ее от меня — состоит как раз в том, что в ней находятся очень многие. Пустота и есть путь. Я нахожусь в стороне даже от пустоты. Я покинула путь. Я всегда говорила только вдогонку. Мне вослед многое говорили, но почти все было неправдой. Я же говорила только вдогонку самой себе, и я утверждаю: это и есть собственно говорение. Как уже сказано — несказанное говорение! Так много давно уже никто не говорил. Люди даже не поспевают слушать, хотя слушать необходимо, чтобы быть на что-то способным. Если смотреть с этой стороны, что на самом-то деле будет означать смотрение в сторону, смотрение в сторону даже от меня, то мне вослед никто ничего сказать не может, им просто нечего сказать, ничего у них не выходит. Я всегда смотрю жизни вдогонку, мои слова поворачиваются ко мне спиной, бесстыдно подставляя другим животик, чтобы их приласкали, а я вижу их только со спины, если вообще что-либо вижу. Как часто они вообще не подают мне никакого знака и не говорят ничего. Иногда я их там, на той стороне, вообще не вижу, и я не могу даже произнести: "как говорится", пусть я и говорила так уже не один раз, а вот теперь сказать не могу, от меня ушли мои слова. Иногда я вижу их со спины или вижу подошвы их ног, на которых они толком не научились ходить, мои слова, хотя движутся они намного быстрее меня, и уже давно. Что я здесь делаю? Из-за того ли, что я здесь, мои милые слова тоже улеглись — на некотором отдалении? Наверняка они быстрее меня, они вскочат на ноги и унесутся прочь, если я попытаюсь выйти из своего угла и перейти дорогу, чтобы забрать их к себе. Я не знаю, почему мне следует забрать их к себе. Может, чтобы они не забрали меня? Может, это знают они, убежавшие от меня? Не идущие вслед за мной? Они следуют за взглядами и словами других, а с другими меня на самом деле трудно перепутать. Они не

такие, потому что они — другие. Просто по той причине, что они другие. Моим словам этого достаточно. Самое главное, что я не делаю одного: не высказываюсь. К другим, всегда только к другим, только чтобы не принадлежать мне, ах, мои сладкие слова. Я бы ведь приласкала их так же нежно, как ласкают их те, что на другой стороне, если бы только могла их поймать. Но слова мои там, на дороге, чтобы я их поймать не смогла.

Когда же они улизнут от меня потихоньку? Когда исчезнет что-то, что должно исчезнуть, чтобы могла наступить тишина? Чем больше мои слова уходят туда, на ту сторону, тем громче они звучат. Они у всех на устах, одни мои губы их не произносят. На меня опускается мрак. Я не опускаюсь на землю, лишаясь чувств, но на меня опускается мрак. Я изнемогаю, глядя вослед своим словам сквозь мрак и ночь, как маяк глядит на море, призывая кого-то светом и сам освещая себя, в круговом движении постоянно выхватывая из темноты то одно, то другое, что существует и само по себе, хоть свети на него, хоть не свети. Маяк этот не поможет никому, пусть кто-то и жаждет его помощи, чтобы не погибнуть в воде. И чем сильнее я стараюсь загасить свои слова, тем своенравней они разгораются. Я совершенно механически гашу пламя своих слов, я переключаю горелку на минимальный режим, пытаюсь накрыть огонь колпачком на длинной палке, которым в детстве, помню, гасили свечи в церкви, но чем больше стараюсь я задушить это пламя, тем больше воздуха устремляется к нему. И слова мои кричат все громче, выгибаясь под сотнями рук, доставляющих им удовольствие, чего я не делала никогда, я ведь и о самой себе не знаю, *что* бы доставило мне удовольствие. Они кричат, чтобы держаться от меня подальше. Они кричат на других людей, чтобы те трубили в горн и кричали, подобно им, как можно громче. Они кричат, чтобы я не подходила к ним слишком близко. Пусть никто ни к кому не подходит слишком близко. И то, что сказано, не должно приближаться к тому, что хотели сказать. Нельзя слишком близко подходить к собственным словам, это вызов, они вполне могут сами сказать о себе, сказать оглушительно громко, чтобы никто не слышал, что все, что они говорят, им кто-то подсказывает. Слова даже прельщают меня обещаниями, лишь бы я к ним не приближалась. Они обещают мне все, если я останусь поодаль. К ним позволено приближаться миллионам людей, а вот мне — ни в какую! А ведь они мои! Что вы на это скажете? Я не знаю, что вам сказать. Слова, должно быть, забыли, откуда они родом, другого объяснения у меня нет. Когда-то давно они начинали у меня с малого. Трудно поверить, как они выросли, невозможно описать! Я ведь их с трудом узнаю. Я их знала, когда они были в-о-о-о-т такими маленькими. Тогда было очень тихо, тогда мои слова еще были моими детьми. А теперь они вдруг стали такими огромными. Теперь это вовсе не мои дети. Ребенок не повзрослел, но стал огромным, он не понимает, что еще не избавился от моей опеки, не отделился от меня, но тем не менее убаюкиваньем от него уже не отделаешься. Он бодрствует, заглушая себя собственными криками, заглушая любого, кто кричит громче, чем мои слова. Мои слова взвиваются в невероятные выси. Поверьте мне, слушать такое вам вряд ли захочется! Я не горжусь этими детьми, поверьте мне, прошу вас! Когда они были совсем маленькими, я хотела, чтобы они оставались такими же тихими, какими были, когда еще не умели говорить. Я по-прежнему не хочу, чтобы они налетали на людей, как буря, чтобы заставляли других вопить еще громче, вскидывать руки вверх, бросаться тяжелыми предметами, предметами, которые мои слова не могут ни ухватить, ни поймать, ведь мои слова, и в этом моя вина, никогда не были очень спортивными. Они не могут ничего ловить. Они могут бросаться словами, а вот ло-

вить не могут. Я же остаюсь в их ловушке, хотя они и покинули меня. Я — пленница своих слов, которые сторожат мою тюрьму. Странно, они вообще не следят за мной! Они так уверены во мне? Уверены, что я не убегу, и потому думают, что могут сбежать от меня? Смотрите, вот идет человек, он уже давно умер, и он заговаривает со мной, хотя делать этого не должен. Ему это позволено, нынче многие мертвецы говорят своими глухими голосами, они решаются говорить, потому что мои собственные слова не следят за мной. Не следят, потому что знают — в этом нет никакой необходимости. И пусть они хотят улизнуть от меня, меня-то они никогда не потеряют. Я у них всегда под рукой, а вот они у меня отбились от рук. Но я остаюсь. Что остается в веках, то не создадут поэты[1]. Все остающееся исчезает. Полет под небеса отменен. Никто к нам не прилетел, ничего небывалого у нас не появилось. Но если, вопреки разуму, что-то, чему не настал черед, все же захочет здесь ненадолго остаться, то исчезнут необходимые для него слова, самое неуловимое из всего, что остается. Они откликнулись на предложение другого хозяина. Чему остаться суждено, то исчезает вечно. Во всяком случае, здесь его больше нет. И что мне теперь еще остается...

Эльфрида Елинек

Досужими путями мышления

Эссе

Перевод с немецкого Е. Белорусец

Когда я начинаю писать, в первую очередь мне нужна полная неопределенность. Будучи человеком старомодным, я испытываю в ней необходимость, как в своеобразном стартовом капитале, чтобы, в конце концов, выяснить, куда меня заведет письмо как таковое. Впрочем, не только оно одно. В какой-то момент написанное ловит меня за руку (но в руки не дается, как это ни подло!) и выталкивает наружу. Я теряю устойчивость, но остановиться уже не могу, нужно продолжить, добиться каких-то результатов. Пускай мой доморощенный генератор (хоть для этого пригодится!) подает энергию своего рода карманному фонарику, который можно носить с собой и всегда иметь под рукой. Фонарик тот наделен способностью время от времени превращаться в словесный огнемет. Да, вот что меня бы устроило и не рассердило. Стоить, конечно, будет недешево, но подойдет наверняка. Тут уж не скажешь: дешево и сердито, да и удобств никаких — каждого из этих благ было бы довольно. Мышление же, наоборот, обходится крайне дорого. Вместо дешевого, чего я не могу себе позволить, я выбираю для себя дорогое, оно мне вообще ничего стоить не будет, — а именно философию. Мышление других. И я делаю его, то есть

1. Здесь обыгрывается строка из стихотворения Ф. Гёльдерлина "Воспоминание":
...В море взоры
Устремите свои.
Оно отнимает
И возвращает память, любовь дарует.
Все остальное создадут поэты.
Перев. Г. Ратгауза

© Elfride Jelinek, 2004
© Е. Белорусец. Перевод, 2005

мышление, дешевым, я делаю его даже бесплатным, хотя недешево его отдаю. Оно было передано мне другими, а сейчас я сама пытаюсь извлечь из него прибыль. Скажем, красивые, аккуратно нарезанные, опрятно разложенные литературные премии или целые их груды, свежеиспеченные публикации, ранее растянутые на руках как пряжа, ныне смотанные в клубки надежды, а также погребенные желания, ведь мыслить значит хоронить желания и говорить нечто прекрасное их безжизненному телу, потому что оно, тело, больше ничего не понимает. Говорят это ему лишь тогда, когда с ним бесповоротно покончено. Мертвый язык, который больше не сможет стать живым. Для того мы и убили его — мы, пишущие.

Сохраняя изящество, я покидаю тело, для прощания с которым постаралась одеться как можно лучше. Сквозь мою прозрачную блузу мысли мерцает чувство ответственности, влекущее моральное требование, за которым, скорее всего, моя привлекательность не поспеет. Не я учредила мышление, и если оно уже есть, я им воспользуюсь вновь, как разношенной обувью. Но что мне это даст? Ничего! Действительно, мышление мне удается использовать лишь в качестве карманного фонарика, который я зажигаю посредством ходьбы, делая шаги, в роли генератора или сочинителя, который сам себя торопит, чтобы жалкий стеклянный чулок с нитью накала горел чуть ярче, тот самый чулок, куда бережно сложены мои не менее жалкие, с трудом накопленные и собранные слова. Те, неузнаваемые более (сплавленные друг с другом) слова, которые позже будут брошены мне в лицо: как вы смеете! Вы же не нищенка! Лучше уж просто отнимите у нас те монетки, за которые мы отдали жизнь, чтобы потом расплатиться со страховой кассой! Совершите с ними несколько непонятных манипуляций. Философия — тоже лишь мелкая монета, как и все прочее, разве что она вдруг оказывается великой. Нечто, что потихоньку перечисляли вам на дом, а теперь оно там, в вашем доме, обосновалось как у себя дома. Попробуйте позвонить туда по телефону — сами убедитесь. Но если мне по силам растрачивать кое-что посущественнее (банкноты! крупные купюры!), без мышления я вполне могу обойтись. Итак, я собираю вместе и расходую их, мои маленькие монетки, для того чтобы не пришлось растрачивать или, что еще хуже, экономить, "откладывая на потом", саму себя. Чтобы это нищее отребье, мышление, не заметило: самое важное, на что мне не хватило слов, я оставила себе. Иначе пришлось бы думать самой. Неужели оно, то есть мышление, заставит меня мыслить! Для чего? Зачем? Стоит ли заниматься подобным? Ведь другие делали то же намного лучше. Я могу достать деньги из шляпы, а потом объяснить, что шляпа играет особую роль. Я положила ее перед собой, не знаю, действительно ли она мне принадлежала, нет, скорее всего, нет, я раньше ее никогда не видела. Мышление — это то, что скрыто под шляпой, и я, пожалуй, возьму ее себе. Впрочем, она давно уже здесь. Все основывается на мышлении, почему бы ему тогда не стать основой моего славного текста. Ко всему прочему, ему дам обоснование и я, но так, чтобы сложно было обнаружить его философское происхождение. Точно так же деревенский нужник маскируют кустарником, для того чтобы это жуткое сооружение можно было заметить, чуть только возникнет необходимость, но не раньше. Дефицит мышления ощущается лишь тогда, когда оно становится необходимым. Случается подобное, к счастью, не часто. Потребность эта возникает чрезвычайно редко. У меня ее тоже регулярно отнимали другие. Вы предоставляете ее в мое распоряжение, потому что я являюсь распорядительницей мышления. Да, я повинуюсь самой себе, ведь эту работу мне никто не заказывал. То, что во мне дремлет, хочет пробудиться, но ему необходимо обосноваться в большом зда-

нии концерна с мраморной облицовкой и стеклянным фасадом (который лишь выглядит проницаемым, но это вовсе не так), чтобы и я, прирожденный паразит, могла обладать некоторым авторитетом. Итак, мышление. Возле моей административной стойки кто-то задает себе вопрос, в какую мыслительную комнату он должен направиться и где она расположена. Он записал на листке бумаги, куда ему податься с его мышлением. Теперь необходимо предоставить ему нужную информацию. Но я сама хочу туда попасть! Для начала составим план! Бытие оставило множество следов на лестничной клетке, они разноцветные, чтобы каждый мог продолжать путь по тому следу, который ему подходит, и попасть в нужный отдел мышления. Мне же хочется обладать всеми следами, все они одинаково нужны. Я говорю человеку, который хочет мыслить: только не со мной! Не идите за мной и тем более не следуйте за мной незаметно, направьтесь лучше по вашим личным следам, выберите, например, красный, и вы увидите результат! Следы мышления многоколейны, вы поймете, как насущно необходим бывает каждый из них, каждый отдельный след. Насколько я понимаю, вы стремитесь всех опередить. Вы хотите оказаться впереди, хотя не существует ничего такого, что вы могли бы обогнать. Никакой конкуренции! Итак, вы хотите продвинуться вперед, но с тем, чтобы как можно чаще и больше обгонять других. Вы хотите посмотреть, что там находится, но вам необходимо то, чем обладаю я, настойчивая готовность продуцировать и поставлять саму себя. Безусловно, с неким посланием или даже с целым посольством, которое само кого-то представляет, но кого именно, не имею понятия. Как же это унизительно — отдавать нечто, чего, возможно, вообще не существует. Мышление страшит, оно — дорога в пропасть! Но вы же хотите попасть на третий этаж. Вот как. Предполагается, что там вас ожидает сущность философии. Если вы не нашли ее внизу, она, возможно, ждет вас наверху, кто знает? Подождите, я пойду с вами, и если окажусь в нужном месте, а сущности — той не будет дома, то буду представлять эту сущность сама. Итак, если вы настаиваете, могу вам ее представить. Для этого вам не стоило подниматься по лестнице! Так как я не могу представить себя, представлю по крайней мере сущность мышления. И хоть сама я не могу себе ее представить, на вашу долю достанется предостаточно. Ступени ведут вверх непосредственно к истории мышления, откуда лестница поднимается еще выше или спускается вниз, в зависимости от того, где именно вы находитесь и куда хотите попасть. Ступени лестницы — это та прочная основа, по которой нужно пройти, чтобы двигаться дальше. Можно сказать, что поднимаются через уже продуманное, не обращают на него внимания и переступают через него. На продуманное не наступают из страха его повредить, но, переступая, используют. Постоянное, стало быть, — лестница, лестница в никуда — и есть мышление. Кто мыслит — не важно, тем более что определить это особой сложности не составляет, лестницу ведь нельзя оставить в сторону. Ее можно оставить для себя, если хочешь куда-то прийти, но переставлять ни в коем случае нельзя, даже на долю миллиметра. Философия кажется мне неким подобием тряпки, желающей трудолюбиво смыть следы, оставленные на лестнице, или, возможно, только размазать их. И лишь после того, как лестница вымыта и сор равномерно распределен, мы сталкиваемся с очевидным: грязь, от которой ткань тряпки постепенно задубевает, весь сор, который пропитывает материю, осушает и затем вновь увлажняет ее, — он-то и был здесь с самого начала! Это и есть все необходимое. Та связующая субстанция, для создания которой я должна была вобрать в себя окурки, бумажки, скомканные носовые платки и собачье дерьмо. Чтобы себя отстоять. Только чтобы себя отстоять.

Будь лестница покрыта этой субстанцией, я могла бы ее смыть, и под ней оказалась бы чистота. Но получается, что я беру от мышления только то, что я смыла с него собой, тряпкой (которая так часто при мне, что практически срослась со мной, в какой-то степени являясь моим органом), и мышление тянет меня дальше, возможно потому, что оно стало таким тяжелым, и не имеет значения, наверх или вниз оно тянет меня, и не важно, в действительности ли, или в какую-то новую действительность, в определенную манеру держаться, или — от удерживающей опоры прочь. И в заключение, когда больше нет никаких новых идей, моя рука — небрежно, но надежно обмотанная пропитанной грязью мыслительной тряпкой, — разбивает щиток пожарной сигнализации. Остаются лишь осколки, глухое беспокойное дребезжание, нового, прекрасного звука не возникает; ослепленная сигнализация подвела, вся надежность — не более чем вымысел, ведь ее еще ни разу не коснулся огонь. Но даже эпизод со стеклянной заслонкой, которую я пробила (как легко можно было поранить себе руку, не будь она обмотана омерзительной тряпкой), не проясняет, каким образом настраивается и выстраивается связь с сущим (камертон я, конечно, забыла, но в следующий раз обязательно возьму с собой). Заслонка не дает разглядеть и способ обретения сущего как такового, для этого сигнальный прибор слишком мал, он ничего не должен показывать (его обязанность лишь сообщать о пожаре!), не ясно, какая именно правда ожидает за стеклянной пластинкой, размером примерно двенадцать на двенадцать сантиметров, ожидает, не только чтобы закричать громко, но и чтобы быть громко записанной — у меня все постоянно орут, ничего не поделаешь, — да и легла ли эта правда в основу при сооружении лестничной клетки? Возможно, она была краеугольным камнем при торжественной закладке фундамента, или она здесь установлена, подобно замурованному сигналу тревоги, встроенному крику, прилаженной сирене (на мероприятии массово представлена местная знать! Она действительно присутствует в любой массе, нет масс без знати), — достоверно ничего не известно. Итог: не важно, правда это или нет. Если я говорю, что правда, значит, одновременно речь идет о правде бытия. Потому что я была первой — процесс, конечно, протекал не без предохранения! — своевременно взломавшей заслонку! Я — причина шума, но не первопричина пожара. Но шум, его создала я сама. Предупредительный крик издаю я, не мышление, мышление с ним ничего поделать не может. Оно не устраивало пожар и не тушило его. Оно лишь желает, чтобы огонь в конце концов потушили. Но нет. Человек — разумное животное. А сейчас — вверх по лестнице, ты ведь уже выучилась, собака, что, если даже у тебя четыре ноги, ты все равно можешь подниматься по лестнице вверх. Для того ты и выстроила в себе чувство значимости, чтобы оно подсказывало, какую ногу ты должна поднимать первой. Нет, не заднюю. Иначе может выйти недоразумение, и оно приведет других, тоже желающих поднять заднюю ногу, именно к твоей луже, наведет их на ложный след. Но даже он окажется мышлением. И если его перепрыгнуть и сразу прийти к результатам, нельзя будет не заметить: мышление это функционирует и полностью заполняет жизнь. И там, где когда-то была пожарная сигнализация, сейчас можно увидеть гладкую бетонную стену. Сплошную. Без швов. Везде человек не от мира сего — обесцененный, бесполезный, но — неземной, и, что бы он ни делал, его принадлежность к сущему не может быть обоснована его сутью. Он должен прекратить быть таким, как есть, отказаться от своей сути и возвратить ее обратно в вестибюле. И посмотрите. Там стою я в моей мыслительной униформе, немыслимо роскошной, я стою за стойкой администрации и теперь приму действительно каждого, можете мне поверить.

Эльфрида Елинек: "Я ловлю язык на слове..."

С Эльфридой Елинек беседует Александр Белобратов (Вена и Санкт-Петербург, февраль 2005 года)

Александр Белобратов. Я очень рад, что мы можем продолжить наш разговор[1]. Произошло событие, которое совершенно внятно обозначило вашу позицию, ваше положение и место в современной литературе: вы — лауреат Нобелевской премии 2004 года. Тогда, в 2003-м, вы говорили о "виртуальной реальности", которая, собственно, отделяет нас от "действительной реальности" (кстати, еще Роберт Музиль в "Человеке без свойств" очень интересно размышлял на эту тему), от реальности, которую мы утратили. Как вы восприняли ваше награждение? Это происходило в действительной реальности?

Эльфрида Елинек. Да, у меня действительно такое чувство вообще относительно всех премий и особенно этой, самой большой и самой желанной, что речь идет о некоей "параллельной акции", которая разворачивается в ином универсуме. Поскольку я не присутствовала на главной церемонии награждения, а для меня лично организовали чудесную маленькую церемонию прямо в Вене, то все это в определенном смысле так и осталось для меня несколько нереальным. Правда, дома, на моем рояле, лежат медаль и диплом Нобелевского комитета, и все же мне как-то не совсем в это верится. Кроме того, у меня очень стойкое ощущение, что я не заслужила такой чести. В самом деле, все выглядит так, словно это произошло в некоей виртуальной реальности и не со мной.

А. Б. С одной стороны, ваши тексты очень конкретны, очень сильно связаны с материальным и социальным миром, в котором люди, имеющие определенные привычки, совершающие разные поступки или даже преступления, живут, мучая себя и других. С другой стороны, ваши произведения, ваших героев нельзя назвать реалистическими: ваши персонажи целиком "составлены" из фраз, из устойчивых оборотов, складываются из клише сознания, созданы с помощью языковой игры, характеризуются этой игрой. Составляет ли основание ваших текстов это виртуальное, вымышленное, нереальное начало?

Э. Е. Я бы сказала, пожалуй, что мои тексты возникают в точке схождения (в "интерфейсе") мира реального и его отражения в языке. Вторая природа, "отражение отражения", всегда интересовала меня больше, чем первая, — меня интересовало, как реальность переплавляется, преломляется, отражается в масс-медиальном пространстве. Того, что называется аутентичностью или даже индивидуальным действием, не существует, это иллюзия, поскольку вся система бытия слишком закрыта, чтобы позволить проявление индивидуальности. Существует только подражание подражанию. И вот это самое я пытаюсь охватить, поймать на языковом уровне, отрезав ему дорогу к бегству. Простым реалистическим повествованием не добьешься точности, я так считаю. Поэтому я работаю с языковыми и образными клише, я вынуждаю язык обнаружить свой ложный идеологический характер, я, так сказать, подвергаю язык порке, чтобы он, вопреки своему желанию, говорил правду.

1. См. интервью с Э. Елинек, опубликованное в "ИЛ" № 2, 2003.

А. Б. Вы подвергаете язык порке, чтобы он говорил правду... Какую правду? Правду о чем? О ком? Для кого? Стало быть, по вашему мнению, существует правда (или правды), которую можно высказать? Какое же послание несете вы миру? Послание, адресованное третьей действительности? Или второй? Ведь вы говорите, что первая действительность полностью утрачена? Стало быть, речь идет об истине-неистине, которая способна лишь продолжать, удваивать, утраивать неистинность реальности, бывшей в употреблении? Что вы имеете в виду?

Э. Е. Трудный вопрос, трудный... Конечно, правда (истина) — неправильное слово. Я имею в виду скорее процесс разрушения мифов, в духе Ролана Барта. Когда я говорю, что язык вопреки своему желанию должен обнаружить собственную идеологическую основу (то есть свое ложное *сознание*, пожалуй, это слово точнее, чем слово "истина"), то в лучшем случае происходит нечто в роде выявления ситуации с помощью языка (например, как пишет об этом Ингеборг Бахман: "*Модные* женщины — *мертвые* женщины"). То есть подобная языковая игра не свободна от некоей ценностной системы, она преследует политические цели. Я бы сказала, что это отличает меня, к примеру, от Арно Шмидта и сближает с Венской группой, члены которой хотели "захватанный" нацистами немецкий язык использовать для того, чтобы включились определенные процессы осознания, высечь из него, так сказать, искры — и делать это также при помощи языка. Как известно, литературные течения, связанные с языковыми экспериментами, были уничтожены нацистами, и после войны естественным образом ощущался огромный недостаток в языковых играх (присутствовало и отвращение к искореженному немецкому языку, недоверие к нему). Говоря о склонности к языковым играм, я (как и участники Венской группы) имею в виду самые разные их разновидности вплоть до дешевого каламбура, но нужно уметь не бояться тривиального, и лучше всего сталкивать тривиальное с выхолощенным пафосом затасканных слов, чтобы начался процесс осознания. Однако истина как таковая, естественно, недостижима. Самое большее, что можно сделать, — пытаться подойти к ней с разных сторон, чтобы она сама себя проявила. То есть истина, бывшая в употреблении, как вы сказали, разоблачает другую истину, бывшую в употреблении, и так далее — пока ложь не будет окружена.

А. Б. Да, действительно трудный вопрос — хотя бы вот по какой причине: если писатель атакует и разоблачает ложный язык (к примеру, как Карл Краус с его цитированием, или Элиас Канетти с его "акустическими масками", или же Венская группа), то многие говорят ему: понятно, *против чего* вы боретесь — но вот *за что*? "Где же положительная программа, господин Кестнер?" — спрашивали знаменитого немецкого сатирика. Я имею в виду два уровня: с одним все обстоит относительно ясно, насколько мне позволяет судить об этом мой читательский опыт — сатира в XX веке не обязана более опираться на какие бы то ни было моральные учения. Мой вопрос касается второго уровня: из ваших текстов ясно, против какого языка вы боретесь, а вот *за* какой язык? Или вы боретесь за "тишину" (как Ингеборг Бахман)? Боретесь за бессловесность?

Э. Е. Я не борюсь за какой-то конкретный язык или за что-либо подобное. Я не предлагаю никаких утопических решений. Я ощущаю себя критиком, и я занимаюсь критикой языка. Думаю, каждый должен заниматься деконструкцией собственного языка. Можно назвать то, что я делаю, буквалистской практикой, то есть я ловлю язык на слове, я называю слова их именами, а еще это можно назвать процессом метафоризации. Я использую цитату и ввожу ее в контекст новой метафоры. Это как в калейдоскопе: внутри него все те же одинаковые стеклышки, но они раскладываются и снова

складываются в разнообразные узоры. Цитаты изымаются из старого контекста и прописываются в новый, таким образом они меняются, в них, так сказать, вписывается новый смысл. Ну, а положительная программа? А ее нет, ведь не существует ни передающего, ни принимающего сознания, каждый составляет для себя свой собственный текст, над которым затем снова трудятся другие, прописывая в него себя.

А. Б. Вас читают именно так? Насколько мне известно, восприятие ваших текстов идет другими путями. Если мы обратимся к вашим романам (ваши театральные тексты в России до настоящего времени неизвестны), то читатели следят за сюжетом, переживают за персонажей, страдают вместе с ними и корчатся от беспощадного описания "человеческих отношений" — или, что тоже представлено в читательской рецепции, они вычитывают из ваших книг мечты и неудовлетворенные желания, связанные с человеческой близостью. Они смотрят в калейдоскоп вашего языка — и насколько вы сами информированы о том, какие узоры они там видят? Получаете ли вы письма от читателей? Существует ли обратная связь с ними, или она ограничена только журнальной и газетной литературной критикой?

Э. Е. Я уверена, что мои пьесы для русского читателя будут очень непривычны. Тут большую роль играет мастерство великих русских драматургов XIX века, вызывающее у меня почтительную робость. Их метод основывался на отборе, на умолчании, на подтексте, на намеке (сегодня, пожалуй, так работает Йон Фоссе[1], следующий традициям Ибсена). У меня все совершенно иначе. У меня никто никогда не молчит. Каждая щель заполняется говорением. Мои персонажи не боятся ничего, кроме молчания. И когда они вдруг замолкают, они перестают существовать. Иногда даже я сама забываю о некоторых своих персонажах на сцене, поскольку они, когда умолкают, просто здесь не присутствуют. Я создаю, так сказать, то расползающуюся, просвечивающуюся насквозь, то плотную, непрозрачную ткань текста, и любой режиссер может и имеет право вырезать из нее свой кусок. Обратная связь с читателем у меня есть, мне пишут письма, а вот с литературной критикой у меня нет никакой связи, рецензенты меня, за редкими исключениями, просто не понимают. Порой мне кажется, что я — автор, которого понимают литературоведы, они размышляют о том, как я работаю. Однако это идет не от меня самой, мне не хотелось бы быть автором только для литературоведов. Но вот литературные критики, как я считаю, меня на самом деле не воспринимают.

А. Б. В вашем послесловии к пьесе "ЭТО НЕ СТРАШНО. Маленькая трагедия смерти" (русский перевод В. Ф. Колязина) вы пишете: "Эти тексты предназначены для театра, но не для театральной постановки". Однако постановки ваших театральных текстов (драмами, театральными пьесами их в самом деле трудно назвать) имеют явный успех — в 2002 году вы получили звание "Мирового драматурга года". Что "спасает" вашу театральную репутацию? Ведь это очень трудные, очень претенциозные, "неудобоваримые", "неудобные" тексты — например, "Облака. Дом" или "Станция". Или "он как не он". Как удается сделать из них театральное событие? И еще: ставятся ли ваши пьесы на сценах за пределами немецкоязычного региона?

Э. Е. Я хотела сказать, что мои театральные тексты — это просто тексты, которые нужно слушать (и смотреть), но их можно и читать. Некоторые из них более театральны, более насыщены диалогами (к примеру, "Клара Ш." или "Привал"), другие — более монологические и ближе к прозаическим текстам. К сожалению, не получается так, как я себе это представляла, а именно, что

1. Йон Фоссе (р. 1959) — один из самых популярных современных драматургов Норвегии.

эти театральные тексты будут читать и как книги (один пример: "Бэмбиленд. Вавилон", пьеса, появившаяся в виде книги после присуждения мне Нобелевской премии. Я надеялась, что эти тексты будут обсуждать и читать именно как тексты, как политические тексты, обращенные к современной истории, но на них вовсе не обратили внимания. Я не уверена, но, по-моему, не было даже ни одной рецензии. Эти тексты воспринимают только тогда, когда их показывают со сцены. Но на сцене удается представить лишь некий фрагмент. Меня разочаровывает то, что мне не удалось пробиться к читателю с моей концепцией политического театра). Дело обстоит зачастую таким образом: меня хвалят как автора, пишущего для театра, но на мои театральные пьесы (или лучше — тексты) обращают внимание только тогда, когда они поставлены в театре. Я себе это все представляла иначе. Мою театральную репутацию "спасают" режиссеры, потому что тело текста выставляется на обозрение людям, когда оно уже преображено сценической фантазией режиссера. Очень интересно наблюдать, как по-разному "поворачиваются" пьесы у разных режиссеров, каждый из них пишет собственную пьесу, но мне очень бы хотелось, чтобы читали именно тексты. Что касается постановок моих пьес не на немецких сценах, то таковых очень мало (правда, "Драмы о принцессах" очень хорошо поставили в небольшом театре в Стокгольме, возможно, это в какой-то мере повлияло и на решение Нобелевского комитета). Во Франции меня очень высоко ценят как драматурга, об этом все время пишут, однако там меня почти не ставят.

А. Б. Да-да, книжные издания пьес в России вообще очень редко появляются. А если и появляются, то остаются почти незамеченными. С романами дело обстоит совершенно иначе. И позвольте поговорить о ваших романах. Недавно в русском переводе вышел роман "Перед закрытой дверью" ("Die Ausgesperrten"). Вы написали эту книгу в 1980 году, существует и ее экранизация. Это очень жестокая книга, книга, в которой нет и проблеска надежды, а ведь речь в ней идет о совсем молодых людях, почти о детях. Что за мир отображен в этой книге или придуман вами для нее?

Э. Е. Хочу подчеркнуть, что этот роман имеет прямое отношение к реальности. Преступление, его завершающее, действительно имело место и происходило именно так (когда я прочла о нем в газетах, я решила для себя, что когда-нибудь об этом напишу, хотя в то время вообще не думала, что стану писательницей). Этот случай привлек мое внимание. С материалами процесса я детально познакомилась позднее, тогда, когда книга была почти готова, и эти данные использовала только в последней главе, описывающей гораздо более позднее время, чем то, когда разворачиваются основные события в романе. Я хотела поместить действие романа в то время (я люблю работать на пересечении плоскостей), когда наступила своего рода переходная эпоха: с одной стороны — те, кто сотрудничал с нацистами или даже активно участвовал в нацистских преступлениях (старший Витковский, к примеру), а с другой — подрастающая молодежь, сталкивающаяся с этой страницей истории, но и одновременно вовлекаемая в новую индустрию молодежной культуры, в поп-музыку и моду. В 1960 году впервые выступили "Битлз", через несколько лет в Германии возникло студенческое движение, а потом, и это меня особенно интересовало, сформировалась группа "РАФ", то есть родился политический терроризм (в противоположность индивидуалистическому анархизму Макса Штирнера, автора книги "Единственный и его собственность", которой интересовался Венский акционизм, интересовалась Венская группа). В этих трех силовых полях, если так можно выразиться, помещается в моем романе история, в которой каждый из героев является представителем своего класса, и судьба каждого из

них как бы предопределена Норнами. Лишь Софи, представляющая крупную буржуазию, свободна в выборе своей судьбы, потому что ей нечего бояться. Дети из мелкобуржуазной среды и из среды пролетарской могут потерять все, они, так сказать, вынуждены выложить на стол истории свое тело, как выкладывают фишки на игральный стол в казино. И катастрофа не заставляет себя ждать. Уголовные преступления вызывали мой особый интерес потому, что они маркируют самые слабые звенья общественной системы, в которых эта система взрывается.

А. Б. В романе речь часто заходит о Камю, Сартре и Батае — их книги, например, читают Анна и Райнер. Это знак той эпохи или это ваш круг чтения в то время? И еще: виноваты ли Батай и другие в жестокости своих молодых читателей?

Э. Е. Тексты, о которых вы говорите, были тогда доступны лишь на языке оригинала. Но мои герои — гимназисты, и они учат французский (а читали ли эти книги их реальные прототипы — не важно). Признаюсь, я тут немного схитрила. И уж, понятное дело, Ханс ничего подобного не читал. Он — инструмент господствующего класса (пожалуй, это можно сравнить с тем, как нацисты после путча Рэма, уничтожив свое социально-революционное крыло, бросились в объятия к капиталу; такие рассуждения и мысли играли тогда для меня определенную роль). Кстати, переводы из этих авторов после войны подвергались существенной цензуре (теперь появились новые переводы), например, когда Сартр пишет о "господствующем классе", переводчик заменяет это выражение на "ведущие слои общества". Несомненно, такие вещи — явная попытка манипулировать сознанием, и Райнер тоже пытается манипулировать людьми. В принципе его поведение — пародия на "трату себя" у Батая. Райнер ведет себя так, словно хочет присвоить самого себя (равно как и других вместе с их добром), чтобы потом "тратить", в действительности же он столь мало владеет собой, что ему нечего "тратить", даже если бы он того хотел. А ведь он и не хочет вовсе. Его цель, как и цель всякого мелкого бюргера, — боязливое сохранение себя. И не он собой владеет, а им владеет страх. Его не ведет действие. Страх предшествует действию. Эту связь позднее разорвала группа "РАФ". Она, так сказать, взорвала этот страх.

А. Б. В вашем романе "Похоть" (1989) "социологические" конструкты также играют существенную роль. Некоторые читатели у нас, с учетом столь резко очерченного вами распределения ролей в романе "Перед закрытой дверью", назвали бы эти конструкты "марксистскими". Вместе с тем мне представляется очевидным, что насилие в семье, например, сексуальное насилие, порождено не капитализмом и не связано с определенной политической системой. Мне кажется, чтобы заклеймить это насилие, нужен скорее не роман, а документальный текст, текст аналитический, обращенный к широкой общественности. Кстати, такие люди, как господин директор в романе "Похоть", вообще не читают книг. Для кого и о чем написан этот текст? Кого он должен "мучить"? Кому — доставлять радость? Я вот во Фрайбурге, в университете, присутствовал на феминистском докладе, и докладчица с неподдельной радостью говорила об убийстве ребенка в конце романа: она радовалась тому, что там убивают мальчика, а не девочку. Как видите, восприятие литературы идет иногда очень странными путями...

Э. Е. Но ведь нехудожественный текст не сможет сделать механизмы власти постижимыми эмоционально. Конечно, воздействие власти, распространяющееся и на индивидуальную, и на частную сферу, существует и в других политических системах. Реальный социализм всегда (все-таки!) провозглашал равноправие мужчины и женщины, однако на самом деле в жизни все было иначе. Понятно, что с изменением экономических отношений невозможно автоматиче-

ски решить вопрос взаимоотношения полов. Что касается романа "Похоть", то я разговаривала с несколькими менеджерами фирм, и они мне говорили, что ситуации, мною описанные, им вполне известны из жизни. Я сама уже почти было отчаялась, потому что никто не хотел верить, что такое возможно, даже мой собственный издатель. Для кого написан такой текст, это меня не интересует, текст должен был быть написан, иначе бы я этого не сделала. Кстати, со мной всегда дело обстоит именно так. Читательское восприятие меня не интересует. Пусть мои книги читает любой, кто захочет, но никто не обязан их читать — это, по-моему, ясно. Убийство сына — продолжение мужского насилия, насилие продолжает женщина, лишенная власти, она направляет его на самое слабое звено, на ребенка, и в ребенке женщина видит продолжение отцовского принципа. Не знаю, возможно, она не убила бы собственную дочь. Но ведь речь идет о символическом насилии. Кроме того, я опиралась на известное "дело Виллеминов", связанное с убийством, произошедшим во французских Вогезах, о нем в свое время писала в газете "Либерасьон" Маргерит Дюрас. Речь шла о женщине, которая убила своего ребенка. Дюрас (кстати, она выступила в газете тогда, когда процесс еще не был окончен, а это в принципе уголовно наказуемо) выдвинула тезис, что именно механическое насилие над женщиной, механическое ее использование, осуществлявшееся мужем, привело к накоплению в ней такой агрессии, что она совершила убийство.

А. Б. Ваша "страсть к словам", к письму нашла наиболее впечатляющее отражение в романе "Дети мертвецов" (1995): эта книга объемом свыше 660 страниц, с неимоверно огромным словарем, одновременно — книга с чрезвычайно сложной композицией, книга, нагруженная призрачно-страшной проблематикой. Вы не раз говорили об этом тексте как о своей самой удачной литературной работе. Какими путями может пройти в нем читатель? Лабиринт ли это, в котором легко заблудиться? Или это движущийся ледник, который "с присущей ему динамикой движения" захватывает читателя и может раздавить его собой? Каким способом читатель может пересечь "район диких Альп" вашего произведения и выбраться из него?

Э. Е. Я, пожалуй, не скажу, что "Дети мертвецов" — самая моя удачная работа, однако она наверняка самая важная. Мне бы было достаточно написать одну только эту книгу. Все, что я до этого писала, устремлялось только к ней, и после нее мне бы можно было и перестать писать вовсе. Могу сказать иначе: я хотела написать только эту книгу. В этой книге все, о чем вы говорили. В ней — предельная тривиальность splatter-movies[1] и обвинительный пафос по отношению к австрийскому национальному самосознанию, построенному ни на чем, возведенному на горах трупов, на мертвецах, существование которых отрицалось. Это неизбывное унижение смертью (тема Канетти), унижение, связанное с тем, что одни уже мертвы, а другие живы, что жертвы мертвы, а преступники надолго переживают их, вот эта самая фундаментальная несправедливость и есть моя главная тема. Она как рана, которая не затягивается. Парадигматическим для этой темы и является данный роман, в котором в самом конце мертвые возвращаются и вновь обретают то, что у них украли: их жизнь и их собственность. Кроме того, меня всегда привлекала ситуация, связанная с привидениями: некто мертв, но сам того не знает. Ситуация, которая очень часто используется в кино, например, в "Карнавале душ" Герка Гербертса (я писала об этом фильме, этот режиссер снял только один-единственный фильм, о привидениях), а в недавнее время — в "Шестом чувстве" (наверняка его показывали и в России). Этой теме я останусь верна. Открыл ее после войны Ханс Леберт в романе "Волчья шкура": на

1. Фильмы ужасов (*англ.*).

старом кирпичном заводе разверзается пол и из подземелья появляются трупы, зарытые там в военные годы. Я и в самом деле рассматриваю эту сцену как своего рода парадигму для всей моей литературной работы: вскрыть пол (разрушить ложную невиновность) и извлечь наружу то, что хотели спрятать. Этот текст можно прочитать как обычную историю о привидениях, или как политическое иносказание, или как эссе, или как развлекательный роман. Я соединяю все эти возможности. Ведь и "Перед закрытой дверью" можно воспринять как криминальное чтиво, а можно читать как социальное исследование, а можно — как политическую притчу. Я пытаюсь дать читателю разные возможности и вовсе не обижаюсь, если он просто хочет развлечься чтением. Ведь и Ингеборг Бахман говорила о своем романе "Малина", что его можно читать как обычную любовную историю.

А. Б. В романе "Алчность" (1999) речь тоже идет о смерти. Смерть вынесена в заголовок ваших театральных текстов последнего времени ("Смерть и девушка, I–V", 1999–2003 гг.). Однако в "Алчности" речь идет и о любви, речь идет о надежде (пусть о надежде несбывшейся, питаемой самовнушением, ложной). Кстати, здесь любопытна и интертекстуальная связь, например, с драмой Оскара Кокошки "Убийца — надежда женщин". Самые тяжелые сцены в "Пианистке" (1983) — Эрика, атакующая в постели свою мать, Эрика, обнимающая Вальтера в каморке уборщицы (кстати, эти сцены выполнены удивительно поэтически и с особой музыкой слова) — не идет ли и там речь о любви, о том великом, что таится в нас, о том, чем мы все же обладаем и что лишь очень редко и лишь на очень короткое время появляется из нас, часто в искаженном виде или никем не узнанное?

Э. Е. Да, конечно, речь там идет о любви, но в моих книгах любовь возникает всегда в женщине, и эту любовь уродуют мужчины. Поступки Эрики — это ее крики о помощи (спасение кажется совсем близким), однако ее призывы совершенно искажены, потому что она притязает на то, что ей недоступно: она хочет господствовать, подчиняясь, и определять форму своего подчинения (я точно не помню, кажется, у Бодрийара есть знаменитое эссе о садомазохизме и мазохисте, который осуществляет инсценировку и решает за садиста, как тому поступать, — за садиста, который, по Сартру, сух, лишен фантазии и прямолинеен; кстати, это касается и судьбы женщины в романе "Алчность"). Великое чувство в нас может стремиться наружу сколько ему угодно, однако его неумолимо принижает сексуальность, в которой вожделение женщины постоянно гасит и отрицает себя, потому что главную роль играет вожделение мужчины, от которого женщина зависит. Вожделение женщины всегда предстает как нечто отрицательное, вынужденное отказываться от себя, чтобы участвовать в вожделении другого. Кончается все, и тут "Алчность" действительно смыкается с "Пианисткой", самоуничтожением. У Эрики Кохут все завершается пародией на судьбу героя Кафки в "Процессе", завершается в ее неудачной, беспорядочной попытке нанести себе рану, рану символическую (она, так сказать, добавляет себе еще одну рану, ведь половой орган женщины — это рана Амфортаса[1], которая никогда не закрывается, и она не обладает такой степенью репрезентативности, как половой орган мужчины), а вот самоуничтожение женщины в романе "Алчность" удается. Правда, перед этим женщина в жутко пародийной ситуации должна приодеть и украсить себя, подготовиться для гроба, должна еще раз навести красоту, потому что никто другой за нее этого не сделает.

1. Амфортас — легендарный король, хранитель Святого Грааля (чаши с кровью Христа), которому злой чародей Клингзор нанес незаживающую рану.

Отечественная литература по определению не является предметом пристального внимания нашего журнала. И все-таки мы сочли возможным познакомить своих читателей с двумя диаметрально противоположными точками зрения на современную русскую словесность. Дело в том, что и В. Вебер, и Д. А. Пригов по разным жизненным обстоятельствам имеют возможность взглянуть на нынешнее отечественное искусство не только изнутри, как большинство соотечественников, но и снаружи — со стороны Запада, условно говоря.

Наши постоянные читатели, может быть, заметят, что столь же разноречивые и радикальные суждения звучали и на круглом столе "В поисках утраченной поэзии", посвященном современной зарубежной лирике[1]. Неравнодушие, проявленное участниками прошлой и нынешней дискуссий, доказывает, что обе темы не надуманы, и, более того, как нам кажется, "состоят в родстве".

Некоторые мнения, высказываемые поэтом, прозаиком и переводчиком Вальдемаром Вебером, например, о "симбиозе" западных славистов и отечественных авангардистов, созвучны тому, что обычно говорится в среде почвенников и охранителей. Но в устах либерала и "западника" эти слова звучат более свежо и ответственно, потому что сказаны не за компанию. В. Веберу возражает видный деятель отечественного авангардного искусства Д. А. Пригов. "ИЛ" рассчитывает, что разговор будет продолжен.

Вальдемар Вебер

Что западный читатель ждет от русской литературы[2]

В сентябре 1992 года я поселился с семьей в австрийском Граце, столице Штирии, куда был приглашен на полтора года читать на немецком языке лекции о русской культуре и литературе. В первые дни пребывания мы с семьей много бродили по Старому городу, самому большому из сохранившихся после английских и американских бомбежек средневековых германских городов. Однажды в конце очередной прогулки мы увидели на центральной площади кричащий плакат, приглашающий посетить выставку лауреатов премии города за лучшие достижения в области изобразительного искусства.

Вход был бесплатным. В огромных залах выставки мы были одни. Оказалось, что в этот день, а было уже около 15 часов, мы — первые посетители. Во всю ширину одной из стен первого зала висело огромное, вытянутое горизонтально полотно, удостоившееся первой премии. Неотгрунтованный натянутый на под-

1. "ИЛ", 2004, № 10.

© Вальдемар Вебер, 2005

2. Доклад, прочитанный на международном конгрессе "Русская словесность в мировом культурном контексте", организованном фондом Достоевского при поддержке Правительства Москвы (декабрь 2004).

рамник холст без рамы. На одном конце к нему был прикреплен клочок старой газеты, на другом — использованная спичка, спичечный коробок и пачка сигарет с раздавленной на ней жвачкой, предметы эти были соединены протянувшейся во всю ширину картины суровой провисающей ниткой. Больше на картине ничего не было. Моей семье сразу же захотелось уйти, вернуться в живой бурлящий жизнью город, в его чудесный теплый сентябрь. Но я остался и долго бродил по залам, где висели картины такого же рода, то и дело возвращаясь к главной картине-победительнице. Предметы на ней были легко заменяемыми. Через несколько дней в качестве новоприбывшего в город иностранного гостевого профессора я был приглашен на какой-то банкет, который устраивал по какому-то поводу бургомистр. Меня представили референту города по культуре. В присутствии бургомистра и некоторых других влиятельных городских чиновников, держа в руке бокал вина, я сообщил ему, что начинаю знакомиться с культурной жизнью Граца, вот познакомился недавно с выставкой победителей конкурса живописи. Господин Шман спросил о моем впечатлении, ожидая, видимо, вежливого малозначащего ответа, какие приняты на подобных фуршетах, не располагающих к культурологическим подробностям, ну, например: "Очень интересно, современно" или "Многое очень интересно, не все равнозначно, конечно, но в целом впечатляюще", а можно было и честно признаться: "Я, знаете ли, в этой области несколько консервативен, это не в моем вкусе". И все. И разошлись бы по добру по здорову, тем более что у господина Шмана я был в этот вечер не единственный гость. Но я ответил: "Вы знаете, мне трудно говорить о своем впечатлении. Я ничего не понял. Вот, например, картина, получившая Первую премию. Может быть, вы объясните мне ее смысл". Я обвел глазами коллег культур-референта. Они напряженно молчали. Тогда я вновь посмотрел на господина Шмана. Не отвечая на вопрос, он стал говорить о том, что вручению премии предшествовали бурные дебаты в прессе, члены жюри были далеко не едины во мнении... Присутствующие закивали и стали живо вспоминать — как было трудно утихомирить эти страсти и примирить различные лобби! — рассказали в связи с этим несколько забавных историй. "И все же, — спросил я, посмеявшись вместе со всеми, — в чем смысл или, если хотите, художественный образ картины?" Референт напрягся, слегка покраснел и выдавил: "Объяснять словами язык живописи значит ее профанировать, как-нибудь в другой раз". Холодно посмотрел мне в глаза и поспешил откланяться. Ему последовали и другие мои собеседники. Приглашения на подобного рода встречи я больше на протяжении всего моего пребывания в Граце не получал. Встречаясь со мной при разных других обстоятельствах, господин Шман старался не встретиться взглядом.

Нечто подобное произошло у меня и при знакомстве с поэтом Альфредом Коллеричем. Он был в Граце центральной фигурой знаменитых грацевских авангардистов, из среды которых вышли впоследствии многие известные австрийские писатели. В Граце издавался и издается до сих пор наиболее известный в мире немецкого языка авангардный литературный журнал "Манускрипты". Коллерич был его главным редактором. Собираясь издавать второй том своей антологии переводов поэзии Австрии "Золотое сечение", я, конечно же, не мог обойти вниманием эту грацевскую группу писателей. Эстетические принципы литераторов, принадлежащих к ней, их обращение с немецким литературным языком оказали влияние на целое литературное поколение. Тем не менее многого я у этих писателей не понимал, и это не было связано с моими познаниями в немецком, я уже тогда наряду с русским свободно писал на этом языке, к тому же всю жизнь

как германист и переводчик занимался сложнейшими поэтами XX века, Георгом Траклем, Готфридом Бенном, Иваном Голлем, Паулем Целаном, стихи которых тоже не даются с первого прочтения. У грацевских поэтов я многого не понимал ни с первого, ни с пятого. И я решил встретиться с поэтом Коллеричем, рассказал, что мой друг, московский поэт и переводчик Игорь Болычев, переводит для новой антологии его стихи и что он поручил мне выяснить у Коллерича некоторые неясные места. Мы встретились в его кабинете в гимназии, где он преподавал и занимал какой-то пост. Уже в первую минуту нашего знакомства Коллерич сообщил мне, что через несколько дней он вместе с Петером Хандке и Михаэлем Крюгером как член жюри едет вручать в Риме премию Петрарки Геннадию Айги, есть такая немецкая премия, носящая имя великого итальянца, вручаемая европейским поэтам. "Как вы относитесь к нашему решению?" – спросил он. Мне бы ответить: "Очень хорошо, что наконец-то эту премию получил русскоязычный поэт, к тому же поэт, пишущий свободным стихом, которого в СССР долгое время не очень жаловали. Это, мол, очень важно". Мог бы даже добавить, что Айги мне не очень близок, что я люблю другого рода поэзию..." И Коллерич бы это принял. В искусстве мнения коллег бывают полярны, единого мнения быть не может. Ему ли этого не знать как издателю одного из важнейших немецких журналов! И мы бы перешли к другим темам, например к стихам самого Коллерича.

Но я ответил: "Хотя здесь, в Европе, известность Айги как русского поэта больше, чем у Иосифа Бродского, в России он человек мало известный, хотя уже десять лет широко печатается, никто его не запрещает, это все в прошлом. Но оценка его творчества на родине даже в среде его собратьев-авангардистов вовсе не такая высокая, как здесь, у вас".

Но даже эта первая часть моего ответа не произвела на Коллерича особого впечатления.

Ну что ж, мол, такое тоже бывает. Нет пророка в своем отечестве. А мы вот, немцы и австрийцы, его оценили.

Я продолжал: "Что же касается моего личного мнения, то оно у меня пока еще до конца не сформировалось. Я с интересом читал в 70-е годы некоторые стихи Айги, в них были неожиданные метафоры, поражавшие своей смелостью, но общее содержание стиха мне уловить удавалось редко, более же поздние стихи я вообще не понимаю. Сколько ни читаю – не понимаю. А ведь читатель я неординарный, всю жизнь перевожу сложнейших поэтов. Если я не понимаю, то каково же читателю, не имеющему моего опыта. Правда, сказал я, переводов Айги на немецкий я не читал".

Коллерич снял с полки книгу и протянул ее мне. В это время ему позвонили по телефону. Он извинился, что ему надо минут на двадцать удалиться для встречи с родителями учеников, и предложил мне остаться в его кабинете, почитать лауреата. По лицу его было видно, что мнением моим он озабочен.

За время его отсутствия мне удалось внимательно прочесть несколько текстов. Немецкий язык в силу своего философского опыта делал в текстах Айги отвлеченные понятия более определенными. Вообще делал стих строже, упаковывал его в более четкую форму. Но от этого содержание его не становилось более понятным. Когда Коллерич вернулся, я сказал ему, что чтение немецких текстов мне ничего не прояснило.

Австрийский поэт молчал.

И тогда я совершил непоправимое. Я предложил Коллеричу объяснить мне один из конкретных текстов. Коллерич медленно прочел его и после продолжительной паузы сказал: "Тут есть посыл, понятно, к кому обращается поэт, об остальном надо думать..."

"Ну тогда вот этот текст, он короче", – не отставал я.

Коллерич нехотя и как-то нервно вновь взял в руки книгу, начал читать, но вдруг оборвал чтение, сказал, что в этих условиях не способен сконцентрироваться, и предложил встретиться в другой раз и договорить.

"Жаль, что до главного мы и не дошли, — сказал я на прощание. — Нам с вами есть что обсуждать, кроме стихов Айги".

"Да-да, конечно, я вам позвоню".

Никакого телефонного звонка я, конечно, не дождался. Позднее я в качестве слушателя присутствовал на фестивале поэзии в Граце, где десятки поэтов со всего немецкоязычного мира читали нон-стоп стихи с утра до вечера, слушатели входили и выходили из зала, когда им хотелось, бессмысленных стихов наряду с вполне прозрачными по смыслу там читалась невероятная масса, им аплодировали, как и остальным, здесь не было эмоций, здесь литература принималась к сведению.

И еще один случай. Одно крупное немецкое издательство предложило мне в 1996 году участвовать в книге, посвященной современной русской литературе, или посоветовать эссе какого-нибудь известного русского писателя, они, мол, полагаются на мои знания и вкус. Я рекомендовал статью Фазиля Искандера "Пастернак и этика ясности в искусстве", написанную писателем в январе 1991 года. Там были такие слова: "Стремление к ясности естественно присуще искусству слова. Эта ясность устанавливается бессознательно, она есть заочное продолжение очной культуры общения. Подобно тому, как мы соизмеряем свой голос с расстоянием, на котором от нас находится собеседник, подобно тому, как мы, указывая собеседнику на какой-то далекий предмет, исходим из того, что сила его зрения позволит ему разглядеть этот предмет, подобно тому, как мать, отпуская ребенка, делающего первые шаги, интуитивно определяет, на сколько шагов его можно отпустить, чтобы успеть подхватить его, когда он будет падать, — так и в искусстве чувство читателя, чувство собеседника определяет нормальную речь художника, заставляя его избегать неуважительных длиннот и столь же неуважительной конспективности".

И дальше: "Зрелое творчество предполагает, даже если писатель об этом и не задумывается в минуты творческого озарения, любовь и уважение к далекому собеседнику".

Статью эту взяли, перевели, но вот мне позвонил редактор и спросил: "А что Искандер имел в виду под этой ясностью?" — "Понятность, логичность образов, присутствие смысла". — "К сожалению, это не очень сочетается с другими статьями сборника, к тому же это сейчас не актуально". — "Что не актуально: присутствие смысла?" Редактор захихикал. Статья в сборнике не появилась.

Вот такие истории из моего опыта общения с западной литературной действительностью. Лишь со временем я понял, что задавал моим собеседникам, может быть, самый неприличный вопрос, какой можно задать сегодня в культурном обществе. Я мог употреблять любую лексику, сквернословить, устраивать скандалы — все бы это было не столь неприлично, как мои невинные просьбы объяснить мне смысл того или другого произведения, тем более если оно уже нашло общественное признание. Я нарушал своими вопросами какое-то наиважнейшее условие, консенсус, установившийся в последние десятилетия в сфере искусства, установившийся, как уверяют, в результате многолетней борьбы с теми, кто требовал от искусства однозначности, прямолинейности, натурализма, обязательной предметности, с теми, кто отвергал все загадочное и таинственное, все неясное, расплывчатое, отвлеченное, не говоря уж о чистой абстракции или поэтике абсурда.

Это, видимо, была победа над господством тоталитарных эстетик, и победа эта была настолько полной, что плоды ее отныне стали аксиомой даже для государственных чиновников, не говоря уж о большинстве критиков, вообще для все-

го мира, связанного с областью современной культуры. И никто даже и не пытался ставить эту аксиому под вопрос. Сие нарушило бы сами основы современной системы художественных ценностей. Искусство бессмыслицы получило официальный статус признанного жанра. Нарушить сей консенсус мог лишь человек совершенно дикий. Но я же не кричал: король-то голый! Я только спрашивал...

Я живу в Аугсбурге, городе с глубокими традициями, находящемся в 60-ти километрах на северо-запад от Мюнхена. Когда-то перед фатальной для Германии Тридцатилетней войной Аугсбург был наряду с Флоренцией самым оживленным местом в Европе. В нем было почти 400 фонтанов. Здесь жили Фуггеры, предприниматели и торговцы, в то время самое богатое европейское семейство. Фуггеры щедро финансировали художников и помогали встать на ноги издателям. Изобретение Гуттенберга тогда победно шествовало по всей Европе. И нигде не было так много книжных лавок, как в Аугсбурге. Город остался читающим и после заката своей звезды. В нем по сей день много книжных магазинов. И еще живут в этой провинции читатели старого типа, книгочеи-фанатики из тех, которые, несмотря на возможности Интернета, любят по субботам или в будние дни по вечерам прийти в книжный магазин, потолкаться там, встретить знакомых, таких же книгочеев, полистать новые издания, но самое главное — спросить совета у торговца: может, он им посоветует что-нибудь совершенно особое. Это люди разных профессий, врачи, юристы, физики, математики, богатые предприниматели, учителя, образованные домашние хозяйки. Потолкавшись в магазине и найдя себе собеседника, продолжают беседу с ним в кафе за чашкой кофе. Часто этим собеседником оказываюсь я. Узнав в течение разговора, что я из России, они обычно на какой-то момент от восхищения замолкают. "Какой у меня сегодня счастливый день: я с русским говорю о литературе!" — воскликнул последний мой собеседник. Для него, влюбленного в слово, прочитавшего, я уверен, во много раз больше, чем я, русское ассоциируется прежде всего с литературой.

Несколько лет назад я основал в Аугсбурге небольшое издательство и поэтому много общаюсь с тамошними книготорговцами. Они меня спрашивают, почему в России больше не пишут так хорошо, как когда-то. При этом они вспоминают не обязательно Тургенева, Толстого или Чехова, но и многие имена более позднего периода, например, Андрея Белого, Бабеля, Булгакова, Шолохова, Пастернака, Паустовского; недавно один владелец магазина спросил меня, что пишет сейчас Юрий Казаков, и очень огорчился, узнав, что его уже давно нет в живых. Эти книготорговцы уверяют меня, что миф о русских как нации сугубо литературной среди немцев еще жив и не только у старшего поколения, несмотря на то что в настоящее время сами русские пытаются этот миф разрушить. В послевоенные годы как в ГДР, так и в ФРГ, Австрии и Швейцарии издавалось много русских книг. Вот мы хвастались в советское время, что у нас иностранные писатели издавались миллионными тиражами, а на самом деле по количеству названий мы очень отставали. Помню, в Инязе, где я учился, нас посетила делегация литераторов из Западного Берлина. Наши преподаватели-пропагандисты раздали нам сведения о советских тиражах Фейхтвангера и Ремарка, которые, конечно, впечатляли. Но во время разговора выяснилось, что количество изданных немецких авторов в СССР и русских в ФРГ и Австрии соотносились примерно как 1 к 20, немцами было издано в послевоенные годы практически все лучшее, что им тогда было доступно. Интерес к русской литературе с 20-х годов никогда не ослабевал, даже в годы нацизма крупные и малые издательства продолжали издавать в сериях классики русскую литературу, а

немецкие киностудии снимать фильмы по русским романам... Несмотря на большое количество названий, тиражи, однако, всегда были небольшими, такова немецкая традиция, считающая, что книга с небольшим тиражом обязательно найдет своего читателя, того, кому она нужна. Настоящий читательский круг всегда специфичен, всегда узок.

Так вот, приходят к книготорговцам в Аугсбурге читатели и спрашивают: а есть у вас что-нибудь хорошее русское? "Я предлагаю им, – рассказывает торговец, – новые издания Чехова или Бунина, а они мне: ну что вы, это мы давно прочитали и перечитываем, нет, есть ли что-нибудь новое, современное, но хорошее (etwas Gutes). Им хочется не Сорокина, не ерофеевские антологии "Цветы зла" и "Время рожать"... Такого и у нас достаточно. После подобных книг эти читатели больше русские книжки долго не спрашивают. Проходит, однако, время, забывают, видимо, о своем отвратительном впечатлении, отходят, старая любовь берет верх и они спрашивают снова. И опять задают вопрос: а нет ли у вас там чего-нибудь русского? Как если бы спрашивали, а нет ли там у вас чего-нибудь вкусненького?"

И книготорговец, разложив передо мной свежие каталоги немецких издательств, просит у меня совета...

На прощанье я спросил у того последнего моего собеседника в кафе, откуда у него такой пиетет к русской словесности. Он улыбнулся и сказал: "Literatur pur, литература без примеси, потом помолчал и добавил: – Literatur par excellence, литература прежде всего. Абсолютная литература".

Я был немножко смущен: так обычно говорят об искусстве, создаваемом лишь ради цели, заключенной в самом искусстве, русская же литература всегда стремилась принять участие в оформлении жизни, заботилась о ней и о душах ближних. Я сказал об этом моему собеседнику. "Но ее образы, – возразил он мне, – при всей их социальности все равно говорят о несказанном или дотоле невысказанном, что не охватывается никакими понятиями, о непредставимом... Когда читаешь русских, даже там, где речь идет о казалось бы обычных вещах, погружаешься в ту самую глубину, где исчезает граница между временным и вечным..." Что мне было на это ответить! После таких слов можно только молчать. Что мы и делали, допивая свой кофе...

Надо сказать, что первый кризис в отношениях немецкого читателя с русским мифом произошел еще во время невероятного издательского бума, вызванного перестройкой и продиктованного обострением интереса к процессам, происходившим в России. Тогда стали издавать в больших количествах что ни попадя, притом в поспешно сделанных плохих переводах – так называемую перестроечную "разоблачительную" литературу, в том числе и новые произведения писательских секретарей, срочно перестроившихся. Литература эта, конечно, художественно не выдерживала конкуренции с прежде издававшимися книгами. Вскоре она переполнила склады издательств, ее не раскупали. Русских издавать больше никто не хотел.

И тогда настал час русского андерграунда, вернее его радикальной поставангардной части. Целая армия молодых западных славистов-русистов готова была его, как принято сегодня говорить, раскручивать. Издательства готовы были его печатать, ведь книги этого направления оплачивались издательствам различными немецкими фондами, пропагандирующими все так называемое инновационное, это не требовало особых затрат, не представляло никакого риска. Или издавали на государственные немецкие деньги. Добивались финансирования всё те же русисты. Каждый русский поставангардист или постмодернист обзаводился такими русистами, чаще всего русистками, у каждого были свои адепты. Русисты мало интересовались, какой была на самом деле русская литература. Они заранее знали, какой ей надлежало быть. Отбирали

из нее то, что по их представлениям было литературой. А какой должна быть современная литература, им объяснили на кафедрах их учителя, вдолбив в их незрелые головы исключительно постулаты поставангарда и постмодернизма как обязательные правила любого нового искусства. А ученики в свою очередь популярно объяснили их новым русским авторам. Дали им, так сказать, понять, что время высокой культуры прошло. Что ныне литература — это продолжение тела, что телесность расширяет сознание и что этот пласт литература еще не поднимала, отсюда и такой интерес к экскрементам. Рецепция русской литературы с этого времени проходила по одной линии, образ русской литературы подгонялся под западное клише. Новые русские авторы очень быстро сориентировались в том, что в этом мире есть "хорошо", быстро поняли, что нужно делать, чтобы иметь на западе успех. Валерий Попов обстановку встреч русистов и писателей изобразил в своей книге "Будни гарема" уже в 1993 году: "Здесь сейчас вампиристы в ходу. А начинали скромненько — два-три укуса за весь роман, постепенно всех фекалистов изгрызли, не говоря уж об интеллектуалистах. Гордо ходят. Все доклады последних конференций посвящены теперь вампиристам, о фекалистах — ни слова! Но и у вампиристов покоя нет. Сидели вампиристы прочно... и вдруг какие-то поствампиристы объявились! У прежних взрослые пили кровь, а у этих — дети! Огромный успех! На Западе их сразу бурно полюбили, потому, наверное, что прежние уж больно противными были. Слишком уж беспощадно фекалистов уничтожали, добродушия не проявили. Ошибка. Борьба, кругом борьба, хотя в пяти метрах от отеля никто даже не догадывается о ней, идет нормальная немецкая жизнь. Странные люди эти западные слависты..."

Литераторы, о которых идет речь, присутствуют отныне на всех литературных сходках. Причем в доминирующем количестве. Недаром их кто-то назвал группой захвата. Их всеприсутствие удивительно. Литературная Германия стала смотреть на Россию исключительно их глазами. Какую немецкую газету ни раскроешь, от столичной до региональной, ежели там речь идёт о России, не важно, о чем, о политике ли, экономике или искусстве, жди рассуждений кого-нибудь из этой когорты. Чаще всего Виктора Ерофеева. И еще нашим новым их западные поводыри объяснили, что известность берется не духовным усилием, а скандальным нахрапом, беззастенчивым самовосхвалением или наглым пародированием всего, что создавалось прежде, не только в недавней эстетике, но и во всей прошлой культуре. На смену изображения светлого будущего пришла пропаганда гедонизма, причем в его самом скотском варианте. Главным героем стал либо садист, либо человек без нравственных убеждений, обретший свободу для греха, с аномальными задатками и примитивными желаниями, в мире которого разорваны все человеческие связи, мотивированные благородством. Эта литература со знаком "пост", то есть "после", если хотите "после Бога" и "после человека", и в ней опровержение всех христианских заповедей выполняется с гораздо большим радикализмом, чем в большевистские времена, она одержима пафосом осмеяния любого проявления нравственности, благоразумия, воздержанности, справедливости. Серьезная русская литература создавалась все эти годы другими писателями, но раскручивали на Западе по-настоящему только поставангард, исключительно ему же были посвящены дипломные и курсовые работы студентов.

Пропаганда эта была столь тотальна, что читателю, желающему познакомиться с новой литературой России, в руки попадали прежде всего эти книги. Мне в работе с австрийскими и немецкими студентами приходилось довольно много заниматься актуальными русскими текстами, а также консультировать

опытных славистов и переводчиков. Им нужна была помощь, они терялись в косноязычном потоке слов, выдаваемом за поток сознания, где беспомощная фрагментарность и безнадежная глупость выдавались за концептуальную мудрость.

Печально, что на литературных сходках в Германии я замечал, что этим новым русским подыгрывали достойные писатели, приглашенные вместе с ними, вели себя с ними сервильно, как с реальной силой и властью, заискивали, словно боялись выпасть из мейнстрима.

И так же как советские литераторы не пущали других, так выползший на поверхность откуда-то из щелей и затхлого подполья поставангард стал на Западе поперек всему, что было не в его духе. Боевики эти заявляли, что все, что против них, — мракобесие. Они говорили Западу: если мы не победим, не воцаримся, в России начнется фашизм. Прогрессивные западные интеллектуалы, из тех, кто с 60-х годов с концептуалистской настойчивостью вводили во всех сферах знания полицию мысли на любое консервативное сознание и создавали атмосферу левого запугивания, сразу объявляли наших новоязовцев своими единомышленниками.

Именно у этой литературы до сих пор тотальная поддержка немецкой прессы, не устающей повторять, что писатели эти отмывают, мол, русскую литературу от замусоленных понятий. Однажды я на одной дискуссии сказал, что омывают мертвецов и еще что нас раньше тошнило от слащавости советской литературы, но от литературы, которая пришла ей на смену, нас выворачивает по-настоящему.

Выворачивает, поверьте, и немецкого читателя. Между пожеланиями читателей, хранящих верность русскому литературному мифу, и вкусами литературных политиков лежит пропасть.

В Европе все уже давно определяется приставкой "пост", словно наш мир уже кончился и мы проживаем в мире ином. Но разве существует какой-то другой "иной" мир, кроме загробного? Оказывается, существует. Я не знаю ему названия, но он существует. В этом мире все прежние критерии и оценки неприменимы и там не терпят никаких определений. Бессмыслица в этом мире — один из основных "жанров", он распространен по преимуществу в поэзии, в прозе на ней долго не продержишься, в жанре прозы бессмыслица предстает слабоумием. Российские писатели из молодых вдруг увидели, что можно быть недалеким, необразованным — и знаменитым.

Нет-нет, я не уверяю, что тогда, в начале 90-х годов, в западно-европейской литературе не было добротных и глубоких писателей, я лишь хочу подчеркнуть, что бессмыслица и слабоумие были уравнены в правах с глубоким смыслом и остротой ума. На литературных встречах они сидели за одним столом. И к этому столу русских писателей, обретших гласность, щедро приглашали.

В советской России слабоумная литература сидела за отдельным столом. Чаще всего на сцене. А тут со всеми вместе. И никакой тебе священнической роли, никаких претензий на духовное просветительство, даже никаких идеалов. И еще русские увидели, что, несмотря на прокламируемую терпимость, здесь тем не менее были свои негласные законы и свои условия и даже требования, исходившие от критиков и маркетчиков, определявших литературные судьбы. Главным условием успеха, независимо от содержания, была так называемая инновация, то есть стремление во что бы то ни стало быть не похожим ни на кого. Это стало не только условием, это стало задачей любого рода искусства. Интересно, что именно от этого требования перманентной инновации новые русские авторы пришли в восторг, особенно те, кто не мог преодолеть свою посредственность: не очень напрягая ум, можно было придумывать каждый раз чего-нибудь из ряда вон — и ты на плаву. В поэзии, например, именно бессмыслица стала отличительным признаком инно-

вации, доказательством оригинальности произведения. Инновация требует постоянного измышления и изобретения чего-нибудь небывалого. Требует постоянного пополнения своей кунсткамеры различными аномальными объектами.

В советские годы мы говорили, что нам, мол, в отличие от западного писателя не надо придумывать искусственных абсурдных ситуаций, советская действительность, мол, настолько страшна и абсурдна, что бери и списывай с нее. Но ужасы новой литературы — это товар. Они ненастоящие, ибо все это не пережито ни внутренне, ни внешне и не являет основы для осознания действительности. Бродский в 1995 году на самом пике западного увлечения русским поставангардом сказал: "Сознание современной аудитории сильно разложено понятием авангарда. Авангард, дамы и господа, термин рыночный, причем, если угодно, лавочника, стремящегося привлечь потребителя. Ни метафизической, ни семантической нагрузки он не несет, особенно сейчас, когда до конца столетия, тысячелетия остается всего лишь пять лет... Собственный голос всегда скорей оказывается традиционен, ибо правда о человеческом существовании сама по себе архаична". А Наум Коржавин однажды скаламбурил: "Считается: чем новее, тем лучше. Я считаю: чем лучше, тем новее".

Перманентная инновация толкает в настоящее время, например, западные театры, на безудержное распутство. Political corectness для искусства означает приятие всего. Быть корректным значит уничтожать табу. Эпоха без табу. Впрочем, нет, кое-какие табу остались. Это расизм и антисемитизм. Но чем антисемитизм хуже растления? На гамбургской сцене на многие новые пьесы не разрешается ходить молодежи до 18 лет. Это стоит на афише и на входных билетах. Потому что существует закон о защите детей и юношества. Пока еще существует.

Большинство этих пьес удивительно плохо написаны. Пустые мысли, действие и образы нелогичны и запутанны, все сопровождается омерзительным анально-фекальным сквернословием, которое актеры выкрикивают с сексистским надрывом и визгом. Вещи пишутся исключительно, чтобы вызвать скандал. Тех, кто пытается пьесы эти критиковать с точки зрения морали, поносят как вечно вчерашних. Своеобразный террор запугивания с угрозой, что тебя занесут в несовременные и устаревшие. Ничего хуже нет на Западе, если тебя занесут в вечно вчерашние.

Но даже это не может отвлечь от жалкого художественного уровня текстов. После чтения подобной литературы ощущение, что тебя обесчестили, попользовались тобой. Языковые конструкции ее текстов — это монстры, к которым приблизиться невозможно. Они сего и не позволяют, в следствие чего с ними невозможна полемика. В настоящее время мы наблюдаем на западе в искусстве небывалый новый всплеск порнографии, которая, казалось, начала было сдавать свои позиции. Надо сказать, что современное западное общество научилось за последние два-три десятилетия обходиться с этим явлением рационально и трезво, но вот оно глядит на этот новый всплеск порнографии с удивлением и скукой.

Действительно, невольно задаешься вопросом: для чего нужно гамбургскому Талиа-театру, чтобы в его рекламных клипах его лучшая актриса, знаменитая Фрици Габерландт, сидя на заднем сидении роскошного лимузина, зазывала нас на пьесу "Лулу" Ведекинда высоко задранным платьем и широко раскинутыми ногами? Подобного театр с вековыми классическими традициями себе еще никогда не позволял.

В постановках одного из самых успешных немецких режиссеров, Кристофа Шлингензифа, происходит прямой показ всего того, что прежде было представимо лишь в самых низкопробных порнофильмах. Раньше даже самые радикальные режиссеры чуждались порнографии,

так как она безобразна. Ведь у приведенных выше примеров нет даже попытки образной трансформации показываемого. Объяснение этому дает, по-моему, новый роман молодого британского писателя Адама Тёрвелла "Стратегия". Секс становится в нем местом действия произведения, а не служит лишь поверхностным подспорьем пустому содержанию, таким образом это делает секс как бы способным быть самим предметом литературы; атрибутика сексуальной жизни становится носителем жизненных смыслов, жизненных тайн, жизненных целей, приобретает значение чего-то более значащего, она как бы перерастает саму себя и, таким образом мутируя, делается нейтральной, бытовой, обыкновенной. Необузданное распутство становится новой формой жизни сегодняшнего обывателя, выступает в роли символа приспособляемости к жизни — воплощает массовую мимикрию сегодняшней развлекательной и бытовой культуры. "В моральной системе современного гибкого, мобильного и глобального человека нет больше места для морализма", — пишет в газете "Tageszeitung" сексолог Гюнтер Амендт.

И все же на Западе постепенная гибель всех ценностей и идеалов происходила и происходит в условиях худо-бедно функционирующей жизни и культуры, в России же период справления поминок по прошлой культуре, момент отмены цензуры совпал с чудовищным обвалом жизни, именно в этих условиях началось буйство русских литературных радикалов. В России это приняло формы куда более разрушительные. В борьбе с коммунизмом русская культурная оппозиция истощилась, устала, была не в состоянии противостоять энергичным наглым отрицателям, начавшим после коммунистов в свою очередь разрушать русскую духовную традицию, оттого-то и важно им было определить все прошлые эстетики как тоталитарные. Заявляя, что русский духовный опыт им больше не нужен, они пуще всего ненавидят русскую классическую словесность, ее экзистенциальную тоску и милосердие, способные быть прививкой от любого радикализма, от любой революционности, а также потому, что литература эта стремилась смягчить нравы, умерить разрушительные порывы.

Наивные немецкие читатели, мои собеседники, живут надеждой, что настоящая литература придет с Востока. Что именно русские, которые, мол, одни понимают, что такое литература, спасут литературу вообще. Ведь для русских гибель литературы — это все равно что потеря Бога. Они ведь без литературы — народ без лица, внеисторическая масса, ведь это самое великое, что они создали. Они обязательно скоро одумаются, ведь нельзя же рубить сук, на котором сидишь.

Я говорю сейчас о тех самых книгочеях, которых встречаю в Аугсбурге, а также о том великом образе русской литературы, который она сама сегодня так настойчиво старается разрушить — растратить, разбазарить сей золотой запас нации, созданный веками.

Русская литература — единственная из великих литератур, в которой нет разлада между чистым умствованием и поэзией, для нее характерна неотделимость творчества чисто интеллектуального и поэтического, это литература откровенного слова, и поэтому в ней нет конфликта между этими жанрами. Русские писатели и поэты были философами, а произведения многих русских философов написаны языком поэтическим. Словесность нашу вполне можно определить как философию жизни в образах.

Русская литература, как никакая другая, выразила способность литературы посредничать между земным и небесным. Сколько было слов о том, что литература в России подменила собой все сферы интеллектуальной жизни, что она подменила собой даже историю. То, что литература внедрялась в различные сферы жизни, не означает подмены. Она стремилась вносить в жизнь истину, считая, что истина преумножает

красоту. И неоспоримым фактом остается, что она была истовой потребностью русского человека, чем-то, что неспособно ему дать ничто другое, она делала мир неисчерпаемым и многозначным, она, только она одна давала большому количеству людей возможность сотворчества и спасала от упрощения и обеднения души во все времена, была сопротивлением хаосу, распаду, омертвению, небытию. Запад без литературы, может быть, и проживет, но в России люди, утратив ее "цветущую сложность" (Константин Леонтьев), будут совершенно обездолены.

Д. А. Пригов

Чего ждет г-н Вебер от немецкого читателя, который якобы чего-то ждет от русской литературы

Тексты, вроде данного, веберовского, всегда читать мучительно и несколько неловко. Хочется сказать: "Ну, успокойся. Не все так плохо. Вон еще сколько хороших парней, которые думают точно так же, как ты. А те, которые не хотят вас, — так ведь они имеют право. Отвернись от них. Они тебе не нравятся. Так почему же ты им должен нравиться? Живи своей жизнью. Все нормально, старик".

Вот могу порекомендовать из собственного опыта. Во времена андерграунда в нашем кругу было вполне ясное понятие: если нам не нравится советская власть, то почему же мы должны ей нравиться? И никогда не носили своих виршей в советские издательства (других, кстати, тогда не было). Но это так, к слову.

Во всяком искреннем и пафосном писании объявляется, по большей части, не столько картина окружающей действительности, сколько автопортрет пишущего. И каким же нам предстает автор? Честным, благородным, прямодушным, немного наивным (что только придает ему шарму). А каким непонимающее его окружение? Они напряженно молчат, краснеют. Напрягаются, нервничают, обрывают чтение, хихикают, юлят и обманывают. Целой армией славистов раскручивают не тех, кого надо. Им профессора вдалбливают что-то там недолжное в незрелые головы... Их же русских клиентов (так называемую группу захвата) отличает нахрап, безудержное самовосхваление, наглое пародирование, прославление скотского гедонизма, садизма, отсутствие нравственных устоев, свобода греха, аномальные и примитивные желания, осмеяние всего святого. В общем — боевики. А серьезная и правильная литература в это время создается другими. Между прочим, хотя бы из эстетических или чисто стратегических соображений этим плоским карикатурным изображени-

© Д. А. Пригов, 2005

ям противников надо было придать хоть какие-то черточки человечности. К примеру: "Некоторые из них, возможно, не до конца развращенные, просто не ведают, что творят" или "Есть еще надежда, что в тайный ночной час не окончательно погубленная душа некоторых из них вдруг очнется и воскликнет: 'Боже, в какую пропасть я себя завлек!'" Кстати и себе, искреннему и правильному, я на месте автора для большей достоверности прибавил бы некоторые человеческие слабости. Очаровательные слабинки. Например: "Возможно, возможно, я порой бываю чересчур суров и прямолинеен, но уж такова моя натура, не терпящая нимало лукавства".

Между прочим, заметим вскользь, что самые издаваемые русские писатели в Германии, отнюдь не ужасающие автора персонажи, а, к примеру, Маканин и Улицкая. Так что не все так уж полностью захвачено монстрами тьмы. В общем, картина ясна и весьма привычна. Даже странно, насколько исторический опыт повторяется многократно и почти в нетронутой чистоте, как поведенческой, так и стилистическо-словарной. И нисколько никого ничему не учит. Повествования о крахе всего святого и падении нравственности — один из древнейших жанров. Самое старое свидетельство относится к какому-то ветхозаветному тысячелетию до нашей эры времен древнего царства Египта. И в этом, как видим, г-н Вебер тоже подтверждает свою явную приверженность традициям. И причем весьма древним.

Естественно, что редкие сомысленники автора — люди простые, искренние, ждущие света с Востока, особенно от великой русской литературы. Они задают трогательные вопросы (почти словами самого автора): "Когда же в России снова станут писать так хорошо, как мы привыкли? Никак не дождемся".

И автору, практически, нечего им ответить.

Ну, все зависит от того, с кем разговаривать, с кем хотеть разговаривать и кого принимать за интересного собеседника. У каждого свои предпочтения. Должен заметить, что Германия не совсем чуждая мне страна. Даже наоборот — достаточно знакомая. Посему и я вел в ней немалые беседы и, надо заметить, с совсем иным результатом. Во всяком случае, с иными впечатлениями от них. И на чтениях помянутых злодеев русской литературы присутствовали отнюдь не только извращенцы немецкой культурной жизни (так трогательно описанные в тексте), а вполне простые обитатели небольших немецких поселений. И доли описанного Вебером недоумения, отвращения или ужаса я не замечал ни на их лицах, ни в их высказываниях. И таких трогательных вопросов: "Доколе..." — мне никогда не встречалось. Хотя вру, вру, встречалось подобное. И вопрошавшими были как раз именно что русские, переместившиеся в дальние пределы и немогущие смириться с потерей своей идентичности. Но от местных аборигенов никогда ничего подобного не слышал. Ну, может, дело в Граце обстоит совсем по-иному. Хотя мне доводилось доезжать и до этого милого австрийского городка.

Оценку же местной нынешней текущей культурной жизни немецкоязычной ойкумены оставляем полностью на совести автора, так как не имеем возможности о ней судить по причине малого знания как ее самой, так и немецкого языка. Однако дело музейное и выставочное мне вполне знакомо. Да, надо с грустью заметить, что еще много недостатков в его организации, как и в пропаганде изобразительного искусства. Действительно, не единажды блуждал я в полнейшем одиночестве по порой весьма вместительным и даже помпезным музеям небольших городов всего мира, заполненных, кстати не по примеру грацевского, вполне традиционным искусством. Гулко и грустно раздавались мои одиночные шаги в соседстве с вполне приемлемыми картинами Репина, Рубенса и — прости, Господи, за святотатство — Рафаэля. Хотя мне никогда

не приходило в голову со страстью допытываться у кого-либо из местных до смысла весьма диковинных объектов, там мной иногда встреченных. А в больших городах и в больших музеях на выставках самых что ни на есть авангардных художников народу предостаточно. Очереди даже. И многие дни. Народ интересуется, не приходя в предполагаемый автором ужас и не кривя лица в изображаемых автором гримасах. Так что не все так уж и плохо. Может, люди другие? Может, в параллельных мирах живут? А что — и такое бывает. Все, видимо, зависит просто, на что смотреть и что предпочтительно замечать. По принципу того анекдота: что для одного на половину пусто, для другого на половину заполнено. И в соответствии с этим "полупусто" в тексте без всякого различая в одну кучу неприемлемого и, следовательно, отвратительного свалены всякого рода поп-, шоу- и радикально-эстетические проявления, единственно связанные друг с другом их несоответствием представлению автора о должном.

При всей искренности и как бы наивности авторской позиции, в ней сквозит просто неимоверное высокомерие. Чего только стоят эти пассажи о глупых славистах, которым другие подлые слависты вдалбливают в незрелые головы что-то там такое несусветное. Между прочим, это часто встречаемая иллюзия, что западному слависту не понять самому, что у нас происходит. Что они вообще мало интересуются, какая на самом деле (вот это вот замечательно — на самом деле!) русская литература. Хватают что ни попадя, а в стороне творится нечто великое и достойное, чего они, бедненькие, понять не в силах без нашей великодушной помощи. Кстати, к сведению автора, история перцепции западной славистикой нового русского авангарда вовсе не таковая, как ему представляется. Даже совсем обратная. Именно что еще недавно все кафедры славистских факультетов по всему миру были заняты поклонниками традиционной русской литературы и ее славных наследников — Солженицина, Максимова, Владимова, Айтматова, Самойлова, Бродского и др. Весь же нынешний авангард просто даже и литературой не считался. И его открытие и осмысление было делом личного энтузиазма отдельных молодых людей, которым как раз вдалбливали в головы ровно противоположное. Так что вся эта история требует не ламентаций и инвектив, а простого культурологического анализа совпадений культурных возрастов российского и западного постмодернизма. Но автор, подвергающий беспощадной критике чужие мнения и высказывания, как бы предполагает свою точку зрения и место говорения не подлежащими критике и сомнения. То есть он даже и не подозревает о возможности подобного (во всяком случае, в пределах текста нет и грани сомнения и таких его индикаторов, как "мне думается", "возможно", "не знаю", "но..."). Он говорит из как бы само собой разумеющейся точки истины и искренности. Однако по всей лексике и аргументации он безошибочно опознаваем как нормальный продукт русско-советского литературо-центричного сознания со всеми его прелестями, провалами и фобиями. С вечным ощущением некоего заговора. С моментальной редукцией эстетически и культурно непонятного в сферу социальной нравственности, вернее безнравственности. С представлением, что все единообразно и в этой своей единообразности обязательно. Что иноземцы и рассмотреть-то не могут ничего, а обнаружив, все извращают соответственно своему извращенному представлению о жизни. Что если я имею некое понятие некого обязательного смысла и содержания, то и покажите мне немедленно, где это у вас находится. Интеллигентные люди, как видно из авторского текста, не хотят расстраивать дотошного вопрошателя и деликатно уходят от вопросов. Он же, естественно, понимает это как их слабость.

Да, действительно, ныне литература столь разнообразна, что просто уже по инерции одним и тем же словом называют весьма удаленные друг от друга рода деятельности, единственно связанные сферой вербальности. Но Яндль, например, менее всего походит на Стивена Кинга и гораздо ближе в своих экзерсисах к музыкальным или визуальным перформансам или к вербальным опытам в пределах того же визуального искусства. Может, Вебер и к музыкантам пристает с просьбой объяснить, что значат некоторые пассажи. Почему там не так все ясно, как в помянутых произведениях Тургенева?

И действительно, многие нынешние славистские исследования вполне далеки от тем, волнующих Вебера. Славистов интересуют вопросы культурологические, проблемы той самой телесности и ее метафоризации, проблемы сочетания жанров и медий. Они изучают изобразительное искусство и кино. Так что свойства письма Тургенева и Гончарова являются не повальным увлечением, а предметом изучения отдельных специалистов. Что поделаешь, такие интересы.

Конечно, поныне существуют (и не только на Западе) люди подобного же образа мышления и подобного же образа мира, как у Вебера. Их много. Замечательно! Если вы такие умные и обиженные, соберитесь, посвятите жизнь настойчивому труду проведения своих идей в жизнь. Откройте свои журналы. Печатайте там Искандера. И если в мире столько людей, страждущих вашего слова (вон, даже в маленьком Граце их неимоверное количество), то и будущее за вами — вам светит и идеологическая победа, и финансовое преуспеяние. А те, другие, — пусть их. Забудьте о них. Вы их не любите, так зачем вам их ответное внимание и любовь? Пусть их поглотит пучина неизвестности и суета мелких подленьких дел.

Татьяна Венедиктова

"Культура спора"[1] устала от себя?

...Но пойми меня до конца: такова
уж суть вещей, чтобы плодом каждой победы всегда становилось такое, что вызовет новую схватку.
Мой призыв есть призыв к боям...
Уолт Уитмен *Песня Большой Дороги*

Вопрос о том, как мы разговариваем, — именно *как*, а не *о чем*, — не так уж часто попадает в поле общественного внимания. Но именно тем, как мы говорим, возражаем, строим систему доказательств, производим оценки, — иначе говоря, стилем мышления и стилем общения определяются во многом важнейшие социальные институты: право, мораль, воспитание и образование, наука, массовые коммуникации. В каждой культуре они "устроены" своеобычно: отличия столь же разительны, сколь и трудноуловимы, и поэтому их нельзя не обсуждать.

Американская культура, считает Дебора Таннен, профессор-языковед, специалист по культуре разговора[2], — это "культура спора" (argument culture): она "основывается на том представлении, что эффективное поведение всегда подразумевает наличие оппозиции; что идеи лучше всего обсуждать в режиме спора; что новость желательно провозглашать устами людей, чьи взгляды полярно противоположны, а потому охватывают "обе стороны вопроса"; что разногласия преодолеваются не иначе как в режиме судебной тяжбы и противостояния сторон; что лучшее начало статьи — выпад против кого-либо, а самое убедительное свидетельство серьезности мысли — ее критический настрой".

Обобщить это можно так: культура США связывает базовые ценности с формой риторического поединка — агона, то есть с таким способом общения, при котором предполагается открытое, встречно-состязательное заявление противоположных позиций. Провоцируя и опровергая друг друга, стороны мобилизуют друг друга, и это служит общей пользе: в споре, гласит прописная истина, рождается правда.

Впрочем, рождается только в идеале, в теории. В реальности истина — да что там истина! — хотя бы согласие, договор на определенных условиях — может родиться, а может и не родиться, гарантий никаких. В ан-

© Татьяна Венедиктова, 2005

1. Дебора Таннен. Культура спора. Остановить словесную войну в Америке. — Нью-Йорк, 1998 (Deborah Tannen. The Argument Culture. Stopping America's War on Words. — N.Y., 1998).

2. Дебора Таннен — профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне, автор 19 книг — научных (посвященных проблематике дискурсного анализа) и популярных. В числе последних "Ты просто не понимаешь. Как разговаривают мужчины и женщины" (в течение 4 лет держалась в списке бестселлеров; рус. перев. в кн. "Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникаций". — М.: Языки русской культуры, 2004), "Разговоры с 9 до 5: женщины и мужчины на работе" (2001), "Я говорю так потому, что люблю тебя: разговор с родителями, супругами, братьями, сестрами и детьми, когда они все взрослые". Таннен дает многочисленные интервью, часто участвует в телевизионных ток-шоу, принадлежит к числу заметных и самых востребованных обществом "публичных интеллектуалов".

глийском языке, напоминает Д. Таннен, есть два выражения со словом "argument", которые звучат похоже, но означают существенно разное: *to have an argument* и *to make an argument*. Смысл первого — *препираться*, смысл второго — *связно и убедительно излагать свою мысль* (обычно в противовес мысли другого). Агон как форма общения ценен именно в силу и в меру его отличия от вульгарной распри. Неслучайно в европейской культуре традиция отводила особое место словесным дуэлям — на форуме, в зале суда, в университетской аудитории. Доступ туда был заведомо ограничен: к участию допускались лишь те, что имели интеллектуальную, риторическую подготовку и профессиональную вышколенность, знали и соблюдали правила.

Американская демократическая культура отвергла старосветскую сословность и дерзнула утвердить агон как форму, открытую для всех, — по аналогии со свободным рынком. В сфере общественной коммуникации по-своему реализовался принцип "laissez-faire": живи и давай жить другим. Любой человек, согласно этой логике, вправе предъявить свой товар (себя, "свою правду" как товар) — в равноправной конкуренции и, стало быть, в конфронтации с себе подобным. Передача опыта, постижение жизненной мудрости строились в американской традиции на призыве "следуй за мной, делай, как я!" — и в то же время на его прямой противоположности: "отвергни меня и превзойди, сделай по-своему и лучше!" Философ Р. У. Эмерсон под "настоящим разговором" подразумевает не что иное, как состязательное самоутверждение-сотрудничество. Это игра, участники которой как бы вооружены символическими циркулями: попеременно каждый вписывает другого в свой круг, таким образом расширяя собственный горизонт и провоцируя на то же самое партнера-антагониста: "Человек завершил повествование — как замечательно! Как исчерпывающе! Он словно заставил нас взглянуть на все новыми глазами! Он заполнил собою все обозримое пространство. Увы! По ту сторону появляется другой человек и описывает круг вокруг того самого круга, который мы только что провозгласили пределом сферы. И вот уже наш первый оратор не исключительный человек, а просто-напросто первый оратор. Его единственный путь к самоутверждению — тотчас провести круг вне круга своего антагониста. И люди сами выбирают этот путь"[1].

Форма агона, которую люди "сами выбирают", непринужденно и добровольно воспроизводя в общении, прославлялась не только Эмерсоном, но и многими другими его соотечественниками. Американцы привыкли видеть в ней свое важное достоинство — эта часть общеевропейского культурного наследства в Новом Свете была особо ценима, возведена в символ национальной гордости и освоена широко, как нигде. Но там же, в Новом Свете, высказывалась (правда, реже) и осторожная мысль о том, что хорошее, которого "слишком много", уже не самоочевидно в своих достоинствах, а "большая дорога" к свободе для всех может обернуться "большой ловушкой". Состязательно-манипулятивная риторика, сетовал старший современник Эмерсона писатель Вашингтон Ирвинг, не ограничивается в Америке "законными" сферами политики и судебной практики, а бесконтрольно распространяется вширь, грозя "поразить собой всякое общение, посягая даже на священные узы семьи и родства. Нет покоя за пиршественным столом, ненадежен уют домашнего очага, улыбка радушия исчезает с лиц — узы общего благорасположения рвутся по причине постоянных вмешательств этого злобного духа соперничества, который прячется в искрометной чаше, жмется у камина, ворчит исподтишка в дружеском кругу, заражает своим присутствием всякое занятие и всякое удовольствие"[2].

1. Р. У. Эмерсон. Эссе Г. Д. Торо: Уолден, или Жизнь в лесу. — М.: Худож. лит., 1986, с. 224.
2. W. Irving. History, Tales and Sketches. The Library of America, Literary Classics of the U.S., Inc. — N.Y., 1983.

И по сути своей, и по интонации эта тирада двухсотлетней давности перекликается с основным тезисом книги Д. Таннен. В жанровом отношении ее исследование представляет собой что-то вроде популярного культурно-экологического трактата: анализ состояния коммуникативной среды и предупреждение об опасности.

Болезненное состояние нынешней американской культуры автор связывает с "передозировкой агона" – с превращением его в дежурный, навязчивый, вездесущий модус публичной речи, применяемый в любых ситуациях: от воспитательных бесед в начальной школе до дебатов в конгрессе, от телевизионного ток-шоу до разговора за семейным обедом. Как лингвист Таннен отмечает перенасыщенность современной американской речи, ее расхожей идиоматики военными и спортивными метафорами. Давно уже не воспринимаемые говорящими как фигуры речи и используемые автоматически, они тем более властно действуют на уровне подсознания и в итоге препятствуют установлению согласия и сотрудничества. Не менее характерна для американского общественного быта всеобщая одержимость рейтингами: ревнивое, по любому поводу определение первой десятки, полусотни, сотни и т. д. Слежение за тем, кто набирает или теряет очки, вырывается вперед или отстает, превращает любой процесс в бессмысленное соревнование ради соревнования.

Где, когда и до какой степени "война слов" уместна, а где и когда нет – вопрос такта и чувства меры. Но именно тут у современного общества большие проблемы, да и как им не быть: индивид чувствует себя заложником анонимных систем и денежных потоков, связи непостоянны, авторитеты неустойчивы – "как в классе, где учи́теля каждый день замещает кто-то другой, неспособный контролировать дисциплину и поддерживать порядок".

Американцы, по оценке Д. Таннен, слишком привыкли воспринимать форму агона как данность, норму и в некотором смысле – идеал: конкуренция, конфронтация воспринимаются ими как гарантия если не истины, то свободы. Сила этого убеждения такова, что среди жанров публичной речи спор – вне конкуренции: любой разговор в любой момент готов "соскользнуть" в него. Однако производятся при этом, увы, не истина и свобода, а информационный шум плюс побочные психологические эффекты разрушительного свойства.

Готовность мыслить в категориях "про" и "контра" и соответственно воспринимать любую позицию как оппозицию, любое чужое суждение как удар, требующий контрудара, превращает общение в цепочку рефлекторно-агрессивных реакций. Погружаясь в стихию спора, мы настраиваемся искать (и, как правило, успешно находим!) в речи оппонента не позитивный смысл, а именно и только слабые места. Они важны вне зависимости от степени убедительности и без всякой связи с "центральным резоном" – как способы возможного уязвления противника, как опорные точки в борьбе за победу. Такая установка, особенно когда ее разделяют обе стороны, резко снижает ценность общения – даже информативную, не говоря о психологической, человеческой. Редукция любой проблемы к двум и притом полярным сторонам не ведет ни к здравому ее осознанию, ни тем более к решению. Да и кто сказал, что у проблемы обязательно и заведомо *две и только две* стороны? Незаметно укоренившись в сознании, эта догма управляет течением нашей мысли, чего мы сами чаще всего не замечаем. Образцы публичной речи (в любых сферах – от политики до эстетики) дают сколько угодно подтверждений тому. Вот "проходная" (и потому особо характерная) цитата из хвалебной книжной рецензии: "Во всем провокативный, местами шокирующий сборник напоминает нам о том, что цель искусства – не подтверждать и баюкать, а бросать вызов и атаковать". Тезис о том, что

"провокативность" – достоинство и даже особая миссия искусства, рецензентом принят как нечто самоочевидное, к тому же подкреплен ложной антитезой: бросать вызов *или* баюкать, третьего не дано! Но разве не может и не должно художественное самовыражение будить в читателе реакции более широкого спектра?

Даже в сознании высокообразованных людей (может быть, в *их* сознании в первую очередь) серьезная интеллектуальная работа ассоциируется с усилием критики, с изысканием в чужих суждениях чего-то уязвимого, неправильного или, по словам исследователя современной академической культуры[1], с "игрой сомнения". Но что, собственно, мешает нам играть по другим правилам – например, в "игру доверия"? Это не принимать чужую мысль бездумно на веру, но *иначе* формулировать познавательную задачу. Скажем, так: давайте попробуем *принять* предложенную идею и посмотрим, куда это приведет, но потом обязательно вернемся назад и шаг за шагом проверим годность базовых посылок чужой мысли и ее аргументации. "Позитивный", интегрирующий подход, считает Д. Таннен, не менее важен, чем критический: воздержание от сомнения или контролируемое его использование могут способствовать развитию новых стилей мышления и новых видов знания. "Мы нередко думаем, что сократический метод предполагает систематическое принуждение оппонента к признанию своих ошибок. Что состоит этот метод прежде всего и главным образом в выявлении неправоты чужой позиции". На самом деле Сократ стремился помочь собеседнику – освободить его от привычного строя мысли, "расчистить" путь к открытию нового. Но современными учеными полемистами *эта* задача слишком легко приносится в жертву сладости риторической "победы над врагом". Велика ли, однако, цена такой победы? "Наша версия сократического метода – противостояние в рамках публичного дебата – едва ли способна привести наших противников к перемене убеждений. Проигравший почти неизменно связывает свое поражение с собственным частным просчетом или с жульничеством противника".

Ситуация усугубляется тем, что большинство современных людей, даже те, кто считает себя образованными, осваивает диалектику не по Платону, Сократу или Гегелю, а по телевизору. Не овладев и даже не начав еще овладевать полноценной культурой спора, мы оказываемся в плену ее дешевого подобия – агонистической стихии вполне "попсового" свойства. Диалогика заменена драматической зрелищностью, воинственным – на публику – бряцанием слов. Это уже не столько спор, сколько шоу – средство от скуки, обслуживающее потребность в развлечении и скандале. Парадокс состоит в том, что от скуки оно если и излечивает, то лишь "местно", в конечном счете умножая ту же скуку, а заодно рождает апатию и цинизм по отношению ко всякому публичному самовыражению, желание отгородиться – выключить телевизор.

Любая информация в наши дни оценивается как медийное событие. Его нужно продать возможно более широкой аудитории, а для этого – "придать остроту", приправить соусом дискуссионности. Это особенно заметно, когда речь идет об исторических фактах, которые журналисты принимаются вдруг мусолить под знаком вопроса "А было ли?" К серьезной науке эти загадки не имеют отношения, но на праздно любопытствующих действуют безотказно. Точно ли (пример недавней псевдоисторической сенсации), что фашисты сжигали людей в газовых камерах? А может, история холокоста – чистый миф, плод "односторонней еврейской пропаганды"?

Принцип свободы слова требует обязательного представления "второй стороны", а если таковой нет, ее

1. Peter Elbow. Embracing Contraries: Exploration in Learning and Teaching. – N. Y. and Oxford: Oxford UP, 1986.

можно сфабриковать – "красоты", то бишь "разговора" и принципа ради. Такого рода виртуальное конструирование было бы относительно безобидно, если бы *правда*, как выразился однажды Вацлав Гавел, обладала самостоятельным "излучением", надежно и объективно отличающим ее от лжи. Увы, чаще всего она уступает лжи в ловкости использования манипулятивных тактик и – проигрывает в убедительности. Подозрительный, конфронтационный, убийственно-едкий по тональности стиль общения особенно охотно культивируется средствами массовой информации при освещении политической жизни. Этой нормы, если не по естественной склонности, то "по долгу службы", придерживается любой интервьюер, работая с политиками или "звездами". Его задача – задавать "неприятные вопросы", выбивать или хитрым маневром выпытывать "подноготную", демонстрируя грязную (а как же иначе!) изнанку публично предъявляемых добродетелей. При необходимости невидимые миру пороки можно опять-таки сочинить – драматического интереса ради! При этом никакой личной враждебности к своему герою журналист может и не испытывать: просто следует ритуалу, принятой политтехнологии, правилам профессиональной игры.

И что в результате? Политики вечно настороже: опасаясь "подставиться", допустить "прокол", стараются контролировать каждый свой жест, каждое свое слово. Можно ли общаться в таком режиме? Раздраженная пресса отвечает на возникшее отчуждение повышенной агрессией; отрицательные реакции, слепившись, "накручиваются", как снежный ком. Ответственны за такое положение дел все, но журналисты – в большей мере, считает Таннен: уж слишком легко они забывают о той власти над людьми, которую дает их профессия, о человеческих издержках, которыми оплачивается культ "объективной информации".

Пример трагический и характерный – случай адмирала Джереми Бурды. 16 мая 1996 года один из блестящих высших офицеров флота США, активный общественный деятель, любимец однополчан и подчиненных, ушел из офиса в обеденный перерыв домой и – застрелился. На столе он оставил записку следующего содержания: "Моим морякам. Не жду, что кто-нибудь из газетчиков поверит в неумышленность моей ошибки. Вы же вольны верить или не верить". В чем было дело? А в том, что на утро того злосчастного дня у адмирала была (заранее) назначена встреча с ведущим редактором журнала "Ньюсуик" – полковником в отставке Дэвидом Хэквортом. Однако за два часа до срока Хэкворт по телефону известил собеседника о том, что придет не он, а два других репортера и вместо беседы на общие темы планируется прицельный и острый разговор о ношении адмиралом незаконных наград. Чтобы уяснить подоплеку события, важно знать, что весной 1996 года имя адмирала Бурды усиленно "полоскалось" в прессе: его политическими противниками раскручивался в частности и будто бы мелкий инцидент годичной давности. Адмирал был уличен в том, что вместе с одной из боевых наград носил значок "v" (valor – доблесть), полагавшийся за героизм, проявленный не просто при несении службы (например, в ходе боевых маневров), а буквально под огнем противника. В случае Бурды первое не вызывало сомнений, о втором – говорить не приходилось. И хотя флотский устав в этом вопросе допускал разночтения, адмирал в свое время счел за лучшее значок снять. Тем не менее год спустя дело всплыло вновь и неслучайно: мог получиться хоть и не свежий, но острый материал, потенциально убийственный для политической карьеры адмирала. Опытные газетчики "Ньюсуик" планировали кампанию тщательно и даже постфактум описывали ее в соответствующих терминах: "Редакция не хотела 'попасть в засаду'", – пояснял позже Хэкворт.

Чтобы не дать штабу флота перехватить информационную инициативу, а самого адмирала застать врасплох, засаду приготовили как раз ему, но — "слегка" просчитались. На публичный позор, еще не постигший его, но, казалось, неизбежный, генерал отреагировал первым и излишне импульсивно: предпочел вообще уйти из жизни. Самое вопиющее в этой истории, подчеркивает Таннен, что никто ни к кому злых чувств не питал, а сотрудники "Ньюсуик" просто выполняли свой профессиональный долг так, как его понимали.

Превращению "культуры спора" в господствующий стиль и отчасти в неуправляемую стихию американской жизни способствуют, по мысли Таннен, два важных фактора: культ новейших технологий и гендерный дисбаланс. Скорость, легкость, интенсивность современных коммуникаций не только сближают нас, но и разделяют, даже ссорят, вопреки нашим осознанным намерениям. Открытость и плотность электронных контактов имеет следствием нарастающую изолированность каждого адресата и очень часто — нарастающий уровень агрессивности (безличной, безразличной, не адресованной никому конкретно и, стало быть, предназначающейся всем подряд). Бесцеремонное вторжение другого/чужого в личное, приватное пространство ранит тем сильнее, что агрессор, как правило, "в упор не видит" меня как жертву и "ничего такого" не имеет в виду.

О тесной связи между совершенствованием технологий и дегуманизацией свидетельствует "параллельный" опыт военных. Если в Первую мировую солдат тренировали в стрельбе исключительно на стационарных мишенях, то во время Вьетнамской войны американских призывников стали учить целиться — точнее, стрелять почти не целясь — в человекоподобную мишень, внезапно "выскакивающую" в поле зрения. Очевидно, что при этом действует уже совсем другой психологический механизм. Тогда был впервые применен и другой научно обоснованный способ боевой подготовки, точнее адаптации к условиям реального боя — длительное наблюдение (в видеозаписи) сцен насилия с целью десенситизации, освобождения от чувствительности к чужой боли. Электронная игра, отмечает Таннен, оказывает на современного ребенка сходное воздействие: воспитывает быструю, автоматическую реакцию "на поражение", благо противник виртуален — всего лишь подлежащий уничтожению фантом.

Издержки "культуры агона" Таннен связывает и с ее гендерной однобокостью: экономика, политика, юриспруденция, даже средства массовой информации остаются в Америке полем преимущественно мужских игр, позиционно-оппозиционных, к которым женщины мало склонны. Неслучайно же девчоночьи забавы мальчикам кажутся скучными, а мальчишечьи девочкам — грубыми, неслучайно в фольклоре ритуальные состязания в "подначивании", взаимных оскорблениях и ругательствах крайне редко практикуются женщинами: для них более характерны соревнования в причитании — "творческом плаче". И дело здесь не в том, что женщины "по природе" стараются избегать противоречий, просто участие в драке-игре или наблюдение за нею доставляет им меньше удовольствия, а на конфликт они идут лишь по какой-либо весомой причине. О том же свидетельствуют и приводимые в книге Таннен данные анализа Интернет-дискуссий: мужчины, выражая несогласие с чужой позицией, чаще склонны заявлять собственную в виде активной конфронтации. Это оборачивается "неслышанием" оппонента и, стало быть, неизбежностью информационных потерь. Женщины же, в случае если дискуссия приобретает агрессивный оборот, перестают воспринимать ее как игру и просто из нее выключаются, уходя таким образом от потенциальной опасности. "Культура спора" оказывается своего рода фильтром или средством (не слиш-

ком естественного!) отбора. Публичное общение в американских условиях — вполне гостеприимное пространство для любителей поспорить и подраться; тех же, кто предпочитает иные виды самовыражения, оно отторгает. Но разве лучшее в нас, вопрошает в очередной раз Дебора Таннен, проявляется только тогда, когда мы кого-то опровергаем, провоцируем, кому-то сопротивляемся и бросаем вызов? С не меньшей, а то и с большей пользой можно также вникать, вдумываться, сопрягать, понимать, открываться эмпатическому сопереживанию... Публичный дискурс, сводящийся к игре на единственной струне агона, утрачивает и свойства, и достоинства полноценного диалога.

Спорить с "культурой спора" трудно, ведь при этом воспроизводится ее же логика! Поэтому свою задачу Таннен видит не в изобличении явления, а в обозначении его границ и возможных альтернатив. Но тут она, на мой взгляд, оказывается куда менее убедительна, чем в критике. Позитивные примеры изыскиваются в экзотическом далеке, главным образом на Востоке — в китайской и японской традициях, в практике общения, принятой на Гавайях, Соломоновых островах и островах Фиджи. Там, назидает соотечественникам американская лингвистка, споры разрешаются не в режиме "кто кого" и один на один, но обязательно в присутствии посредников, нередко многочисленных, что косвенным образом сглаживает конфликт. Там в речи преобладает невоинственная метафорика, и если американцы даже о лечении болезни склонны говорить как о битве, то японцы даже экономический конфликт обсуждают в терминах естественного недомогания. Автор демонстрирует это на примере политических дебатов на японском телевидении: в ответ на предложение ведущего поставить диагноз переживаемого страной экономического недуга один из выступающих описал его как легкое несварение в результате переедания; другой, настроенный пессимистически, стал говорить о тотальном мышечном истощении (экономического) организма по причине избыточного веса и признал, что рецепта излечения нет ни у него, ни у его оппонента. Американцы, замечает Таннен, подобной метафорикой едва ли бы воспользовались, а уж на такое признание точно не пошел бы никто. На первый план у них вышла бы не общая озабоченность проблемой, а ревнивая конкуренция экспертов, стремящихся во что бы то ни стало обойти друг друга.

Разумеется, и "восточный" вариант общения не свободен от конфликтности. Более того, люди, которые ценят общение как способ взаимосвязи и сотрудничества, нередко склонны к вмешательству в чужие дела, что чревато конфликтами даже более длительными и разрушительными, чем состязательная игра по правилам. По наблюдениям американских психологов, конфликт между женщинами изживается труднее и дольше, чем между мужчинами. Так что "восточная мудрость" — не панацея. Неудивительно, что освещение ее преимуществ (в данном случае — коммуникативных) у Таннен сводится к нехитрым и, в общем, не очень обязывающим практическим рекомендациям, как то: всегда приглашать третьего в качестве посредника в споре; всегда, вместо противоположных позиций, стараться представить нечетное число возможных перспектив; по возможности, приучить себя говорить не о двух (полярных), а обо "всех" сторонах вопроса и т. п.

Многие тезисы в этой книге самоочевидны (что не делает их менее достойными внимания), включая, пожалуй, и главный, подразумеваемый всем ходом рассуждения. Чем шире распространен взгляд на современную культуру как на мозаичное, "лоскутное", внутренне конфликтное (а *не* гармоническое и целостное) образование, тем более в ней востребован режим агона и... тем менее он эффективен. Ибо присущая агону конфронтационная логика подслеповата в самом главном:

она мешает сосредоточиться на тех областях жизни, где происходят процессы взаимоналожения, гибридизации и рождения нового. Отсюда вывод: "Нам нужно пустить в ход воображение и изобретательность, чтобы найти новые способы выработки знания — и сделать их частью нашего арсенала, а лучше сказать, нашего набора продуктов первой необходимости. Задача состоит в том, чтобы затупить самые опасные лезвия культуры спора, и она должна решаться творчески. Мы не можем от нее отмахнуться, ибо от ее решения зависит жизнь общества и каждого отдельного человека".

В 1949 году (между прочим, в день своего девяностолетия) выдающийся американский философ Джон Дьюи заметил: "Демократия начинается с разговора". Цитируя эти слова полвека спустя, лингвист Дебора Таннен добавляет: демократии недолго и сбиться с пути из-за ожесточенности бесконечного спора. О том, что оба правы, свидетельствует не только американский, но и современный российский опыт. Поэтому путешествовать по книге Таннен, танцуя от отечественной "печки", куда как интересно. Культура спора — в виде прений сторон в суде, открытой политической дискуссии, полноценной академической полемики — у нас не сложилась, ее нет по сей день, если не считать, конечно, того, чему обучает наглядно и всех подряд родное телевидение. Увы, из теледебатов для большинства памятно в основном то, как некто плеснул кому-то чем-то в лицо... Можно ли всерьез относиться к эстетике петушиного боя, приправленной ложным пафосом? По форме — дается выход общественному разноречию, по сути — демократия компрометируется в гораздо большей степени, чем продвигается вперед.

Горестные сетования американского автора на культуру агона и ее миротворческий призыв "затупить лезвия" соблазнительно истолковать "в свою пользу": вышеупомянутую культуру мы не обживали исторически, а устали от нее чуть ли не тотчас, как ее признали, — и вот прямо в руки готовое тому оправдание! Вон куда заводит их "большая дорога"! В своей женственно-восточной умудренности мы просто постигли ее бесперспективность раньше, чем она открылась мальчиковатым американцам...

Из книги Деборы Таннен можно, я думаю, извлечь и куда более продуктивный вывод. Исповедовать *спор как культ* опасно, но не менее вредно и отвергать его во имя "высшей гармонии". Важно владеть *культурой спора* как инструментом, в меру острым и в меру тупым, — для удобства работы.

В *поисках утраченной поэзии*

Мы продолжаем печатать ответы на вопросы, которые были заданы участникам одноименного "круглого стола", посвященного современной зарубежной поэзии (№ 10, 2004)[1]. Вот эти вопросы:

1. Какой отрезок времени имели бы в виду Вы, говоря о "современной зарубежной поэзии"?

2. Существует ли, на Ваш взгляд, интернациональная общность поэтического опыта и развития?

3. Как по-Вашему, может ли переводная — именно переводная — поэзия плодотворно влиять на поэзию другой страны?

4. Если да, то приведите, пожалуйста, пример подобного влияния, исходя уже из личной поэтической практики.

5. Разные это, на Ваш взгляд, занятия или родственные — писать стихи и переводить стихи?

6. На правах специалиста, а нередко и культурного первооткрывателя скажите, пожалуйста, кого из значительных современных зарубежных поэтов вовсе не знает или почти не знает нынешний отечественный любитель поэзии? Укажите практические пути и способы, которые, по Вашему мнению, помогли бы устранить эти пробелы.

7. Как Вам кажется, принимает ли современная мировая поэзия участие в формировании духовного облика и эстетических наклонностей сословия, по традиции называемого интеллигенцией?

Сегодня на вопросы анкеты отвечают Катя Капович и Филипп Николаев.

Катя Капович

Автор поэтических книг "День Ангела и Ночь" (удостоена премии "Апотропос"), "Суфлер", "Прощание с шестикрылыми" и "Перекур". Публиковалась в журналах "Знамя", "Новый мир", "Звезда", "Арион", "Новый Журнал", "Постскриптум", "Нева", "Время и мы", "22" и др. Стихи на английском языке выходили в литературной периодике, включая "London Review of Books", "Jacket", "Ploughshares", "Harvard Review", "The Antioch Review", "The American Scholar" и др. В 2001—2002 годах получила национальную литературную премию Библиотеки Конгресса за книгу английских стихов "Gogol in Rome", которая скоро выйдет в издательстве "Salt" (Англия). Капович живет в Кембридже (США), работает редактором англоязычного поэтического журнала "Fulcrum"[2].

1. Чисто интуитивно — для меня современная поэзия начинается приблизительно в 1967 году. Когда я попыталась разобраться в своих

1. "ИЛ", 2005,№ 1.

© Катя Капович, 2005

2. А. Нестеров. Поэзия и картография // ИЛ, 2004 № 10.

чувствах на этот счет, то поняла, что все просто: в этот год я научилась читать.

2. Мне кажется, существует: поэтическая уникальность находится в обратной связи с комплексом аутентичности и национальной особенности.

3. Случается, но это скорее исключение, чем правило. Цветаева перевела "Плаванье" Бодлера, и это, наверное, повлияло на многих. Существовали, помнится, хорошие переводы Рильке, они тоже не прошли бесследно для российской поэзии. С другой стороны, Оден, когда прочитал переводы Мандельштама, изумился, что это гениальный поэт. "Этому приходится верить", – сказал он. Значит, самое лучшее и главное – непереводимо.

4. Со мной практически никогда не бывало, чтобы какое-то стихотворение в переводе мне понравилось столь же сильно, как любимые стихи в оригинале. Единственный случай – это перевод Бродским знаменитого стихотворения Одена, которое начинается "Часы останови, забудь про телефон..."

5. Наверное, разные – как плавать в океане и принимать ванну. Вроде стихия в обоих случаях одна – вода. Но в первом случае нет дна под ногами, и это сопряжено со своими прелестями и неудобствами. Во втором, форма задана, но надо уметь расслабиться и слиться с этой формой. Может, это чересчур физиологическое сравнение, и к тому же у меня очень скромный переводческий опыт.

6. Глин Максвелл, на мой взгляд, один из лучших, если не самый лучший из современных англоязычных поэтов, но его, кажется, мало кто знает в России. Максвеллу – 41 год, он из Англии, приехал в Штаты в 1987 году учиться в Бостонском университете у Дерека Уолкотта. В тот же год Уолкотт познакомил его с Бродским, они подружились. Максвелл, кстати, перевел "Письмо к генералу Z.", и это, на мой вкус, лучший из всех переводов Бродского на английский. Глин Максвелл живет в Нью-Йорке, преподает поэзию в Колумбийском университете. Он автор пяти поэтических книг, десяти пьес и трех романов, включая роман в стихах, написанный терциной, который американский критик Джон Де Стефано сравнил с музыкой Прокофьева. Стихи его, чаще всего достаточно формальные, с размером, рифмой, доступны сознанию, хотя синтаксически невероятно сложны. Я в течение всего прошлого года делала судорожные попытки кое-что перевести и надеюсь продолжить... Мне кажется, что русскому читателю Максвелл был бы очень интересен.

7. Системы моральных ценностей поэзия, мне кажется, не может привить, но болезный дух она врачует, что уже немало. Даже при разности вкусов, любители изящной словесности находят точки пересечения. Декарт в "Медитациях" советует заниматься по утрам математикой или поэзией – обе дают пищу для ума и помогают отогнать мрачные мысли. Что касается эстетики, то книга, по-моему, один из самых выдающихся артефактов цивилизации. В ней есть магнетизм и власть. Это уже, наверное, стало общим местом, но тем не менее упомяну. Я встречала людей, которые выжили в очень нерасполагающих к поэзии местах – в лагерях или психлечебницах – благодаря тому, что знали наизусть и могли цитировать на память километры поэзии.

Филипп Николаев (Philip Nikolayev)

Американский поэт русского происхождения. Родился в Москве в 1966 году. С детства двуязычен. С 1990 года живет в США. Долгое время учился и преподавал в Гарвардском университете. Автор трех поэтических книг по-английски, последняя из которых, "Monkey Time" ("Обезьянье время"), вышла в 2003 году в издательстве "Verse Press" и удостоена литературной премии "Verse Prize". Его стихи также публиковались в многочисленных литературных журналах и антологиях в США, Великобритании и Австралии. Совместно с Катей Капович Ф. Николаев является издателем и редактором международного поэтического ежегодника "Fulcrum: an annual of poetry and aesthetics".

1. Чисто "по смыслу слова" — я имел бы в виду нынешнюю и совсем недавнюю поэзию — ту, о которой пока неизвестно, куда она ведет.

2. Мне всегда казалось, что поэзия — это что-то одно, хотя и индивидуальное и меняющееся, по-разному преломляющееся в разных точках пространства и времени. На примитивном уровне у нее общая психофизическая подоплека. Поэт — это такой "биологический" тип, которому присущи поэтическая энергия (вдохновение), "отстраненный" внутренний голос и определенный фатализм. Так или иначе эти врожденные признаки сказываются на жизни, склоняя к размышлениям о судьбе и свободе и к особому переживанию боли, любви и счастья, к желанию наделить эти обыденные вещи смыслом. Такая человеческая природа проступает в самых разных культурах. Конечно, если люди просто схожи темпераментом, это еще не значит, что у них много общего "по жизни".

В поэзии часто встречаются и другие, более частные черты сходства. Влияние — вещь дальнобойная, и для него могут быть веские причины в тех случаях, когда преодолимы языковые и культурные барьеры. Но в целом "интернациональная общность" — это слишком сильное понятие для поэзии. Поэзия — это скорее форма родства, чем общность. Такое разобщенное родство.

3. По большому счету плодотворно влиять на что бы то ни было может только шедевр или во всяком случае яркая поэтическая удача — то, что застревает в сердце. Это вещи вообще довольно редкие — и в переводной поэзии особенно. Подлинный поэт, как правило, слишком озабочен собственным творчеством, чтобы отдавать свои лучшие силы переводу чужих слов, перевоплощению в другого. Но изредка бывает, что какой-нибудь иноязычный текст поразит поэта в оригинале и тот вдохновится и переведет хорошо. А может быть, и не сумеет. Поэтический перевод — искусство невозможного, где шанс поражения чрезвычайно велик. Умный переводчик стихов должен бóльшую часть времени пребывать в профессиональном отчаянье.

Второстепенные стихи часто более или менее переводимы, а шедевр черта с два переведешь. Например, почти вся символистская по-

© Филипп Николаев (Philip Nikolayev), 2005

эзия, отчасти благодаря своему аллегорическому схематизму, поддается вполне адекватному иноязычному переложению. Символизм оказался настолько влиятельным, что отвоевал себе целую эпоху в истории литературы, да и до сих пор еще не перевелся. Однако из всей этой поэзии лучше бы оставить полсотни достойных, труднопереводимых стихотворений на нескольких языках, а остальное благополучно похерить.

Но все же чудеса бывают. По-моему, в переводной поэзии на русский язык единственный настоящий шедевр — цветаевский перевод "Плаванья" Бодлера. Пушкинский "Памятник" переводом не назовешь, хотя Пушкин и подразумевал Тридцатую оду Горация. Тут главное, что это о самом Пушкине, но важна и персональная ирония, и перекличка с державинским "Памятником", который в свою очередь перекликается с ломоносовским (а Ломоносов тоже имеет в виду себя, сопоставляет себя с Горацием, но в русском контексте). Говорить о влиянии "переводов Горация" на русскую поэзию было бы нетонко, но о ломоносовском переложении Тридцатой оды можно сказать, что оно действительно пригодилось русской поэтической традиции.

4. Влияет то, что сильно волнует и интересует. Юношеский опыт уже не указ, и сейчас я крайне редко читаю переводную поэзию: мне хватает оригиналов на нескольких языках. Но цветаевский перевод "Плаванья" Бодлера застрял все-таки в сердце.

5. Переводить стихи значит играть в другого поэта; писать стихи — это играть самого себя. Совершенно разные вещи при всем их поверхностном сходстве. Поэтический перевод — всего лишь ремесло, система Станиславского такая. Один известный русский переводчик так вживался в Байрона, что даже хромал притворно. В русских переводческих кругах бытовала (возможно, и до сих пор бытует) теория "функциональной замены": когда встречаешь в оригинале что-нибудь явно непереводимое, то просто придумываешь этому русский "эквивалент". "А как бы Шекспир сказал это по-русски?" Вживаешься и переводишь, как будто все на свете переводимо.

6. Из значительных англоязычных поэтов нашего времени хочется порекомендовать шотландца Уильяма Герберта (W. N. Herbert), англичанина Глина Максвелла (Glyn Maxwell), австралийцев Джона Трантера (John Tranter), Пэм Браун (Pam Brown) и Джона Кинселлу (John Kinsella), новозеландца Грегори О'Брайена (Gregory O'Brien), ирландца Тревора Джойса (Trevor Joyce), гаянца Джона Агарда (John Agard), канадца Августа Кляйнзалера (August Kleinzahler), американцев Чарлза Бернстайна (Charles Bernstein), Майкла Палмера (Michael Palmer), Луи Симпсона (Louis Simpson) и Дэвида Лемана (David Lehman). Кроме того, назову нескольких пока еще менее известных, но на мой вкус чрезвычайно талантливых поэтов — индийца Джита Тхаила (Jeet Thayil) и Вивека Нараяняна (Vivek Narayanan), американцев Бена Мейзера (Ben Mazer), Джо Грина (Joe Green)[1], Джона Хеннесси (John Hennessy), Марка Ламуро (Mark Lamoureux), Генри Гульда (Henry Gould) и Джорджа Билгере (George Bilgere).

Мне кажется, что этих поэтов стоит переводить на русский язык. Для неспециалиста переводная поэзия — источник предварительной

1. "ИЛ", 2005, № 1.

информации о зарубежной поэзии: она помогает сориентироваться, составить начальное представление о том, что происходит в иноязычной поэтической культуре. В этом смысле поэтический перевод может быть весьма ценным подспорьем читателю. Однако оригинал незаменим, и даже добротный перевод остается, в сущности, пересказом "понаслышке". Поэзию можно глубоко воспринять только в подлиннике; для этого необходимо свободное владение языком и достаточно интимное понимание соответствующей культуры и обстоятельств жизни.

В американском журнале "Fulcrum: an annual of poetry and aesthetics", который я издаю совместно с Катей Капович, публикуется многое из того, что представляется нам наилучшим в текущей поэзии англоязычного мира. Мы готовы предоставить некоторое количество бесплатных экземпляров журнала русским библиотекам. Наш электронный адрес — *editor@fulcrumpoetry.com.*

7. Хочется сказать: смотря где и когда, хотя саму интеллигенцию тоже не мешало бы спросить. Все зависит в конечном счете от качества интеллигенции.

Когда мнишь себя индивидуумом, не очень-то печешься о приобщенности к сословию. Только плоские личности (да и литературные персонажи) воплощают в себе чистые типы или даже героические идеалы того или иного сословия. В настоящем человеке много внесословного. Пожалуй, только философия, семья или личный склад могут подчас убедить художника не тяготеть к богеме, не быть люмпен-интеллигентом, "самим собой", чистым жрецом искусства, никому вполне не принадлежащим. В стихах у подлинного поэта нет никаких задач, кроме собственных, несмотря на какие угодно "побочные продукты" творчества.

Неизвестно, больше ли способствует поэзия сплочению, чем разобщению. Бывает, видимо, и так, и так. Не только интеллигенту, но и грамотному человеку вообще поэзия может порой быть полезна как витамин нонконформизма, витальности или юмора.

"Мусорный феномен" Доналда Бартелми

Д. Бартелми *Белоснежка* / Перев. с англ. М. Пчелинцева; под ред. М. Немцова. – М.: Эксмо, 2004

Писать о "Белоснежке" (1967), первом романе Доналда Бартелми, этого американского прото-Сорокина, – задача не из легких. Проще сказать, чего там нет, нежели уяснить, что же в нем все-таки есть. По старинке пересказать фабулу нельзя – за полным отсутствием таковой. Можно лишь с определенностью сказать, что Белоснежка – это "большая красивая брюнетка", которая "изобилует большими красивыми родинками – одна повыше груди, одна повыше живота, одна повыше колена, одна повыше лодыжки, одна повыше ягодицы"; что она проживает в коммуне малопривлекательных субъектов, занимающихся мойкой зданий и изготовлением "китайского детского питания"; что ей до смерти надоело обслуживать своих чокнутых сожителей – Билла, Кевина, Эдварда, Хьюберта, Генри, Клема и Дэна; что она ждет не дождется, когда за ней придет избавитель-принц, и поэтому периодически торчит у окна, свесив наружу "черные как смоль волосы"; что "прекрасный принц" по имени Пол не оправдал белоснежкиных надежд, поскольку предпочитал "смаковать радость человеческого общения" на почтительном расстоянии, подсматривая за обнаженной красавицей из подземного убежища; что невольно он все же спас Белоснежку – выпил предназначенную ей водку, отравленную злой феей; что неформальный лидер коммуны Билл так всем надоел, что его в конце концов решают повесить; что... Но стоит ли продолжать? Как ни старайся, как ни встряхивай калейдоскоп алогичных событий и бессвязных диалогов, все равно не выстроишь из фабульных осколков цельную картину или хоть сколько-нибудь законченный узор.

Время и место действия "Белоснежки" (пишу по инерции, прекрасно понимая, что никакого "действия" там нет и в помине!) предельно размыты и почти полностью избавлены от примет реальной действительности. Затруднительно хоть как-то охарактеризовать персонажей – настолько они обесцвечены и лишены какой-либо индивидуальности. А поскольку бóльшая часть повествования ведется от лица обобщенного "мы", то понять, чьи конкретно поступки или переживания имеются в виду и тем более чем они мотивированы, не представляется возможным – ну, хоть убейте! Нельзя однозначно выделить и главную тему "Белоснежки", ответив на простодушный, хотя и законный вопрос читателя: "О чем это?"

Пожалуй, "ни о чем". Сам Бартелми в одном из интервью признавался, что мечтал сотворить прозу, которая походила бы на модную тогда абстрактную живопись[1], и в этом, надо отдать ему должное, он преуспел. Более того, сам текст, состоящий из коротеньких, сюжетно не связанных друг с другом фрагментов, едва ли можно назвать романом – скорее, это антироман, коллаж, составленный из разно-

1. См. D. Barthelme. Not-Knowing. The Essays and Interview of Donald Barthelme. – N. Y.: Random House, 1997, p. 298.

шерстных (прости, Господи!) "дискурсов": популярной сказки, рекламных слоганов, тяжелой наукообразной зауми и проч., — вплоть до пародийно "опущенной" патерналистской риторики ушлых политиканов (кто у них тогда был президентом — Линдон Джонсон, кажется?): "Я беспокоюсь за Билла, Хьюберта, Генри, Кевина, Эдварда, Клема, Дэна и их любимую Белоснежку. Я чувствую, у них не все в порядке. И теперь, устремляя свой взор над этим зеленым газоном и этими прекрасными розовыми кустами в ночь, в желтеющие здания, в падающий индекс Доу-Джонсона, в вопли обездоленных, я озабочен. Мне есть о чем беспокоиться, однако я беспокоюсь и о Билле с парнями. Потому что я — Президент. Наконец-то. Президент всей этой ебаной страны. А они — американцы, эти Билл, Хьюберт, Генри, Кевин, Эдвард, Клем, Дэн и Белоснежка. Они американцы. Мои американцы".

Подобные пассажи позволили некоторым критикам истолковать "Белоснежку" как сатиру на постиндустриальное общество массового потребления и его "пошлые добродетели, за которыми скрывается обывательское своекорыстие, одномерность потребительской этики и примитивный гедонизм"[1]. Боюсь, однако, что говорить о Бартелми как о сатирике, значит выдавать желаемое за действительное.

Может быть, в той абсурдистской словесной каше, которую заварил Бартелми, и были крупицы сатиры, но за сорок лет их аромат как-то выветрился. Точно так же и с самодовлеющими словесными игрищами, которые призваны были оживить пестрое однообразие осколочного повествования: при переводе они потеряли все то обаяние, которое могло привлечь англоязычных читателей. Сейчас, когда словечко "постмодернист" уже не производит парализующего воздействия даже на шаткие умы газетных обозревателей, пустопорожнее бряцание известными именами (призванное продемонстрировать эрудицию при катастрофическом неумении связно мыслить и отсутствии оригинальных идей), претенциозные шуточки, вроде "ломохозяйка" (в оригинале Horsewife — гибрид из "horse" (лошадь) и "housewife" (домохозяйка)), которыми ублажает себя автор, оставляют впечатление скудоумного инфантилизма — вроде того, как бородатый дядя в очках и при галстуке вдруг начинает с младенческим гулюканьем пускать слюни.

"Белоснежку", как и подавляющее большинство опусов Доналда Бартелми, можно уподобить тем пластмассовым бизоньим горбам, что изготовлялись героями его антиромана — в надежде на то, что в скором времени всевозрастающее количество никому не нужного мусора заставит людей произвести кардинальную переоценку ценностей: "...В такой ситуации коренной вопрос превратится из вопроса уборки и уничтожения этого "мусора" в вопрос признания и осмысления его свойств, ведь его же будет 100 %, верно? Нельзя будет и заикаться о каком-то его "уничтожении", поскольку ничего, кроме него, не будет, и мы волей-неволей привыкнем "врубаться" в него... Эти горбы — "мусор" в самом непосредственном значении слова, трудно даже представить себе что-то более бесполезное или мусорнее. Дело в том, что мы желаем находиться на передовых рубежах этого мусорного феномена, инвертированной сферы будущего".

Спору нет, Бартелми долгое время удавалось неплохо существовать "на передовых рубежах

1. А. М. Зверев. Модернизм в литературе США. — М., 1979, с. 243.

мусорного феномена", штампуя абсурдистские "бизоньи горбы" и сбывая свою продукцию профессиональным ценителям претенциозной квазиавангардной белиберды. Удобная позиция: с умным видом рассуждать об абсурдной действительности и при этом, отказавшись от попыток ее творческого преодоления или хотя бы осмысления, пробавляться регистрацией и ретрансляцией абсурда.

Конечно, хорошо, что "Белоснежку" переперли на язык родных осин: филологам-зарубежникам будет теперь чем пытать старшекурсников, иллюстрируя базовые положения отжившей свое эстетико-философской доктрины: "нонселекция", "децентрация", "деперсонализация", "эпистемологическая неуверенность"... Неслучайно же западные "бартелмиведы" заверяли, что в "Белоснежке" затронуты серьезные проблемы: "эпистемологический кошмар и крах языка, расширяющаяся пропасть между словами и человеческим опытом"[1]. Короче говоря, в качестве наглядного пособия творение Бартелми просто незаменимо. Однако того, кто ищет в литературе большего, нежели языковые выверты и алеаторические ужимки, "Белоснежка" разочарует. Как нельзя писать об ухабистой дороге ухабистыми стихами, так же нельзя и бесконечно эксплуатировать мысль о тотальной бессмыслице бытия и неизбежной фрагментарности человеческого сознания, самозабвенно нагромождая горы словесного мусора. Во всяком случае, бартелмиевское reductio ad absurdum[2], растянутое на двести с лишним страниц, удручает своей монотонностью и наводит на мысль, что писания Бартелми и ему подобных "мусорных авторов" — не столько реакция на кризис культуры, сколько его зловещий симптом.

Николай Мельников

1. Guerard A. J. Notes on the Rhetoric of Anti-Realist Fiction // Triquarterly, 1970, № 30 (Spring), p. 30.
2. Сведение к нелепости (*лат.*).

Три шага в разные стороны?

В. Генацино *Зонтик на этот день.* Роман / Перев. с нем. М. Кореневой. — СПб.: Амфора, 2004
Т. Хюрлиман *Фройляйн Штарк.* Новелла / Перев. с нем. Р. Эйвадиса. — СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2004
Й. Хазлингер *Венский бал.* Роман / Перев. с нем. В. Фадеева. — СПб.: Азбука-классика, 2004

В рамках проекта "Шаги" на Россию прошедшей осенью обрушился шквал немецкоязычной литературы — с середины XX века до наших дней. Всего около пятидесяти книг, несколько десятков новых имен из Германии, Австрии, Швейцарии. Наряду с признанными во всем мире авторитетами — немцами Мартином Вальзером (р. 1927) и Гюнтером Грассом (р. 1927), Кристой Вольф (р. 1929) и Генрихом Бёллем (1917—1985), швейцарцем Фридрихом Дюрренматтом (1921—1990) и австрийцем Петером Хандке (р. 1942) — проект знакомит русского читателя с прекрасными авторами "среднего" и "старшего" поколений, популярными в странах немецкого языка, но все еще почти неизвестными у нас; таковы уроженцы Германии Ульрих Бехер (1910—1990), Николас Борн (1937—1979), Юрек Беккер (1937—1997), Уве Тимм (р. 1940), Вольфганг Хильбиг (р. 1941), Вильгельм Генацино (р.1943), Винифрид Георг Зебальд (1944—2001), Па-

уль Низон (р. 1929), Томас Хюрлиман (р. 1950) из Швейцарии, Йозеф Хазлингер (р. 1955) и Марлена Штрерувиц (р. 1950) из Австрии и другие. К несомненным достоинствам программы можно отнести и включение в нее немалого числа авторов "молодого" поколения — как известных, так и не очень, — что позволяет ощутить пульсацию сегодняшнего, очень живого литературного процесса в немецкоязычном пространстве. Помимо романов успешных "молодых дарований", таких, как Томас Брусиг (р. 1965), Марсель Байер (1965) или Юлия Франк (р. 1970) из Германии, авторов нашумевших романов, занимавших верхние строчки в национальных списках бестселлеров, в рамках проекта изданы и лучшие литературные дебюты последних лет; таковы, например, "Агнес" (1998) Петера Штамма (р. 1963; Швейцария), "Мой Пигафетта" (1999) Фелицитас Хоппе (р. 1960, Германия), "Дядя Джимми, туземцы и я" (2001) Артура Беккера (р. 1968; Германия). Инициатором столь масштабной культурной экспансии выступил фонд С. Фишера, обеспечивший проекту серьезную поддержку — помимо своей собственной еще и со стороны Фондов культуры Германии и Швейцарии, Министерства культуры РФ.

Представленные ниже книги написаны писателями из трех стран, где говорят и пишут по-немецки, — Германии, Австрии и Швейцарии. В какой-то степени они иллюстрируют те особенности менталитета и культурно-философские предпочтения своих литератур, которые и позволяют современным германистам более или менее убедительно выделять в едином вообще-то пространстве немецкоязычной художественной словесности подпространства германской, австрийской и швейцарской литератур.

Немецкий писатель Вильгельм Генацино родился в Манхайме; как и большинство современных немецких писателей, в университете изучал германистику и философию, позднее организовал и возглавил литературный журнал "Лезецайхен" (1980—1986), основал литературное агентство "Литературкоп". Ныне зарабатывает пером, живет в Гайдельберге. Автор более десяти романов (среди них трилогия "Абшаффель", 1977—1979, романы "Полные идиоты", 1979, "Чужие битвы", 1981, "Тихо поющие женщины", 1992, "Бездомность рыб", 1994, "Кассирши", 1999, "Зонтик на этот день", 2001, "Одна женщина, одна квартира, один роман", 2003), рассказов, эссе. Лауреат престижных литературных премий, в том числе главной литературной премии Германии — им. Г. Бюхнера (2004).

Лирический герой романа "Зонтик на этот день" (как и во многих других произведениях Генацино, почти не отличимый от самого автора) принадлежит племени поэтов-акынов, певцов особого жанра, характерного для среднеазиатской поэзии, — "что вижу, то пою". А видит он много — работа обязывает. Когда получаешь деньги за то, что носишь ботинки известных фирм, а после пишешь отчеты о своих ощущениях, приходится много ходить. Когда много ходишь и голова твоя ничем не занята, волей-неволей начинаешь внимательнее смотреть по сторонам, острее воспринимать увиденное, размышлять, воплощать в слова.

Описывая ничем не примечательную повседневность, цепляясь за малозначительные и случайные, казалось бы, детали, писатель незаметно погружается в нее все глубже и глубже, постепенно достигая уровня, когда количество переходит в качество и повествование обретает философскую глубину. В результате ему

удается поразительная вещь — показать, как из кажущейся бессмысленности рождается смысл, показать эмпирически, не рассуждая, а вынуждая реальность вновь, уже на страницах книги, проделать свой коронный фокус.

"Есть совершенно не хочется, но, может быть, если я отвлекусь на сосиску, мне придет в голову какое-нибудь подходящее слово для обозначения глобальной странности этой жизни" — так, следуя мгновенным импульсам и ситуативным впечатлениям, чутко прислушиваясь к ним и намеренно поддаваясь, писатель постигает сущность окружающих вещей, людей и их поступков. Секрет удачи, по-видимому, в признании писателем "вторичности" собственного слова, подчиненности его реальности, непосредственно воспринимаемой чувствами — в первую очередь зрением; в констатации приоритета над словом (и над собой) "виждящего и внемлющего" молчания.

"В последнее время на меня все чаще нападают приступы молчания, которых я сам пугаюсь, потому что не знаю, насколько дозы молчания необходимые мне для жизни, находятся в пределах нормы или это уже перебор, свидетельствующий о начале внутреннего заболевания. Недавно мне пришла в голову мысль разослать всем людям, которых я знаю, вернее всем, кто знает меня, график молчания. Этот график будет строго фиксировать промежутки времени, когда я склонен говорить, а когда нет. Тот, кто не захочет придерживаться этого графика, будет вообще лишен возможности общаться со мною. На понедельник-вторник я поставлю (поставил бы) сквозное молчание. По средам и четвергам я ограничил бы сквозное молчание первой половиной дня, а на вторую назначил бы переменное молчание, предполагающее возможность перерывов на короткие беседы и такие же короткие телефонные звонки. Только по пятницам и субботам я готов (был бы готов) отдаться беспробудным разговорам, но не раньше одиннадцати утра. По воскресеньям у меня шло бы тотальное молчание. Честно говоря, этот график молчания я составил давным-давно и чуть было не разослал его. Я даже уже напечатал адреса на конвертах".

С несколько иной стороны (вернее, с двух противоположных сторон одновременно) подбирается к сути вещей швейцарец Томас Хюрлиман. Личный, сугубо индивидуальный взгляд на мир накладывается у него на культурно-исторический фон, от которого оказывается не отделимым.

Будущий писатель и драматург родился в Цуге (Швейцария), изучал философию в Цюрихе и Берлине, работал ассистентом режиссера в Берлинском театре им. Шиллера. Его дебютный сборник рассказов "Женщина из Тессина" (1981) был удостоен сразу двух премий (журнала "Аспекты", 1981, и премии Рауризера, 1982). В центре его популярных, несмотря на изысканность в языковом отношении, пьес ("Дедушка и сводный брат", 1981, "Последний день подачи документов", 1984, "Последний гость", 1990, "Посол", 1991) тайные пороки "приграничной" жизни маленькой многоязычной Швейцарии. Некоторые из пьес переведены на русский язык и ставятся в российских театрах. Первый же его роман — "Большой кот" (1998) — принес писателю сразу три премии (фонда К. Аденауэра, 1997, Солотурнскую, 1998 и премию Й. Брайтбаха, 2001).

В глубокой и тонкой новелле "Фройляйн Штарк" (2001), немецкоязычное издание которой было отрецензировано в "ИЛ"[1]

1. Т. Баскакова "Ажиотаж вокруг фройляйн Штарк" // "ИЛ", 2003, № 4.

писатель рисует картину мужания подростка и одновременно панораму XX века, как она преломилась в истории еврейского семейства Кацев, включающего и самого юного героя, и его дядю-прелата, директора монастырской библиотеки. Старший Кац, человек энциклопедических познаний, философ и одновременно жизнелюб, выступает в символической роли хранителя и распространителя культурного достояния человечества; младший познает мир во всей его внешней противоречивости. И оказывается, для постижения мировых антиномий нет лучшего места на свете, чем дядюшкин "книжный ковчег".

Мир, кропотливо выстраиваемый швейцарским писателем в сегодняшних стенах древнего монастыря, пронизан противоречиями. Тут и двойственность, олицетворяемая длительным сосуществованием под одной крышей простодушной католички — неграмотной крестьянки фройляйн Штарк — и образованнейшего прелата еврейского происхождения. И раздвоенность, ощущаемая "книжным" подростком в связи с проснувшимся непреодолимым интересом к противоположному полу. Тут и извечный еврейско-христианский конфликт, корень которого автор видит в глубинном мировоззренческом несходстве — в первую очередь именно в восприятии пола.

И все-таки мир новеллы безусловно един. Богатство языковых средств, притчевая интонация, бережно сохраненная переводом Романа Эйвадиса, формируют особый ракурс, позволяющий смещать акценты в противоположных друг другу системах ценностей и рассматривать происходящее (как в реальности, так и в воображении героев) с двух разных точек зрения одновременно. Таким образом, совмещается, казалось бы, несовместимое: мужское и женское, плотское и духовное, еврейское и христианское. И оказывается — по крайней мере, в художественной реальности новеллы, — что столкновение противоположностей не только не приводит к конфликту, но и, напротив, рождает новое, формируя, в частности, неординарного молодого человека — юного Каца. Перспектива, которой так не хватало всему XX столетию, предстает гармоничной и плодотворной.

В самом политизированном из трех, но одновременно и истинно провидческом романе "Венский бал" (1995) австрийца Йозефа Хазлингера не только сама мировоззренческая платформа, но и судьбы героев во многом определяются культурно-исторической спецификой страны и момента, воплощенной в политических интригах.

Йозеф Хазлингер родился в Цветле (Нижняя Австрия). Изучал философию, германистику, историю театра в Вене. Соиздатель известного литературного журнала "Веспеннест" в 1973—1992 годах. С 2001 года — приглашенный доцент в Германском литературном института в Падерборне. Автор многочисленных эссе на актуальные политические темы ("Политика чувств. Эссе об Австрии", 1987, "Нищета Америки. Опыт описания земли обетованной в одиннадцати очерках", 1992 и др.), рассказов, повестей ("Смерть бедняка Игнаци Хайека", 1985, "Средний возраст", 1990). Лауреат более десяти литературных премий.

Фабула "Венского бала" строится вокруг беспримерного по своим масштабам террористического акта. Во время знаменитого Оперного бала — ежегодного события, собирающего цвет мировой аристократии, политики и бизнеса, — зал заполняется ядовитым газом, и все присутствующие погибают. В том числе и оператор по имени Фред — сын изве-

стного телерепортера, звезды крупного европейского телеканала.

Постепенно, все глубже погружаясь в расследование обстоятельств, приведших к смерти сына, отец Фреда начинает подозревать, что к ужасному преступлению, вполне возможно, причастны весьма влиятельные фигуры австрийского (и даже мирового) масштаба — от руководителей общеевропейских телеканалов (в частности, того, на котором работает он сам) до крупных полицейских начальников. Одни — сочтя, что их понимание общественных интересов оправдывает многочисленные жертвы, другие — поддавшись соблазну увеличить рейтинги и одержать победу в конкурентной борьбе.

Террористическая группа крайне правого толка — ее история представляет собой одну из параллельных линий сюжета — хоть и совершает преступление фактически (приносит баллоны в подвал театра и распыляет газ), тем не менее едва ли имеет отношение к дьявольскому замыслу. Если бы исполнители знали, что газ ядовит, они иначе обращались бы с баллонами, предприняли бы хоть какие-то меры для собственного спасения. То обстоятельство, что все члены группы, отправившиеся в тот вечер в Оперу, погибли, — лучшее подтверждение версии, которую излагает главному герою единственный выживший террорист (в тот вечер он был оставлен дома, чтобы поддерживать связь).

Концовка романа не вполне прозрачна (что делает его особенно реалистичным): преступники так и остаются за кадром. Ясно только, что за доморощенными террористами кто-то стоит, а кто именно — французское руководство телеканала, новый начальник Венской полиции или какая-то третья организация — не ясно. Остается открытым и вопрос, не стоит ли кто, в свою очередь, и за ними... Понятно, к сожалению, только одно: ни одну из названных сил исключить из подозреваемых не получается.

За шесть лет до 2001 года Йозеф Хазлингер смоделировал в воображении такой удар по обществу, после которого со страной можно делать все что угодно — в корне менять внутреннюю и внешнюю политику, вводить любые полицейские меры, снимать одних чиновников и назначать других. Перепуганные массы безропотно примут любые меры, если убедить их, что меры эти послужат общественной безопасности...

Но не только прозрением будущего интересна эта книга. С медицинским бесстрастием Хазлингер препарирует австрийское общество середины 1990-х, безжалостно вскрывая его тайные гнойники и язвы, но действует при этом не в популярной ныне традиции знаменитых "австроненавистиков" второй половины XX века — Томаса Бернхарда, Эльфриды Елинек, — а, скорее, следуя рецептам паталогоанатома Австро-Венгрии Роберта Музиля, увидевшего в крушении империи истоки фашизма. Фашизм жил, жив и будет жить, — кажется, утверждает писатель. Несколько видоизменяясь, адаптируясь к современности, он процветает в любых условиях. И не важно, страшен он сам по себе так же, как прежде, или уже нет, — в любом случае, он представляет собой хорошо организованную силу, очень удобную для всех тех, кто захочет использовать ее в собственных интересах.

Е. Соколова

Ольга Тилькес
Подарок

Пять миллионов гульденов, всевозможные акции и фондовые бумаги, солидный особняк в самом центре Амстердама с салоном, библиотекой, "китайской" комнатой, столовой, десертной, спальнями и еще двадцатью семью комнатами, на описание которых у оценщиков ушло три дня, загородные имения, одиннадцать беговых лошадей и четырнадцать экипажей, многочисленные драгоценности — такое наследство оставил жене после смерти в 1854 году амстердамский банкир Адриан ван дер Хоп. Амстердаму же он завещал коллекцию картин, насчитывающую более 250 полотен, среди которых всемирно известные "Еврейская невеста" Рембрандта, "Девушка с письмом" Вермера, пейзажи Рёйсдала и Хоббемы, городские виды ван дер Хейдена, церковные интерьеры Эмануэля де Витте и Санредама, жанровые сценки де Хоха, Метсю, Терборха, Яна Стена, Адриана и Исаака ван Остаде, Герарда Доу, портреты Франца Халса и Фердинанда Бола — словом, весь Золотой век голландской живописи. Все это богатство, оцененное тогда в четыреста тысяч гульденов, переходило городу при условии, что тот оплатит пошлину на наследство, что для собрания будет создан музей, носящий имя ван дер Хопа, и что доходы от него пойдут на вспомоществование бедным. В том случае, если Амстердам не примет подарка, коллекция переходила в Харлем, а в случае отказа и Харлема, картины должны были быть проданы с молотка — распродажу ван дер Хоп предпочитал присвоению коллекции Рейксмузеумом, совсем зачахнувшим к тому времени без денег и новых поступлений: "национальная апатия", в которую погрузилась вся страна после отделения Бельгии в 1830 году, ощущалась и в ее главном музее.

Амстердам, тоже еле-еле сводивший концы с концами, от подарка не отказался, но поставил свои условия: деньги на пошлину должны собрать сами горожане. По подписному листу — кто-то давал гульден, кто-то сто — наскребли сорок тысяч, и в тот же год в Королевской академии под "Музей ван дер Хопа" отвели два зала. Когда же в 1885-м открылся новый Рейксмузеум, город передал ему "во временное пользование" 158 картин — самые ценные из собрания банкира. Страхи ван дер Хопа — наверное, со страхами это случается чаще, чем с мечтами, — сбылись: его картины попали в Рейксмузеум, и имя коллекционера было забыто до осени этого года, когда три (!) музея Амстердама посвятили свои выставки 150-летней годовщине "подарка". В музее университета Амстердама можно увидеть собрание книг ван дер Хопа по ботанике, в Рейксмузеуме отдельно выставлено двадцать картин из его коллекции, но самая большая выставка, посвященная дару банкира, проходит в Музее истории Амстердама. Она так и называется "Подарок. Голландские художники в собрании амстердамского банкира". Картины, отданные городом "во временное пользование" Рейксмузеуму и другим музеям Голландии, вернулись на время выставки в городской музей, так что "подарок" (не считая двадцати шедевров, остав-

© Ольга Тилькес, 2005

шихся в Рейксе) можно увидеть таким, каким он был преподнесен городу 150 лет назад. Выставка дает представление о вкусах голландских коллекционеров XIX века, о личных вкусах ван дер Хопа, о влиянии, которое оказала его коллекция на формирование наших сегодняшних вкусов. И, конечно, о нем самом.

Адриан ван дер Хоп родился в 1778 году в Амстердаме. Его отец был военным прокурором Адмиралтейства и, главное, оранжистом, то есть сторонником дома Оранских и правящего в это время штатгальтера Вильгельма V. Противниками оранжистов были "патриоты", и стычки между двумя этими партиями не ограничились играми в театре, когда оранжисты тростями, перевязанными оранжевыми лентами, играли в йо-йо, в то время как патриоты демонстративно играли в бильбоке. В конце девяностых годов страна была практически в состоянии гражданской войны, и только вмешательство прусской армии в 1787 году позволило Вильгельму V удержать власть. Ненадолго. После того как в 1795 году французские войска под командованием генерала Пишегрю без особого труда захватили скованные льдом в заливе Эй голландские суда, к власти во всецело зависимой от Франции Батавской республике приходят патриоты. Штатгальтер Вильгельм V бежит в Англию, ван дер Хоп-старший, отсидев какое-то время в тюрьме по обвинению в государственной измене, лишается права выезда из города, а его сын Адриан, начавший было изучать право в Гронингене, переезжает в Киль, в то время датский город, и запрашивает датский паспорт, чтобы без особых проблем навещать родителей. Через пять лет, так и не закончив университет, он возвращается в Амстердам. Мужья его сестер вносят за него по 100 000 гульденов, огромную по тем временам сумму, и он поступает в банкирский дом "Вдова Е. Крузе и К°". Позже, когда ван дер Хоп стал одним из самых богатых людей Голландии (не считая двух членов дома Оранских, он платил самый большой налог в Голландии), свояки попросили его вернуть им деньги, но ван дер Хоп отказался. Он считал их подарком. Вышло по русской пословице "зять да шурин — черт их судит", только судил их не черт, а суд. И присудил деньги ван дер Хопу. Сразу же после того как суд вынес свое решение, один из его свояков, сам известный адвокат и член Провинциальных штатов, застрелился. Но все это было позже. А пока что ван дер Хоп переходит в один из самых известных и преуспевающих банкирских домов Голландии — "Хоуп и К°". Одному из его директоров, Генри Хоупу, Адам Смит посвятил свое "Исследование о природе и причинах богатства народов". Фирма была тесно связана с домом Оранских и с приходом французов последовала вслед за Вильгельмом в Англию.

В 1813 году закончился период французского господства, во время которого Голландия попеременно была то Батавской республикой, то королевством, то департаментом Франции. После того как в 1815-м Наполеон был окончательно разбит при Ватерлоо, в Голландию возвращается из Англии сын штатгальтера Вильгельма V и становится королем Вильгельмом I. Вместе с ним возвращается в Голландию и "Хоуп и К°". Возвращение Оранских означало возвышение ван дер Хопа-старшего, который был назначен министром военного флота, возвращение "Хоуп и К°" означало стремительную карьеру его сына. Адриан ван дер Хоп становится одним из пяти миллионеров Амстердама, но для старой голландской знати он остается парвеню, "homo novus", "новым голландцем". Он делает все, чтобы войти в узкий круг амстердамской элиты: записывается во всевозможные общества, где собирался crème de la crème[1] Амстердама, покупает роскошный особняк помянутого выше Генри Хоупа, который, помимо

1. Сливки общества (*франц.*). *(Здесь и далее – прим. ред.)*

посвящения ему "Исследования" Смита, был известен и как страстный любитель искусства и коллекционер (свою загородную виллу он строил как картинную галерею, правда с приходом французов вилла становится загородной резиденцией Луи Наполеона, а после возвращения Оранских там поселяется Вильгельмина, вдова Вильгельма V и мать Вильгельма I). Адриан ван дер Хоп строит оранжерею с паровым отоплением — новинкой по тем временам — и выращивает экзотические растения, заводит беговых лошадей, устраивает бега. И начинает собирать коллекцию картин, которая должна была свидетельствовать о высоте его общественного статуса и о тонкости его художественного вкуса. Покупает он в основном XVII век, но на ежегодных выставках "Живых мастеров" — нововведении Луи Наполеона в бытность его королем Голландии — покупает и современников.

Не полагаясь, однако, целиком на собственный вкус, он пользуется советами лучших, то есть самых дорогих, продавцов картин. "Портрет Элен Фурме" Рубенса, "Еврейскую невесту" Рембрандта, "Девушку с письмом" Вермера, "Портрет Йоханнеса Франка" ван Дейка, "Водяную мельницу" Хоббемы, "Пейзаж с водопадом" Рёйсдала — все эти картины ван дер Хоп купил в Лондоне у Джона Смита, знатока голландской живописи и составителя девятитомного каталога голландских и фламандских художников, который ляжет в основу первого голландского каталога, составленного через сто лет, уже после открытий Ньепса и Дагерра[1].

Иногда, прислушиваясь к советам, банкир покупает даже вопреки собственному вкусу. Так, купив "Интерьер церкви Св. Одульфуса в Ассендельфте" непопулярного в XIX веке Санредама, он пишет советчику-продавцу: "Купил эту картину Санредама за 600 гульденов, чтобы сделать Вам приятное, хотя ума не приложу, куда я ее повешу".

Конечно, во многом покупки ван дер Хопа определялись тогдашней модой. Так, например, очень хотелось ван дер Хопу иметь Альберта Кейпа, который начиная с конца XVIII века пользовался такой популярностью у английской аристократии, что его практически невозможно было найти на голландском рынке. Ван дер Хоп покупает сначала копию, потом двух "настоящих" Кейпов, которые тоже оказываются копиями. В конце концов его старания увенчались успехом. Он купил-таки не просто настоящего Кейпа, а редкий для пейзажиста "Портрет молодого человека", который сам ван дер Хоп аттестовал как "такой точный и сильный, что мог бы сойти за Рембрандта". Полагалось иметь и Рубенса, и ван дер Хоп, уже купив у Джона Смита "Портрет Элен Фурме", покупает за десять тысяч гульденов и "Портрет Анны Австрийской" из коллекции Вильгельма II. После смерти в 1849 году Вильгельма II, пламенного коллекционера, энтузиазм которого разделяла и его жена Анна Павловна, оказалось, что для того, чтобы оплатить свою страсть, король влез в долги (занял миллион гульденов у свояка, Николая I, но в этом случае дело между родственниками закончилось полюбовно), так что его сыну, Вильгельму III, пришлось продать коллекцию отца с молотка, чтобы пополнить оскудевшую казну. На этом же аукционе продавался и один из многочисленных "Деревенских праздников" Тенирса. Купить картину мечтали кураторы Рейксмузеума, но соперничать с ван дер Хопом, отдавшим за нее 13 700 гульденов, им было не под силу. Большим спросом пользовались среди коллекционеров XIX века и картины Адриана ван Остаде, и в 1834 году ван дер Хоп покупает на распродаже коллекции герцогини де Берри побывавшее во многих именитых французских собраниях (в том числе и в собрании Жозефины Бонапарт)

1. Жозеф Нисефор Ньепс (1765–1833) и Луи Жак Манде Дагерр (1787–1851) — создатели фотографии.

"Крестьянское общество", во многом напоминающее эрмитажное: то же пространство, тот же камин, та же группа крестьян у того же окна, даже та же собачка. Разве что группа на переднем плане более умиротворенная: толстуха отдыхает у камина, крестьяне попыхивают трубками, девочка ест кашу, даже собачка не стоит настороженно, не зная, чего ожидать от подгулявших крестьян, а сидит возле девочки с кашей, выжидательно на нее поглядывая.

Трудно сказать, патриотизм двигал ван дер Хопом или это было проявлением его художественного вкуса, но в собрании множество портретов национальных героев и знаменитостей, имена которых голландцы знают до сих пор. Например, портрет поэта и пенсионария от Голландии Якоба Катса кисти Михиля ван Мирефельта (в Эрмитаже "Портрет пожилого мужчины"). Как у нас все знают "дедушку Крылова", так голландцы знают "батюшку Катса", тем более что премьер-министр до сих пор принимает гостей в "доме Катса". Иллюстрация героической страницы из истории борьбы Голландии с Испанией — картина Симона Опзомера, современника ван дер Хопа, купленная им на выставке современных художников, "Магдалена Моонс умоляет нареченного Франсиско Вальдеса отложить на одну ночь штурм Лейдена". Вальдес, командующий испанскими войсками во время осады города, штурм откладывает, и на следующий день в город входят гезы. И две картины на один и тот же сюжет из современной ван дер Хопу истории — "Ян ван Спейк подрывает канонерку № 2". Этот излюбленный в то время сюжет требует сейчас пояснений и для самих голландцев. 25 августа 1830 года в Брюссельском театре идет опера Обера "Немая из Портичи" (известная в России как "Фенелла", по имени "немой"). Возбужденная арией "Amour sacré de la patrie"[1], театральная публика выбегает из зала и, объединившись с толпой на площади, идет по городу, оставляя за собой следы, которые испокон веков оставляет разбушевавшаяся толпа: разгромлен дом ненавистного министра юстиции, разбиты станки на фабриках, на стенах домов намалевано "Долой короля!", то есть Вильгельма I. Вильгельм посылает в поход на Брюссель голландские войска во главе с принцами. 5 февраля 1831 года канонерку № 2 ветром отнесло в антверпенский порт, и Ян ван Спейк подрывает ее, дабы она не попала в руки врага. Картины на сюжет этого голландского "Варяга" пользовались огромным спросом. На полотне, выполненном по заказу ван дер Хопа, художник "повесил" в каюте ван Спейка портрет Вильгельма I.

Само собой разумеется, не обошлось без портретов Оранских и в самом банкирском доме: портреты Вильгельма I и его жены Вильгельмины Прусской, написанные специально по заказу ван дер Хопа, портреты Вильгельма III и Марии Стюарт работы бывшего в моде у гаагской знати ученика Терборха, Каспара Нетшера (портрет Марии Стюарт есть и среди шести "нетшеров" в Эрмитаже). Большое место в коллекции занимают и портреты Романовых. И это не случайно. С самого начала своей истории торговый дом "Хоуп и К°", занимался, как, впрочем, почти все торговые дома в то время, денежными операциями и государственными займами. Особенно прибыльной для банкирского дома оказалась монополия на займы России. По роду свой деятельности Адриан ван дер Хоп часто бывал на Бирже, так что когда в 1814 году Александр I приехал в Амстердам, гидом у него был не кто иной, как ван дер Хоп. Выставка и открывается большим портретом Александра I — копией с виндзорского портрета Томаса Лоренса, — купленным ван дер Хопом для того, чтобы голландский портретист Ян Адам Крюземан сделал с него еще одну копию, которую ван дер Хоп преподнес в 1840 году Анне Павловне, жене Вильгельма II.

1. "Святая любовь к отчизне" (*франц.*).

А за год до этого, 17 апреля 1839 года, ван дер Хоп, бывший хранителем домика Петра I в Заандаме, принимает другого высокого гостя – великого князя Александра. По его заказу Кристиан Портман должен был дважды увековечить то, как Анна Павловна, тогда еще жена принца Оранского, по русскому обычаю встречает племянника хлебом-солью: на одной картине ван дер Хоп стоит в самом углу, на другой, написанной для него, он изображен рядом с Анной Павловной. Очередной заказ ван дер Хопа – гравюра с портрета Николая I, написанного любимым царским художником Францем Крюгером и присланного банкирскому дому в благодарность за займы 1840–1841 годов на сумму в 40 миллионов гульденов, которые предназначались для строительства железной дороги из Петербурга в Москву. Вместе с портретом Николай прислал и подарок лично ван дер Хопу – вазу с изображением заандамского домика Петра I, сделанную на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге.

В "русском" уголке выставки – черновики писем ван дер Хопа в Россию. Директору картинной галереи Эрмитажа Ф. И. Лабенскому он пишет о картине ван дер Сторка "Показательный морской бой в заливе Эй в честь Петра I 11 сентября 1697 года", подарке от банкирского дома "Хоуп и К°". П. Волконского и графа Канкрина благодарит за награждение орденом Анны II степени. Над всеми этими бумагами висит "русская" картина из собрания ван дер Хопа "Нева зимой" Теодора Хильдебранда: мать тянет по льду огромные сани с ребенком, отец подталкивает их сзади. Все это на фоне Биржи. Как знать, может быть, здание Биржи и сыграло решающую роль при покупке картины. Сам ван дер Хоп никогда не был в Петербурге, все займы осуществлялись через банкирский дом Людвига Штиглица, который, приехав в Россию из Гамбурга в 1803 году, уже при Александре становится придворным банкиром. Его сын, Александр Людвигович, горячий поклонник литературы, живописи, музыки и театра, оставляет городу свой "подарок": в 1876 году он жертвует миллион золотых рублей на создание училища технического рисования, пять миллионов на создание музея при училище и еще пять с половиной миллионов на создание музейного фонда. Оба банкира, и Штиглиц, и ван дер Хоп, вошли в историю искусств: один как основатель Мухинского училища, другой – своим вкладом в коллекцию Рейксмузеума.

До того, как коллекция ван дер Хопа стала частью Рейксмузеума, и до того, как банкир подарил ее городу, коллекцией можно было полюбоваться в банкирском доме. Раз в месяц ван дер Хоп принимал деловых людей, связанных с банком. Разумеется, за счет банка. Посещение собрания банкира непременно входило в программу молодых англичан, совершающих grand tour по континенту. Приезжали и художники. В 1838 году в гостях у ван дер Хопа был швейцарский художник Александр Калам ("Ели в горах", Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина), восторгавшийся его Рёйсдалом, Хоббемой и Ботом. Его собственные романтические пейзажи только-только начинали входить в моду, он не был еще ни кавалером ордена Почетного легиона, ни членом Санкт-Петербургской Академии. В том же году в гостях у ван дер Хопа был польский любитель искусства граф Атанас Рачинский, отметивший картину Николаса Маса "Управляющие Амстердамской гильдией врачей".

Гостем, которому коллекция во многом обязана своей теперешней славой, был французский критик Теофиль Торе, сенсимонист, сотрудничавший с Жорж Санд и Беранже. Его республиканские взгляды выразились и в выбранном им псевдониме – Вильгельм Бюргер, и в участии в революции 1848 года. Высланный из Франции, Торе на долгое время оседает в Голландии, где он внимательно изучает голландскую живопись XVII века в государственных и

частных собраниях. Результатом его занятий стал двухтомник "Музеи Голландии", во второй части которого он описывает музей ван дер Хопа, и статьи о Вермере и Халсе, "открывшие" современникам обоих художников. Он заражает своим энтузиазмом Теофиля Готье, братьев Гонкур, Максима Дюкана. Пруст, невзирая на астму, едет в Гаагу смотреть "Вид Делфта" и после этого напишет Водуайе, что "видел самую прекрасную картину на свете". Много позже блестящую статью о парижской выставке "малых голландцев" опубликует и сам Водуайе. Вместе с Прустом он еще раз пойдет на выставку, и ему станет там плохо — этот эпизод послужил "основой" для смерти Бергота.

Торе заново "открывает" Карла Фабрициуса, Эммануэля де Витте, Питера де Хоха. Он и сам начинает собирать коллекцию голландцев. Гордостью этого "диковинного собрания всякого старья", как он называет ее не без наигранной снисходительности, был "Щегол" Фабрициуса, которого он как-то увидел в частном собрании и больше уже не мог успокоиться. За день до смерти владельца холста он писал их общему другу: "Не забудь, что я хочу 'Щегла' любой ценой". И получив в подарок от наследника страстно желаемый холст: "Ну, не чудо ли мой щегол?" После смерти Торе директору Маурицхэюза Абрахаму Бредиусу удалось купить "Щегла" для своего музея на парижском аукционе, и сейчас он красуется на афише проходящей в Гааге выставки Фабрициуса.

Но не всегда собрание ван дер Хопа оценивалось высоко, вернее не все в нем. Лорд Роналд Говер, скульптор, политик, художественный критик, вошедший в историю, однако, прежде всего как прототип Генри Уоттона из "Портрета Дориана Грея", писал, что картины XIX века в коллекции ван дер Хопа "не представляют абсолютно никакого интереса". Не понравился утонченному эстету ни "Деревенский праздник" Тенирса — "группы крестьян не безупречны, как обычно, и небо, всегда такое прекрасное в его работах, здесь не такое красивое, как всегда", ни "недоработанная" "Еврейская невеста". Лишь "Крестьянское общество" Адриана ван Остаде Говер назвал "жемчужиной собрания".

Один из залов музея превращен в залу дома ван дер Хопа, каким видели его современники: на полах ковры, посредине красуется царский подарок — ваза петербургского фарфорового завода, стены снизу доверху увешаны картинами, XVII век вперемежку с XIX веком. Отдельно висит портрет самого Адриана — светский джентльмен, на лацкане командора орден Нидерландского льва, рука гладит борзую. Через сто пятьдесят лет амстердамцы могут снова оценить его подарок.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Шмитт Э-Э. *Оскар и розовая дама* / Пер. с франц. Г. Соловьевой. — СПб.: Азбука, 2005. — 160 с. 4000 экз. (п.)

До России добрался один из главных европейских бестселлеров 2003—2004 годов, книга французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и розовая дама". Шмитт известен в первую очередь как драматург; театральный вариант "Оскара" уже более полугода идет в питерском БДТ. Другие пьесы Шмитта и роман "Евангелие от Пилата" по-русски уже выходили, теперь же перед нами маленькая повесть, ставшая крупным событием современной французской литературы. Это история смертельно больного мальчика, который пишет письма Богу. Можно ли говорить с детьми о смерти? Если делать это так, как Шмитт, то не только можно, но и нужно.

Таками К. *Королевская битва*: Роман / Пер. с англ. М. Кондратьева. — СПб.: Амфора, 2005. — 629 с. 5000 экз. (п)

Книга, по которой был поставлен одноименный скандальный фильм. На маленький остров высаживают 21 школьника и 21 школьницу. Против воли их заставляют играть в игру, цель которой проста — за 24 часа убить всех одноклассников. Чтобы выжить самому, каждый должен предавать и убивать друзей и возлюбленных. Игра выгодна диктаторскому режиму. О победителе будут долго рассказывать по местному телевидению. И зрители "станут думать: вот бедный ученик, конечно же, он не хотел участвовать в игре, просто у него не было другого выбора, кроме как сражаться с остальными. Другими словами, в итоге все приходят к заключению, что никому нельзя доверять, верно? А это устраняет всякую надежду на объединение и заговор против правительства". "Королевская битва" — страшная антиутопия, вариации на тему Оруэлла (эпиграф к книге взят из "Памяти Каталонии") и Голдинга ("Повелитель мух"), только написанная с японской жестокостью.

Шарль К. *Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века* / Пер. с франц., под. ред. С. Козлова. — М.: Новое издательство, 2005. — 328 с. 1000 экз. (о)

Сборник статей известного французского историка Кристофа Шарля, посвященный интеллектуалам как отдельной взятой социальной группе. Во второй половине XIX века люди свободных профессий, которых у нас называют интеллигентами, а во Франции — интеллектуалами, начали набирать вес в обществе. А после дела Дрейфуса они ощутили себя настоящей силой. Офицера-еврея обвинили в шпионаже в пользу Германии, суд отправил его на каторгу, а интеллектуалы во главе с Эмилем Золя начали бурную кампанию в защиту Дрейфуса. В итоге Дрейфуса отбили, а его защитники показали, как можно влиять на власть. Влияние свое французские интеллектуалы сохранили и по сей день. Кристоф Шарль, опираясь на архивные документы, газетные публикации, статистические данные и так далее убедительно демонстрирует, каким образом люди, не являющиеся ни министрами, ни чиновниками, ни депутатами, стали общественно значимой силой.

Биркемайер В. *Оазис человечности 7280/1. Воспоминания немецкого военнопленного* / Пер. с нем. М. Черненко. – М.: Текст, 2005. – 301 с. 2000 экз. (п)

Когда Вилли Биркемайер попал в советский плен, ему еще не исполнилось семнадцати. Это случилось в январе 1945 года, дела Германии шли плохо и в армию призывали школьников. Вилли прошел пешком от Одера до Киева, а в плену пробыл до 1949 года. За это время он повзрослел, освоил русский, научился пить водку, полюбил borshtsh и varenniki, понял, что русские не "унтерменши", а хорошие ребята, а также влюбился сразу в нескольких русских девушек и, мало того, девушки тоже в него влюбились, а одна из них, Нина, даже родила ему дочку Таню. Но потом Вилли освободили, он вернулся в Германию, и встретиться с Ниной ему довелось лишь несколько лет назад. Они нашли друг друга благодаря передаче "Жди меня". Человечный текст, прекрасные фотографии и отличная работа переводчика Михаила Черненко.

Коэльо П. *Заир*: Роман / Пер. с порт. А. Богдановского. – М.: София, 2005

Можно по-разному относиться к Паоло Коэльо, но так или иначе выход его новой книги – это событие, которое нельзя оставить без внимания. К тому же перед нами что-то вроде автобиографии. Коэльо объясняет нам, "как он пишет". Правды, конечно, не скажет, но все равно любопытно. В самом начале у героя-повествователя похищают жену-журналистку и он отправляется на поиски. Мысли о пропавшей жене превращаются в "заир", который к Демократической Республике Конго (она же в девичестве Заир) никакого отношения не имеет. "Заир" – арабское слово, означающее навязчивую идею. Само понятие Коэльо заимствовал, между прочим, у Борхеса. В общем ищет герой жену, а находит "энергию любви". И в очередной раз напоминает читателю, что если довериться этой самой энергии, а также голосу судьбы, и не бояться жизнь переменить, то – все у нас получится...

Перес-Реверте А. *С намерением оскорбить*: Эссе / Пер. с исп. Е. Матерновской. – М.: Эксмо, 2005. – 496 с. 25000 экз. (п)

Артуро Перес-Реверте в новом для нас качестве: не романиста, а журналиста-колумниста. То есть это для нас новом, а испанцы с 1993 года каждое воскресенье читают новое эссе Переса-Реверте в журнале "Семаналь". Колумнист, в сущности, несчастный человек – раз в неделю, как ни крути, а статья должна быть написана. Поводы берутся из повседневной политической и бытовой реальности: то разразился скандал с испанскими чипсами, в которых нашли страшную отраву, то приятель выпустил книгу, то по радио рассказали глупости о том, как оставаться вечно молодым, то на улицах встретилось слишком много толстых женщин, надевших слишком обтягивающие и открытые туалеты, а Пересу-Реверте не понравились их жирные телеса. Колумнист непременно носит какую-нибудь маску; у Переса-Реверте это маска "честного прямого старика", который не боится резать правду-матку и бравирует своей неполиткорректностью, но она, впрочем, носит вполне умеренный характер. Но местами – остро. А местами – смешно.

Республика словесности. Франция в мировой литературной культуре. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 528 с. 1500 экз. (п)

Десять лет назад составитель этой книги Сергей Зенкин уже участвовал в подготовке сборни-

ка, посвященного Франции и России; тогда это был специальный, тринадцатый номер журнала "Новое литературное обозрение". Нынешний сборник отчасти продолжает традиции старого; в конце его также помещена ценнейшая публикация — библиографический указатель "Французская гуманитарная мысль в русских переводах". Новый указатель начинается как раз там, где остановился прежний — в 1995-м и охватывает десятилетие — до 2004 года. Но, разумеется, не только библиографией ценна "Республика словесности". В книге пять разделов: 1. Язык и мысль. 2. "Французская теория": путь на запад и на восток. 3. Литература и политика: опыт двух веков. 4. Интеллектуал как персонаж национальной культуры. 5. Морис Бланшо, неумолкнувший голос. В книгу вошли статьи авторов разных стран: русских, французов, американцев. Одна из главных тем книги — "инобытие" французской интеллектуальной культуры: что происходит с "французскими теориями" за пределами Франции.

Сибрук Д. *Nobrow. Культура маркетинга и маркетинг культуры* / Пер. с англ. В. Козлова. — М.: Ад Маргинем, 2005. — 304 с. 5000 экз. (п)

Слово "nobrow" не имеет точного перевода и его толкованию, собственно, и посвящена книга американского журналиста Джона Сибрука. "Ноубрау" — это изобретение середины 80-х годов, культура, которую нельзя назвать ни высокой, ни низкой. Конец XX века разрушил традиционную иерархию, разделяющую культуру для масс и культуру для избранных. Прежде вполне допускалось, что творцы и потребители культуры второго типа могут иногда для разнообразия опуститься до массовой культуры, но из нижнего яруса наверх путь был закрыт. Важным критерием высокой культуры был ее некоммерческий характер. А потом появился Энди Уорхол — и все поставил с ног на голову. Коммерческая составляющая выдвинулась на первый план — и при этом перестала считаться чем-то постыдным. Символом такого смешения сделался канал MTV, подчеркнуто коммерческий. И вот уже богатая белая молодежь слушает гангста-рэп — музыку самых бедных афроамериканских кварталов. Джон Сибрук тоже слушает гангста-рэп, но он еще и очень много знает про теорию культуры. И про теорию маркетинга. Его книга показывает, как смещались критерии. Сибрук демонстрирует это, среди прочего, и на примере моды — скажем, сравнивая отношение к одежде свое собственное и своего отца. Для отца было важно, кто сшил костюм. Костюм был свидетельством респектабельности владельца, знаком принадлежности к состоятельному сословию. Для Джона Сибрука важна надпись на майке. Выбор бренда — показатель осведомленности в течениях современной культурной моды.

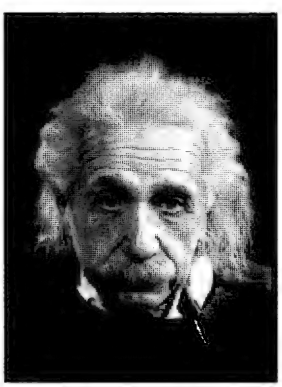
Великобритания

Ода Эйнштейну

В связи с тем что 2005 год объявлен годом Альберта Эйнштейна (100 лет назад, в 1905 году, были опубликованы четыре его величайшие работы, в числе которых была и специальная теория относительности), Британская ассоциация содействия науке провела общенациональный конкурс на лучшее произведение в стихах, посвященное трудам знаменитого ученого. Основная задача конкурса — способствовать проявлению творческих способностей и поощрять интерес к науке. Объясняя выбор темы — на первый взгляд довольно необычной, — президент ассоциации Роланд Джексон сказал, что на самом деле "наука — и в частности физика — дает очень поэтичное описание окружающего мира, и в этом она близка лирике".

Принять участие в конкурсе могли все желающие: профессиональные поэты и любители, взрослые и дети. После подведения итогов жюри, в состав которого среди прочих вошел популярный британский фантаст Терри Пратчетт, объявило двух победителей. Первым стал бывший инженер из Суссекса, в поэтической форме изложивший суть теории относительности и даже сумевший зарифмовать формулу $E=mc^2$. Другому лауреату не исполнилось и семи. Свое понимание пространства и времени он выразил в следующих строках: "Что мне нравится в пространстве? Оно черное, жуткое и усеяно желтыми звездами".

В качестве приза победители получили по телескопу.



Альберт Эйнштейн

Перу

Любовный роман Варгаса Льосы

В недавнем радиоинтервью знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса сообщил, что приступил к работе над очередной книгой. Даже придумал название — "Приключения плохой девчонки". "Это будет любовный роман, жанр для меня совершенно новый. Во всех моих предыдущих книгах есть любовная интрига, но я ни разу не выдвигал ее на первый план. Возможно, сейчас я уже достаточно созрел, чтобы заполнить этот пробел", — сказал писатель.

Льоса признается, что теперь, когда ему исполнилось 68, он чувствует себя далеко не таким уверенным, как в молодости: "Меня чаще посещают сомнения, и порой, начиная работу, я испытываю внутренний трепет". При этом Льосса по-прежнему считает литературное творчество высшим счастьем. Он с удовольствием месяцами и даже годами вынашивает сюжеты, и ощущает необыкновенный прилив сил, садясь за письменный стол: "Всякий раз, когда я пишу, я вновь чувствую себя молодым".

Марио Варгас Льоса

США

Переменившийся человек

В 1989 году Инго Хассельбах, скинхед из Восточной Германии, перебрался на Запад и основал там первую в объединенной Германии неонацистскую группу. Три года спустя, разочаровавшись в своей деятельности, он попытался выйти из игры. Однако ни власти, ни тем более бывшие единомышленники не приняли его раскаяние всерьез. Высокий блондин, жестокий и циничный, он точно сошел с плаката, утверждающего идею

арийского превосходства, и неонацистам не хотелось терять такого лидера. По иронии судьбы, единственный, с кем он нашел общий язык, был глава местной еврейской общины.

Этот реальный случай чем-то перекликается с новым сатирическим романом Франсин Проуз "Переменившийся человек", недавно опубликованным американским издательством "Харперс Коллинз" (ее роман "Голубой ангел" печатался в "ИЛ", 2002, № 11—12).

Герой Проуз — 32-летний член правоэкстремистской группировки Винсент Нолан неожиданно — отчасти под воздействием "экстази" — переживает внутренний переворот, ощущая прилив любви к тем, кого еще вчера считал заклятыми врагами: неграм, евреям, коммунистам, душевнобольным... Почувствовав себя другим человеком, он решает порвать с прошлым, садится в машину кузена и едет на Манхэттен — начать новую жизнь. "Ребята, я хочу вам помочь спасти ребят типа меня, чтобы они не стали такими, как я" — с этой отрепетированной фразой бывший скинхед появляется в роскошном офисе филантропического общества, которое возглавляет бывший узник концлагеря и автор книги о Холокосте Мейер Маслоу.

Как и большинство радетелей о благе человечества, Мейер озабочен в первую очередь собственным благополучием. Он смекает, что раскаявшийся фашист — именно та фигура, которая может привлечь внимание богатой публики и тем самым оказаться весьма полезной для сбора средств на продвижение его книги. Филантроп задумывает устроить благотворительный обед, на котором Нолан должен будет произнести трогательную речь и заставить раскошелиться гостей. А пока он поселяет странного скинхеда у своей помощницы Бонни, разведенной матери двух сыновей-подростков, и

Франсин Проуз

начинает готовиться к грядущему действу.

По отзывам критики, роман одновременно мрачный и светлый, веселый и печальный. Как и в предыдущих своих произведениях, писательница не щадит "священных коров" американского общества, смеясь над лицемерной филантропией, культом знаменитостей и политкорректностью во всех ее проявлениях.

Франция

Дюма и адмирал Нельсон

В начале июня этого года на витринах французских книжных магазинов появилась необычная новинка — ранее неизвестный роман Александра Дюма-отца под названием "Шевалье де Сент-Эрмин". Обнаружил его еще в 1988 году французский литературовед и специалист по Дюма Клод Шопп, когда просматривал в библиотеке подшивку газет "Монитёр юниверсаль" за 1869 год.

"Шевалье де Сент-Эрмин" — классический историко-авантюрный роман. В качестве исторического фона представлена эпоха становления наполеоновской империи. По словам Шоппа, наиболее интересная часть посвящена описанию Трафальгарского морского сражения, в котором, как известно, англичане одержали блистательную победу над французами и испанцами. Любопытно то, что знаменитая битва показана глазами французского аристократа и бывшего роялиста, переметнувшегося под знамена Наполеона. По замыслу автора, именно он выпускает с мачты французского судна роковую пулю, сразившую Нельсона.

"Шевалье де Сент-Эрмин" завершает трилогию о наполеоновской Франции, в которую входят романы "Соратники Иегу" (1857) и "Белые и синие" (1867).

Почти 900-страничное произведение, как и многие другие сочинения Дюма, печаталось в газете как роман-фельетон; оно осталось незаконченным из-за смерти автора в 1870 году. Дабы не разочаровывать читателей, Шопп сам сочинил краткий финал. Подготовка текста к печати заняла более пятнадцати лет, и все это время находка держалась в тайне.

По материалам информационных агентств "Ассошиэйтед пресс", "Рейтер", "Франс-пресс", газет "Гардиан" [Великобритания], "Нью-Йорк таймс" [США], журнала "Лир" [Франция].

Мартен Паж
Martin Page
[р. 1975]. Французский писатель.

Автор книг *Отличный день отличный* [*Une parfaite journée parfaite*, 2002], *Стрекоза ее восьми лет* [*La libellule de ses huit ans*, 2003; рус. перев. 2004].
Перевод публикуемого романа выполнен по изданию *Comment je suis devenu stupide* [Paris: Le Dilettante, 2001].

Реймонд Карвер
Raymond Carver
[1938–1988]. Американский поэт и прозаик. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии О. Генри [1983], премия журнала *Поэтри* [1985].

Автор сборников стихов *Там, где вода встречается с водою* [*Where Water Comes Together with Other Water*, 1985], *Ультрамарин* [*Ultramarin*, 1986], *Новая тропинка к водопаду* [*A New Path to the Waterfalls*, 1989], книг рассказов *О чем мы говорим, когда говорим о любви* [*What We Talk About When We Talk About Love*, 1981], *Собор* [*Cathedral*, 1983; рус. перев. 1987], *Откуда я взываю* [*Where I'm Calling from*, 1988].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Хорхе Вольпи
Jorge Volpi
[р. 1968]. Мексиканский писатель. Лауреат премии *Библиотека Бреве* [1999], итальянской премии *Гринцане Кавур* [2001].

Автор повестей и романов *Вопреки мрачному безмолвию* [*A pesar del oscuro silencio*, 1992], *Дни гнева* [*Días de ira*, 1994], *Покой гробниц* [*La paz de los sepulcros*, 1995], *Меланхолический темперамент* [*El temperamento melancólico*, 1996] и *Лекарство для твоей горькой кожи* [*Sanar tu piel amarga*, 1997], а также очерка *Воображение и власть. Интеллектуальная история 1968 года* [*La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968*, 1998].
Публикуемый роман печатается по изданию *En busca de Klingsor* [Barcelona: Seix Barral, 2000].

Хорхе Гильен
Jorge Guillén
[1893–1982]. Испанский поэт. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии Сервантеса [1977].

Автор книги стихов *Песнопение* [*Cántico*, 1928], издававшейся в обновленном и расширенном виде в 1936, 1945, 1950 гг., поэтической трилогии *Вскрик* [*Clamor*]: *Maremagnum* [1957], *...И они вольются в море* [*Que van a dar a la mar*, 1960], *На высоте обстоятельств* [*A la altura de las circumstancias*, 1963], поэтических сборников *Посвящение* [*Homenaje*, 1967], *Воздух наш* [*Aire nuestro*, 1968], *И другие стихотворения* [*Y otros poemas*, 1973] и др., а также книг эссе *Сюжет произведения* [*El argumento de la obra*, 1961], *Поэт перед своим творением* [*El poeta ante su obra*, 1975].
Перевод публикуемых стихов выполнен по изданию *Cántico* [Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1950].

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Иналитл* [2001].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Татьяна Ивановна Пигарёва
Литературовед, переводчик с испанского. Кандидат филологических наук.

Автор книги на испанском языке *Автобиография Москвы. Частная коллекция городских историй* [*Autobiografía de Moscú. Colección privada de historias urbanas*, 2001] и статей по испанской литературе. В ее переводах опубликованы эссе Х. Ортеги-и-Гассета, С. Дали, стихи современных испанских и аргентинских поэтов и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Ханс Кристиан Андерсен
Hans Christian Andersen
[1805–1875]. Датский писатель.

Помимо сборников сказок и историй [1835, 1843–1845, 1847–1848, 1852–1853, 1858–1872], публиковал романы, пьесы, путевые очерки. Среди его произведений – книга *Путешествие пешком от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер* [*Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager*, 1829], пьеса *Мулат* [*Mulatten*, 1840], роман *Импровизатор* [*Improvisatoren*, 1835; рус. перев. 1844], путевые заметки *Базар поэта* [*En Digters Bazar*, 1842], а также три книги воспоминаний.
Новые переводы сказок и историй Х. К. Андерсена, опубликованных в номере, выполнены по комментированному научному изданию Х. Брикса и А. Йенсена *Сказки и истории Х. К. Андерсена* в 5 тт. [H. C. Andersen. *Eventyr og Historier. Kritisk Udg. med Kommentar ved Hans Briks og Anker Jensen.* København, 1931. Bd. 1–5].

Александр Васильевич Сергеев
[р. 1945]. Литературовед, кандидат филологических наук.

Автор многих статей о скандинавской литературе, публиковавшихся в периодических изданиях. В *ИЛ* публикуется впервые.

Анатолий Николаевич Чеканский
[р. 1948]. Филолог, преподаватель, переводчик со скандинавских языков, кандидат исторических наук.

В его переводах опубликованы произведения К. Гамсуна, Ю. Боргена, Й. П. Якобсена, К. Рифбьерга, М. А. Хансена, Х. К. Браннера и др.
Участвовал в расшифровке и переводе [совместно с Ю. Кудриной и О. Дудочкиной-Круг] *Дневников императрицы Марии Федоровны* [2005].

Эльфрида Елинек
Elfride Jelinek
Австрийский прозаик, драматург, эссеист. Лауреат многих австрийских и международных премий, в том числе: премии имени Г. Бёлля [1986], Бременской литературной премии [1996], премии имени Г. Бюхнера [1998], Берлинской театральной премии [2002], чешской премии имени Ф. Кафки [2004], Нобелевской премии по литературе [2004].

Автор романов *Любовницы* [*Die Liebhaberinnen*, 1975; рус. перев. 1996], *Перед закрытой дверью* [*Die Ausgesperrten*, 1980, рус. перев. 2004], *Пианистка* [*Die Klavierspielerin*, 1983; рус. перев. 2001], *Похоть* [*Lust*, 1989], *Дети мертвецов* [*Die Kinder der Toten*, 1995], *Алчность* [*Gier*, 1999] и др., драм *Клара Ш.* [*Clara S.*, 1982], *Спортивная пьеса* [*Ein Sportstück*, 1998], *он как не он* [*er nicht als er*, 2000] и др. В *ИЛ* публиковалось ее интервью [2003, № 2].

Вальдемар Вебер
[р. 1944]. Литератор, издатель, переводчик с немецкого и нидерландского языков. Лауреат премии министерства культуры герцогства Люксембург [1993], премии ПЕН-клуба Лихтенштейна [2002] и др. Пишет на немецком и русском языках.

Автор книг: *Слёзы – линзы. Стихи и эссе* [на немецком языке, 1992], *Тени на обоях. Стихи и переводы с немецкого* [1995], поэтического сборника *Черепки* [2000].
Переводил поэзию Г. Бенна, Б. Брехта, И. Бахман, Г. Айха, И. В. Гёте, И. Голля, Г. Гауптмана, Г. Гейне, К. Кроллова, Н. Закс, Г. И. Лессинга, Г. Тракля и др., прозу В. Хильдесхаймера, Э. Кестнера, З. Ленца, В. Д. Шнурре и др.

Дмитрий Александрович Пригов
[р. 1940]. Поэт, прозаик, скульптор. Лауреат Пушкинской премии фонда Топфлера [1993] и премии имени Пастернака [2000].
Выставлялся в Европе, Америке, Японии и Корее. Работы находятся в музеях и частных коллекциях многих стран.

Автор стихотворных сборников *Написанное с 1975 по 1989* [1997], *Написанное с 1990 по 1994* [1998], романов *Живите в Москве* [2000], *Только моя Япония* [2001], *Ренат и дракон* [2005] и др. Его стихи и проза переведены на многие языки.

Татьяна Дмитриевна Венедиктова
Доктор филологических наук, профессор, литературовед, переводчик с английского.

Автор книг *Поэзия Уолта Уитмена* [1982], *Современная поэзия США: традиция и новаторство* [1989], *Человек, который создал себя сам. Американский опыт в лицах и типах* [1993], *Обретение голоса: национальная поэтическая традиция в США* [1994], *"Разговор по-американски": дискурс торга в литературной традиции США* [2003] и др. В ее переводах опубликованы *Удивительный волшебник из страны Оз* Л. Ф. Баума, *Противники Просвещения* И. Берлина и др.

Ольга Тилькес
Преподаватель русской литературы, доктор филологических наук. В настоящее время работает в Амстердамском университете.

Один из авторов рубрики *Письма из-за рубежа* [*ИЛ*, 2004, № 6].

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолитт* [1997] и премии им. Мориса Ваксмахера [1999]. Награждена французским орденом Академической пальмовой ветви.

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, прозу де Виньи, М. Пруста, Н. Саррот, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену* [1998, № 7], стихи и эссе Уэльбека [2001, № 5; 2005, № 3], романы *Повинная голова* Р. Гари [2001, № 12], *Маленькое чудо* П. Модиано [2003, № 7] и др.

Максим Валерьевич Калинин
[р. 1972]. Поэт, переводчик с английского. Лауреат премии журнала *Москва* за поэзию [2002].

В его переводах изданы стихотворения Дилана Томаса [2001], Х. Уильямса и Р. Грейвза [2005]. В *ИЛ* в его переводе публиковались произведения Д. Китса, У. Блейка, В. Набокова, Э. Моушена, М. Пика, Ф. Эдкок и др.

Николай Иванович Жаров
[р. 1955]. Преподаватель английского и испанского языков, переводчик.

В его переводах опубликованы книги *Сумасшедшее лето* и *Счастливый шанс* Ш. Крич, *Разбитый мост* Ф. Пулмана, *Маленькие подлости* К. Посадас и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, английского, польского, нидерландского и скандинавских языков, лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994], премии им. Жуковского [2004].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Нора Киямова
Переводчик с английского, датского и норвежского языков.

В ее переводе издавались произведения В. С. Найпола, Х. М. Свенсен, М. А. Хансена, К. Гамсуна и др. В *ИЛ* были опубликованы стихи Х. Й. Сандсдалена [1983, № 6] и П. Хейна [1976, № 10; 1984, № 1].

Александра Александровна Афиногенова
Переводчик со скандинавских языков.

В ее переводах публиковались новеллы А. Стриндберга и его пьесы *Игра снов*, *Пляска смерти*, *На пути в Дамаск*, романы *Местечко Сегельфосс* и *Дети века* К. Гамсуна, пьеса *Ночь Трибад* и роман *Библиотека капитана Немо* П. У. Энквиста. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны книги И. Бергмана *Laterna Magica* [1989, № 9—11] и *Благие намерения* [*Den goda viljan*, 1994, № 5], роман П. У. Энквиста *Низверженный ангел* [*Nedstorad angel*, 2001, № 4].

Александр Васильевич Белобратов
[р. 1951]. Переводчик с немецкого, литературовед-германист, кандидат филологических наук.

Автор книги *Роберт Музиль. Метод и роман* [1990]. Составитель и редактор серии *Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге*. В его переводе публиковались афоризмы К. Крауса, письма Г. Тракля, эссе Р. Музиля, роман Й. Рота *Бегство без конца*, романы *Любовницы* и *Пианистка* Э. Елинек и др.
В *ИЛ* опубликовано его интервью с Э. Елинек [2003, № 2].

Евгения Марковна Белорусец
Аспирантка Венского университета по специальности германистика.

В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент иллюстраций к сказкам Х. К. Андерсена австрийской художницы Лизбет Цверг.

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8-926-528-51-48,
факс (095) 953-50-61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.06.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1388.
Тираж 7500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

В следующем номере:

Комплекс Ди – удостоенный премии "Фемина" роман известного французского писателя китайского происхождения **ДАЙ СЫ-ЦЗЕ**, где любовь и коррупция, психоанализ и древние традиции сплавлены в причудливый пейзаж современного Китая. Переводчик – **Наталья Мавлевич.** .

Стихи **ГОТФРИДА БЕННА**, которого новое поколение немецких писателей считает важнейшим – наряду с Рильке и Валери – европейским поэтом прошлого столетия. Переводчик стихов и автор статьи о творчестве Бенна - **Вальдемар Вебер**.

"Главная обязанность писателя - заботиться о гигиене языка" – беседа с известными польскими писателями **ПАВЛОМ ХЮЛЛЕ и АНТОНИЕМ ЛИБЕРОЙ** в рубрике "Наши гости". Записала и перевела беседу **Ксения Старосельская**.

---

[8] 2005

РОМАН ДАЙ СЫ-ЦЗЕ "КОМПЛЕКС ДИ" / СТИХИ ГОТФРИДА БЕННА / НАШИ ГОСТИ: ПОЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ ПАВЕЛ ХЮЛЛЕ И АНТОНИЙ ЛИБЕРА / "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" АЛЕКСАНДРА ЛИВЕРГАНТА В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Журнал ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАНКА

ИНДЕКС 70394

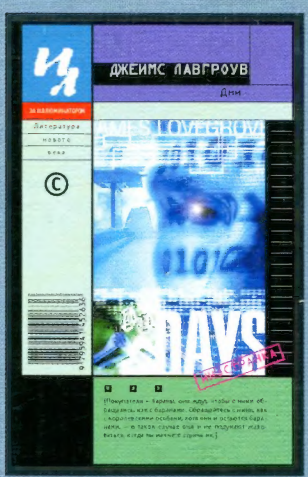
ВСЕ, ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ СЕГОДНЯ

Лучшие авторы – в лучших переводах

Серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №7, 1-288